# Прах Анджелы

Фрэнк Маккорт

*Перевод с английского Е. Матвеевой*

Эту книгу я посвящаю моим братьям: Мэйлахи, Майклу и Альфонсу.

Я учусь у вас, восхищаюсь вами и люблю вас.

## БЛАГОДАРНОСТИ

Позвольте мне пропеть краткую оду женщинам.

Арлин Дальберг разворошила почти угасшие угли воспоминаний.

Лиза Шварцбаум прочла первые страницы и поддержала меня в моем начинании.

Мэри Брэстед Смит, великолепный новеллист, прочла первую треть рукописи и передала ее Молли Фридрих, которая, став моим литературным агентом, рассудила, что Нэн Грэхем — главный редактор издательства «Скрибнер» — именно тот человек, который даст книге путевку в жизнь.

Молли оказалась права.

Моя дочь, Мэгги, показала мне, что жизнь — увлекательнейшее путешествие, а чудесные мгновения, проведенные с моей внучкой Кьярой, помогли мне взглянуть на мир глазами ребенка.

Моя жена, Эллен, была моим слушателем и поддерживала меня в работе с первой до последней страницы.

Благословен я между мужей.

## I

Лучше бы мои родители не уезжали из Нью‑Йорка, где познакомились, поженились и где родился я. Однако они вернулись в Ирландию, когда мне было четыре года, моему брату Мэйлахи — три, близнецам Оливеру и Юджину едва исполнился годик, а нашей сестры Маргарет уже не было в живых.

Оглядываясь на свое детство, я удивляюсь, что вообще выжил. Разумеется, счастливым его не назовешь, иначе о нем не стоило бы рассказывать. Хуже просто несчастного детства — ирландское несчастное детство, но куда хуже — несчастное детство ирландца‑католика.

Как бы кто ни похвалялся, сколько горестей ему, бедному, довелось пережить в малолетстве, ничто не сравнится с ирландской их версией: постоянная нужда, безвольный и болтливый пьяница‑отец, набожная безропотная мать, вечно плачущая у очага, надменные священники, жестокие учителя, а еще англичане и то, как ужасно они нас притесняли долгих восемьсот лет.

А в довершение всех бед — постоянная сырость.

Где‑то над Атлантикой тучи специально собирались в густую серую пелену, которая, неспешно проплыв вдоль всей реки Шаннон, плотно повисала над Лимериком. Дождь лил с праздника Обрезания Господня[[1]](#footnote-1) и до Нового года. Оттого в городе постоянно слышалась какофония кашля: кто перхал, кто сипел, кто хрипел. Носы превращались в фонтаны, а легкие — в мокрые губки, полные микробов. Изобреталось невероятное количество снадобий: от насморка полагалось выпить отвар лука в молоке с перцем, а от застарелого кашля — шлепнуть на грудь горячую крапивную лепешку, завернутую в тряпицу.

С октября по апрель стены домов блестели от сырости. Одежда не просыхала: твидовые и шерстяные пальто кишели живностью, а подчас и обрастали неведомой растительностью. Воздух в пабах клубился паром от мокрой одежды и дымом от сигарет и курительных трубок. К ним примешивался кислый запах пролитого пива, виски и вонь из уличных сортиров, где блевали только что пропитой недельной получкой.

Дождь загонял нас в церковь. Она была нашим прибежищем, оплотом и единственным сухим местом. Служил ли священник мессу, призывал ли благословение[[2]](#footnote-2) или отчитывал девятину[[3]](#footnote-3), мы, сбившись в кучи, дремали под его монотонный голос, а пар, поднимавшийся от мокрой одежды, смешивался со сладковатым ароматом благовоний, цветов и свечного воска.

Лимерик прославился набожностью своих жителей, но мы‑то знали, что причиной всему — дождь.

###### \* \* \*

Мой отец, Мэйлахи Маккорт, родился на ферме в Туме, что в ирландском графстве Антрим. Как и его отец в свое время, нрава он был бунтарского, выступал то против англичан, то против ирландцев, а то против и тех и других. Сражаясь в рядах старой ИРА[[4]](#footnote-4), он совершил какой‑то совершенно отчаянный поступок, и за его голову назначили выкуп.

В детстве я бывало смотрел на отцовы редеющие волосы, плохие зубы и удивлялся: зачем кому‑то такая голова, да еще за деньги? Когда мне было тринадцать, бабушка со стороны отца поведала мне по секрету:

— Бедного отца твоего в младенчестве на голову уронили. Нечаянно, но после этого он так и не стал прежним. Так вот запомни: кого на голову роняли, те малость странными становятся.

Из‑за выкупа, назначенного за голову, на которую его роняли, отца тайно вывезли на грузовом корабле, отплывавшем из Голуэя. В Нью‑Йорке тогда вовсю действовал сухой закон, и отец поначалу подумал, что умер и попал в ад за все свои грехи. Потом он обнаружил подпольные пивнушки и утешился.

После пьяных скитаний по Америке и Англии отец на склоне лет возжаждал покоя и вернулся в Белфаст. Там тогда полыхали беспорядки, но мой родитель махнул на все рукой, сказав: «Чума на все ваши дома», — и свел знакомство с дамами из Андерсонтауна[[5]](#footnote-5). Они соблазняли его всяческими лакомствами, но он отказывался и только знай себе чаек попивал. Зачем другие радости жизни, если больше не куришь, и к алкоголю не притрагиваешься? Когда пришло его время он тихо скончался в больнице королевы Виктории.

Моя матушка, в девичестве Анджела Шихан, выросла в лимерикских трущобах, где жила с матерью, братьями — Томасом и Патриком — и сестрой Агнес. Отца она никогда не видела — тот сбежал в Австралию за несколько месяцев до рождения младшей дочери.

Вот он, нагрузившись портером, бредет по ночному переулку и горланит свою любимую песню:

Кто в похлебке хозяйской портки утопил?

Никто не сознался, и Тим возопил:

Бросайте свои вы ирландские штучки,

Иначе задам я серьезную взбучку

Тому, кто в похлебке портки утопил[[6]](#footnote-6).

Сил у него хоть отбавляй, так отчего бы не поиграть с малышом Патриком, годовалым сыночком. Славный малый. И папочку любит. Смеется, когда папочка его подкидывает. Опля! Малыш Пэдди. А ну, еще раз давай, повыше. Темно‑то как! Господи, не поймал! Бедняжка Патрик приземляется прямо на голову, в горлышке у него что‑то булькает и он затихает. Бабушка сползает с постели, тяжко ей — в животе еще один ребенок, моя мать. С трудом подняв младенца с пола, она издает протяжный стон и яростно напускается на деда:

— Убирайся отсюда! Вон! Не то за топор возьмусь, пропойца чертов! Или придушу, Богом клянусь! Вон!

Дед не уступает — он же мужчина.

— Имею право, — говорит, — в собственном доме находиться.

Бабушка кидается на него и под натиском этого «крутящегося дервиша» с покалеченным ребенком на руках и здоровым — в утробе, дед пятится к двери, выскакивает на улицу и не останавливается до самого Мельбурна.

Малыш Пэт, мой дядя, так до конца и не оправился после того происшествия: вырос слабоумным и левая нога у него не слушалась всего остального тела. Грамоте он так и не обучился, но одним талантом Господь его все же наградил. В восемь лет он начал продавать газеты — тут‑то и обнаружилось, что деньги он считает лучше, чем сам канцлер казначейства. Почему‑то Пэта прозвали Эб Шихан, сокращенно от Эббот. Весь Лимерик его любил.

А у моей матушки неприятности начались с той самой ночи, когда она родилась. Вот моя бабушка стонет в родовых муках, молится святому Герарду Майелле[[7]](#footnote-7) — покровителю беременных.

Рядом сидит сестра О’Холлоран, повитуха, в своем лучшем платье. Вот‑вот наступит Новый год, и миссис О’Холлоран ждет не дождется, когда младенчик родится и можно будет убежать на праздник.

— Тужься же, тужься, — заставляет она бабушку. — Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом. Если не поторопишься, ребенок не успеет родиться до Нового года, а зачем я тогда платье новое надела? Хватит уже своему Майелле молиться. Какой прок сейчас от мужчины, будь он хоть трижды святой? Нашла кого просить.

Бабушка обращается к святой Анне — вспоможительнице в родах. Ребенок не выходит.

— Святому Иуде молись, покровителю отчаявшихся, — велит сестра О’Холлоран.

— Святой Иуда, помоги мне. Я отчаялась. — Бабушка кряхтит, тужится, появляется головка моей матушки, и тут наступает полночь и Новый год. Город оглашается свистками, гудками, воем сирен, играют духовые оркестры, все поздравляют друг друга с Новым годом, поют «За дружбу старую»[[8]](#footnote-8), колокола в церкви звонят Анжелюса[[9]](#footnote-9), повитуха всхлипывает:

— Да что ж такое‑то! Ребенок все никак не родится, а я сижу тут разодетая.

Дитя, родишься ли ты? Бабушка тужится изо всех сил, и младенец появляется на свет — милая девочка с черными кудрявыми волосами и печальными голубыми глазами.

— Господь всемогущий, — сокрушается О’Холлоран. — Дитя непонятно когда родилось: голова в новом году, а зад в старом, или голова в старом, а зад в новом? Вам, миссус, надобно теперь папе римскому писать, чтоб точно знать, в каком году ребеночек народился, а я платье до следующего года приберегу.

Ребенка назвали Анджелой в честь Анжелюса, что звонил в новогоднюю полночь, в ту самую минуту, когда она родилась, да и просто потому что девочка — сущий ангел.

Ты матушку свою люби, как в детстве,

Пока жива она, пускай стара, седа.

По материнской по любви тоскует сердце,

Когда ее теряешь навсегда[[10]](#footnote-10).

В школе Святого Викентия де Поля[[11]](#footnote-11) Анджелу худо‑бедно обучили грамоте и счету, и в девять лет учеба для нее закончилась. Она пыталась работать поломойкой, горничной, привратницей в белом чепце, однако же так и не сумела освоить книксен.

— Ну что ты за неумеха! Поезжай в Америку — там таких привечают. Денег на дорогу дам, — сказала ей мать.

Анджела прибыла в Нью‑Йорк в День благодарения аккурат в том году, когда началась Великая депрессия. Мэйлахи она повстречала на вечеринке у Дэна и Минни Макэдори, которые жили на Классон‑авеню в Бруклине. Анджела приглянулась Мэйлахи, да и он ей тоже. У него тогда был взгляд побитой собаки после трех месяцев в кутузке, куда он угодил за угон грузовика. Они с дружком Джоном Макерлейном услыхали в пивнушке про грузовик, доверху набитый свиной тушенкой и консервированной фасолью. Водить ни тот ни другой не умели, так что когда полицейские увидели вихляющий по Миртль‑авеню грузовик, то без труда прижали его к обочине. Увидев груз, в котором не оказалось ни свинины, ни фасоли, они пришли в недоумение: зачем угонщикам понадобилось столько коробок с пуговицами?

Анджела запала на виноватый взгляд Мэйлахи, а тот насиделся в тюрьме, так что они полюбили друг друга до дрожи в коленках, то есть стоя у стены на цыпочках — попробуй не задрожи от такого напряжения.

Спустя некоторое время выяснилось, что от этой дрожи Анджела в интересном положении, и, конечно, пошли сплетни. В Нью‑Йорке жили кузины Анджелы: Делия и Филомена, которые в девичестве носили фамилию Макнамара, а теперь были замужем соответственно за Джимми Форчуном из графства Мейо и Томми Флинном из Бруклина.

Обе — крупные дамы с выдающейся грудью и крутым нравом. Когда они величественно, словно корабли по морю, плыли по тротуарам Бруклина, низшим существам следовало с почтением расступаться. Сестры твердо знали, что правильно и что неправильно, а для всех спорных вопросов существовала единая, святая, апостольская Римско‑католическая церковь. Незамужняя Анджела не имела права находиться в интересном положении, посему надлежало срочно предпринять определенные меры.

Они и предприняли. Захватив с собой мужей, Джимми и Томми, сестры отправились в пивнушку на Атлантик‑авеню, где Мэйлахи, когда у него была работа, пропивал получку по пятницам. Хозяин забегаловки, Джоуи Каччьямани, впускать сестриц не хотел, но Филомена заявила — если ему дороги его нос и входная дверь, то пусть открывает сейчас же, они с богоугодным делом пришли.

— Ладно‑ладно, — сдался Джоуи. — Не шумите. С вами, ирландцами, лучше не связываться, святая правда!

При виде грудастых сестриц сидевший в дальнем углу бара Мэйлахи побледнел, вымученно улыбнулся и предложил им выпить. Улыбку они оставили без ответа, а предложение о выпивке с презрением отвергли.

— Уж не знаю, из какой ты там дыры в Северной Ирландии, — начала Делия.

— У тебя, поди, пресвитерианцы[[12]](#footnote-12) в роду водились, иначе с чего было так поступать с нашей кузиной? — вторила ей Филомена.

— А если и водились, — заахал Джимми. — Он же в том не виноват.

— Пасть закрой, — велела ему Делия.

Томми пришлось вмешаться и заявить, что вести себя так с бедной девушкой — значит позорить всех ирландцев, и что Мэйлахи должно быть стыдно.

— Ага, стыдно, — признал Мэйлахи. — Ох, как стыдно.

— Тебя разве спрашивали? — взъелась Филомена. — Вон до чего дотрепался, так что закрой хлебало.

— А пока хлебало твое закрыто, мы тебе объясним, как по‑правильному поступить с нашей кузиной Анджелой Шихан.

— Ага‑ага, — закивал Мэйлахи. — Уж что правильно — то правильно, а я бы рад всех вас пивком угостить, пока мы так мило беседуем.

— Возьми свое пивко и засунь его себе в зад, — заявил Томми.

— Не успела наша малышка‑кузина с парохода сойти, как ты ее обрюхатил. Мы в Лимерике — люди праведные, не чета вам, недомеркам из Антрима, который кишмя‑кишит пресвитерианцами.

— Да не похож он на пресвитерианца, — подал голос Джимми.

— Пасть закрой, — велела Делия.

— И еще мы кое‑что заметили, — сказала Филомена. — Ты со странностями.

— Правда? — улыбнулся Мэйлахи.

— Правда‑правда, — заверила его Делия. — Мы почти сразу заметили, и нам это не понравилось.

— И улыбочка у тебя хитрющая, пресвитерианская, — поддакнула Филомена.

— А, это… — сказал Мэйлахи. — Это у меня зубы такие.

— С зубами и со странностями или без оных, а на девушке ты женишься, — объявил Томми. — Пойдешь к алтарю как миленький.

— Ох, — сказал Мэйлахи. — Жениться‑то я пока и не собирался. Работы нет, и я не смогу содержать…

— Нет уж, женишься и точка, — отрезала Делия.

— Пойдешь к алтарю как миленький, — повторил Джимми.

— Ты‑то хоть пасть закрой, — сказала Делия.

И они гордо удалились.

— Вот это я влип.

— Да уж, попал как кур в ощип, — отозвался Джоуи. — Если б ко мне такие крошки поболтать пришли, я б сразу в Гудзон сиганул.

Мэйлахи принялся думать, как бы выпутаться из этой передряги. От получки у него еще оставалось несколько долларов, а в Сан‑Франциско или еще где‑то в Калифорнии жил его дядя. Не податься ли ему в Калифорнию, подальше от пышногрудых сестриц Макнамара и их угрюмых муженьков? Точно, так он и поступит, а пока нужно обмыть это решение ирландским виски. Джоуи налил чего‑то такого, что чуть глотку Мэйлахи не прожгло.

— Да уж, точно ирландское! Никак сам черт это пойло сварил.

— Знать не знаю, ведать не ведаю, — пожал плечами Джоуи. — Я только наливаю.

Однако это все же лучше, чем ничего.

— Пожалуй, надо еще выпить, и себе, Джоуи, тоже налей, и вон тех двух приличных итальянцев неплохо бы спросить, что они пить будут. О чем, ты толкуешь, Джоуи, конечно, я при деньгах!

Проснулся Мэйлахи на скамье на вокзале Лонг‑Айленда от того, что коп стучал дубинкой ему по башмакам. Деньги куда‑то делись, значит, придется остаться в Бруклине, где сестрицы Макнамара так и норовят съесть его живьем.

###### \* \* \*

Ненастным мартовским днем, в праздник Святого Иосифа, через четыре месяца после «дрожи в коленках» Мэйлахи и Анджела обвенчались, а в августе родился ребенок. В ноябре Мэйлахи напился и решил, что пора бы выправить сыну метрику. Он собирался назвать его Мэйлахи в честь самого себя, но клерк не понял, что он там спьяну бормочет, да еще и с северным акцентом, и в метрике написал просто Мэйл[[13]](#footnote-13). И только в декабре Мэйла наконец окрестили в соборе Святого Павла и нарекли Фрэнсисом в честь деда по отцу и славного святого из Ассизи. Анджела хотела дать ребенку еще одно имя, Манчин, в честь святого покровителя Лимерика, но Мэйлахи заявил — только через его труп. Нипочем не будет его сын носить лимерикское имя. С одним‑то именем попробуй жизнь проживи. И вообще, все эти вторые имена — дурацкая американская традиция, тому, кого назвали в честь святого из Ассизи, какое‑то еще одно имя без надобности.

На крестинах случилось еще одно недоразумение. Будущий крестный отец Джон Макерлейн напился в подпольном кабачке и забыл о своих обязанностях. Филомена объявила своему мужу, Томми, что крестным отцом придется стать ему.

— Душа дитяти в опасности, — сказала она.

Томми пробормотал, что он, так и быть, будет крестным отцом, но заранее снимает с себя всю ответственность, если ребенок вырастет таким же, как его папаша — будет творить безобразия и странно ухмыляться, тогда пусть сразу отправляется к Джону Макерлейну в кабачок.

— Ваша правда, Том, уж вы‑то приличный и добропорядочный человек, чья нога ни разу на порог таких заведений не ступала, — заметил священник.

Мэйлахи, сам только из кабачка, обиделся и вздумал пререкаться со священником, будто мало было уже того, что он пришел в церковь пьяным.

— Давай‑ка, снимай свой воротник и посмотрим, кто здесь мужчина, — хорохорился он.

Пышногрудые сестрицы и их угрюмые мужья его оттащили. Новоиспеченная мать, Анджела, разволновавшись, забыла, что держит на руках младенца, выронила его, и тот полностью окунулся в купель, как при протестантском крещении. Юноша‑алтарник, помогавший священнику, выудил совершенно мокрого ребенка из купели и возвернул его Анджеле. Та с рыданиями прижала дитя к груди. Священник рассмеялся и сказал, что ничего подобного прежде не видел и из младенца получился маленький баптист[[14]](#footnote-14), так что священник ему теперь вряд ли нужен. Это еще больше разозлило Мэйлахи, и он чуть не набросился на священника с кулаками за то, что тот назвал его сына каким‑то там протестантом. Священник велел ему утихомириться, мол, он же в Божьем доме, на что Мэйлахи огрызнулся, что какой в задницу божий дом, и тут же был выдворен на улицу, потому что никому не дозволено сквернословить в церкви.

После крещения Филомена объявила, что приглашает всех к себе домой — тут рядом — на чай с бутербродами и пирожными.

— Только на чай? — переспросил Мэйлахи.

— Да, а ты что, на виски рассчитывал? — возмутилась Филомена.

Мэйлахи ответил, что чай, конечно, здорово, но сначала ему нужно повидаться с Джоном Макерлейном, который постыдно пренебрег своим христианским долгом.

— Только и ищешь предлог, чтоб в кабак убежать, — сказала Анджела.

— Да Бог свидетель, и в мыслях не было, — ответил Мэйлахи.

— Сегодня крестины твоего сына, а тебе лишь бы выпить, — расплакалась Анджела.

Делия заявила Мэйлахи, что он отвратительный тип, но чего ожидать от севера‑то Ирландии.

Мэйлахи перевел взгляд с одной женщины на другую, попереминался с ноги на ногу, надвинул кепку на глаза, сунул руки поглубже в карманы брюк и, сказав «Ага, ладно», как говорят в таких случаях на окраинах графства Антрим, едва ли не бегом побежал вверх по улице в пивную на Атлантик‑авеню, где ему уж точно нальют задарма стаканчик в честь сыновних крестин.

В доме у Филомены сестры и их мужья ели и пили, а Анджела, сидя в уголке, качала дитя и плакала. Филомена, набив рот хлебом с ветчиной, поучала кузину:

— Вот, что бывает с такими дурочками, как ты. Сойти с корабля и тут же связаться с идиотом! Ушла бы от него, ребенка на усыновление отдала, и была бы свободной женщиной.

Анджела заплакала еще горше.

— Прекрати реветь, Анджела, прекрати сейчас же, — напустилась на нее вслед за сестрой Делия. — Никто не виноват, кроме тебя самой — связалась с пьяницей с Севера, да он и на католика‑то не похож, и вообще со странностями. Я вот не сомневаюсь, что… что… в жилах у Мэйлахи кровь течет пресвитерианская. Молчи, Джимми.

— На твоем месте, — продолжала Филомена, — я бы позаботилась о том, чтоб детей у вас больше не было. Работы у него нет и не будет никогда, раз так пьет. Так что… больше никаких детей, Анджела. Слышишь? Послушай меня, Филомену.

###### \* \* \*

Через год родился еще ребенок. Анджела назвала его Мэйлахи, как отца, и дала ему второе имя — Джерард, в честь деда по отцу. Сестры Макнамара заявили, что Анджела — глупая курица и дел они с ней иметь никаких не желают, пока она не образумится. Мужья их поддержали.

###### \* \* \*

Я на детской площадке, что на Классон‑авеню в Бруклине, играю с братиком Мэйлахи. Ему два годика, мне — три. Мы качаемся на качели‑доске.

Вверх‑вниз, вверх‑вниз.

Мэйлахи подлетает вверх.

Я соскакиваю.

Качель летит вниз и брякается о землю. Мэйлахи вопит. Зажимает рукой окровавленный рот.

Ой‑ой. Кровь — это плохо. Мама меня убьет.

Вот она уже торопится к нам через всю площадку; бежать ей трудно из‑за большого живота.

— Что ты сделал?! — кричит она. — Что ты сделал с братом?

Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что я сделал.

Она хватает меня за ухо.

— Марш домой. Ложись спать.

— Спать? Днем?

— Живо! — Она подталкивает меня к калитке, потом берет Мэйлахи на руки и вперевалку куда‑то уходит.

###### \* \* \*

Во дворе папин друг, мистер Макэдори. Он и его жена Минни стоят у края тротуара и смотрят на собаку в сточной канаве. У собаки вся голова в крови. У Мэйлахи такая же изо рта шла.

У Мэйлахи кровь, как у собаки, а у собаки кровь — как у Мэйлахи.

Я тяну мистера Макэдори за руку и говорю ему, что у Мэйлахи такая же кровь, как у собаки.

— Да‑да, Фрэнсис. Такая же. И у кошек. И у эскимосов. Кровь у всех одинаковая.

— Хватит, Дэн, — останавливает его Мэнни. — Не морочь ребенку голову.

Она рассказывает мне, что песика сбила машина, он приполз сюда с середины улицы и сдох. Домой хотел, бедный песик.

###### \* \* \*

— Ступай домой, Фрэнсис, — говорит мистер Макэдори. — Не знаю, что ты сделал со своим братиком, но ваша мама повезла его в больницу. Иди домой, малыш.

— Мэйлахи умрет, как этот песик, мистер Макэдори?

— Что ты, нет, Мэйлахи просто язык прикусил, — говорит Минни.

— А песик почему умер?

— Просто его время пришло, Фрэнсис.

###### \* \* \*

В доме пусто, я брожу из одной комнаты в другую, то есть — из спальни в кухню и обратно. Отец ушел искать работу, мама в больнице с Мэйлахи. Вот бы съесть чего‑нибудь, но в ящике со льдом только оттаявшие капустные листья. Папа не велит есть то, что плавает в воде, потому что там может быть гниль. Я засыпаю на постели родителей. Просыпаюсь уже в темноте оттого, что мама трясет меня за плечо.

— Твоему братику нужно поспать. Чуть язык не откусил. Зашивать пришлось. Иди в другую комнату.

На кухне сидит папа и пьет чай из своей большой белой эмалированной кружки. Он подхватывает меня на руки и сажает к себе на колени.

— Папа, расскажи про Ку‑Ку!

— Про Кухулина[[15]](#footnote-15). Повторяй за мной: Ку‑ху‑лин. Расскажу, если скажешь правильно. Ку‑ху‑лин.

Я говорю правильно, и он рассказывает мне про Кухулина, которого в детстве звали Сетанта.

Кухулин вырос в Ирландии, и папа маленьким жил там же, в графстве Антрим. У Сетанты были палица и шар, и вот, однажды он ударил по шару и тот угодил прямо в пасть огромному псу Кулана, пес подавился насмерть. Кулан разгневался и закричал: «Что же мне теперь делать без пса?! Кто станет охранять мой дом, мою жену и десятерых детей, а еще свиней, кур и овец?» — «Прости меня, Кулан, — ответил Сетанта. — Я стану охранять твой дом. У меня вот и палица с шаром есть. А звать‑величать меня теперь будут Кухулин, что значит „пес Кулана“».

И стал Кухулин охранять дом Кулана и округу и прославился на весь Ольстер[[16]](#footnote-16). Папа сказал, что Кухулин был сильнее даже Геркулеса и Ахиллеса, которыми похваляются греки.

Он и с королем Артуром и всем его войском сразился бы в честном бою, да с этими англичанами разве сразишься по‑честному.

Вот такая сказка. И папа ее не рассказывает ни Мэйлахи, ни соседским детям, только мне.

После сказки он дает мне отпить чаю из своей кружки. Чай горький, но как же здорово сидеть у папы на коленях!

###### \* \* \*

Язык у Мэйлахи распух и не проходит уже четвертый день. Он даже мычать не может, не то, что говорить. А если б мог, все равно никто бы его не стал слушать, потому что у нас два новых малыша — их принес нам ангел ночью.

— Какие славные и большеглазые! — ахают соседи.

Мэйлахи стоит посреди комнаты, смотрит на всех снизу‑вверх, показывает на свой язык и мычит.

— Мы ведь на малышей, а не на тебя пришли глядеть, — говорят соседи.

Мэйлахи плачет. Папа гладит его по голове.

— Сынок, спрячь язык и иди на улицу, поиграй с Фрэнки. Ну, беги.

На площадке я рассказываю Мэйлахи про песика, который умер на улице, потому что кто‑то попал ему шаром в глотку. Мэйлахи мотает головой и мычит, что песика убило не шаром, а машиной. Он плачет, ему больно, и он не может говорить, а ведь так ужасно, когда не можешь ничего сказать. И на качели он не дает мне его раскачивать, потому что я и так его чуть не убил. Он просит Фредди Лейбовица раскачать его, и весело хохочет, когда взлетает высоко‑высоко. Фредди большой, ему семь, я прошу его раскачать и меня тоже. А он говорит, что не будет, мол, я чуть брата не убил.

Я пытаюсь раскачаться сам, но у меня плохо получается, и я злюсь, потому что Фредди и Мэйлахи смеются надо мной. Они теперь закадычные друзья, хоть Фредди и семь, а Мэйлахи два. Они смеются каждый день, и язык у Мэйлахи потихоньку заживает.

Когда Мэйлахи хохочет, то видно, какие у него красивые и белые зубки и сияющие глазки. Они у него голубые, как у нашей мамы, волосы золотистые, а щечки розовые. У меня же глаза карие, как у папы, волосы черные, а щеки в зеркале кажутся бледными. Мама говорит нашей соседке миссис Лейбовиц, что Мэйлахи — самый веселый ребенок на свете, а Фрэнк со странностями, как его отец. Я не понимаю, что это за странности такие, а спросить нельзя, потому что подслушивать нехорошо.

###### \* \* \*

Вот бы раскачаться до небес. Я бы тогда летал высоко над землей и не слышал бы, как по ночам плачут мои братики Оливер и Юджин. Мама говорит, что они плачут от голода. Она тоже плачет по ночам. Жалуется, что замучилась уже всех кормить и переодевать и что четыре мальчугана — это слишком. Вот бы у нее была маленькая девочка. Она бы все отдала за девочку.

Я на площадке с Мэйлахи. Мне четыре годика, ему три. Он теперь разрешает мне качать его на качелях, потому что сам не может, а Фредди Лейбовиц в школе. Нам приходится подолгу торчать на площадке, ведь близнецы спят, а мама страшно устала.

— Идите, поиграйте, — говорит она. — Дайте отдохнуть.

Папа снова ушел искать работу. Иногда, когда он приходит домой, то распевает песни о страдающей Ирландии и от него пахнет виски.

— К черту твою Ирландию, — злится мама.

— Не выражалась бы ты при детях, — укоряет ее папа.

— Где хочу — там и выражаюсь, — отвечает она. — Нет, чтоб еды детям принес, так он опять с Ирландией.

Еще мама говорит, что печален тот день, когда отменили сухой закон, потому что теперь папа ходит по салунам и нанимается мести полы и грузить бочки за стакан пива или виски. Иногда он приносит домой немного еды: ржаной хлеб, говяжью тушенку и соленья. Он выкладывает продукты на стол, а сам пьет чай. Говорит, что еда слишком нагружает организм, и удивляется, что у нас такой аппетит. Мама отвечает — как не быть аппетиту, если дети все время полуголодные.

###### \* \* \*

Когда папа находит работу, мама веселеет и поет:

Всем понятно, почему

Поцелуй мне дорог твой.

Все поверить не могу,

Что любима я тобой[[17]](#footnote-17).

После первой папиной зарплаты мама радуется: теперь можно заплатить обходительному итальянцу — владельцу бакалейной лавки, и снова ходить с гордо поднятой головой, потому что ничего нет хуже, чем одалживаться и быть кому‑то обязанным. Мама убирается на кухне, моет кружки и тарелки, стряхивает крошки со стола, чистит ящик и заказывает свежего льда у другого итальянца. Еще она покупает специальную бумагу, с которой можно ходить в уборную в конце коридора, мол, хватит уже пачкать зад краской от «Дейли‑ньюс».

Мама кипятит воду на плите и весь день стирает в большом жестяном корыте наши рубашки, носки, пеленки близнецов, две простыни и три полотенца. Все это развешивается на веревках за домом, и мы смотрим, как белье «танцует» на ветру. Мама говорит, что не хочется, конечно, все пожитки на погляд вывешивать, но нет ничего приятней одежды, высушенной на солнце.

После первой папиной зарплаты в пятницу нас ждут прекрасные выходные. В субботу мама накипятит воды и вымоет нас в корыте, а папа вытрет насухо. Мэйлахи повернется и выставит зад. Папа притворится, что возмущен, и все засмеются. Мама сварит какао, и можно будет долго не спать, а слушать новую папину сказку — он их на ходу выдумывает. Надо только назвать чье‑нибудь имя, например наших соседей — Макэдори и Лейбовица, — и в сказке они будут убегать по бразильской реке от иссиня‑смуглых индейцев с зелеными носами. В такие вечера засыпаешь с мыслью, что на завтрак будут яйца, жареные помидоры, хлеб, чай с сахаром и молоком, на обед — картофельное пюре с горошком и ветчиной, а на сладкое мама смешает кусочки фруктов и бисквита, пропитанного шерри, с вкуснейшим кремом.

В день первой папиной зарплаты погода стоит хорошая, и мама ведет нас на площадку. Сама садится на скамейку с Минни Макэдори и рассказывает ей всякие байки про Лимерик, а та маме — про Белфаст, и они обе смеются, потому что чудаков хватает и на севере и на юге Ирландии. Потом они учат друг друга грустным песням; мы с Мэйлахи слезаем с качелей, тоже садимся на скамейку и подпеваем:

Как‑то раз солдаты молодые на привале,

О делах сердечных меж собою толковали,

Шел веселый разговор, солдаты улыбались.

Лишь один сидел в сторонке, глубоко печалясь.

К нам иди! — ему кричали радостно друзья.

Иль неужто нет любимой, парень, у тебя?

Покачал Нед головой и гордо молвил он:

«Две любимых в моем сердце до конца времен.

Ни с одной я не расстанусь, не сойти мне с места,

Одна мне матушка родная,

Другая же — невеста»[[18]](#footnote-18).

Мы допеваем песню, и мама с Минни до слез смеются над тем, как Мэйлахи низко кланяется и тянет к маме руки. Мимо идет с работы Дэн Макэдори и говорит, что, кажется Руди Валле[[19]](#footnote-19) не видать больше покоя с такими‑то конкурентами.

Когда мы приходим домой, мама дает нам чаю с хлебом и вареньем или картофельное пюре с маслом и солью. Папа пьет чай, но ничего не ест.

— Ну дает, — удивляется мама. — Весь день работал и не голодный?

— Чаю попью и хватит, — говорит папа.

Мама ругает его, мол, здоровье сгубишь, а папа повторяет, что еда слишком нагружает организм. Он пьет чай, рассказывает нам сказки, показывает буквы и слова в «Дейли‑ньюс» или курит сигарету, глядя на стену и облизывая губы.

На третьей неделе папа не приносит домой денег. Уже вечер пятницы, но его еще нет дома. Мама дает нам чай с хлебом. Темнеет, на Классон‑авеню зажигаются фонари. У других отцы пришли с работы и едят яичницу на ужин, потому что по пятницам нельзя есть мясо. Слышно, как наверху и внизу разговаривают соседи, кто‑то выходит в коридор, по радио Бинг Кросби поет: «Брат, подай хотя бы грош»[[20]](#footnote-20).

Я и Мэйлахи играем с близнецами. Сегодня мама не будет петь «Твой поцелуй». Она сидит за столом на кухне и приговаривает:

— Что же делать? Что же делать?

Поздно вечером раздается шум — папа поднимается по лестнице, распевая про Родди Маккорли[[21]](#footnote-21).

— Где мои солдаты? Где моя четверка воинов? — кричит он, распахивая дверь.

— Оставь детей в покое, — сердится мама. — Они спать легли голодные, потому что тебе глаза залить приспичило.

— Поднимайсь, мальчики, живо! — кричит папа у двери в спальню. — Даю пять центов тому, кто пообещает умереть за Ирландию.

Мы родились на острове зеленом,

Но вглубь лесов канадских нас забросила судьба.

И пусть идем мы по стране огромной,

Мы сердцем с родиной своею навсегда[[22]](#footnote-22).

— Подъем, ребята! Фрэнсис, Мэйлахи, Оливер, Юджин. Рыцари Красной ветви[[23]](#footnote-23), фении[[24]](#footnote-24), солдаты ИРА. Вставайте же!

Мама стоит у кухонного стола, ее бьет дрожь, волосы мокрыми прядями свисают на залитое слезами лицо.

— Оставь их в покое, а? — просит она. — Господи Иисусе, Мария и Иосиф! Мало того, что без гроша домой явился, так еще и детей на посмешище выставляешь.

— А ну, обратно в постель, — велит она нам.

— Нет, пусть останутся, — упорствует папа. — И готовятся к тому дню, когда Ирландия станет свободной до самого моря.

— Не спорь, — сердится мама. — Не то твоей матери будет кого оплакивать.

Отец натягивает кепку на лицо и пьяно всхлипывает:

— Бедная моя матушка. Бедная Ирландия. Ох, что же нам делать?

— Совсем ополоумел, — бросает мама и велит нам ложиться спать.

Утром следующей пятницы она спрашивает папу, принесет ли он вечером получку или снова все пропьет? Папа косится на нас и качает головой, мол, не следует так говорить при детях.

— Нет уж ответь, ты придешь домой, чтоб мы худо‑бедно поужинали или снова за полночь явишься без гроша и будешь горланить про своего Кевина Барри[[25]](#footnote-25) или еще какую жалостную песню? — не отступает мама.

Папа нахлобучивает кепку, сует руки в карманы и вздыхает, глядя в потолок.

— Я ведь уже говорил тебе, что приду, — наконец отвечает он.

Ближе к вечеру мама одевает нас, усаживает близнецов в коляску, и мы долго идем по улицам Бруклина. Когда Мэйлахи устает, она разрешает ему немного посидеть в коляске, а мне говорит, что я уже слишком большой. У меня тоже ножки болят, и я тоже едва за ней поспеваю, но мама сегодня не поет, поэтому лучше помолчать и не ныть.

Мы подходим к большим воротам, где в будке с окошками стоит сторож. Мама спрашивает, можно ли нам пройти туда, где рабочим выдают зарплату — может, ей выдадут папину, чтоб он все по кабакам не растратил?

— Простите, мадам, — качает головой сторож. — Если б мы такое разрешали, сюда бы половина бруклинских жен сбежалась. Мужья у многих пьют, но мы‑то что можем сделать — на работу же они трезвыми выходят.

Мы встаем у стены на другой стороне улицы. Мама разрешает мне посидеть на тротуаре. Близнецам она дает бутылочки с подслащеной водой, а нам с Мэйлахи придется ждать, пока папа даст денег и мы купим чаю, хлеба и яиц в лавке итальянца.

В полшестого раздается заводской гудок, из ворот выходит толпа мужчин в кепках и рабочей одежде. Лица и руки у них черным‑черны. Мама велит нам смотреть внимательнее, сама она через дорогу не увидит — зрение слабое. Рабочих сначала много, потом все меньше и меньше, а потом из ворот уже никто не выходит.

— Ну, как же вы его проглядели? Слепые, что ли? — стонет мама.

Она снова идет к сторожу в будке.

— А внутри никого не осталось?

— Нет, мадам, — отвечает он. — Все вышли. И как он умудрился мимо вас проскочить?

Мы снова плетемся по улицам Бруклина. Близнецы ревут, требуют еще сладкой воды. Мэйлахи ноет, что проголодался.

— Обожди, сейчас денег у папы возьмем, и будет у нас хороший ужин, — успокаивает его мама. — Пойдем к итальянцу, яиц купим, хлеба поджарим и вареньем намажем. Поедим, согреемся.

На Атлантик‑авеню темно, а привокзальные бары светятся огнями, и в них полно людей. Мы ходим от одного бара к другому, спрашиваем про папу. Мама оставляет нас на улице с коляской, а сама заходит внутрь или меня посылает спросить. В баре шумно и пахнет виски — как от папы, когда он возвращается домой поздно вечером.

— Эй, сынок, чего тебе? Детям нельзя сюда, — говорит мне бармен.

— Я папу ищу. Он здесь?

— Ну, сынок, откуда ж мне знать? Кто твой папа?

Его зовут Мэйлахи, и он поет «Кевина Барри».

— Мэйлархи?

— Нет, Мэйлахи.

— Значит, Мэйлахи. И поет «Кевина Барри».

— Эй, ребят, кто‑нибудь знает Мэйлахи, который поет «Кевина Барри»? — обращается бармен к мужчинам в зале.

Те качают головами. Один говорит, что знавал когда‑то парня по имени Мэйлахи, который пел «Кевина Барри», но тот умер от пьянства, его на войне ранили, вот он и запил.

— Черт подери, Пит, я что, просил мировую историю мне пересказывать? Нет, сынок, мы тут петь не разрешаем. От того беда одна. С ирландцами особенно. Позволь им петь, так они тут же кулаками размахаются. Так что Мэйлахи тут нет, сынок, я даже имени такого не слыхал.

Дядя по имени Пит протягивает мне свой стакан.

— На, малыш, отпей.

— Ты чего, Пит? Ребенка споить хошь? — кричит ему бармен. — Только попробуй, я тебе живо задницу надеру.

Обойдя все привокзальные бары, мама сдается.

— Боже мой, еще так далеко идти, а у меня четверо детей голодных, — плачет она, прислонившись к стене, потом велит мне вернуться в тот бар, где был дядя по имени Пит, и спросить у бармена, не нальет ли он воды и не положит ли немного сахара близнецам. В баре смеются, что мол бармен будет разливать сахарную воду по детским бутылочкам, но он большой и сильный и велит всем заткнуться. Бармен говорит мне, что детям молоко нужно пить, а не воду, а я отвечаю ему, что у мамы денег нет. Тогда он выливает из бутылочек воду и наполняет их молоком.

— Скажи маме, что молоко нужно для зубов и костей. От воды с сахаром рахит бывает. Обязательно скажи.

Мама радуется молоку. Она знает про зубы, кости и рахит, но нищим выбирать не приходится.

На Классон‑авеню мама сразу же идет в лавку к итальянцу, говорит ему, что муж сегодня работает допоздна, и нельзя ли пока взять кое‑что в долг, а уж завтра она обязательно расплатится.

— Миссус, вы всегда долг отдаете, так что можете брать все, что пожелаете, — разрешает итальянец.

— О, мне совсем немного нужно, — смущается она.

— Все, что пожелаете, миссус, вы — честная женщина, и детишки у вас славные.

Мы едим яйца и хлеб с вареньем, хотя после ходьбы по Бруклину так устали, что едва можем жевать. Поев, близнецы засыпают, мама кладет их на кровать и переодевает. Мне она велит пойти в уборную и сполоснуть грязные пеленки, — чтобы посушить и завтра снова использовать. Мэйлахи помогает ей подмыть близнецов, хотя сам уже спит на ходу. Я забираюсь в кровать к братьям. Мама сидит за кухонным столом, курит, пьет чай и плачет. Вот бы утешить ее, сказать, что скоро я вырасту, стану работать на заводе с большими воротами, приносить получку по пятницам, она будет покупать яйца, хлеб и варенье и снова петь про поцелуй.

На следующей неделе папа остается без работы. В пятницу вечером он приходит домой, швыряет на стол деньги и говорит маме:

— Что, довольна теперь? Нажаловалась на проходной, а им только предлог дай, чтоб уволить.

Он берет несколько долларов из принесенных денег и уходит. Возвращается поздно, шумит и горланит песни. Близнецы с ревом просыпаются, мама успокаивает их, и сама долго плачет.

###### \* \* \*

Мы часами торчим на площадке: то близнецы спят, то мама устала, то папа приходит домой с запахом виски и горланит про Кевина Барри, которого казнили утром в понедельник, или про Родди Маккорли.

По улочке узкой юноша шел,

Смело врагам улыбаясь.

Он шел и златые кудри его

Веревки на шее касались.

В бесстрашных его голубых глазах,

Никто не увидит слезу.

Так Родди Маккорли шел умирать

На старом Тумском мосту[[26]](#footnote-26).

Он поет и марширует вокруг стола, мама плачет, близнецы ей вторят.

— Фрэнки, Мэйлахи, идите во двор, на площадку. Не к чему вам на отца на такого смотреть, — велит мама.

Мы не возражаем. На площадке можно играть с кучами листьев и качать друг дружку на качелях. Но вскоре наступает зима и качели замерзают так, что с места не сдвинешь.

— Бедные малютки, — говорит Минни Макэдори. — Ни рукавички ведь у них нет.

Мне становится смешно, потому что у нас же с Мэйлахи четыре руки, зачем нам одна рукавичка? Мэйлахи не понимает, почему я смеюсь, — вот будет ему почти пять лет, как мне, тогда, может, поймет.

Минни зовет нас к себе, угощает чаем и кашей с вареньем.

Мистер Макэдори сидит в кресле с малышкой Мэйзи. Он поит ее молоком из бутылочки и напевает:

Хлоп‑хлоп‑хлоп в ладошки,

Папочка идет домой,

Несет булочки в кармашке,

Он для Мэйзи для одной.

Хлоп‑хлоп‑хлоп в ладошки,

Папочка идет домой.

Несет звонкие монетки,

Ведь у мамы — ни одной.

Мэйлахи пытается ему подпевать, но я говорю, что нельзя — это Мейзина песенка. Мэйлахи пускается в рев.

— Ну, будет, будет, — успокаивает его Минни. — Пой, если хочешь. Это для всех детей песенка.

Мистер Макэдори улыбается Мэйлахи, а я думаю: «Что это за мир такой, где каждому разрешается петь чужие песенки?»

— Не хмурься, Фрэнки, — просит Минни. — Видит Бог, ты и так почти всегда невеселый. Вот появится у тебя сестричка, тоже будешь петь ей эту песенку. Да‑да, будет сестричка, вот увидишь.

###### \* \* \*

Минни оказывается права: как мама и мечтала, у нас вскоре появляется малышка, которой дают имя Маргарет. Мы все любим Маргарет. У нее черные вьющиеся волосы и голубые глаза, как у мамы. Она машет ручками и щебечет, как птички на деревьях вдоль Классон‑авеню. Минни говорит, что ангелы пели в раю в тот день, когда было сотворено это дитя, а миссис Лейбовиц — что свет еще не видывал таких глазок, такой улыбки и такого счастья.

— Как погляжу на нее, так хоть в пляс пускайся, — умиляется миссис Лейбовиц.

Папа целый день ищет работу, а когда приходит домой, то берет Маргарет на руки и поет:

Эльфа‑башмачника я повстречал

В дальнем лесу лунной ночкой.

Алый колпак да зеленый сюртук,

Рядом — кувшин на пенечке.

Молоточек сапожный стучал — тик‑ток,

Я в душе ликовал: «Попался!»

Но хитрый гном, прибивая каблук,

Тоже чему‑то смеялся[[27]](#footnote-27).

Папа носит ее по кухне и говорит ей, какая же она миленькая девочка с черными кудряшками и голубыми глазами, совсем как у мамы, рассказывает, что повезет ее в Ирландию и будет гулять с ней по долинам Антрима и купаться в озере Лох‑Ней и что скоро он обязательно найдет работу и купит ей шелковые платьица и туфельки с серебряными пряжками.

Папа поет Маргарет песенки, и она плачет все реже, а со временем даже начинает смеяться.

— Вы только поглядите, — говорит мама про папу. — Танцует, как слон, а туда же. — Она смеется, а за ней — и все мы.

Когда близнецы были совсем маленькие и плакали, папа с мамой говорили им: «Ш‑ш‑ш», давали что‑нибудь поесть и те засыпали. Но когда плачет Маргарет, в воздухе разливается такое острое чувство одиночества, что папа вскакивает с постели, берет Маргарет на руки и начинает ходить с ней вокруг кухонного стола, петь песенки и утешать ее ласково, как мама. В свете уличных фонарей видно, что на его щеках блестят слезы, и это странно, потому что папа вообще не плачет, разве что, когда напьется и горланит «Кевина Барри» или «Родди Маккорли». А вот с Маргарет он плачет, и выпивкой от него больше не пахнет.

Мама говорит Минни Макэдори, что он на седьмом небе от счастья, — ведь ни капли в рот не взял с тех пор, как малышка родилась! Давно надо было девочку родить.

— Ах, эти девчушки такие миленькие! — говорит Минни. — Мальчики — это, конечно, здорово, но девочку для себя обязательно надо.

— Для себя? — смеется мама. — Да если б я ее грудью не кормила, то и не подобралась бы к ней — он же готов день и ночь ее с рук не спускать.

Минни говорит, до чего же мило, когда мужчина так обожает свою маленькую дочку, но кто же не обожает Маргарет?

Все обожают.

###### \* \* \*

Близнецы научились стоять и ходить, и теперь с ними без конца что‑нибудь случается. Они все время писают и какают, и от этого у них красные попки. Еще тащут в рот всякую гадость: бумажки, перышки, шнурки, а потом их тошнит. Мама говорит, что скоро сойдет с ума со всеми нами. Она одевает близнецов, усаживает в коляску, и мы с Мэйлахи везем их на площадку. Стало тепло, на деревьях по всей Классон‑авеню распустились зеленые листочки.

Мы носимся с коляской по площадке, и близнецы сначала хохочут и агукают, а потом принимаются плакать от голода. В коляске лежат бутылочки со сладкой водой, на какое‑то время она их успокаивает, но потом снова начинается рев. Я не знаю, что делать — они еще такие маленькие. Вот бы у меня была всякая еда, тогда я бы накормил их и они опять бы смеялись и агукали. Близнецы любят мамино пюре — она растирает в кастрюльке хлеб с молоком, водой и сахаром, у нее это называется «хлебный пудинг».

Если привезти близнецов домой, мама наругает, что отдохнуть не даю или что бужу Маргарет. Нам велено играть на площадке, пока не позовут из окна. Я корчу рожицы, чтоб успокоить близнецов. Кладу себе на голову бумажку и роняю ее, близнецы хохочут. Я подкатываю коляску к Мэйлахи, который играет на качелях с Фредди Лейбовицем. Мэйлахи рассказывает Фредди о том, как Сетанта стал Кухулином. Я требую, чтобы он перестал — это же моя сказка, но он не слушается. Я толкаю его, и он принимается реветь.

— А‑а‑а, я все маме расскажу.

Фредди толкает меня, в глазах у меня темнеет, я набрасываюсь на него, молочу кулаками и коленками, пинаю ногами.

— Перестань, перестань! — кричит он.

А я не перестаю, потому что не могу и не знаю как, — если я перестану, Мэйлахи совсем заберет у меня сказку. Фредди отпихивает меня и убегает с воплями:

— Меня Фрэнки убивает! Меня Фрэнки убивает!

Я не знаю, что делать, я же никого раньше не убивал, а теперь еще Мэйлахи рыдает:

— Не убивай меня, Фрэнки!

А вид у него такой беспомощный, что я обнимаю его и помогаю слезть с качелей.

— Не буду рассказывать твою сказку, — обнимает он меня в ответ. — Не буду рассказывать Фредди про Ку‑ку.

Все это смешно, но я не смеюсь: близнецы ревут в коляске, на площадке темно, а что толку корчить рожицы и ронять бумажки с головы, если все равно ничего не видно?

В лавке итальянца через дорогу лежат бананы, яблоки, апельсины. Близнецы едят бананы. Мэйлахи любит бананы, да я и сам люблю. Но нужны деньги, итальянцы не дадут бананы за просто так, особенно Маккортам, которые и так уже в должниках.

Мама все время твердит мне, чтобы мы никуда не уходили с площадки, но что делать с близнецами, они же воют от голода! Я говорю Мэйлахи, что сейчас вернусь. Оглядевшись по сторонам, хватаю связку бананов, припускаю по Миртль‑авеню и, оббежав квартал, возвращаюсь на площадку с другой стороны через дырку в заборе. Мы закатываем коляску в темный угол и чистим бананы для близнецов. Бананов пять, и у нас настоящий пир. Близнецы пускают слюни, жуют бананы, размазывают их по лицу, волосам, одежде. Ну вот, теперь мама спросит, почему близнецы в бананах изгваздались и где я их взял. Нельзя ей рассказывать про лавку итальянца. Скажу, что один дядя дал. Да, точно. Один дядя.

И тут происходит нечто странное. К калитке подходит какой‑то человек и зовет меня. Боже мой, это же он, итальянец!

— Эй, сынок, поди‑ка сюда. Да‑да, ты.

Я плетусь к нему.

— Это ведь у тебя два братика‑близнеца?

— Да, сэр.

— Вот тебе кулек фруктов. Бери, а то все равно на выброс пойдут. Яблоки тут, апельсины, бананы. Ты же любишь бананы, да? Точно любишь, я знаю, хе‑хе. Ну, бери скорей. Мама у тебя хорошая. Что, опять отец, да? Ох, знаю, знаю, беда с ним эта ирландская. Дай бананчиков близнецам, а то их на всю улицу слыхать.

— Спасибо, сэр.

— Господи, культурный‑то какой. И в кого же?

— Папа велел всегда спасибо говорить, сэр.

— Папа? Надо же.

###### \* \* \*

Папа сидит за кухонным столом, читает газету. Говорит, что президент Рузвельт — хороший человек и скоро у всех в Америке будет работа. Мама сидит напротив, кормит Маргарет из бутылочки. Взгляд у нее какой‑то строгий, и я пугаюсь.

— Откуда у тебя фрукты?

— Дядя дал.

— Какой дядя?

— Итальянец.

— Ты их украл?

— Дядя, — говорит Мэйлахи. — Дядя дал Фрэнки кулек.

— А что ты Фредди Лейбовицу сделал? Его мама приходила. Милая такая женщина. Не знаю, что б мы делали без нее и без Минни Макэдори. А ты бьешь бедного Фредди.

— Он не бил, не бил, — подскакивает Мэйлахи. — Он не хотел убивать Фредди. И меня не хотел убивать.

— Тише, Мэйлахи, — говорит папа. — Иди сюда. — Он берет Мэйлахи к себе на колени.

— Иди к соседям, извинись перед Фредди, — велит мама.

— Хочешь извиниться перед Фредди? — спрашивает папа.

— Не хочу.

Родители переглядываются.

— Фредди — хороший мальчик, — говорит папа. — Он не обижал твоего братика, просто на качелях качал, разве нет?

— Он хотел украсть у меня сказку про Кухулина.

— Да не нужна Фредди твоя сказка. У него своих куча. Он еврей.

— А кто такой еврей?

— Евреи… евреи… ну, это люди, у которых свои сказки, — смеется папа. — Им не нужен Кухулин. У них Моисей есть. И Самсон.

— А кто такой Самсон?

Вот пойдешь к соседям, извинишься, тогда расскажу. Хотя Фредди и сам тебе расскажет, если попросишь. Главное, извинись сначала, ладно?

Малышка на руках у мамы хнычет, и папа тут же вскакивает с места, роняя Мэйлахи на пол.

— Чего это она?

— Да ничего, — отвечает мама. — Ест просто. Что ты какой нервный?

###### \* \* \*

Они принимаются обсуждать Маргарет. Про меня все забыли, ну и ладно. Я иду к соседям: надо спросить Фредди про Самсона, узнать, сильнее он Кухулина или нет, и убедиться, что у Фредди и правда есть своя сказка и он не будет красть мою. Мэйлахи просится со мной — папа встал и на коленях больше не посидишь.

— А, Фрэнки, заходи, заходи, — говорит миссис Лейбовиц. — И малыш Мэйлахи тут. Скажи‑ка, Фрэнки, что это ты с Фредди хотел сделать? Убить, что ли? Фредди — хороший мальчик. Книжки читает. Радио слушает с папой. Братишку твоего на качелях качает. А ты — убивать. Ох, Фрэнки, Фрэнки. А еще твоя бедняжка мать, и малышка болеет.

— Она не болеет, миссис Лейбовиц.

— Болеет. Ох, болеет. Мне ли не знать, я в больнице работаю, Фрэнки. Ну, проходи, проходи. Фредди, Фредди! Фрэнки пришел! Где ты там? Фрэнки не будет тебя больше убивать. Ни тебя, ни Мэйлахи. Красивое еврейское имя. Пирожок съешь? Почему тебя еврейским именем назвали, а? Вот молока стакан, пирога кусок. Какие ж вы худые, ребятки. Эти ирландцы не едят совсем.

Мы сидим за столом с Фредди, едим пирог и запиваем молоком. Мистер Лейбовиц читает газету и слушает радио. Иногда он говорит что‑то миссис Лейбовиц, но я совсем ничего не разберу — это не слова, а странные звуки какие‑то. А вот Фредди их понимает. Мистер Лейбовиц снова издает странные звуки. Фредди вскакивает и относит ему кусок пирога. Миссис Лейбовиц улыбается Фредди и гладит его по голове, Фредди улыбается ей в ответ и тоже произносит странные звуки.

— Ой, худышки какие, — снова качает головой миссис Лейбовиц, глядя на меня и на Мэйлахи.

Она так часто ойкает, что Мэйлахи передразнивает ее и говорит «ой». Лейбовицы смеются, а мистер Лейбовиц наконец произносит что‑то понятное:

— Когда веселы ирландские *ойчи* [[28]](#footnote-28).

Миссис Лейбовиц аж трясется вся от смеха и даже за живот держится, а Мэйлахи повторяет «ой», раз всем от этого так весело. Я тоже говорю «ой», но никто не смеется, значит, это «ой» принадлежит Мэйлахи, так же как Кухулин — мне, ну и пусть Мэйлахи забирает себе свое «ой».

— Миссис Лейбовиц, папа говорит, у Фредди есть любимая сказка.

— Про Сам… Сам… ой, — говорит Мэйлахи.

Все снова смеются, а я пытаюсь вспомнить, что там шло после «Сам».

— Самсон, — произносит Фредди с набитым ртом.

— Не разговаривай с набитым ротом, — говорит ему миссис Лейбовиц.

Я смеюсь, потому что такая большая, а говорит «ротом», вместо «ртом». Мэйлахи смеется, потому что смеюсь я, а Лейбовицы с улыбкой переглядываются.

— Не про Самсона, — говорит Фредди. — А про Давида и великана Голиафа. Давид убил его из пращи — бац, и камень ему в башку, так что мозгá на земле.

— Не мозгá, а мозги, — поправляет его мистер Лейбовиц.

— Да, папочка.

Отец. Фредди зовет своего папу папочкой, а я своего — просто папа.

###### \* \* \*

Я просыпаюсь от маминого шепота.

— Что с ребенком?

Еще очень рано, в комнате темно, видно только, что папа стоит у окна с Маргарет на руках. Он качает ее и почему‑то охает.

— Она что… заболела? — шепчет мама.

— Ох, что‑то притихла совсем и холодненькая какая‑то.

Мама вскакивает с постели, забирает у него Маргарет.

— Беги за врачом. Скорее, ради Бога.

Папа натягивает штаны, заправляет в них рубашку и как есть — без пиджака, носков и ботинок — выскакивает на холод.

Мы ждем в комнате, близнецы спят в изножье кровати, рядом со мной ворочается Мэйлахи.

— Фрэнки, пить хочу.

Мама сидит на своей постели с малышкой на руках и раскачивается из стороны в сторону.

— Ох, Маргарет, Маргарет, милая моя крошечка. Ну, открой же красивые голубые глазки, дитятко мое ненаглядное.

Я наливаю в кружку воды себе и Мэйлахи.

— Воды, значит, себе и братцу? — охает мама. — Воды, да? А сестричке ничего. Бедняжке сестричке. Рта у нее, что ли, нет, по‑вашему? Она воды не хочет? Пьете себе, как ни в чем не бывало. И близнецы знай себе спят, а сестренка лежит тут у меня больная. Вся больная. Да Боже ж ты мой!

Мама какая‑то не такая и разговаривает странно. Где папа, хочу папу.

Я возвращаюсь в постель и плачу.

— Ты чего? — спрашивает Мэйлахи.

Он все повторяет и повторяет «Ты чего», пока мама снова не начинает меня бранить.

— Сестричка болеет, а ты все скулишь. Вот подойду сейчас, будешь знать.

Папа возвращается с врачом. Снова запах виски. Врач осматривает Маргарет, тычет ее пальцем, приподнимает ей веки, ошупывает шейку, ручки, ножки. Потом выпрямляется и качает головой. Она умерла. Мама крепко обнимает малышку и ложится, отвернувшись лицом к стене. Врач спрашивает, не было ли несчастного случая, не роняли ли ребенка, или, может, мальчики неосторожно с ней играли?

Папа мотает головой. Врач говорит, что ему нужно забрать Маргарет для установления причины смерти; папа подписывает какую‑то бумагу. Мама умоляет дать ей еще хоть минуточку, но врач говорит, что у него пациентов много. Папа тянет к маме руки, чтобы забрать Маргарет, но мама еще крепче жмется к стене. Взгляд у нее безумный, черные кольца кудрей прилипли ко лбу, лицо мокрое от пота и слез, глаза круглые. Она все время мотает головой и стонет:

— Нет, нет!

Папа высвобождает малышку из ее рук и передает врачу, а тот заворачивает ее с головой в одеяло.

— Господи Боже, она же задохнется! — рыдает мама. — Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, да помогите же мне!

Врач уходит. Мама отворачивается к стене и затихает. Близнецы проснулись и плачут от голода, но папа стоит посреди комнаты, глядя в потолок. Лицо у него белое, и он бьет себя кулаками по ногам. Потом подходит к кровати, кладет руку мне на голову. Рука дрожит.

— Фрэнсис, я за сигаретами.

Мама лежит весь день и почти не шевелится. Мы с Мэйлахи наполняем бутылочки близнецов сладкой водой. На кухне — черствые полбуханки хлеба и две холодные сосиски. Чаю не попьешь — молоко в ящике со льдом прокисло, да и лед растаял, а как известно, чай без молока можно только когда папа рассказывает про Кухулина и дает из своей кружки отпить.

Близнецы опять проголодались, но я не могу давать им воду с сахаром весь день и всю ночь. Я кипячу в кастрюльке прокисшее молоко, размачиваю в нем немного хлеба и пытаюсь накормить их из кружки. Они морщатся и с плачем бегут к маме, но она все лежит лицом к стене, поэтому они снова прибегают ко мне. Соглашаются они на «пудинг» только после того, как я забиваю вкус кислого молока сахаром. Теперь они едят, улыбаются и размазывают «пудинг» по лицу. Мэйлахи тоже хочет «пудинга», а раз ест он, поем и я. Мы все сидим на полу, едим мою стряпню, жуем холодные сосиски и пьем воду из молочной бутылки, которую мама хранит в ящике со льдом.

Мы поели и теперь нам надо в уборную в конце коридора, но там заперлась миссис Лейбовиц и что‑то напевает.

— Ждите ребятишки, ждите догогие, — говорит она. — Я сейчас.

Мэйлахи хлопает в ладоши и, пританцовывая, поет:

— Ждите ребятишки, ждите догогие.

— Да вы только поглядите. Артист готовый, — говорит миссис Лейбовиц, выходя из уборной. — Ну как ваша мама?

— Лежит, миссис Лейбовиц. Врач забрал Маргарет, а папа ушел за сигаретами.

— Ох, Фрэнки, Фрэнки. Я же говорила, что ребенок болен.

Мэйлахи хватает себя за штанишки.

— Писать, писать.

— Так иди уже писай. Пописаете и проведаем вашу маму.

Мы пописали, и миссис Лейбовиц идет к маме.

— Ох, миссис Маккорт. Ой‑вэй, догогуша. А близнецы‑то опять голышом. Миссис Маккорт, что стряслось? Малышка заболела? Ну, скажите что‑нибудь. Бедняжка. Давайте, повернитесь ко мне, миссус. Скажите что‑нибудь. Ой‑вэй, вот беда‑то!

Она помогает маме приподняться и сесть к стене. Мама вся как будто уменьшилась.

Миссис Лейбовиц говорит, что сейчас сходит за супом и велит мне пока принести воды, чтобы умыть маму. Я мочу полотенце в холодной воде, провожу им по маминому лбу. Она прижимает мою ладонь к своей щеке.

— Боже мой, боже мой, Фрэнки.

Она не отпускает мою руку, и мне страшно, потому что я никогда маму такой не видел. Наверное, она говорит «Фрэнки» только потому, что держит меня за руку, а на самом деле думает о Маргарет.

— Твоя сестренка умерла, Фрэнки. Умерла. И где, спрашивается, твой папаша? — Она выпускает мою руку. — Где он, а? Пьет. Где ж еще. В доме ни гроша. Работы у него нет, а на выпивку деньги есть, на выпивку есть, есть, есть. — Она бьется головой о стену и кричит: — Где? Где? Малышка моя где? О, Господи Иисусе, и святые Мария с Иосифом, спасите меня. Я сойду с ума, сойду с ума‑а‑а…

В комнату вбегает миссис Лейбовиц.

— Миссус, миссус, что же все‑таки случилось? Где малышка?

— Умерла, миссис Лейбовиц! — кричит мама. — Умерла! — Она роняет голову на грудь и качается взад‑вперед. — Посреди ночи, миссис Лейбовиц. В коляске. Как же я недосмотрела? Семь недель прожила моя малышка на этом свете и умерла прямо посреди ночи, миссис Лейбовиц, одна‑одинешенька, в коляске.

Миссис Лейбовиц обнимает маму.

— Ш‑ш‑ш, ну же, ну же. С младенцами такое случается. Бог дал — Бог взял.

— В коляске, миссис Лейбовиц. Рядом с кроватью. Да что ж я не взяла ее на ручки, она бы тогда не умерла. Зачем Господу младенцы, ну зачем ему младенцы?

— Не знаю, миссус. Кто ж знает. Нате‑ка вот супчика вкусненького. Силы хоть будут. Мальчики, несите миски. Вам тоже дам.

— Миссис Лейбовиц, а что такое миски?

— О, Фрэнки. Ты не знаешь, что такое миски? Это из чего суп едят, деточка. У тебя миски нет? Ну, кружки неси. Суп с горошком и чечевицей. Окорока не хватает, да? Знаю, ирландцы любят. Но чего нет, того нет, Фрэнки. Пейте, миссус. Пейте суп. — Она кормит маму с ложечки, вытирает капли у нее с подбородка.

Мы с Мэйлахи сидим на полу и едим суп из кружек, а близнецов кормим с ложки. Суп горячий и очень вкусный. Мама такой не готовит. Вот бы миссис Лейбовиц побыла моей мамой. А Фредди стал бы мной, и у него были бы мои мама и папа и Мэйлахи с близнецами. Только Маргарет у него бы теперь не было, потому что она как тот песик на дороге, которого унесли. Я не знаю, почему ее унесли. Мама сказала, она умерла из‑за коляски, наверное, это так же, как из‑за машины, когда она сбивает и человека уносят.

Так жалко, что малышка Маргарет не ест с нами суп. Я бы кормил ее с ложечки, как миссис Лейбовиц кормит маму. Она бы булькала ротиком и смеялась, как тогда с папой. Она больше бы не плакала, и мама тогда не лежала бы весь день и всю ночь, а папа рассказывал бы про Кухулина, и мне бы захотелось обратно к своим родителям. Миссис Лейбовиц добрая, но лучше пусть папа рассказывает мне про Кухулина, а Маргарет щебечет, и мама смеется, когда папа неуклюже танцует.

###### \* \* \*

Минни Макэдори тоже спешит к нам на помощь.

— Матерь Божья, миссис Лейбовиц, близнецы‑то смердят на всю округу.

— Про Матерь Божью не знаю, но помыть их давно пора. И подгузники поменять. Фрэнки, где чистые подгузники?

— Не знаю.

— У них тряпки вместо подгузников, — говорит Минни. — Сейчас Мэйзиных принесу. Фрэнки, сними с близнецов тряпки да выбрось.

Мэйлахи раздевает Оливера, а я вожусь с Юджином. Он крутится, булавка расстегивается и колет его в ножку. Он плачет и зовет маму. Но тут Минни приносит полотенце, мыло и горячую воду. Я помогаю отмыть близнецов от засохших какашек, и мне разрешают присыпать им тальком красные попы. Минни говорит, что мы молодцы и что у нее есть для нас большой сюрприз. Она уходит к себе в квартиру и возвращается с кастрюлькой картофельного пюре. В нем вдоволь соли и масла, и я тут же принимаюсь мечтать: вот бы Минни побыла моей мамой, тогда я все время бы так ел. Если б миссис Лейбовиц и Минни обе стали моими мамами, я бы объедался супом и картофельным пюре.

Минни и миссис Лейбовиц сидят за столом. Миссис Лейбовиц говорит, надо что‑то делать. Дети без присмотра, а отец вообще непонятно где. Минни шепчет, мол, сидит и пьет где‑нибудь. Миссис Лейбовиц говорит, это просто ужас какой‑то сколько ирландцы пьют. Минни возражает, что ее Дэн вообще спиртного в рот не берет, а еще он ей сказал, что когда бедная крошка умерла, Мэйлахи как с цепи сорвался: по всем пивнушкам на Флэтбуш‑авеню и Атлантик‑авеню прошелся, потом за привокзальные бары взялся, но там его отовсюду вышвыривали и давно бы в тюрьму забрали, не будь все это из‑за смерти малышки.

— У него тут четыре таких славных мальчугана, — говорит Минни, — а он так безутешен. Девочка в нем что‑то пробудила. Он даже не пил после того, как она родилась, а это уже само по себе чудо.

Миссис Лейбовиц спрашивает, где мамины кузины, те дородные женщины с тихими мужьями. Минни обещает найти их и рассказать, что дети бегают сами по себе и что у них уже попы болят от грязи, и все такое.

###### \* \* \*

Через два дня папа возвращается из своего похода за сигаретами и будит нас с Мэйлахи. От папы разит выпивкой. Он велит нам построиться на кухне, мол, мы его солдаты и должны сейчас же поклясться, что умрем за Ирландию.

— Клянемся, папа, клянемся.

Потом мы все вместе поем «Кевина Барри».

Рано утром в понедельник,

Во дворе тюрьмы Маунтджой

Кевин Барри распрощался

С жизнью со своей младой.

Восемнадцать лет от роду,

Совсем юный паренек,

За отчизну, за свободу,

Он взошел на эшафот[[29]](#footnote-29).

В дверь стучат. Это мистер Макэдори.

— Мэйлахи, перестань Христа ради, три утра же. Весь дом перебудил.

— Ох, Дэн, я только мальчиков поучу умирать за Ирландию.

— Днем поучишь, Мэйлахи.

— Так это срочно, Дэн, срочно.

— Знаю, Мэйлахи, но они же еще дети малые. Давай, ложись спать, как все приличные люди.

— Спать, Дэн?! Как же мне теперь спать? День и ночь перед глазами ее крохотное личико стоит, кудряшки черные, глазки голубые. Боже мой, Дэн, что же мне делать?! Может, она от голода умерла, а, Дэн?

— Конечно, нет. Жена же твоя ее кормила. Это Бог забрал. Ему лучше знать.

— Ну еще одну только песню, Дэн, и спать.

— Спокойной ночи, Мэйлахи.

— Ну, ребята. Пойте!

Во имя родины своей,

Где зелены луга,

Он жизнь свою готов отдать,

Смеясь в лицо врагам.

Идет Маккорли умирать

На Тумском на мосту.

Ведь твердо верит до конца,

В свою он правоту.

— Клянетесь умереть за Ирландию, ребятки?

— Да, папа.

— А с сестренкой вашей мы на небесах встретимся, да, ребятки?

— Да, папа.

###### \* \* \*

Мой братик спит стоя, уткнувшись лицом в ножку стола. Папа берет его на руки и, шатаясь, несет на постель к маме. Я тоже залезаю к ним, а папа, не раздеваясь, ложится рядом со мной. Мне хочется, чтобы он меня обнял, но он все поет про Родди Маккорли и бормочет, что Маргарет — его кудрявая голубоглазая малышка и что он нарядил бы ее в шелковое платьице и увез бы на Лох‑Ней. Потом за окном светает, и я засыпаю.

Мне снится Кухулин. На плече у него сидит большая зеленая птица и распевает про Кевина Барри и Родди Маккорли. Птица мне не нравится, потому что у нее с клюва капает кровь. В одной руке Кухулин держит Га‑Болг — копье столь тяжелое, что лишь одному ему под силу его метнуть. В другой руке у Кухулина банан — он протягивает его птице, но та клекочет и плюется кровью. И почему Кухулин это терпит? Если бы близнецы плевались в меня кровью, когда я даю им банан, я бы им этим бананом да по головам.

Утром папа сидит на кухне, и я рассказываю ему про свой сон. Он говорит, что в стародавние времена в Ирландии бананов не было, а если бы даже были, то Кухулин никогда бы не угостил бананом эту птицу, ведь она прилетела из Англии и уселась к нему на плечо, когда он умирал, прислонившись к валуну. Люди Эрина, то есть древней Ирландии, хотели его добить, но боялись подойти, а потом увидели, что птица пьет кровь Кухулина, и поняли, что теперь к нему можно приблизиться без опаски, грязные мерзкие трусы.

— С птицами настороже надо быть, Фрэнсис, и еще с англичанами, — заключает папа.

###### \* \* \*

Мама почти весь день лежит лицом к стене. Стоит ей выпить чаю или съесть что‑нибудь, ее тут же тошнит в ведро под кроватью и мне приходится выливать его в туалет и ополаскивать. Миссис Лейбовиц приносит ей суп и смешной хлеб косичкой. Мама пытается отрезать от него кусочек, но миссис Лейбовиц смеется и говорит, что нужно просто отрывать. Мэйлахи говорит, что это — хлеб‑рвачка, но миссис Лейбовиц объясняет, что хала, и учит нас, как это слово произносится.

— Ну, ирландцы, — качает она головой. — Хоть заучи вас, а все равно не сможете «хала» по‑еврейски сказать.

Минни Макэдори приносит картошку, капусту, иногда кусочек мяса.

— Ох, тяжелые нынче времена, Анджела, но мистер Рузвельт — хороший человек, он придумает, как всем работу дать, и твоему мужу тоже. Бедняга не виноват, что везде Депрессия эта. И так день и ночь работу ищет. Моему‑то Дэну повезло, четыре года уже в муниципалитете работает, да и не пьет совсем. А тоже ведь из Тума. Тут как повезет: одни пьют — другие нет. Это уж беда такая, ирландская. Поешь, Анджела, хоть силы будут, а то извела себя совсем.

Мистер Макэдори говорит папе, что в Управлении общественных работ могут помочь. Папе дают там работу, и он приносит домой деньги на еду. Мама встает, моет близнецов и кормит нас всех. А когда папа приходит домой с пьяным запахом, то денег нет и мама кричит на него. Близнецы начинают реветь, а мы с Мэйлахи убегаем на площадку. В такие вечера мама снова ложится в постель, а папа поет что‑нибудь грустное про Ирландию. Почему он не обнимет маму и не успокоит, как успокаивал нашу сестренку, которой больше нет? Почему не споет ей песенку, да хоть одну из тех, что пел Маргарет? Тогда бы мама перестала плакать. Он все так же будит нас с Мэйлахи по ночам, и мы стоим в одних рубашках и клянемся умереть за Ирландию. Как‑то раз он захотел, чтобы близнецы тоже поклялись, но они еще говорить‑то не умеют, и мама накричала на него, чтобы оставил детей в покое, а то совсем уже, дурень, спятил. Папа пообещал дать нам пятачок на мороженое, если поклянемся умереть за Ирландию. Мы клянемся, но пятачка нам так и не дают.

###### \* \* \*

Миссис Лейбовиц кормит нас супом, а Минни — картофельным пюре, и вместе они учат нас мыть близнецам попы и стирать пачканые пеленки. Миссис Лейбовиц называет их «подгузниками», а Минни — «пеленками», но как ни назови, близнецы все равно все закакают. Если мама лежит и не встает, а папа уходит искать работу, мы с Мэйлахи весь день делаем, что хотим. Например, качаем близнецов на качельке, пока они от голода не заревут.

— Эй, Фрэнки, поди сюда! — окликает меня итальянец из лавки. — Через дорогу только осторожно! Близнецы опять голодные? — Он дает нам немного сыра, окорока и бананов, но я не могу есть бананы после того, как та птица плевалась кровью в Кухулина.

Итальянец говорит, что его зовут мистер Димино, а там за прилавком — его жена, Анджела. Я говорю, что мою маму зовут так же.

— Вот это да! — удивляется итальянец. — А я думал, у ирландцев не бывает Анджел. Ты слышала, Анджела? Его маму так же зовут.

Анджела улыбается и говорит, что это очень мило.

Мистер Димино спрашивает меня про маму и папу и кто нам есть готовит. Я рассказываю, что еду приносят миссис Лейбовиц и Минни Макэдори, и еще про подгузники и пеленки, и что все равно, как называть — близнецы их так и так дерьмом перепачкают.

— Анджела, ты слышала? — смеется мистер Димино. — Вот ладно ты итальянка…

— Послушай, малыш, — обращается он ко мне. — Я потолкую с миссис Лейбовиц. Должны же быть родственники, которые могут помочь. Увидишь Минни Макэдори, скажи, пусть заглянет ко мне. Не дело это, что вы, ребятишки, сами по себе бегаете.

###### \* \* \*

У двери стоят две толстые тети.

— Ты кто? — спрашивают они меня.

— Я — Фрэнк.

— Фрэнк! А сколько тебе лет?

— Четыре, пять будет.

— А не мелковат ты для пяти?

— Не знаю.

— Мама дома?

— Да, лежит.

— А чего это она улеглась посредь бела дня?

— Спит.

— Ладно, пропусти нас, нам с ней поговорить надо.

Они заходят в комнату.

— Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, ну и вонь! А это что за дети?

К толстым тетям подбегает Мэйлахи, улыбаясь во весь рот. Зубы у него беленькие и ровные, глаза голубые, а щечки розовые. Ему тети улыбаются, а мне так не улыбались.

— Я Мэйлахи, — сообщает он. — А это Оливер и Юджин, они близнецы, а вон Фрэнки стоит.

— Ишь ты, смелый какой, — говорит тетя с темными волосами. — Я кузина твоей мамы, Филомена, и это тоже кузина твоей мамы, Делия. Я миссис Флинн, а Делия — миссис Форчун, вот так нас и зовите.

— Боже ж ты мой! — ахает Филомена. — Близнецы‑то голышом. У них, что, одежды нет?

— Пеленки все в дерьме, — отвечает Мэйлахи.

— Нет, вы только послушайте, — гаркает Делия. — Рот что помойка, да и неудивительно при таком папаше с Севера. Не говори это слово больше, оно плохое, ругательное. За такое в ад попадают.

— А что такое ад? — спрашивает Мэйлахи.

— Узнаешь в свое время, — грозит Делия.

Толстые тети садятся за стол вместе с миссис Лейбовиц и Минни Макэдори. Филомена говорит, они слышали, какой ужас случился с малышкой Анджелы и еще непонятно, что с тельцем сделали. И ей непонятно, и другим тоже, а Томми сразу все понял, что Мэйлахи с Севера сдал ребенка за деньги.

— Как это за деньги? — переспрашивает миссис Лейбовиц.

— А вот так, — отвечает Филомена. — Трупы увозят, а потом опыты на них ставят, и то, что от ребенка останется, похоронить‑то нельзя будет на освященной земле.

— Какой ужас! — восклицает миссис Лейбовиц. — Да разве отец или мать отдадут свое дитя на такое?

— Отдадут, отдадут, — говорит Делия. — Ежели к выпивке есть пристрастие. Пьяница и мать‑то родную продаст, что уж говорить о мертвом ребенке.

— Ой, — сокрушается миссис Лейбовиц, раскачиваясь на стуле. — Ой‑ой‑ой. Бедная малышка. Бедная мать. Слава Богу, у моего мужа нет этого, как вы сказали? Да, пристрастия. У ирландцев вот есть.

— У моего мужа нет, — возражает Филомена. — Коли придет домой с этим пристрастием, я ему рожу‑то разукрашу. Вот у Джимми, мужа Делии, оно есть. Как пятница — так шасть в салун.

— Ты на моего Джимми не наговаривай, — сердится Делия. — Он работает. Получку домой приносит.

— А все равно, глаз‑то с него не спускай, — наставляет ее Филомена. — А то пристрастие его одолеет, и будет еще один такой же Мэйлахи с Севера.

— Ты лучше за своим приглядывай, — говорит Делия. — Джимми‑то хоть ирландец, не то, что твой Томми из Бруклина.

И на это Филомене возразить нечего.

Минни качает на руках дочку, и толстые тети, говорят, что вот мол дитя так дитя: чистенькое, присмотренное, не то, что Анджелин выводок.

Филомена сокрушается, что не знает в кого Анджела такая грязнуля, у матери ее дома ни пылинки, хоть с полу ешь — так чисто.

Я слушаю их и не могу понять, зачем с полу, ни стола, ни стульев, что ли, нет?

Делия говорит, надо что‑то делать с Анджелой и детьми, потому что это позор, а не родственнички, и что надо, мол, написать матери Анджелы, а писать будет Филомена, потому что учитель в Лимерике говорил, что она руку на письме набила. Делия поясняет миссис Лейбовиц, что это значит красиво пишет.

Миссис Лейбовиц приносит ручку своего мужа, бумагу и конверт. Вчетвером женщины сидят за столом и сочиняют письмо к моей бабушке:

Дражайшая тетушка Маргарет,

Во первых строках письма сообщаю, что мы пребываем в наилучшем здравии, чего и Вам желаем. Муж мой, Томми, в добром здравии и трудится усердно, и муж Делии тоже трудится усердно и тоже в добром здравии, чего и вам желаем. А вот Анджела вовсе не в добром, о чем я и имею несчастье Вам сообщить. Недавно у нее умер ребенок, девочка, которую нарекли Маргарет, в Вашу честь. Анджела теперь сама не своя, целыми днями лежит, отвернувшись к стене. А что еще хуже, она, похоже, снова в тягости, и это уж слишком, скажу я Вам. Только одного ребенка потеряла, как другой уже на подходе. Уму непостижимо! Четыре года замужем, пять детей и шестой на подходе. А все потому, что выскочила за проходимца с Севера — совсем эти протестанты собой не владеют. Каждое утро он уходит якобы работу искать, а на самом деле ошивается в салунах — то пол подметет, то бочки потаскает, а заработанные гроши тут же на выпивку и спустит. Это просто ужас какой‑то, тетушка Маргарет. Мы все считаем, что Анджеле и детям будет лучше на родине. Времена сейчас тяжелые, так что денег на билеты у нас нет, но, может быть, у Вас найдутся?

С надеждой, что Вы пребываете в таком же добром здравии, что и мы, благодаренье Богу и его благословенной Матери.

Любящая Вас племянница,

Филомена Флинн (урожденная Макнамара)

а также еще одна Ваша племянница

Делия Форчун (тоже, разумеется, урожденная Макнамара, ха‑ха‑ха).

###### \* \* \*

Бабушка Шихан выслала Филомене и Делии денег. Они купили нам билеты, раздобыли чемодан в Обществе Святого Викентия де Поля[[30]](#footnote-30), наняли фургон, который отвез нас на пристань Манхэттена, сказали «До свиданьица и слава Богу» и удалились.

Пароход отчалил, и мама показала нам статую Свободы и остров Элис, куда причаливают эмигранты, потом перегнулась через поручни, и ее стошнило, а ветер Атлантики принес все это обратно к нам и к другим пассажирам, которые любовались видом. Пассажиры заругались и убежали, к нам слетелись чайки со всей округи, а бледная мама обессиленно повисла на поручнях.

## II

Спустя неделю мы прибыли в Мовилл, что в графстве Донегол, там сели на автобус до Белфаста, а оттуда на другом автобусе доехали до городка Тум в графстве Антрим. Оставив багаж в лавке, дальше мы пошли пешком, а идти до дома дедушки Маккорта надо было около двух миль. Дорога тонула в темноте, рассвет еще только занимался где‑то за холмами.

Папа нес близнецов, которые по очереди ревели от голода. Мама то и дело останавливалась и садилась на каменную ограду передохнуть. Мы садились рядом и смотрели, как небо алеет, а потом становится голубым. На деревьях защебетали и запели птички, а когда совсем рассвело, мы увидели, что на поле стоят какие‑то странные звери и смотрят на нас.

— Пап, кто это? — спросил Мэйлахи.

— Коровы, сынок.

— А кто такие коровы?

— Коровы это просто коровы, сынок.

Мы пошагали дальше, стало еще светлее, и на другом поле стояли еще какие‑то звери — белые и лохматые.

— Пап, а это кто? — спросил Мэйлахи.

— Овцы, сын.

— А кто такие овцы?

— Хватит уже! — рявкнул папа. — Овцы это овцы, коровы это коровы, а вон там вообще коза. Просто коза и все. Она дает молоко, овцы дают шерсть, коровы дают все. Ну, что тебе все неймется, а?

Мэйлахи заскулил от страха — папа никогда раньше не повышал на нас голос. Да, бывало будил по ночам и велел поклясться, что мы умрем за Ирландию, но никогда не кричал вот так.

Мэйлахи кинулся к маме.

— Ну, будет, будет, милый. Просто папа устал, он близнецов несет, а когда тяжело, не до вопросов, — сказала она.

Папа опустил близнецов на землю и протянул руки к Мэйлахи. Близнецы кинулись в рев, а Мэйлахи, всхлипывая, прижался к маме. Коровы мычали, овцы бекали, коза мекала, птицы на ветках чирикали, и вдруг посреди всего этого шума бибикнул автомобиль.

— Боже милосердный! — изумленно воскликнул человек за рулем. — Что вы тут делаете в такую рань, да еще и в светлое Христово воскресенье?

— Доброе утро, святой отец, — поздоровался папа.

— Отец? — переспросил я. — Папа, это твой папа?

— Не задавай вопросов, — шикнула мама.

— Нет‑нет, — ответил папа. — Это священник.

— А кто такой свя…? — начал Мэйлахи, но мама зажала ему рот рукой.

У священника были совсем седые волосы и белый воротничок.

— Куда вы идете?

— В Манигласс, к Маккортам, — ответил папа, а священник сказал, что он нас подвезет и что Маккорты — хорошее семейство, добрые католики — некоторые даже причащаются ежедневно, и что он надеется увидеть всех нас на мессе, особенно этих маленьких янки, которые даже не знают, кто такой священник, Господи, помоги нам.

Возле дома мама тянется к щеколде на двери.

— Нет‑нет, — останавливает ее папа. — Парадный вход только для священника или когда похороны.

С другой стороны дома есть еще дверь. Папа открывает ее и там, на кухне сидит дедушка Маккорт и пьет чай из большой кружки, а бабушка Маккорт что‑то жарит на сковородке.

— Ага, вот и вы, — говорит дедушка.

— Ага, мы, — отвечает папа, потом показывает на маму: — Это Анджела.

— Ага, вы, наверное, устали, Анджела.

Бабушка вообще ничего не говорит, просто отворачивается к плите.

Дедушка ведет нас в большую комнату, где стоят длинный стол и стулья.

— Садитесь, чаю выпейте, — приглашает дедушка. — Оладьев хотите?

— Что такое оладьи? — тут же спрашивает Мэйлахи.

— Блинчики такие, — смеется папа. — Из картошки.

— Еще яйца есть, — говорит дедушка. — Нынче Пасха, ешьте яиц вдоволь.

Мы едим вареные яйца, пьем чай с оладьями и идем спать. Я просыпаюсь на кровати рядом с Мэйлахи и близнецами. Папа с мамой спят на другой кровати, у окна. Где я? За окном темно. Нет, это не пароход. Громкому папиному храпу вторит тоненький мамин. Мне хочется писать. Я встаю и тормошу папу.

— Писай в горшок, — говорит он.

— Куда?

— В ночной горшок, под кроватью. На нем розочки и девицы пляшут на лужочке. Туда и писай.

Я уже еле терплю, но мне хочется выспросить у папы, про что это он, потому что странно писать в какой‑то там горшок с розами и девицами. На Классон‑авеню, где миссис Лейбовиц пела в уборной, а мы ждали в коридоре, держась за штанишки, ничего подобного не было.

Теперь и Мэйлахи хочет на горшок, но ему надо сесть. Папа говорит, что тогда пойдем на двор, и мне тоже начинает хотеться по большому. Папа ведет нас вниз и через большую комнату. Дедушка читает у огня, а бабушка дремлет в кресле. На улице ночь, но нам светит луна. Папа открывает дверь какого‑то маленького домика, и там — сиденье с дыркой. Папа объясняет нам с Мэйлахи, как нужно сесть и как подтираться газетными обрывками, наколотыми на гвоздик. Потом велит нам подождать, закрывается в домике и кряхтит. Луна светит так ярко, что видно коров и овец на поле, — странно, почему они не уходят домой.

В комнате, где были только бабушка с дедушкой, прибавилось народу.

— Это ваши тетушки: Эмили, Нора, Мэгги и Вера, — говорит папа. — Еще есть тетя Ева, но она живет в Баллимене со своими детками, такими же как вы.

Тетушки не похожи на миссис Лейбовиц и Минни Макэдори — не обнимают нас и не улыбаются, только кивают.

В комнату заходит мама с близнецами, и папа говорит сестрам, что это Анджела и близнецы; тетушки снова кивают.

Бабушка уходит на кухню, и вскоре мы пьем чай с хлебом и сосисками. За столом говорит один Мэйлахи. Он показывает ложкой на тетушек и просит повторить, как их зовут. Мама велит ему есть молча. Глаза Мэйлахи наполняются слезами, и тогда тетя Нора гладит его по голове:

— Ну, будет, будет.

Интересно, почему все так говорят, когда Мэйлахи плачет, и что же все‑таки «будет»?

Потом все долго молчат.

— Дела в Америке обстоят ужасно, — наконец произносит папа.

— Да уж, — соглашается бабушка. — Читала в газете. Но говорят, мистер Рузвельт — хороший человек, и кабы ты не уехал, то, может, уже с работой был бы.

Папа качает головой.

— Не знаю, что тебе делать, Мэйлахи. Тут еще хуже, чем в Америке. Работы нет, и, видит Бог, еще шестеро у нас не поместятся.

— На фермах работу поищу. И домик какой‑нибудь маленький.

— А пока где жить собираетесь? — спрашивает бабушка. — И на что?

— Ну, пособие дадут, наверное.

— Думаешь, приплыли из Америки и сразу нате вам пособие? — замечает дедушка. — Его жди‑пожди еще, а до тех пор что делать будешь?

Папа молчит, а мама смотрит в стену перед собой.

— Лучше вам в Свободное Государство[[31]](#footnote-31) ехать, — предлагает бабушка. — Дублин — город большой, а на фермах в округе поболе работы будет.

— Тебе еще от ИРА деньги причитаются, — говорит дедушка. — Ты же свой долг перед страной исполнил, а в Дублине сейчас за это деньги раздают. Вот и поезжай, там помогут. Денег на автобус одолжим. Близнецы на коленях у вас посидят, за них платить не нужно.

— Ага, ладно, — соглашается папа, а мама так и смотрит перед собой, и глаза у нее мокрые от слез.

###### \* \* \*

Мы поели и снова легли спать, а наутро все взрослые сидели с грустными лицами. Вскоре за нами приехала машина и отвезла нас обратно в лавку, где остался наш чемодан. Его подняли на крышу автобуса, и мы поехали дальше. Папа сказал, что в Дублин.

— А что такое Дублин? — спросил Мэйлахи.

Ему никто не ответил. Папа взял на колени Юджина, мама — Оливера. Папа смотрел на поля за окном и говорил мне, что вот тут Кухулин и любил гулять.

— А где же он угодил шаром в пасть псу?

— В нескольких милях отсюда, — ответил папа.

— Смотрите, смотрите! — закричал Мэйлахи.

За окном разлилась серебром огромная водная гладь, и папа сказал, что это Лох‑Ней — самое большое озеро в Ирландии, то самое, в котором Кухулин купался после великих сражений. Разгорячившись в бою, он нырял в озеро, вода вскипала и била ключом, и во всех окрестных деревнях много дней стояла теплая погода. Когда‑нибудь мы еще приедем сюда и будем купаться, как Кухулин, а потом наловим угрей и зажарим их на сковородке, хотя вот Кухулин их не жарил, а живьем ел, потому что они дают богатырскую силу.

— Правда, пап?

— Правда.

А мама не стала глядеть на Лох‑Ней. Она сидела, прижавшись щекой к макушке Оливера, и смотрела в пол.

###### \* \* \*

И вот мы въезжаем в город, где большие дома, много автомобилей, телег с лошадьми, велосипедистов и пешеходов.

— Папа, папа, где площадка, где качели? Я хочу к Фредди Лейбовицу! — радуется Мэйлахи.

— Ох, сынок, ты в Дублине, тут нет Классон‑авеню. Мы же в Ирландии, далеко‑далеко от Нью‑Йорка.

Автобус останавливается, нам снимают чемодан с крыши. Папа предлагает маме подождать на лавочке, а он сходит к одному человеку из ИРА — тот в предместье Тереньюр живет. На вокзале туалеты есть, мальчиков сводить можно, а папа только за деньгами туда и обратно, придет — и поедим как следует. Он зовет меня с собой, но мама не отпускает, потому что я нужен ей здесь. А папа говорит, что я ему деньги помогу нести, целую кучу.

— Ладно, иди с папкой, — смеется мама.

«С папкой»… Значит, настроение у нее хорошее, было бы плохое, сказала бы «с отцом».

Я семеню рядом с папой, держась за его руку. Идет он быстро, до Тереньюра далеко, и я все жду, что он понесет меня, как тогда близнецов в Туме. Но папа шагает молча, только иногда спрашивает у кого‑нибудь дорогу. Спустя некоторое время он объявляет, что мы пришли и теперь надо найти человека по имени Чарльз Хеггарти. Какой‑то человек с розовой повязкой на глазу подтверждает, что это нужная нам улица, а Чарльз Хеггарти, будь он неладен, живет в доме четырнадцать.

— Что, поди за свободу боролись? — спрашивает папу человек с повязкой.

— Да, боролся.

— Я тоже, а толку? Глаза лишился, а на пенсию и канарейку не прокормишь.

— Главное, Ирландия свободна, — возражает папа. — И это великое дело.

— Ха, свободна, — ухмыляется человек. — При англичанах лучше было. Ладно, удачи вам, мистер, я уж догадываюсь, зачем вы пожаловали.

Дверь нам открывает какая‑то женщина.

— Боюсь, мистер Хеггарти занят, — говорит она.

Папа объясняет ей, что он только что прошагал пол‑Дублина с маленьким сыном, а жену с тремя остальными детьми оставил ждать на вокзале, и если мистер Хеггарти так уж занят, то мы на пороге сядем и будем сидеть.

Женщина уходит, через минутку возвращается, говорит, что у мистера Хеггарти нашлось немножко времени, и показывает, куда пройти.

Мистер Хеггарти сидит за столом у камина.

— Чем могу помочь? — спрашивает он.

Папа подходит к столу.

— Я только что вернулся из Америки с женой и четырьмя детьми. У нас нет средств. Я воевал в «Летучем отряде»[[32]](#footnote-32), и надеюсь, что вы меня в беде не оставите.

Мистер Хеггарти листает толстую книгу, которая лежит у него на столе.

— Вас нет в списках, — качает он головой.

Папа произносит длинную речь. Рассказывает мистеру Хеггарти о том, как он сражался, где, когда, как ему помогли бежать из Ирландии, потому что за его голову был назначен выкуп, и как он учил сыновей любить Ирландию.

Мистер Хеггарти говорит, что сожалеет, но он не может выдавать деньги каждому, кто приходит сюда и утверждает, что исполнил свой долг перед родиной.

— Запомни, Фрэнсис, — говорит папа. — Вот она, новая Ирландия. Жалкие людишки с жалкими бумажонками. Не за такую Ирландию люди кровь проливали.

Мистер Хеггарти говорит, что рассмотрит папин запрос и обязательно сообщит, если что‑то узнает, и что пока даст нам денег на автобус.

— Может, чуток прибавите? Тогда на кружечку хватит, — говорит папа, глядя на монеты на ладони мистера Хеггарти.

— Так вам, главное, напиться что ли?

— Ну, одной‑то кружечкой разве напьешься.

— И вы назад пойдете пешком и ребенка за собой потащите, потому что пинта вам важнее?

— Ходьба еще никому не вредила.

— Вон из моего дома! — заявляет мистер Хеггарти. — Не то полицию вызову, и уж не сомневайтесь, делом вашим я заниматься не стану. Семейству Гиннесс мы деньги жертвовать не намерены.

На улицы Дублина опускается ночь. Дети хохочут, играя в свете уличных фонарей, матери зовут их домой ужинать, отовсюду пахнет чем‑то вкусным, в окна видно, что люди сидят за столами и едят. Я устал и голоден и хочу к папе на ручки, но у него лицо как каменное. Он держит меня за руку, и я почти бегу за ним до самого вокзала.

Мама и три моих братика спят на лавочке. Папа говорит маме, что денег нет.

— Господи, что же нам делать? — всхлипывает мама, качая головой.

К нам подходит какой‑то человек в синей униформе.

— Что случилось, миссус?

Папа говорит ему, что нам некуда податься, денег у нас нет и переночевать негде, а дети голодные. Человек говорит, что как раз сдает дежурство, ему так и так идти в участок отмечаться, а там придумают что‑нибудь. Еще говорит, что он — гард: так именуются полицейские в Ирландии, и спрашивает, как называют полицейских в Америке.

— Копы, — отвечает Мэйлахи.

— Какой смышленый маленький янки, — говорит гард и гладит его по голове.

В участке сержант сообщает нам, что переночевать можно в бараке, но, к сожалению, спать придется на полу. Сегодня четверг, и все камеры забиты мужчинами, которые пропили пособие по безработице и ни в какую не хотели уходить из пабов.

Гард приносит нам горячий сладкий чай и толстые ломти хлеба с маслом и вареньем, и мы довольные носимся по всему участку. Гарды называют нас славной бандой и малышами‑янки и говорят, что заберут нас к себе домой.

— Нет! — протестую я.

— Нет! — повторяет Мэйлахи.

— Нет‑нет! — пищат близнецы.

Гарды хохочут. Заключенные тянут руки сквозь решетку, гладят нас по головам. От них пахнет как от папы, когда он приходит домой, распевая про Кевина Барри и Родди Маккорли.

— Надо же, языкастые какие! — восхищаются заключенные. — Ну чисто кинозвезды. Откуда ж вы к нам такие пожаловали?

Женщины из камер в другом конце коридора кричат, что Мэйлахи — красавчик, а близняшки просто лапочки!

— Поди сюда, милок, конфетку хочешь? — обращается ко мне какая‑то тетя.

Я киваю, и она продолжает:

— Вот и славно, ручку давай. — Она вынимает что‑то изо рта и сует мне в руку.

— Вот тебе ириска, вкусненькая. Ну же, клади в рот скорее.

Я не хочу ириску, потому что она липкая и облизанная, но я не знаю, как себя вести, когда заключенная дает тебе ириску, и уже собираюсь положить ее в рот, но ко мне подходит гард, забирает ириску и швыряет ее обратно тете.

— Шлюха пьяная, — говорит он. — К ребенку бы хоть не лезла!

Женщины смеются.

Сержант дает маме одеяло, и она засыпает, вытянувшись на лавке. Мы все ложимся на пол. Папа сидит у стены и не спит — глаза у него блестят из‑под козырька кепки; гарды угощают его сигаретами, и он закуривает. Оказывается, гард, который швырнул ириску, сам родом из Баллимены на Севере, и они с папой вспоминают общих знакомых оттуда, и еще из Кушендалла и Тума. Гард говорит, что когда выйдет на пенсию, поселится на берегу Лох‑Ней и тогда уж порыбачит вдоволь.

— Угорьков наловлю! — мечтает он. — Шибко они вкусные, жареные‑то.

— Пап, этот дядя Кухулин? — спрашиваю я.

Гард хохочет так, что лицо у него становится совсем красным.

— Вы слыхали? Кухулин, надо же! Ну, малец. Хоть и янки, а Кухулина знает!

— Нет, дядя не Кухулин, — говорит папа. — Просто хороший человек, который когда‑нибудь поселится на берегу Лох‑Ней и будет рыбачить сколько захочет, — говорит папа.

###### \* \* \*

— Фрэнсис, вставай! — тормошит меня папа. — Пора!

В бараках шумно. Какой‑то парень моет пол и поет:

Всем понятно, почему

Дорог мне твой поцелуй.

Все поверить не могу,

Что и я любим тобой.

Я говорю ему, что нельзя петь эту песню, потому что она мамина, но он молча попыхивает сигаретой и уходит, а я сижу и удивляюсь: как это люди смеют петь чужие песни?! Заключенные, ворча и позевывая, выходят из камер.

— Ты уж прости меня, малыш, за шутку, — говорит мне тетя с ириской. — Перебрала я вчера малость.

— Шевелись, давай, шлюха старая, не то опять за решетку упеку, — грозит ей гард.

— Ну и упекай, синезадый, — кричит она. — Как сяду, так и выйду.

Мама сидит на лавке, закутавшись в одеяло.

Какая‑то седая женщина приносит ей чашку чая.

— Я — жена сержанта, — представляется она. — Муж сказал, помочь вам надо. Яичко всмятку желаете, а, миссус?

Мама качает головой.

— Ну же, ну же, миссус, в вашем‑то положении надо яичко скушать.

Но мама снова качает головой, я не понимаю, как можно отказываться от яичка всмятку, ведь на свете ничего вкуснее нет!

— Ладно, мэм, — говорит сержантова жена. — Я тогда вам гренок принесу и что‑нибудь детям и вашему бедному мужу.

Она уходит в другую комнату и приносит чай и хлеб. Папа пьет чай, а хлеб отдает нам.

— Да ешь ты уже свой хлеб, ради бога, — ругает его мама. — Свалишься с голоду, какой от тебя толк тогда?

Папа качает головой и говорит сержантовой жене, что ему бы лучше сигаретку. Та приносит сигарету и сообщает маме, что гарды собрали денег нам на билет и что машина отвезет нас с чемоданом на вокзал Кингсбридж, а там каких‑то три‑четыре часа — и мы в Лимерике.

Мама обнимает ее и благодарит:

— Храни Господь вас и мужа вашего, и всех гардов. Не знаю, что бы мы без вас делали. Вот что значит среди своих быть.

— Что вы, это сущая мелочь, — улыбается сержантова жена. — Ребятки у вас славные такие, а я сама из Корка, знаю, что значит оказаться в Дублине без гроша.

Папа сидит на другом конце лавки, пьет чай и курит. Потом приезжает автомобиль и везет нас по улицам Дублина. Папа спрашивает водителя, нельзя ли заехать на главный почтамт.

— Марку что ль хотите? — спрашивает водитель.

— Нет, — отвечает папа. — Говорят, там статую Кухулина поставили в память о тех, кто погиб в тысяча девятьсот шестнадцатом. Вот, сыну старшему хочу показать — уж очень он Кухулина любит.

Водитель говорит, что знать не знает, кто такой Кухулин, но он и сам не прочь посмотреть, что там за диво такое — с детства не главпочтамте не был, а англичане чуть не разнесли его по камушку, когда палили с того берега Лиффи[[33]](#footnote-33).

— По всему фасаду дыры от пуль, — добавляет водитель. — Так и надо оставить, чтоб ирландцы не забывали про вероломство англичан.

Я спрашиваю его, что такое вероломство, но он говорит, мол, папу спроси, и я собираюсь спросить, но тут мы подъезжаем к большому дому с колоннами. Это и есть главпочтамт.

Мама остается в машине, а мы идем за водителем на главпочтамт.

— Вот твой Кухулин, — говорит он мне, когда мы заходим внутрь.

К глазам моим подступают слезы — наконец‑то я вижу самого Кухулина. Он тут, стоит на пьедестале, весь золотой. Волосы у него длинные, голова опущена, а на плече сидит большая птица.

— Ну и что это такое, скажите на милость? — возмущается водитель. — Какой‑то кудлатый парень, да еще и с птицей на плече. И при чем тут герои тысяча девятьсот шестнадцатого года?

— Кухулин сражался до конца, как и повстанцы на Красную Пасху, — отвечает папа. — Враги долго не решались к нему подойти, и только когда птица стала пить его кровь, им стало ясно, что он мертв.

— Беда ирландцам, коли без птицы не разберут, помер человек или нет, — хмыкает водитель. — Пойдемте‑ка, а то на поезд опоздаете.

###### \* \* \*

Сержантова жена обещала послать телеграмму бабушке в Лимерик, и вот наша бабушка пришла нас встречать на вокзал — у нее седые волосы, черная шаль и мрачный взгляд, и она даже ни разу не улыбнулась ни маме, ни нам, ни даже Мэйлахи, у которого ангельская улыбка и ровные белые зубки.

— Это Мэйлахи, — указала мама на папу.

Бабушка кивнула и отвернулась. Потом позвала двух мальчишек, которые ошивались около вокзала, и дала им по монетке, чтоб несли чемодан. Мальчишки с бритыми головами и хлюпающими носами шлепали босиком по улицам Лимерика, а мы шли вслед за ними. Я спросил маму, почему мальчики лысые, и она ответила, что так вшам негде прятаться.

— А кто такая вша? — поинтересовался Мэйлахи.

— Не вша, а вошь, — поправила его мама.

— А ну, перестаньте! — рассердилась бабушка. — Нашли о чем болтать.

Мальчишки семенили впереди, насвистывая и смеясь, будто им нипочем, что они босые.

— Хватит смеяться! — прикрикнула на них бабушка. — А то чемодан уроните да сломаете.

Мальчишки замолчали, потом свернули в какой‑то парк, где на высокой колонне стояла статуя, а трава была такая зеленая, что глазам больно.

Папа нес близнецов, а мама в одной руке несла сумку, а другой держала за руку Мэйлахи, и то и дело останавливалась, чтобы перевести дух.

— Все куришь? — проворчала бабушка. — Гляди, помрешь раньше времени. В Лимерике и так чахотка, куда уж курить‑то еще. Придурь это все богатейская.

Вдоль дорожки пестрели россыпи цветов. Увидев их, близнецы запищали от восторга. Мы все засмеялись, только бабушка молчала и еще плотнее куталась в шаль. Папа опустил близнецов на землю, чтобы они полюбовались цветочками.

— Это цветы, — сказал он, и близнецы принялись носиться взад‑вперед, пытаясь выговорить слово «цветы».

— Они что, американцы? — удивился один из мальчишек.

— Да, — ответила мама. — В Нью‑Йорке родились. Все мои мальчики там родились.

— Взаправду американцы, — сказал мальчишка своему товарищу.

Они поставили чемодан на землю и уставились на нас, а мы — на них.

— Будете весь день тут стоять и пялиться на цветочки и друг на друга? — рассердилась бабушка.

Мы вышли из парка на узкую улочку, а потом перешли на другую, которая вела к бабушкиному дому.

На каждой стороне улочки ряд маленьких домов, один из них бабушкин. На кухне черная блестящая печка, в ней горит огонь. У окна стол, напротив — буфет с чашками, блюдцами и вазами. Буфет заперт, а ключ от него бабушка хранит в кошельке и никому не дает, потому что посуду оттуда достают только, если кто‑то умер или вернулся из‑за границы, или когда священник приходит.

Над печкой висит картина, на ней изображен человек с длинными каштановыми волосами и грустными глазами. Он указывает себе на грудь, в которой «полыхает» большое сердце.

— Это Святейшее Сердце Иисуса, — говорит мама.

Я интересуюсь, почему у этого человека горит сердце и он не плеснет на него водой?

— Эти дети что, совсем ничего о своей вере не знают? — удивляется бабушка.

— В Америке все по‑другому, — отвечает мама.

— Святейшее Сердце везде есть, так что это не оправдание невежеству, — ворчит бабушка.

Под картиной человека с горящим сердцем, на полочке, стоит красный стаканчик, в котором мерцает свечка, а рядом — маленькая восковая куколка.

— Это Пражский Младенец Иисус, — поясняет ма‑ма. — Молитесь ему, когда вам что‑то нужно.

— Мам, а можно ему сказать, что я очень есть хочу? — спрашивает Мэйлахи, но мама прижимает палец к губам.

Бабушка с ворчанием ходит по кухне, заваривает чай и велит маме нарезать хлеб, да чтоб не толсто. Мама сидит у стола, тяжело дыша, и говорит, что сейчас, только отдохнет минутку. Папа берет нож и начинает резать хлеб, а бабушке это явно не нравится. Она хмурится, но молчит, хоть куски и выходят толстые.

Стульев всем не хватает — мы с братьями устраиваемся на крыльце, пьем чай и едим хлеб. Мама с папой сидят за столом, а бабушка с кружкой чая сидит под Святейшим Сердцем.

— Бог свидетель, не знаю я, куда вас всех девать. В доме и одному‑то места нет, а тут ишь сколько.

— Ишь‑ишь, — хихикает Мэйлахи.

И я тоже говорю:

— Ишь‑ишь.

Близнецы повторяют за мной, и мы все смеемся так, что чуть не давимся хлебом.

— Ишь чего, смеются они, — зыркает на нас бабушка. — Что в этом доме смешного?! Ишь разбаловались, вот я вам сейчас!

Когда она снова говорит «ишь», Мэйлахи так заходится смехом, что хлеб и чай летят у него изо рта во все стороны, а лицо становится совсем красным.

— Мэйлахи, а ну угомонись, и вы все тоже! — велит папа.

Но Мэйлахи никак не успокаивается.

— Поди‑ка сюда, — велит папа. Потом закатывает рукав у Мэйлахи и замахивается ударить его по руке.

— Будешь вести себя как следует?

Глаза Мэйлахи наполняются слезами, и он кивает, потому что папа никогда раньше не замахивался.

— Вот и ладно, иди к братьям и посидите спокойно. — Папа опускает рукав Мэйлахи и гладит его по голове.

###### \* \* \*

Вечером мамина сестра, тетя Эгги, пришла с работы — со швейной фабрики. Тетя Эгги такая же толстая, как тетушки Макнамара, а волосы у нее огненно‑рыжие. Пристроив большой велосипед в комнатушке за кухней, она села ужинать. Тетя Эгги тоже жила у бабушки, потому что поссорилась с мужем, Па Китингом, который спьяну сказал ей, что она жирная корова и пусть уходит жить к своей мамаше. Это бабушка маме рассказала. И теперь места в доме совсем не осталось, потому что, кроме бабушки, тут живут тетя Эгги и сын бабушки, мой дядя Пэт, который ушел в город газеты продавать.

Тетя Эгги разворчалась, услышав от бабушки, что ей сегодня придется спать вместе с мамой.

— Закрой глотку‑то, — велела бабушка. — Одну ночь потерпишь, а не нравится — шагай к мужу, там твое место. Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, ну что за дом! Ты, Пэт, а теперь еще и Анджела со своим американским выводком. И в старости никакого спокою нет.

Она постелила пальто и всякое тряпье на полу в комнатушке за кухней, и мы легли спать рядом с велосипедом. А папа так и просидел всю ночь на стуле, только сводил нас во двор, когда нам приспичило, да успокаивал близнецов, когда те заплакали от холода.

Утром тетя Эгги пришла к нам за велосипедом.

— А ну, подвиньсь! Кыш с дороги!

Она ушла, а Мэйлахи все повторял:

— Подвиньсь! Кыш с дороги!

Папа на кухне засмеялся, но потом пришла бабушка и он шикнул на Мэйлахи, чтоб тот перестал.

Днем бабушка с мамой отправились на поиски жилья и нашли меблированную комнату на Уиндмилл‑стрит — на той же улице, где жила тетя Эгги со своим мужем, Па Китингом. Бабушка заплатила десять шиллингов за две недели вперед, дала маме денег на еду, одолжила нам чайник, кастрюльку, сковородку, ножи и ложки, банки из‑под варенья вместо кружек, одеяло и подушку.

Она сказала, что больше ничего нам дать не может и пусть папа оторвет свой зад от стула и ищет работу или идет за пособием по безработице, или в Общество Святого Викентия де Поля.

В комнате был камин, где можно вскипятить воду или сварить яйцо, если мы разживемся деньгами. Еще нам достались стол, три стула и кровать — мама сказала, что никогда такой большой не видела. Здорово, что наконец‑то можно спать на кровати, а то мы везде спали на полу: и в Дублине, и у бабушки. Ничего, что у нас одна кровать на шестерых, главное, что мы теперь сами по себе, а не у бабушек и не у гардов. Можно сколько угодно говорить «ишь, ишь» и смеяться.

Мама с папой легли ближе к изголовью кровати, мы с Мэйлахи — в ногах, а близнецы пристроились там, где нашли место. Мэйлахи снова смешил нас тем, что говорил то «ишь‑ишь», то «ой‑ой». Потом он уснул. Мама тоже тоненько засопела. В лунном свете мне было видно, что папа на том конце кровати не спал, так что, когда Оливер заплакал во сне, он стал его успокаивать.

Потом Юджин вскочил и принялся чесаться.

— Ай‑ай, мамочка, мамочка! — кричал он.

— Что, что, сынок? — поднялся папа.

Юджин все ревел, тогда папа вскочил с постели, включил газовую лампу, и мы увидели кучу блох. Они прыгали по нам и впивались в кожу. Мы принялись их хлопать, но они перескакивали с одного на другого и снова больно кусались. Мы расчесали укусы до крови. Все повскакивали с постели, близнецы плакали, мама причитала:

— Боже мой, да неужели нам нигде покоя не будет!

Папа налил в банку воды, размешал в ней соль и смазал укусы. Соленая вода жглась, но папа сказал, что скоро все пройдет.

Мама села у камина и взяла близнецов к себе на колени. Папа натянул штаны, стащил с кровати матрас и выволок его на улицу. Потом налил воды в чайник и в кастрюлю, прислонил матрас к стене и принялся колотить по нему ботинком, а мне велел лить воду на землю, чтобы блохи сразу тонули. Над Лимериком ярко светила луна, ее отражение дрожало в воде, и мне хотелось его поймать, но много тут наловишь, когда у тебя по ногам скачут блохи. Папа бил ботинком по матрасу, а мне приходилось то и дело бегать на задний двор и наполнять чайник и кастрюлю водой из крана.

— Посмотри на себя, — причитала мама каждый раз, когда я пробегал по дому. — Ботинки насквозь промочил, замерзнешь же до смерти, а отец твой, как пить дать, свалится с воспалением легких — босой ведь стоит.

К нам подкатил на велосипеде какой‑то человек и спросил папу, зачем ему понадобилось ночью выбивать матрас.

— Матерь Божья! — удивился он. — Никогда не слышал, чтоб так блох выгоняли. А известно ли вам, что если бы человек мог прыгать, как блоха, то одним прыжком преодолел бы половину расстояния до Луны? Вы лучше знаете что сделайте? Переверните матрас на кровати, эти мелкие твари запутаются, где верх, где низ и покусают матрас или друг друга, а до вас не доберутся. А то стоит блохе человека куснуть, как она звереет сразу, а когда вокруг еще другие блохи, то все вместе они от запаха человеческой крови совсем дурные делаются. С блохами жить — сущее мучение, уж я‑то знаю — в Айриштауне[[34]](#footnote-34) вырос, там блох целые полчища водились, да наглые какие! Бывало сядут тебе на башмак и ведут беседу о тяжелой судьбе ирландского народа.

Говорят, в древней Ирландии блох не было — это англичане их сюда завезли, чтоб уж окончательно нас допечь. С них станется. И вот что любопытно: святой Патрик изгнал из Ирландии змей, зато англичане завезли блох. Столько веков в Ирландии царили тишь да благодать: ни единой змеи или блохи. Весь изумрудный остров вдоль и поперек исходить можно и по ночам спать спокойно. Хотя от змей особой беды‑то и не было: они человека не трогали, ежели он сам к ним не лез, а промышляли живностью всякой, что по кустам да в траве прячется, а вот блохи, те готовы человечью кровь сосать с утра до ночи, ну, не могут они без этого, такими уж уродились. Я слыхал, что там, где змей много, блох вовсе нет. В Аризоне, к примеру. И вот все твердят: «Аризонские змеи, аризонские змеи». А про блох тамошних разве кто слышал? Ну ладно, удачи вам. Я тут встал, не подумавши, а вдруг какая‑нибудь блошка на меня перепрыгнет и всех родичей с собой позовет. Блохи же плодятся быстрей, чем индусы.

— Сигаретки у вас не найдется? — спросил папа.

— А как же, найдется, конечно. Вот вам, пожалуйста. Я себе этими сигаретами здоровье почти загубил. Кашель чертов мучает. Да сильный такой, чуть с велосипеда не слетаю. Сначала защекочет где‑то в солнечном сплетении, потом подымается все выше и выше и как шибанет в голову. — Он чиркает спичкой о коробок, зажигает сигарету и протягивает спички папе. — Но вообще, чтоб жить в Лимерике — и не кашлять, такого не бывает. Это же столица слабых легких, а если легкие слабые, то и до чахотки недалеко. Если бы все чахоточные Лимерика разом померли, тут бы город призраков образовался. У меня‑то не чахотка, меня кашлем немцы наградили. — Он помолчал, затянулся сигаретой и тут же закашлялся. — Черт их раздери, эти сигареты, простите уж, что выражаюсь, доконают они меня когда‑нибудь. Ну, ладно, занимайтесь дальше матрасом, да не забудьте, что я сказал: сбейте с толку этих тварей.

И он покатил дальше на вихляющемся велосипеде, попыхивая сигаретой и сотрясаясь от кашля.

— До чего болтливый народ в Лимерике, — заметил папа. — Ладно, вернем матрас на место и попробуем уснуть.

Мама сидит у огня, близнецы спят у нее на коленях, а Мэйлахи — свернувшись калачиком на полу у ее ног.

— С кем это вы говорили? Не с Эггиным ли мужем, Па Китингом? Уж больно похож, тоже кашляет сильно. Он на войне во Франции газу наглотался.

Остаток ночи мы спали, а утром стало ясно, что блохи знатно попировали — мы сплошь были в ярко‑розовых укусах и красных расчесах.

Мама заварила чай и поджарила хлеб, а папа снова намазал нас соленой водой. Потом вынес матрас во двор. В такой холод блохи уж точно перемерзнут, и ночью мы наконец выспимся.

Спустя несколько дней, когда мы уже пообжились в комнате, папа тормошит меня посреди ночи.

— Проснись, Фрэнсис. Одевайся и бегом к тете Эгги. Маме нужно. Живей.

Мама лежит в постели и стонет. Лицо у нее совсем белое. Папа будит Мэйлахи и близнецов и усаживает их на пол около потухшего камина. Я перебегаю дорогу, стучусь в дверь к тете Эгги, и наконец ко мне выходит дядя Па Китинг, ворча и кашляя.

— Что такое? Что случилось?

— Мама заболела. Лежит и стонет.

— Свалились нам на голову из своей Америки, так теперь покою нет никакого, — ворчит тетя Эгги, выходя на порог.

— Эгги, ребенок‑то чем провинился? Просто делает, что ему велели.

Тетя Эгги говорит, чтобы дядюшка Па шел спать, а то ему на работу рано утром, не то, что некоторым с Севера.

— Нет‑нет, я тоже пойду, — возражает он. — Анджеле плохо.

Папа велит мне сесть на пол к братьям. Я не понимаю, что с мамой. Взрослые только шепчутся, но мне удается расслышать, как тетя Эгги говорит дяде Па, что, мол, ребенка потеряла, беги за неотложкой, и дядя Па тут же исчезает за дверью.

— Чего‑чего, а неотложка у нас тут быстро приезжает, — обращается тетя Эгги к маме.

С папой тетя Эгги вообще не разговаривает, даже не смотрит на него.

— Пап, мамочка заболела? — спрашивает Мэйлахи.

— Она поправится, сынок. Ей просто надо к врачу.

Я не понимаю, какого ребенка она потеряла? Вот же мы: один, два, три, четыре — все в сборе, и почему мне не говорят, что с мамой? Тут возвращается дядя Па, потом почти сразу приезжает неотложка. К нам заходит какой‑то человек с носилками, маму уносят, а на полу около кровати остаются пятна крови. Когда Мэйлахи прикусил язык, у него тоже была кровь, и у песика на улице была кровь, а он умер. Я хочу спросить папу: неужели маму тоже заберут навсегда, как нашу сестричку Маргарет? Но папа уезжает с мамой, а тетю Эгги спрашивать без толку, она рассердится и голову оторвет. Вытерев кровь с пола, она велит нам лечь и ждать, пока папа не вернется.

Уже середина ночи, вчетвером в кровати тепло, мы засыпаем и просыпаемся только, когда папа приходит домой и сообщает, что у мамы все хорошо, она полечится и скоро вернется домой.

Через несколько дней папа идет на биржу за пособием по безработице. Тому, у кого северный акцент, нечего и надеяться работу в Лимерике найти.

Он приходит и сообщает маме, что мы будем получать девянадцать шиллингов в неделю. Мама ахает, что этого едва хватит, чтобы с голоду не помереть. Девятнадцать шиллингов на шестерых? Да это меньше четырех долларов в американских‑то деньгах, и как на это жить? А за жилье чем платить через две недели? Комната стоит пять шиллингов в неделю, остается четырнадцать шиллингов и на еду, и на одежду, и на уголь, чтоб воду для чая кипятить.

Папа качает головой. Он прихлебывает чай из стеклянной банки, глядит в окно и насвистывает «Вексфордских парней»[[35]](#footnote-35). Мэйлахи и Оливер хлопают в ладоши и пляшут, а папа не знает, то ли свистеть, то ли улыбаться — нельзя же делать одновременно то и другое. Тогда он замолкает, гладит Оливера по голове и снова принимается насвистывать.

Мама тоже улыбается, но едва заметно. Она сидит и смотрит на пепел в камине, а в опущенных уголках ее губ затаилось беспокойство.

На следующий день она оставляет папу с близнецами, а меня и Мэйлахи берет с собой в Общество Святого Викентия де Поля. Мы встаем в очередь за женщинами в черных шалях. Они спрашивают, как нас зовут, и улыбаются, когда мы отвечаем.

— Вы только послушайте их! Это же маленькие янки! — удивляются они и спрашивают маму, чего это она в американском пальто пришла за пособием — в Лимерике и так бедняков хватает, а тут еще янки заявились последний кусок хлеба отнимать.

Мама отвечает, что пальто ей подарила кузина из Бруклина и что муж сидит без работы, а дома еще двое детей — мальчики‑близнецы. Женщины шмыгают носами и кутаются в шали — у них и своих бед предостаточно. Мама рассказывает, что просто не могла оставаться в Америке после смерти дочки. Женщины снова шмыгают носами, теперь уже потому, что мама плачет. Некоторые признаются, что тоже потеряли своих малышей и что, мол, нет в мире ничего хуже — хоть до мафусаиловых лет доживи, а все равно никогда такого не забудешь. Ни один мужчина, доживи он хоть дважды до мафусаиловых лет, не поймет, каково матери терять ребенка.

Очередь плачет, а какая‑то рыжеволосая женщина пускает по кругу коробочку. Все что‑то берут оттуда пальцами и суют себе в нос. Одна молодая тетенька чихает.

— Что, Бидди, крепковат табачок? — смеется рыжеволосая. — Подите сюда, маленькие янки, возьмите понюшку. — Она сует нам в ноздри какой‑то бурый порошок, и мы так чихаем, что женщины плачут уже от смеха, утирая слезы шалями.

— Ничего, это полезно, — говорит нам мама. — Мозги хоть прочистит.

— Славные у вас детишки, — говорит маме тетя по имени Бидди. Потом показывает на Мэйлахи: — Ну разве не прелесть этот паренек с золотыми кудряшками?! Ему бы в кино сниматься с самой Ширли Темпл[[36]](#footnote-36).

В ответ Мэйлахи улыбается, и очередь окончательно теплеет.

— Миссус, вы уж извините, что лезу, но мы тут услышали про вашу потерю, так что, думаю, вам лучше присесть, — говорит маме женщина с коробочкой.

— Нет‑нет, не надо, им это не понравится, — обеспокоенно замечает другая.

— Кому им?

— Ну как же, Нора Моллой, господам из Общества, конечно. Им надо, чтоб мы уважительно у стеночки стояли, а не рассиживались тут.

— А ну их к черту, — говорит рыжеволосая Нора. — Садитесь, миссус, вон туда, на ступеньку, а я рядом присяду, а если господа из Общества хоть что‑то вякнут, я им тут устрою, уж поверьте. Вы курите?

— Да, — отвечает мама. — Только сигарет нет.

Нора достает сигарету из кармана фартука, разламывает ее и протягивает половинку маме.

— И это им тоже не понравится, — говорит женщина с обеспокоенным лицом. — Они говорят, курить — все равно, что хлеб у своего ребенка отнимать. Мистер Куинливан особенно против. Говорит, если на сигареты деньги есть, то и не еду найдете.

— И Куинливана к чертям. Скотина старая, последней радости нас лишить удумал.

В конце коридора открывается дверь, и оттуда выходит какой‑то человек.

— Кому тут детские ботинки?

— Мне, мне! — Женщины одна за другой поднимают руки.

— Кончились ботинки. В следующем месяце приходите.

— Но моему Мики в школу не в чем ходить!

— Нету, я сказал.

— Но холод ведь какой, мистер Куинливан.

— Ботинок нет. Ничего не могу поделать. А это еще что такое? Кто курит?

— Ну, я, — машет сигаретой Нора. — Причем с превеликим удовольствием.

— Курить — это все равно, что… — начинает мистер Куинливан.

— Да‑да, — усмехается Нора. — Все равно, что хлеб у своих детей отнимать.

— Наглость какая! Смотрите, не пол*у* чите от нас никакой помощи.

— Что, правда, что ль?! Что ж, мистер Куинливан. Не вы — так другие помогут.

— Кто это еще?

— Да квакеры[[37]](#footnote-37).

— За тарелку супа продадитесь? — подступает к Норе мистер Куинливан, тыча в нее пальцем. — Так вот, значит, кто среди нас завелся! Супник! Во времена Великого голода тоже такие были. Протестанты ходили по домам и обещали добрым католикам, что если те отрекутся от своей веры и станут протестантами, то их накормят супом до отвала. И, Господи помоги нам, нашлись те, кто выбрал суп, и прозвали их за это супники‑отступники. Они погубили свои бессмертные души и обрекли себя на вечные страдания в самых глубинах адского пекла. И если вы, дамочка, пойдете к квакерам, то тоже погубите свою душу и души детей своих.

— Так спасите же нас, мистер Куинливан, это же ваш долг.

Они стоят, уставившись друг на друга. Потом Куинливан переводит взгляд на очередь. Одна из женщин закрывает рот рукой, чтобы не прыснуть со смеху.

— Чего хихикаем? — рявкает мистер Куинливан.

— Ничего, мистер Куинливан, видит Бог, ничего.

— Еще раз говорю, нет ботинок, — объявляет мистер Куинливан и захлопывает за собой дверь.

Женщин по очереди вызывают в кабинет. Нора выходит, улыбаясь и помахивая какой‑то бумажкой.

— Ботинки, — поясняет она. — Три пары детишкам моим. Стоит этим господам пригрозить квакерами, так они эти талоны хоть из‑под земли, но достанут.

Вызывают маму, и она берет нас с Мэйлахи с собой. Мы стоим перед столом, за которым сидят трое мужчин и задают вопросы. Мистер Куинливан начинает что‑то говорить, но господин посередине его обрывает:

— Довольно, Куинливан. Доверь вам это дело, так все нищие Лимерика к протестантам переметнутся.

Он спрашивает маму, откуда у нее такое добротное красное пальто, и мама рассказывает им то же, что и женщинам на улице, но когда доходит до смерти Маргарет, ее всю трясет от рыданий. Она извиняется за слезы, мол, прошло всего несколько месяцев и она еще не оправилась от потери и даже не знает, где похоронили малышку, если вообще похоронили, и окрестили ли ее, потому что сама‑то она была слишком слаба — у нее четыре мальчика, и сил не было идти в церковь — а теперь вот сердце кровью обливается при мысли, что вдруг Маргарет навеки останется между раем и адом и никогда не встретится со своей семьей ни на небесах, ни в чистилище.

Мистер Куинливан отдает маме свой стул.

— Ну, что вы, сударыня. Садитесь, пожалуйста. Ну, что вы.

Остальные двое смотрят то на стол, то на потолок. Тот, что сидит посередине, обещает дать маме талон на недельный запас продуктов, который нужно будет отоварить в лавке Макграт, что на Парнелл‑стрит. Там будут чай, сахар, мука, масло, а по другому купону на угольном складе на Док‑роуд дадут мешок угля.

— Разумеется, каждую неделю вам так помогать не будут, миссус, — предупрежает третий. — Мы вас посетим, чтобы проверить, правда ли вы нуждаетесь. Без этого прошение не утвердят.

Мама вытирает слезы рукавом и берет талон.

— Храни вас Господь за вашу доброту, — благодарит она.

Члены комиссии кивают, смотрят на пол, на потолок, на стены и велят позвать следующую просительницу.

Женщины говорят маме, чтобы следила за весами в лавке, а то эта карга Макграт непременно надует. Она подсовывает под весы бумагу и когда взвешивает продукты, то тянет бумажку к себе, так что ладно, если хотя бы половину положенного отвесит. А у самой‑то по всей лавке образа Девы Марии и Святейшего Сердца, а в часовне Святого Иосифа, как ни посмотришь, она все на коленях, да с четками и дышит так, будто ее истязают, как деву‑мученицу, фу, курва старая.

— Пойду‑ка я с вами, миссус, — предлагает Нора. — Уж я‑то старухины проделки знаю, не дам вас обдурить.

Она ведет нас в лавку на Парнелл‑стрит. Увидев маму в американском пальто, лавочница сначала ведет себя очень любезно, но когда мама протягивает ей талон от Общества Святого Викентия, ворчит, что мама не в то время пришла и что по талонам она обслуживает после шести вечера, но на первый раз, так уж и быть, сделает исключение.

— У вас тоже талон? — обращается она к Норе.

— Ах нет, я просто помогаю этой бедной семье отоварить талон в первый раз.

Продавщица стелет кусок газеты на весы и насыпает на него муку из большого куля. Потом говорит:

— Вот вам фунт муки.

— Ой, вряд ли, — говорит Нора. — Маловато как‑то для фунта.

— В чем это вы меня обвиняете? — негодующе сверкает глазами лавочница.

— Ах, ни в чем, миссис Макграт, — говорит Нора. — Просто вы случайно придавили бедром газету и не заметили, что она немного съехала с весов. А так, что вы, Господи боже мой! Обвинять в чем‑то вас, женщину, которая так усердно молится Деве Марии, что служит всем нам примером?! Ой, вон там на полу не ваши денежки лежат?

Миссис Макграт отсупает от весов, стрелка на них дергается.

— Какие денежки? — недоуменно спрашивает она, потом глядит на Нору и догадывается, что та сделала это нарочно.

— А, не денежки, просто тень так легла. — Нора с улыбкой глядит на весы: — Да, точно, ошибочка вышла, едва ли с полфунта.

— Замучилась я уже с этими весами, — ворчит миссис Макграт.

— Представляю, — отвечает Нора.

— Но совесть моя чиста перед Богом, — продолжает миссис Макграт.

— Конечно, чиста! — восклицает Нора. — И все в Обществе Святого Викентия и в Легионе Марии[[38]](#footnote-38) вами просто восхищаются.

— Стараюсь быть доброй католичкой.

— Видит Бог, вам и стараться не надо, такое уж у вас само по себе сердце доброе. Мальчишек вот конфетками не угостите?

— Ну, я не миллионерша, но вот, держите.

— Да хранит вас Господь, миссис Макграт, уж я знаю, что слишком многого прошу, но может, найдется у вас парочка сигарет?

— Ну, по талону сигарет не положено. Роскошь всякую я тут не выдаю.

— Ну же, не откажите, миссус, а я уж господам из Общества непременно напомню о вашей доброте.

— Ну ладно, ладно, — говорит миссис Макграт. — Вот вам сигареты. Но это в первый и последний раз.

— Благослови вас Господь, — благодарит Нора. — Сожалею, что с весами помучиться пришлось.

###### \* \* \*

По дороге домой мы сворачиваем в Народный парк и садимся на скамейку. Мэйлахи и я сосем леденцы, а мама с Норой курят. Нора тут же закашливается и говорит, что курево ее доконает, чахотка — это у них в семье наследственное и никто еще до почтенного возраста не дожил, хотя в Лимерике и не захочешь до него дожить. Тут, мол, вообще седых почти нет — все или на кладбище, или по другую сторону Атлантики: на железной дороге работают да в полицейской форме разгуливают.

— Счастливая вы, миссус, хоть мир повидали. Я бы все отдала, чтоб увидеть Нью‑Йорк и то, как там народ по Бродвею прохаживается, забот не зная. Так нет же, угораздило меня в смазливого пьяницу влюбиться. Питер Моллой, наш пивной чемпион, обрюхатил меня и повел к алтарю, а мне едва семнадцать исполнилось. Ох и глупая я была, миссус. Да мы тут все в Лимерике выросли, ничегошеньки не зная, вот и результат: не женщина еще, а уже мать. Здесь ведь что? Дождь сплошной, да бабки старые Богу молятся. Я б все зубы отдала, лишь бы выбраться отсюда: в Америку уехать или хоть в Англию. Чемпион‑то мой всю жизнь на пособии, да и его порой пропивает, и тогда я с ума схожу и меня в лечебницу увозят. — Нора снова затягивается и сотрясается от кашля всем телом, приговаривая:

— Ой, Божечки, Божечки.

Когда кашель отступает, она говорит, что ей домой пора, лекарство принимать.

— На следующей неделе опять в Обществе увидимся. Если вам чего понадобится, пошлите за мной на Вайз‑филд. Там любой покажет, где жена Питера Моллоя, пивного чемпиона.

###### \* \* \*

Юджин спит на кровати, укрытый пальто; а папа с Оливером на коленях сидит у камина. И почему это он рассказывает Оливеру про Кухулина? Это же моя сказка! Но у Оливера такой вид, что мне не хочется обижаться. Щеки у него горят; он неотрывно смотрит на потухшие угольки в камине, и, Кухулин его, похоже, совсем не занимает.

— Кажется, у него жар, — говорит мама, прикладывая руку ко лбу Оливера. — Жалко лука нет, я бы отвар на молоке с перцем сделала. Хорошо помогает. Вот только молоко не вскипятишь. Угля нет.

Она дает папе талон на уголь с Док‑роуд. Папа берет меня с собой, но уже темно и все угольные склады закрыты.

— Что же нам делать, папа?

— Не знаю, сынок.

Перед нами женщины в шалях и ребятишки собирают уголь по обочинам.

— Папа, папа, вон уголь!

— Нет, сынок. Мы не будем с дороги собирать, как нищие какие‑нибудь.

Папа говорит маме, что склады закрыты и нам придется поужинать хлебом с молоком, но я рассказываю про женщин на дороге, и мама вручает Юджина папе.

— Стыдно ему, видите ли, угля насобирать. Сама пойду.

Она берет кошелку и зовет нас с Мэйлахи с собой. За Док‑роуд блестит огоньками что‑то темное и большое.

— Это река Шаннон, — говорит мама. — Больше всего я по ней скучала в Америке. Гудзон тоже ничего, но Шаннон поет.

Я не слышу никакой песни, но мама слушает и чему‑то радуется. На Док‑роуд уже никого нет, только мы идем и высматриваем куски угля, упавшие с машин. Мама велит нам собирать все, что горит: уголь, деревяшки, картон, бумагу.

— Еще, бывает, конским навозом топят, — говорит она. — Но уж до такого мы не опустимся.

Кошелка почти полная, и мама говорит, что теперь надо найти лук для Оливера.

— Я найду, — обещает Мэйлахи, но мама объясняет, что лук бывает не на улице, а в лавке.

— Вон лавка! — радостно вопит Мэйлахи и забегает внутрь.

— Лук, лук для Оливера! — кричит он продавщице.

Мама спешит за ним и извиняется.

— Какой милый ребенок! — улыбается продавщица. — Он что, американец?

Мама говорит, что да. Женщина снова улыбается. У нее во рту всего два зуба: оба сверху и далеко друг от друга.

— Вот милашка, — повторяет она. — А кудряшки какие! И что же он просит, конфетку?

— Нет, — говорит мама. — Луковицу.

— Луковицу? — хохочет женщина. — Первый раз слышу, чтоб дите лук просило. В Америке что ль так?

— Нет, он просто слышал, что братику лук нужен. Тот заболел, так вот лук надо в молоке сварить.

— Да‑да, миссус, — подтверждает продавщица. — Лук с молоком — лучшее средство. На тебе конфетку, малыш. А это братик твой? И ему тоже конфетку.

— Ой, что вы, не стоило, — ахает мама. — Скажите спасибо, мальчики.

— И лук возьмите для больного малыша, миссус, — говорит продавщица.

— Не могу я заплатить за лук, — вздыхает мама. — Ни пенни при себе нет.

— Я вам его даром отдам, миссус. Не бывало еще такого, чтоб больному ребенку в Лимерике лука не дали. И перца щепотку положить не забудьте. Есть он у вас?

— Нету, но я куплю на днях.

— Тогда вот вам перец, миссус, и соли немножко. Уж приготовьте малышу самое лучшее лекарство.

— Благослови вас Господь, — говорит мама; в глазах у нее слезы.

Папа ходит взад‑вперед с Оливером на руках. Юджин играет на полу с кастрюлей и ложкой.

— Лук принесла? — спрашивает папа.

— Принесла, — отвечает мама. — И лук, и уголь, и чем огонь разжечь.

— Я знал, что принесешь, — говорит папа. — Я молился святому Иуде. Мой любимый святой, покровитель отчаявшихся.

— Это я раздобыла лук и уголь, а не твой Иуда.

— Не надо было с дороги собирать, как нищенка, — укоряет ее папа. — Мальчикам плохой пример подаешь.

— Ну тогда послал бы своего святого Иуду на Док‑роуд.

— Я есть хочу, — ноет Мэйлахи.

Я тоже хочу есть, но мама говорит, сначала надо сварить лук для Оливера.

Она разжигает огонь в камине, разрезает луковицу пополам, бросает одну половинку в кипящее молоко, добавляет немного масла и перца. Потом усаживает Оливера к себе на колени и пытается напоить его отваром, но Оливер отворачивается и смотрит в огонь.

— Ну же, миленький, давай, пей, — уговаривает мама. — Вырастешь большим и сильным.

Оливер сжимает губы. Мама отставляет кастрюльку, качает Оливера, а когда он засыпает, кладет его на постель, и велит нам не шуметь, а не то она не знает что с нами сделает. Потом мелко режет оставшуюся половинку луковицы и обжаривает ее в масле с кусочками хлеба. Мы сидим на полу у камина, едим жареный хлеб и пьем ужасно сладкий чай из стеклянных банок.

— Огонь так разгорелся, — говорит мама, — что лампу можно выключить, все равно пока на газ денег нет.

В комнате становится тепло; языки пламени в камине похожи то лица, то на горы и долины, то на скачущих зверей. Юджин засыпает на полу, и папа переносит его на постель к Оливеру. Мама ставит кастрюльку с луком на каминную полку, чтоб ни одна мышь или крыса не добралась. Говорит, что совсем умаялась за день: сначала Общество Святого Викентия, потом лавка миссис Макграт, уголь на дороге, а теперь Оливер лук не ест, и если завтра будет так же, придется к доктору идти, так что сейчас она идет спать.

Мы все ложимся, и если иногда блоха куснет, я не обращаю внимания — в постели так тепло вшестером, и мне нравится смотреть, как отблески огня пляшут на стенах и на потолке, и комната становится то красной, то черной, то снова красной и черной, а потом, постепенно, черно‑белой, и слышно только, как Оливер всхлипывает и ворочается на руках у мамы.

###### \* \* \*

Утром папа разводит огонь, ставит чай, нарезает хлеб. Папа уже одет и просит маму собраться поскорее.

— Фрэнсис, — говорит мне папа. — Твой братик Оливер заболел, мы отвезем его в больницу. Будь умницей и посиди с братиками, а мы скоро вернемся.

— Сахара много не ешьте, — предупреждает мама. — Мы не миллионеры.

Мама берет Оливера на руки, кутает его в пальто, а Юджин стоит рядом с кроватью и хнычет:

— Хочу Олли. Играть с Олли.

— Олли скоро вернется, — обещает мама. — Пока играй с Мэйлахи и Фрэнком.

— Олли, Олли, хочу Олли.

Он провожает Оливера взглядом, а потом садится на кровать и смотрит в окно.

— Джини, Джини, — зовет его Мэйлахи. — У нас есть хлеб и чай. Хлеб с сахарком будешь, Джини?

Юджин мотает головой и отталкивает руку Мэйлахи с хлебом. Потом переползает на постель, туда, где спали Оливер с мамой, и глядит в окно.

На пороге стоит бабушка.

— Говорят, ваши отец с матерью неслись по Генри‑стрит с ребенком на руках. Куда это они?

— Оливер заболел, — поясняю я. — Лук вареный в молоке не ест.

— Чего‑чего ты там болтаешь?

— Лук не стал есть и заболел.

— А кто за вами приглядывает?

— Я.

— А этот чего лежит? Как его кличут‑то?

— Юджин. Он по Оливеру скучает. Они близнецы.

— Знаю, что близнецы. Худющий‑то какой. Каша хоть есть у вас?

— Что такое каша? — спрашивает Мэйлахи.

— Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом! Что такое каша?! Каша — это каша. Да что за янки бестолковые, никогда такого невежества не встречала. Ну‑ка, одевайтесь, пойдем к тете Эгги, дадим вам каши. — Она берет на руки Юджина, закутывает его в шаль, и мы идем к тете Эгги. Она вернулась к Па Китингу, потому что тот наконец признал, что она не корова и не толстая.

— Каша есть у тебя? — спрашивает бабушка тетю Эгги.

— Каша? Я что тут кашу всяким янки раздавать должна?

— Эх ты, — корит ее бабушка. — Каши чуток пожалела.

— А потом небось сахара и молока захотят, да еще яиц скажут подавай. Почему это мы должны расплачиваться за Анджелины ошибки?

— Боже правый, — сокрушается бабушка. — Хорошо, не ты была хозяйкой вифлеемского хлева, не то Святое Семейство так и скиталось бы по свету, падая от голода.

Бабушка оттесняет тетю Эгги в сторону, усаживает Юджина на стул у огня и принимается варить кашу. Из соседней комнаты выходит мужчина. У него черные кудрявые волосы, и кожа темная‑претемная; мне нравятся его глаза — синие и веселые. Это муж тети Эгги, тот самый человек, который остановился около нас в ту ночь, когда мы сражались с блохами, рассказывал нам про блох со змеями и кашлял, потому что наглотался газа на войне.

— Ты почему такой черный? — спрашивает его Мэйлахи.

Дядя Па Китинг заходится смехом и начинает так сильно кашлять, что ему приходится закурить.

— Ох вы, янки‑малыши, — смеется он. — Ни капли стеснения. Я черный от того, что работаю на газовом заводе, кидаю уголь и кокс в печи. Во Франции газ глотал, и тут снова глотаю. Ну не смешно ли? Подрастете, поймете.

Мы с Мэйлахи выходим из‑за стола, чтоб взрослые попили чаю. Они пьют чай, но дядя Па Китинг, который мне дядя, потому что он женат на тете Эгги, усаживает Юджина к себе на колени.

— Ты чего грустный такой? — спрашивает он Юджина, строит ему рожицы и смешно мычит.

Мы с Мэйлахи хохочем, но Юджин молча тянется к черному лицу Па Китинга. Тот делает вид, что сейчас откусит Юджину руку, тот смеется, и все в комнате тоже. Мэйлахи подходит к Юджину и тоже пытается его рассмешить, но Юджин утыкается лицом в рубашку Па Китинга.

— Кажется, я ему нравлюсь, — замечает Па, и тут тетя Эгги ставит на стол свою кружку с чаем и принимается рыдать; по ее покрасневшим пухлым щекам градом катятся слезы.

— Да боже ж мой, — ворчит бабушка. — Чего опять?

— Каково мне на Па с младенцем глядеть, коли я уж и родить не надеюсь?! — всхлипывает тетя Эгги.

— А ну перестань чепуху всякую при детях болтать! — рявкает бабушка. — Совсем стыд потеряла. Господь милостив, пошлет он тебе ребеночка в свое время.

— У Анджелы вон пять и еще одного потеряла, а ведь неумеха такая, полы даже вымыть не может. А у меня и полы блестят, и сготовить я могу хоть что — хоть рагу, хоть жаркое, — а нет никого.

— Я, пожалуй, себе этого паренька оставлю, — смеется Па Китинг.

— Нет‑нет‑нет! — бежит к нему Мэйлахи. — Это мой братик Юджин.

И я тоже говорю:

— Нет‑нет, это наш братик.

— Ничего мне Анджелиного не нужно, — сердится тетя Эгги, смахивая слезы с мокрых щек. — А уж того, что наполовину из Лимерика, а наполовину с Севера тем более. У меня свое дите будет, даже если мне для этого придется по сто раз девятину прочесть к Деве Марии и матери ее Анне или на коленях ползти до самого Лурда[[39]](#footnote-39).

— Ну все, хватит, — говорит бабушка. — Каши поели, теперь домой, мать с отцом уже, наверное, из больницы вернулись. — Она кутается в шаль и собирается взять Юджина на руки, но тот так крепко вцепился в рубашку Па Китинга, что его чуть ли не силой приходится отнимать, и пока мы идем к двери, он все на него оглядывается.

###### \* \* \*

Бабушка отвела нас домой. Она уложила Юджина в постель, дала ему попить воды и велела быть паинькой и засыпать; его братик Оливер скоро вернется домой, и они снова будут вместе играть на полу.

Но Юджин все смотрел и смотрел в окно.

Бабушка разрешила нам с Мэйлахи поиграть на полу, но только тихо, потому что она будет молиться. Мэйлахи сел на постель к Юджину, а я все пытался разобрать слова в газете, которая у нас вместо скатерти. Слышно было только, как Мэйлахи шептал что‑то Юджину, пытаясь его развеселить, да щелкали бусины четок, потому что бабушка бормотала молитвы. Стало так тихо, что я заснул, лежа головой на столе.

###### \* \* \*

Папа трясет меня за плечо.

— Фрэнсис, пригляди за братиками.

Мама съежилась на краешке кровати и как‑то странно плачет — будто птичка чирикает. Бабушка кутается в шаль.

— Дойду до конторы Томпсона, гроб надо заказать и повозку. Уж это‑то в Святом Викентии оплатят, — говорит бабушка и выходит за дверь.

Папа стоит у камина, отвернувшись к стене, бьет себя кулаками по ногам и вздыхает.

Меня пугают папины вздохи и мамин птичий плач, и я не знаю, что мне делать, и затопит ли кто‑нибудь камин, чтоб попить чаю с хлебом, а то с тех пор, как мы кашу ели, уже много времени прошло. Если бы папа отошел от камина, я бы сам огонь разжег, надо только бумагу, немного угля или торфа и спичку. Но папа так и стоит на месте и бьет себя по ногам. Я пытаюсь его обойти, но он меня замечает и спрашивает, зачем мне огонь. Я говорю ему, что мы есть хотим, и он смеется каким‑то странным смехом.

— Есть хотите? — переспрашивает он. — Ох, Фрэнсис, твой братик Оливер умер. Сестричка умерла, а теперь и братик. — Он берет меня на руки и обнимает так крепко, что я вскрикиваю.

Мэйлахи принимается реветь, мама плачет, папа плачет, я плачу, один Юджин молчит.

— Ничего, сейчас попируем, — шмыгает носом па‑ па. — Идем, Фрэнсис.

Он говорит маме, что мы скоро вернемся; у нее на коленях сидят Мэйлахи и Юджин, и она даже не поднимает головы. Папа ведет меня по улицам Лимерика. Мы заходим подряд во все магазины, и он спрашивает, продавцов, не дадут ли они каких‑нибудь продуктов или чего‑ нибудь еще семье, за год потерявшей двоих детей — дочку в Америке, и сына в Лимерике, — а троим оставшимся грозит та же участь, потому что им есть и пить нечего. Почти все качают головами и говорят, что соболезнуют, что нам лучше пойти в Общество Святого Викентия де Поля или обратиться за пособием.

Папа говорит, мол, отрадно, что в Лимерике торжествует Дух Христов, а ему отвечают, что нечего тут со своим северным акцентом о Христе рассуждать и постыдился бы таскать с собой ребенка, как цыган какой‑нибудь или попрошайка.

Некоторые все же дают хлеба, картошки и фасоли в банках, и папа говорит, что, мол, сейчас вернемся домой и вы, ребятки, наконец‑то поедите, но по дороге мы встречаем Па Китинга. Тот говорит, что очень сочувствует папе, и предлагает зайти в паб, выпить по кружечке.

У людей в пабе огромные кружки с чем‑то черным. Па Китинг и папа тоже заказывают себе такие. Они медленно поднимают кружки и пьют потихоньку. На губах у них остается белая пена, которую они шумно облизывают. Дядя Па покупает мне бутылку лимонада, а папа дает кусочек хлеба, и я вроде как уже и наелся. Интересно, когда мы пойдем домой? Мэйлахи и Юджин сидят там голодные. Каша была много часов назад, а Юджин к ней и не притрагивался.

Папа и дядя Па допивают черное в кружках и берут еще.

— Фрэнки, это пинта, — говорит Па Китинг. — Живая вода. Кормящим матерям уж больно полезна, да и всем, кого давно от груди отлучили тоже. — Он смеется, а папа улыбается, и я смеюсь, потому что, наверное, надо смеяться, когда дядя Па шутит. Потом он уже не смеется, а рассказывает другим людям в пабе про Оливера. Те приподнимают кепки и говорят папе, что соболезнуют и что ему определенно надо выпить.

Папа соглашается и вскоре уже распевает «Родди Маккорли», «Кевина Барри» и всякие другие песни и оплакивает кроху‑дочурку, которая умерла в Америке и малыша Оливера, который умер тут в больнице. Мне страшно от того, что папа то воет, то плачет, то поет, и я хочу поскорее домой к трем, нет, теперь уже двум братикам и маме.

— Вам, пожалуй, хватит, мистер, — говорит папе мужчина за барной стойкой. — Мы вам, конечно, сочувствуем, но ребенку пора к матери, она там сидит, наверное, у огня, убитая горем.

— Ну еще только одну пинту, а? — просит папа.

— Нет, — отвечает бармен.

— Я за свободу сражался, — трясет кулаком папа, а когда бармен выходит из‑за стойки и берет папу за руку, то папа его отталкивает.

— Пойдем, Мэйлахи, — говорит дядя Па. — Не упрямься. Домой пора, к Анджеле. Завтра похороны, и детишки тебя ждут.

Но папа все упирается, и несколько человек выталкивают его на темную улицу. Вслед за ним из двери вываливается дядя Па с кульком еды.

— Пойдем, — велит он. — Домой тебе надо.

Папа хочет пойти в другой паб, но дядя Па говорит, что у него деньги кончились. Папа убеждает его, что расскажет там о своем горе и ему нальют кружечку бесплатно, а дядя Па отвечает, что нехорошо так делать, и папа рыдает у него на плече.

— Ты — хороший друг, — говорит он дяде Па и снова плачет, а дядя Па похлопывает его по спине и приговаривает, что это ужасное горе, но со временем станет легче.

— Никогда, — говорит папа, выпрямляясь и глядя ему в глаза. — Никогда.

###### \* \* \*

На следующий день мы поехали в больницу на повозке, запряженной лошадью. Там Оливера положили в белый ящик, который приехал с нами, и мы повезли его на кладбище. Ящик опустили в яму и засыпали землей. Мама и тетя Эгги плакали, у бабушки был сердитый вид, а у папы, дяди Па Китинга и дяди Пэта Шихана — грустный, но они не плакали, и я подумал, что, наверное, мужчине можно плакать только когда он пьет черную воду под названием пинта.

Мне не нравились галки, которые сидели на деревьях и могильных камнях, и я не хотел оставлять им Оливера. Одна галка поковыляла к могиле Оливера, и я швырнул в нее камнем. Папа сказал, что нельзя в галку камнем — вдруг это чья‑то душа? Я не знал, что такое душа, но спрашивать не стал, потому что, какая разница. Оливер умер, и я ненавижу галок. Когда вырасту, то приду сюда с мешком камней и все кладбище усею галочьими трупами.

###### \* \* \*

На следующей утро после похорон Оливера папа пошел на биржу труда за пособием — девятнадцать шиллингов шесть пенсов. Сказал, что к полудню вернется, принесет угля и разведет огонь и мы пообедаем яичницей с ветчиной и выпьем чаю, чтоб Оливера помянуть, а может, нам даже по конфетке перепадет.

Он не вернулся ни к полудню, ни к часу дня, ни к двум. Мы сварили и съели несколько картошин, которые нам дали вчера в лавках. В тот майский день папа пришел только после захода солнца, когда позакрывались все пабы — слышно было, как он распевает на Уиндмилл‑стрит:

Умолкло все вокруг, тревожно бдит.

А запад спит, увы, все запад спит.

Напрасно Эрин скорбный клич трубит —

Не внемлет Коннахт — пеленою сна укрыт.

Там озеро раскинулось привольно на просторе,

Вокруг застыли скалы в вековом дозоре.

И знать не знал бы человек ни слез, ни горя,

Коли свободе поучился бы у ветра и у моря[[40]](#footnote-40).

Папа вошел в комнату, спотыкаясь и держась за стену. Из носа у него текло, и он то и дело утирался рукавом.

— Мальщикам шпать пора. Слышьте? Шпать нада, — проговорил он заплетающимся языком.

— Дети есть хотят, — преградила ему путь мама. — Пособие принес? Хоть рыбы с картошкой купить, чтоб не совсем с пустыми животами спать пошли.

Она принялась шарить у него в карманах, но он ее оттолкнул.

— Уфашение имей. Перед мальщиками.

Мама снова потянулась к карманам.

— Где деньги? Дети голодные. Ах ты, пьянь поганая, опять все пропил? Как в Бруклине.

— Ох, бедная Анджела. Бедные крошки Маргрет и Ольвер, — пьяно всхлипывал папа.

Потом шатнулся ко мне и обнял. От него несло перегаром, как в Америке. Он намочил мне лицо слезами, слюнями и соплями, и все рыдал мне в волосы, а я хотел есть и не знал, что сказать.

Потом папа меня отпустил и обнял Мэйлахи, по‑прежнему бормоча, что наши сестричка и братик лежат в сырой земле и что нам всем надо молиться, хорошо себя вести и делать то, что велит мама. Еще он сказал, что хоть у нас и горе, нам с Мэйлахи пора идти в школу, потому что важнее учености ничего нет, и рано или поздно она нам пригодится, а еще нужно исполнить свой долг перед Ирландией.

###### \* \* \*

Мама заявляет, что ни минуты на Уиндмилл‑стрит не останется, что спать не может, все вспоминает, как Оливер лежал тут на постели, играл на полу, сидел у папы на коленях. И для Юджина нехорошо тут оставаться: близнец страдает от потери брата так, что даже мать не в силах представить. На Хартстондж‑стрит сдают комнату. Там две кровати, а у нас одна на шестерых, нет, на пятерых. Мы снимем ту комнату и точка, мама сама пойдет в четверг на биржу, встанет в очередь, и заберет пособие. Папа говорит, что она его опозорит, что биржа — для мужчин, и не дело, когда жены выхватывают у них деньги из‑под носа.

— Сам виноват, — отвечает мама. — Если б не шлялся по пивнушкам, мне бы не пришлось гоняться за тобой, как в Бруклине.

Папа повторяет, что она его опозорит навеки, но мама говорит, что ей наплевать. Ей нужно жилье на Хартстондж‑стрит: теплая уютная комната с туалетом внизу, как в Бруклине. К тому же, там нет блох и убийственной сырости. А еще на той же улице находится государственная школа Лими, и в обед мы с Мэйлахи сможем забегать домой, чтобы съесть гренок и выпить чаю.

В четверг мама идет с папой на биржу и, как только ему просовывают в окошко деньги, тут же их забирает. Мужчины в очереди пихают друг друга локтями и усмехаются, и папа опозорен, потому что негоже, чтобы женщина распоряжалась пособием, которое дают мужчине. А вдруг ему захочется поставить шестипенсовик на лошадку или выпить пинту? Если все женщины начнут так себя вести, то и скачек больше не будет, и «Гиннесс» разорится. Но теперь деньги у мамы, и мы переезжаем на Хартстондж‑стрит. Потом мама берет Юджина на руки, и мы идем в школу Лими. Директор, мистер Скэллан, велит нам приходить в понедельник и принести с собой тетрадь для упражнений, карандаш и ручку с хорошим пером. И чтоб никакого лишая или вшей, и носы высморкать, причем не на пол (нечего тут чахотку распространять) и не в рукав, а в чистый носовой платок или тряпицу. Директор спрашивает, обещаем ли мы хорошо себя вести, и когда мы говорим, что да, он удивляется:

— Бог ты мой, да вы янки, что ли?

Мама рассказывает ему про Маргарет и Оливера, и директор говорит:

— Боже Всевышний, сколько же страданий в мире! Что ж, младшего, Мэйлахи, определим в подготовительный класс, а брата его — в первый. Оба класса занимаются в одном кабинете, и учитель у них один. Итак, жду утром в понедельник, ровно в девять.

Мальчики в школе удивляются, почему мы так говорим.

— Вы что, янки, что ли?

Мы отвечаем, что приплыли из Америки, и они спрашивают:

— А вы гангстеры или ковбои?

Какой‑то толстый мальчик подходит ко мне так близко, что мы оказываемся с ним нос к носу.

— Я спрашиваю: гангстеры вы или ковбои?

Я говорю ему, что не знаю, и он тычет меня пальцем в грудь, а Мэйлахи тогда говорит, что он гангстер, а Фрэнки — ковбой.

— Братишка у тебя смышленый, а ты — тупой янки, — усмехается толстяк.

— Врежь ему, врежь ему! — радостно вопят другие мальчики, и он толкает меня так сильно, что я падаю.

Мне хочется заплакать, но в глазах у меня темнеет, так же, как тогда с Фредди Лейбовицем. Я кидаюсь на толстяка и бью его ногами и кулаками. Он падает, и я пытаюсь схватить его за волосы, чтоб треснуть головой об землю, но тут ноги мне чем‑то жалит сзади, и меня оттаскивают сторону.

Учитель, мистер Бенсон, хватает меня за ухо и колотит по ногам тростью.

— Ах ты хулиган, — приговаривает он. — В Америке своей драться научился? Богом клянусь, ты у меня научишься себя вести!

Он велит мне вытянуть сначала одну руку, потом другую, и бьет меня палкой по ладоням.

— А теперь марш домой, — говорит он. — И расскажи матери, как плохо себя вел. Ну‑ка повтори: «Я дурной».

— Я дурной.

— Теперь скажи: «Я — дурной янки».

— Я — дурной янки.

— Он не дурной, — вступается Мэйлахи. — Это вон тот мальчик сказал, что мы ковбои и гангстеры.

— Это правда, Хеффернан?

— Да я же пошутил, сэр.

— Больше никаких шуток, Хеффернан. Не их вина, что они янки.

— Да, сэр.

— И ты Хеффернан должен каждый день на коленях благодарить Господа, что ты не янки, потому что если бы ты был янки, Хеффернан, то стал бы величайшим гангстером по обе стороны Атлантики. Сам Аль Капоне приходил бы у тебя учиться. И не лезь больше к этим двум янки, Хеффернан.

— Не буду, сэр.

— А если будешь, Хеффернан, я с тебя три шкуры сдеру и на стену их повешу. А теперь все — марш домой!

###### \* \* \*

В школе Лими семь учителей, и у каждого имеется кожаный ремень, трость и терновая палка. Палкой бьют по плечам, спине и ногам, а особенно часто — по рукам. Последнее называется «шлепать». Колотят за опоздания, за то, что ручка течет, за смех, за разговоры, и если чего‑то не знаешь.

Отлупят, если не ответишь, почему Бог сотворил землю и какой святой покровительствует Лимерику, не сможешь прочесть наизусть апостольский Символ веры[[41]](#footnote-41), сложить в уме девятнадцать и сорок семь или отнять девятнадцать из сорока семи, перечислить главные города тридцати двух графств Ирландии и товары, которые в них производят, или найти Болгарию на карте мира, заляпанной плевками, козявками и чернильными кляксами — в качестве мести от учеников, которых выгнали из школы насовсем.

А кроме того, накажут, если не сможешь представиться, прочесть «Богородице Дево, радуйся» и попроситься в туалет на ирландском.

И тут уж главное — слушать старшеклассников. Они знают, кто твой учитель, и могут подсказать, что ему нравится, а что — нет.

Так, один учитель побьет, если не знаешь, что Имон де Валера[[42]](#footnote-42) — величайший из людей. Другой — если не скажешь, что величайшим из людей был Майкл Коллинз[[43]](#footnote-43).

Мистер Бенсон терпеть не может Америку и побьет каждого, кто посмеет хорошо о ней отзываться.

О’Ди ненавидит Англию, и не смей о том забывать, не то будешь бит. А если ненароком брякнешь что‑нибудь хорошее про Оливера Кромвеля, побьет любой из учителей.

Даже если тебя шесть раз «шлепнут» по рукам ясеневой тростью или терновой с набалдашником, плакать не смей — прослывешь слюнтяем. Мальчишки будут свистеть тебе вслед и дразнить на улицах, но даже забиякам надо быть осторожными, потому что когда‑нибудь накажут и их, а слез показывать нельзя, иначе позор тебе на веки вечные. Некоторые ребята говорят, что лучше поплакать, потому что учителям это нравится. Стерпишь молча — выставишь учителя слабаком перед классом, и он даст себе зарок в следующий раз терзать тебя до слез или до крови, а лучше до того и другого.

Пятиклассники рассказывают, что мистер О’Ди вызывает ученика отвечать перед классом, а сам встает сзади и изо всех сил тянет его за бачки, приговаривая:

— А ну, тянись к знаниям, тянись.

И вот ты уже стоишь на цыпочках, и на глаза у тебя наворачиваются слезы. Нельзя перед однокашниками плакать, но когда тебя тянут за волосы, слезы сами из глаз текут, а учителю того и надо. Мистер О’Ди как никто умеет довести ученика до слез и опозорить перед всей школой.

И все же лучше не плакать, надо быть заодно с ребятами и не доставлять радости учителям.

А отцу и матери без толку жаловаться, что учитель тебя бьет. У них ответ один:

— Значит, за дело. И нечего тут нюни распускать.

###### \* \* \*

Я‑то понимаю, что Оливер умер, и Мэйлахи понимает, а Юджин еще слишком мал и не уразумеет этого никак. Он зовет Олли по утрам, нетвердыми шажками топает по комнате и заглядывает под кровати или забирается на ту, что у окна, и говорит: «Олли, Олли», показывая пальчиком на детей на улице, особенно на светловолосых, как Оливер и он сам.

Мама, всхлипывая, берет его на руки и крепко обнимает, но он не хочет сидеть на ручках, а хочет скорее на пол — искать Оливера.

Папа с мамой говорят ему, что Оливер играет с ангелочками в раю и что мы когда‑нибудь встретимся с ним на небесах, но Юджин не понимает — ему всего два, он еще словами объяснить ничего не может, и вот это‑то хуже всего.

Я и Мэйлахи играем с ним и пытаемся его развеселить. То рожицы корчим, то ставим себе на головы кастрюли и нарочно их роняем. Еще бегаем по комнате и как будто случайно падаем. Водим его в Народный парк посмотреть на цветочки, поиграть с собачками, поваляться на травке.

Там тоже гуляют дети со светлыми волосами, как у Оливера. Юджин больше не зовет их «Олли», а только показывает на них пальчиком.

Папа говорит, Юджину повезло, что у него такие братья, потому что мы помогаем ему забыть горе, и скоро с Божьей помощью он и не вспомнит про Оливера.

###### \* \* \*

Но он все равно умер.

Тем злосчастным ноябрьским утром, спустя шесть месяцев после того, как не стало Оливера, мы проснулись утром и обнаружили, что Юджин лежит рядом с нами совсем холодный. Приехавший вскоре доктор Трой сказал, что ребенок скончался от пневмонии и что его давно следовало положить в больницу, почему же этого не сделали?

Папа ответил, что не замечал ничего странного, и мама тоже, а доктор Трой заявил, что так вот дети и умирают, потому что родители не замечают ничего странного, и что если мы с Мэйлахи хотя бы раз кашлянем или чуть осипнем, нас надо немедленно доставить к нему в любое время дня и ночи. И промокать нам категорически нельзя, потому что слабые легкие — это, похоже, у нас семейное. Еще он сказал маме, что очень сочувствует ее горю и пропишет кое‑какое лекарство, от которого ей станет легче.

— Слишком многого требует от нас Бог, слишком многого, — вздохнул он.

К нам пришли бабушка с тетей Эгги. Бабушка обмыла Юджина, а тетя Эгги сходила в лавку за белым платьицем и четками. Юджина обрядили в платьице и положили на кровать у окна, откуда он, бывало, высматривал Оливера. Руки ему сложили на груди — одну поверх другой — и обвили их маленькими белыми четками. Бабушка его причесала — убрала волосы со лба, приговаривая, что они у него чудесные и шелковистые. Мама укрыла ему ножки одеялом, чтоб не замерз. Бабушка и тетя Эгги молча переглянулись. Папа стоял у изножья кровати, снова бил себя кулаками по ногам и твердил, будто бы обращаясь к Юджину:

— Это все река Шаннон, сырость с реки убила вас с Оливером.

— Да замолчи ты, — цыкнула на него бабушка. — И без тебя тошно.

Она дала мне рецепт и велела сбегать в аптеку О’Коннора за пилюлями — денег не возьмут, спасибо доктору.

Папа сказал, что пойдет со мной и что мы еще в церкви иезуитов помолимся за Маргарет, Оливера и Юджина и за их счастливое воссоединение в раю. Получив в аптеке пилюли, мы зашли в церковь, а когда вернулись домой, бабушка дала папе денег, чтоб он купил себе не‑ сколько бутылок стаута.

Мама не разрешала, но бабушка возразила, что ему‑то пилюль не прописали, пусть хоть пивом немного утешится. Папе она сказала, что назавтра ему в похоронную контору идти за гробиком, а мне наказала проследить, чтоб он в пабе не просидел всю ночь и все деньги не пропил.

— Фрэнки нечего делать в пабах, — сказал папа.

— Вот и не сиди там, — огрызнулась бабушка.

Папа надел кепку, и мы пошли в «Саутс‑паб», и уже у дверей папа велел мне идти домой, мол, он только кружечку одну выпьет и вернется.

Я сказал, что без него не уйду.

— Будь умницей, — уговаривал меня папа. — Иди домой к нашей бедной маме.

Я опять не ушел, и папа сказал, что Бог не любит непослушных мальчиков.

Я заявил, что один домой не уйду.

— И куда только мир катится, — вздохнул папа.

Он быстренько выпил кружку портера в пабе, и мы взяли с собой еще несколько бутылок пива. Дома у нас сидели Па Китинг с бутылочкой виски и стаутом и дядя Пэт Шихан с двумя бутылками стаута. Дядя Пэт прямо на полу обнимал бутылки и твердил, что они его. Те, кого на голову роняли, всегда боятся, что у них украдут пиво.

— Ладно, Пэт, пей свое пиво. Никто тебя не трогает, — сказала бабушка.

Она и тетя Эгги сидели на кровати рядом с Юджином. Па Китинг пил пиво за кухонным столом и предлагал всем отхлебнуть у него виски. Мама приняла пилюли и села у камина, взяв Мэйлахи на колени. Она все повторяла, что у Мэйлахи волосики, как у Юджина, а тетя Эгги твердила, что вот и нет, пока бабушка не пихнула ее локтем и не велела замолчать. Папа стоял, прислонившись к стене между камином и кроватью, и пил пиво. Па Китинг рассказывал всякие байки, и взрослые смеялись, но нехотя и тихонько — ведь негоже смеяться в комнате, где лежит почивший ребенок. Па Китинг рассказывал, что когда он воевал вместе с англичанами во Франции, немцы напустили в окопы газу, и ему так поплохело, что его в госпиталь увезли. Подержали там маленько, а потом отправили обратно. Английских‑то солдат домой отпустили, а что до ирландских, то всем было наплевать, выживут они или помрут. Однако Па мало что не умер, так еще и сколотил себе целое состояние, решив величайшую проблему окопной жизни. В окопах было сыро и грязно — ну никак чаю не вскипятишь. Вот он и подумал: «Господи, у меня ж в организме столько газа пропадает!» Поместил он себе в задницу трубку, чиркнул спичкой, да столько огня добыл, что хоть закипятись воду. Тут же к нему сбежались солдаты и стали любые деньги предлагать за кипяток. И столько Па Китинг денег заработал, что подкупил генералов — те отпустили его из армии, и он умчался в Париж, а уж там вдоволь покутил с художниками и натурщицами. И так увлекся, что растратил все деньги, пришлось вернуться в Лимерик, а уж тут другой работы для него не нашлось, кроме как в топку уголь кидать, и теперь в организме у него столько газа, что хватит какой‑нибудь город целый год отапливать. Тетя Эгги хмыкнула, что неприлично такое рассказывать рядом с умершим ребенком, а бабушка сказала, что лучше такое рассказывать, чем сидеть с постными рожами. Дядя Пэт Шихан сказал с полу, что сейчас споет.

— Пой, конечно, — разрешил Па Китинг, и дядя Пэт запел «Дорогою в Рашин».

Правда, на самом деле он не пел, а лишь повторял:

— Рашин, Рашин, милая моим.

И прочую бессмыслицу, потому что давным‑давно его уронили на голову, и теперь каждый раз он пел эту песню по‑разному. Бабушка похвалила его пение, а Па Китинг заявил, что дядя Пэт наступает на пятки самому Карузо. Папа сел на край постели, где спали они с мамой, поставил бутылку на пол и, закрыв лицо руками, зарыдал. Потом позвал меня и обнял, как мама обнимала Мэйлахи.

— Завтра похороны, поспать бы надо, — сказала бабушка.

Взрослые по очереди опускались на колени у постели, читали молитву и целовали Юджина в лобик. Папа спустил меня на пол, встал и проводил каждого кивком. Когда все ушли, он допил все пиво, которое оставалось в бутылках, а в бутылку виски засунул палец и облизал. Потом погасил керосиновую лампу на столе и объявил, что мы с Мэйлахи будем спать на их с мамой постели, потому что на другой лежит Юджин. В комнате стало темно, только мягкие шелковистые волосики Юджина блестели в серебристом свете уличного фонаря.

###### \* \* \*

Утром папа разводит огонь, заваривает чай, подсушивает над огнем гренки. Он приносит чаю с хлебом маме, но она отказывается и снова отворачивается к стене. Папа велит нам с Мэйлахи встать на колени перед Юджином и помолиться, потому что молитва одного ребенка стоит молитв десяти кардиналов и сорока епископов. Папа показывает нам, как правильно креститься, и говорит:

— Боже милостивый! Вот, значит, какова твоя воля? Ты забрал у меня сына Юджина. И брата его Оливера. И сестру их Маргарет. И кто я, чтоб роптать? Боже милосердный, не знаю, почему должны умирать дети, но на все воля твоя. Ты велел реке Шаннон их убить, и она убила. Сжалься же над нами наконец. Оставь нам хотя бы этих детей. Это все о чем мы просим. Аминь.

Папа помогает нам с Мэйлахи вымыть головы и ноги, чтобы мы пошли чистыми на похороны Юджина. Мы молчим даже когда он больно чистит нам уши уголком полотенца, привезенного из Америки. Надо вести себя тихо, потому что на постели лежит Юджин с закрытыми глазами, и мы боимся, что он их откроет и будет искать в окне Оливера.

Приходит бабушка и уговаривает маму подняться с постели.

— У тебя живые дети остались, им нужна мать, — увещевает она.

Потом приносит маме чаю запить пилюли, от которых станет легче. Папа говорит бабушке, что сегодня четверг и ему надо идти на биржу за пособием, а потом в похоронную контору за повозкой и гробиком. Бабушка велит ему взять меня с собой, но папа отвечает, что мне лучше остаться с Мэйлахи и помолиться за душу умершего братика.

— Нет уж, — говорит бабушка. — Меня не проведешь. За душу двухлетнего‑то младенца чего молиться? Он уже давно в раю с братиком играет. Бери сына с собой, он тебе напоминать будет, чтоб ты в такой день в пабе не торчал.

Они сердито смотрят друг на друга, потом папа молча надевает кепку.

На бирже мы встаем в самый конец очереди, но из‑за стойки выходит служащий и говорит папе, что очень нам соболезнует и что в такой скорбный день ему выдадут пособие первому. Мужчины в очереди приподнимают кепки и говорят, что очень сочувствуют папе, а некоторые хлопают меня по спине и дают монетки: двадцать четыре пенни и четыре шиллинга. Папа замечает, что я теперь богатый и почему бы мне не купить себе конфетку, пока он зайдет тут рядышком на минуточку. Я знаю, что «рядышком» — это в паб, и что ему хочется черной воды под названием «пинта», но молчу, потому что хочу в соседнюю дверь за ириской. Я жую ириску, и во рту у меня делается липко и сладко. Папа все еще в пабе, и я раздумываю, не купить ли мне еще ириску, пока он допивает свою пинту. Я уже протягиваю деньги лавочнице, но тут меня сильно хлопают по руке, и надо мной склоняется ужасно сердитая тетя Эгги.

— Так‑так. Вот, значит, чем ты занимаешься в день похорон родного братика? Конфетами объедаешься? А папаша где?

— В пабе.

— Ну где ж еще, конечно! Один конфетами себе пузо набивает, другой напивается, и именно в тот день, когда твой бедный братик отправится в последний путь.

— Вылитый отец, — бросает она лавочнице. — Тоже со странностями и ухмылочка эта чертова северная.

Она велит мне тут же идти в паб и передать отцу, чтоб сейчас же шел за гробом и повозкой. А сама она в паб ни ногой, потому что пьянство — проклятие этой Богом забытой страны.

Папа сидит в дальнем углу пивной с человеком, у которого лицо грязное и волосы растут из носа. Они молча смотрят куда‑то перед собой, между ними на стуле маленький белый гробик, на крышке которого стоят две черные пинты. Я знаю, что это гроб Юджина, потому что Оливера похоронили в таком же, и мне хочется зареветь. Зачем только я ел ириску?! Вот бы можно было вытащить ее из живота и отдать обратно лавочнице, потому что нехорошо есть конфеты, когда дома лежит мертвый Юджин. От вида черных пинт на белом гробике мне делается страшно.

— Нет, мистер, теперь даже гробик в чертовой повозке не оставишь, — сетует папин приятель. — Вот я как‑то раз оставил, ну, за пинтой зашел, так сперли, представляете?! Ладно еще пустой был, но все равно. Окаянные времена настали, ох, окаянные. — Он поднимает свою пинту, и делает большой глоток, а потом с глухим стуком ставит кружку обратно на гроб.

— Еще минутку сынок и пойдем, — кивает мне папа.

Он тоже делает большой глоток, но, когда ставит кружку на гроб, я ее убираю.

— Это гроб Юджина. Я расскажу маме, что ты кружку на него ставишь.

— Тише, сынок. Тише.

— Еще по пинте, мистер? — спрашивает его собеседник.

— Подожди на улице, Фрэнсис, — говорит папа.

— Нет.

— Ну же, будь умницей.

— Нет.

— Да если б мой сын со мной спорил, я б ему такого пинка дал, что он бы до самого графства Керри летел. Как можно отцу перечить, да еще в такой скорбный день! Если уж пинту по случаю траура нельзя выпить, то для чего жить‑то вообще? — возмущается папин приятель.

— Ладно, пойдем, — говорит папа.

Они допивают пинты и рукавами вытирают бурые следы от кружек на гробе. Папин приятель забирается на козлы, а мы с папой садимся в повозку. Папа крепко прижимает гробик к груди. У нас дома полно взрослых: мама, бабушка, тетя Эгги, ее муж Па Китинг, дядя Пэт Шихан и дядя Том Шихан — мамин старший брат, который раньше даже близко к нам не подходил, потому что терпеть не может тех, кто с Севера. Дядя Том не один, а с женой, Джейн. Она из Голуэя, и про нее говорят, что она на испанку похожа, поэтому с ней никто из родственников не разговаривает.

Человек из паба забирает у папы гробик и заносит его в комнату.

— О, Господи, нет, нет, — стонет мама.

Папин приятель сообщает бабушке, что скоро вернется и отвезет нас на кладбище.

— Не вздумай сюда пьяным являться, — грозит ему бабушка. — Ребеночек и так при жизни настрадался и заслуживает лучшего отношения, и я не потреплю тут пьяного кучера, который того и гляди с повозки свалится.

— Я, миссус, уж столько детей свез на кладбище и ни разу не свалился ни с высокой повозки, ни с низкой.

###### \* \* \*

Мужчины снова пьют пиво из бутылок, а женщины потягивают шерри из стеклянных банок.

— Мое пиво, мое пиво, — сообщает всем дядя Пэт.

— Ну, конечно, твое, Пэт. Никто на него не покушается, — успокаивает его бабушка.

Потом он начинает твердить, что споет «Дорогою в Рашин», но Па Китинг говорит:

— Нет, Пэт, в день похорон нельзя. Накануне можно.

— Это мое пиво, и я хочу спеть «Дорогою в Рашин», — не унимается дядя Пэт.

И все понимают, что он так себя ведет, потому что его роняли на голову. Он начинает петь, но осекается, когда бабушка снимает крышку с гробика.

— Господи, Боже мой, да когда же это кончится? — рыдает мама. — Хоть одного‑то ребенка мне оставят?

Она сидит на стуле у изголовья кровати, гладит Юджина по голове, по лицу, по рукам и говорит ему, что он был самым милым, ласковым и любящим малышом на свете и как это ужасно прощаться с ним навсегда, одно утешение — знать, что он теперь в раю, с братиком и сестричкой, и Оливер больше не тоскует по своему братику‑близнецу. Мама кладет голову на край постели рядом с Юджином и так горько рыдает, что все женщины в комнате плачут вместе с ней. Она плачет и плачет, но Па Китинг говорит ей, что пора ехать, а то дотемна не успеем, а в темноте на кладбище делать нечего.

— Кто ребенка в гробик класть будет? — шепчет бабушка тете Эгги.

— Не я, — отвечает та. — Это мать должна сделать.

Их слышит дядя Пэт.

— Я положу ребенка в гробик, — говорит он.

Потом ковыляет к кровати, обнимает маму за плечи. Та поднимает мокрое от слез лицо.

— Я положу ребенка в гробик, Анджела, — повторяет дядя Пэт.

— Пэт, — охает она. — Ох, Пэт.

— Я смогу, — говорит он. — Это же просто ребеночек. Я никогда не держал на руках ребеночка, но я не уроню его, Анджела. Богом клянусь, не уроню.

— Знаю, что не уронишь, Пэт. Знаю.

— Я просто возьму его на руки, а петь «Дорогою в Рашин» не стану, — уверяет дядя.

— Знаю, что не станешь, — отвечает мама.

Пэт откидывает отдеяльце, которым мама накрыла ножки Юджину. Они такие белые, с тоненькими синими прожилками. Дядя берет Юджина на руки и прижимает его к груди, потом целует Юджина в лобик, и все в комнате подходят и целуют Юджина. Пэт кладет его в гробик и отходит. Мы все стоим вокруг гроба и в последний раз смотрим на Юджина.

— Видишь, Анджела, я его не уронил, — хвалится дядя Пэт, и мама гладит его по щеке.

Тетя Эгги идет в паб за кучером. Тот приходит, закрывает гроб и привинчивает крышку.

— Пойдемте, кто на кладбище поедет, — зовет он и уносит гроб в повозку.

В ней хватает места только маме, папе и нам с Мэйлахи.

— Вы поезжайте, а мы тут вас подождем, — говорит бабушка.

Я не знаю, почему нам нельзя оставить дома Юджина. Не знаю, зачем его увозит этот человек, который ставил пинту на белый гроб. И почему увезли Маргарет и Оливера. Как ужасно, что мою сестричку и братиков положили в ящик, и никого даже спросить нельзя, почему так.

###### \* \* \*

Лошадь, цокая копытами, повезла нас по улицам Лимерика.

— А Оливера мы увидим? — спросил Мэйлахи.

— Нет, — ответил папа. — Оливер в раю, и не спрашивай, где это, не знаю я.

— Рай — это там, где Оливеру, Юджину и Маргарет весело и тепло, и когда‑нибудь мы с ними встретимся, — сказала мама.

— А лошадь кучу сделала и на улице воняло, — сообщил Мэйлахи, и мама с папой невольно улыбнулись.

###### \* \* \*

На кладбище кучер слезает с козел и открывает нам дверцу.

— Давайте гроб. До могилы донесу. — Он хватается за гроб и оступается.

— Нет уж, не понесешь ты моего ребенка в таком состоянии, — негодует мама. Она поворачивается к папе: — Ты неси.

— Да делайте что хотите. Что хотите, черт побери, — говорит кучер и забирается на свое место.

Уже темнеет, гроб у папы в руках кажется совсем белым. Мама берет нас за руки, и мы идем за папой по тропинке между могилами. Галки на деревьях притихли — день почти закончился, а завтра им рано просыпаться и кормить птенцов.

У могилы ждут двое мужчин.

— Поздненько вы, — говорит один. — Ладно, копать мало, а то мы б ушли уже. — Он спускается в яму и говорит: — Гроб давайте.

Папа подает ему гроб.

Копальщик присыпает гроб соломой и травой, потом вылезает из ямы, и его приятель начинает забрасывать гроб землей.

— Господи, Господи, — рыдает мама.

На дереве кричит галка. Жалко, у меня нет камня, а то я бы ее прибил. Могильщики забрасывают землей яму, вытирают пот со лба и стоят, будто ждут чего‑то.

— Э‑э, горло бы промочить чуток, — произносит наконец один.

— Да‑да, — отвечает папа и дает им денег.

— Соболезнуем, — бросают они и уходят.

Мы идем обратно к воротам, но повозки там нет. Папа уходит в темноту, потом возвращается и качает головой.

— Чертов забудлыга, этот кучер, прости Господи, — сердится мама.

Домой с кладбища идти далеко.

— Детям поесть нужно, — говорит мама папе. — От денег, что тебе утром дали, должно что‑то остаться. Про пивнушку на сегодня можешь забыть. Сводим детей в «Нотонс», пусть рыбы с картошкой поедят да лимонаду выпьют, не каждый день они брата хоронят.

Рыба и картошка с уксусом и солью вкуснейшие, а от лимонада пощипывает в горле.

Дома у нас уже никого нет. На столе стоят пустые бутылки, огонь в камине потух. Папа зажигает керосиновую лампу, и теперь видно примятое место на подушке, где лежала голова Юджина. Кажется, что вот‑вот послышится его голос, а потом и он сам протопает через комнату, заберется на постель и будет высматривать в окно Оливера.

Папа говорит, ему надо пройтись.

— Нет, — отвечает мама. — Знаю, куда ты собрался. Последние гроши пропить хочешь?

— Ладно, — сдается папа.

Он разводит огонь, мама заваривает чай, а потом мы все ложимся спать. Мы с Мэйлахи возвращаемся в кровать, на которой умер Юджин. Я надеюсь, ему не холодно там, в белом гробу на кладбище, хотя и знаю, что на кладбище его больше нет — туда прилетели ангелы, открыли гроб, и теперь Юджин далеко от реки Шаннон с ее убийственной сыростью, он на небесах вместе с Оливером и Маргарет, и там у них вдоволь рыбы и картошки и ирисок, и никакие злые тети их не донимают, а папы с биржи сразу идут домой и не надо искать их в пабах.

## III

Мама заявляет, что больше ни минуты не останется на Хартстондж‑стрит. Ей тут день и ночь мерещится Юджин: то будто бы он забирается на кровать и высматривает Оливера на улице, то будто Оливер гуляет на улице и они с Юджином лепечут что‑то друг другу через окно. Нет, для нее, конечно, утешение знать, что они теперь могут поболтать друг с другом, но она не выдержит, если будет видеть и слышать их всю оставшуюся жизнь. Переезжать жалко, потому что тут школа Лими, но если не переехать, то мама скоро сойдет с ума и попадет в лечебницу.

Мы переезжаем в переулок Роден‑лейн, что на Барачном холме. На одной стороне переулка шесть домов, на другой — один. В каждом по две комнаты наверху и внизу. Наш — самый дальний. Рядом сарайчик, уборная и конюшня.

Мама идет в Общество Святого Викентия де Поля — узнать, нельзя ли какую‑нибудь мебель получить. Служащий дает ей талон на стол, два стула и две кровати. За мебелью нужно идти в магазин подержанной мебели в Айриштауне, и домой все придется тащить самим. Мама говорит служащему, что мы все увезем на коляске, которая осталась от близнецов, и при этом плачет. Она вытирает слезы рукавом и спрашивает:

— А кровати дают подержанные?

— Разумеется, — кивает служащий, а мама говорит, что ей как‑то не по себе будет спать на постели, на которой, возможно, кто‑то умер, а вдруг от чахотки?

Ей отвечают, что сожалеют, но нищим выбирать не приходится.

У нас уходит целый день на то, чтобы перевезти на коляске мебель с одного конца Лимерика на другой. Одно из четырех колес кривое, и коляска так и норовит уехать в сторону. У нас теперь есть две кровати, сервант с зеркалом, стол и два стула. Дом нам очень нравится: можно ходить из комнаты в комнату, спускаться и подниматься по лестнице. Знай, ходи себе по лестнице туда‑сюда день‑деньской и чувствуй себя богачом. Папа разводит огонь в камине, а мама готовит чай. Папа садится на один стул, мама — на другой, а мы с Мэйлахи устраиваемся на чемодане, привезенном из Америки. Сидим мы, пьем чай, и тут вдруг мимо нашей двери идет старичок с ведром, выливает его в уборной и на кухне у нас начинает страшно вонять.

— А почему вы выливаете ведро в наш туалет? — спрашивает мама, выходя во двор.

— Ваш туалет, миссус? — переспрашивает старичок, приподнимая кепку. — Тут вы маленько ошибаетесь. Туалет у нас один на всю улицу. Мимо вас все одиннадцать семейств с ведрами таскаться будут. Ох и вонища тут стоит по теплу, доложу я вам. Это ладно сейчас конец декабря и холодно, а потом так заблагоухает, что противогаз надеть захочется. Так что спокойной ночи, миссус, и с новосельицем вас.

— Постойте‑ка, сэр, — говорит ему мама. — А туалет кто чистит?

— Чистит? Ха, ну вы и спросили. Шутить изволите? Дома‑то эти еще при королеве Виктории построены, так что если здешний нужник кто и чистил, так разве что давным‑давно и темной ночью, потому что никто и никогда этого чистильщика в глаза не видел. — И старичок, посмеиваясь, возобновляет свой путь вверх по улочке.

Мама снова садится у стола.

— Нельзя здесь оставаться, — произносит она. — Этот туалет нас всех убьет, ох и заразы там!

— Ну и куда нам переезжать? — говорит папа. — Где еще найдешь жилье за шесть шиллингов в неделю? Сами почистим. Накипятим воды много ведер и выльем туда.

— Да неужели? — спрашивает мама. — А где мы уголь и торф раздобудем, чтобы столько воды накипятить?

Папа молча допивает чай и принимается искать гвоздь, чтобы повесить нашу единственную картину. На ней какой‑то худощавый человек в желтой шапочке, черном одеянии и с крестом на шее. Папа поясняет, что это папа римский, Лев XIII, большой друг рабочего класса, и картина привезена из Америки, где ее выбросил кто‑то, кому дела не было до трудового люда.

Мама говорит, что все это чертова чушь, а папа — что разве можно говорить «чертова» при детях? Гвоздь он находит, вот только молотка нет.

— Одолжи у соседей, — предлагает мама, но папа отвечает, что не пойдет ничего выпрашивать у незнакомых людей. Он приставляет картину к стене и бьет по гвоздю донышком стеклянной банки. Стекло разбивается, ранит папе руку, и кровь капает Льву XIII на голову. Папа оборачивает руку ветошью для мытья посуды и кричит маме:

— Быстрее, вытри кровь, пока не засохла.

Мама пытается стереть кровь шерстяным рукавом, но от этого она только больше размазывается, и теперь у папы римского пол‑лица в крови.

— Да Боже мой, Анджела, — стонет папа. — Совсем испортила.

— Да не вой ты, — отвечает мама. — Краской потом закрасим.

— Единственный из пап — друг рабочего класса. И что мы скажем, если к нам из Общества Святого Викентия придут, а у нас тут папа римский весь в крови?

— А мне‑то что? — говорит мама. — Кровь‑то твоя — тоже мне мужик, называется, даже гвоздь вбить не может. Проку от тебя никакого. Лучше бы в поле лопатой махал, и вообще, мне плевать. У меня спина болит, я спать ложусь.

— Ну и что теперь делать? — вздыхает папа.

— Сними портрет и спрячь в угольной яме под лестницей — и не видно, и не наступит никто.

— Нет, нельзя, — не соглашается папа. — Не к добру это. Угольная яма — не место для папы римского. На стену его надо.

— Делай, как знаешь, — отмахивается мама.

— Ну и сделаю.

###### \* \* \*

Это наше первое Рождество в Лимерике. Девочки в переулке прыгают через веревочку и поют:

Рождество подходит,

Гусь наел бока.

Ну‑ка, брось монетку

В шляпу старика.

Если нету пенни

Хватит и полпенни.

Если нет полпенни,

Бог тебя простит!

Мальчишки дразнят девчонок и кричат:

Чтоб твоя мамаша

В нужник провалилась.

Мама говорит, что вот бы настоящий рождественский обед приготовить, но после смерти Юджина и Оливера пособие урезали до шестнадцати шиллингов в неделю. За жилье мы платим шесть шиллингов, а на оставшиеся десять разве прокормишь четверых?

Папу никуда не берут. Он встает рано утром, разжигает огонь, кипятит воду, чтоб выпить чаю и побриться, и облачается в рубашку с пристежным воротничком. Потом надевает галстук, кепку и идет на биржу за пособием. Он никогда не выходит из дома без воротничка и галстука, говорит, без них ходить — себя не уважать и что на бирже в любой момент могут предложить работу, а ты не при параде! Ну и что, что работа на мукомольной фабрике или на цементном заводе.

Начальники и бригадиры всегда поначалу относятся к нему с уважением и готовы его нанять, но потом слышат северный акцент и берут кого‑нибудь из местных. По крайней мере так он объясняет маме, сидя вечером у камина.

— И чего ты не оденешься по‑рабочему? — замечает мама, а папа говорит, что гордостью не поступится и достоинство свое ронять не станет.

— Тогда хотя бы попытался говорить как местный, — предлагает мама, а папа отвечает, что никогда не падет так низко, и вообще — хватит того, что родные сыновья теперь этим недугом страдают, для него это и так уже превеликое огорчение.

— Ах ты, бедный‑несчастный, — ухмыляется мама. — Больше погоревать ему не из‑за чего.

Папа говорит, что в один прекрасный день мы с Божьей помощью уедем куда подальше от Лимерика и от реки‑убийцы.

Я спрашиваю папу, что значит «недуг», а папа отвечает, что это болезнь или когда ведут себя неподобающе.

Когда папа не ищет работу, то уходит за город. Там он предлагает фермерам помощь, потому что сам вырос на ферме и все умеет делать. Если для него находится работа, он принимается за дело, не снимая кепки, воротничка и галстука. Работает он так усердно и долго, что сами фермеры упрашивают его передохнуть, мол, как так можно — целый день на жаре без еды и питья? А папа только улыбается в ответ. Он никогда не приносит домой то, что зарабатывает на фермах, мол, пособие — другое дело, пособие следует домой приносить, а эти деньги он пропивает в пабах. Если папы нет дома в шесть вечера, когда звонит Анжелюс, значит, он днем работал на ферме. Мама все надеется, что он вспомнит про семью и хоть раз пройдет мимо паба, не заходя в него, но такого не бывает. Еще мама надеется, что папа принесет домой хоть что‑нибудь из еды: картошку, капусту, репу, морковь, но он никогда ничего не приносит, потому что, видите ли, не опустится до того, чтобы по фермам попрошайничать.

— Я так, значит, должна выпрашивать еду в Обществе Святого Викентия де Поля, а ты пару картофелин в карман сунуть не можешь?! — возмущается мама.

Папа говорит, что у мужчин по‑другому. Надо носить воротничок, не жаловаться и никогда ни о чем не просить. Сохранять достоинство.

— Ну, сохраняй, сохраняй, — говорит мама.

Пропив полученные от фермеров деньги, папа бредет домой, распевая песни и рыдая об Ирландии и о своих умерших детках, но больше об Ирландии. Если папа поет «Родди Маккорли», значит, денег у него хватило только на одну‑две пинты. А если затягивает «Кевина Барри», значит, день удался, и теперь он ввалится домой пьянющим, поднимет нас с постели, велит построиться в ряд и клясться, что умрем за Ирландию.

— Оставь детей в покое, — злится мама. — Не то дам кочергой по башке.

— Не дашь, Анджела.

— Еще как дам, мало не покажется, — грозит мама. Хватит нести чушь, проспись иди.

— Спать, спать, спать. Какой смысл? Утром опять вставать, да и как спать, если с реки не туман плывет, а отрава?

Папа ложится спать, бьет стену кулаком, поет горестную песню и засыпает. Едва займется день, как он уже на ногах, потому что негоже спать, когда уже рассвело. Он будит нас с Мэйлахи, а мы не выспались, потому что он нас ночью будил, а потом спать не давал бормотаньем и песнями. Мы ноем, что нам плохо, мы устали, но он сдергивает с нас пальто, которым мы укрывались, и сгоняет на пол. На дворе декабрь, морозно, изо рта идет пар. Мы писаем в ведерко у двери и скорее бежим вниз, где папа уже разжег огонь. Там умываемся в тазике, что стоит под краном у двери. Шланг, по которому течет вода, привязан к гвоздю на стене. Вокруг крана все отсырело: и стена, и пол, и стул с тазиком на нем. Вода ледяная, пальцы немеют от холода. Папа говорит, ничего, полезно — так мы настоящими мужчинами вырастем. Он плещет себе ледяной водой на лицо, шею и грудь, показывая нам пример. Мы тянем озябшие руки к огню, но долго так стоять нельзя — пора пить чай с хлебом и отправляться в школу. Папа велит помолиться до еды и после и вести себя хорошо в школе, потому что Бог видит каждый шаг и за малейшую провинность отправляет прямиком в ад, вот уж там точно холодно не будет.

И папа улыбается.

За две недели до Рождества мы возвращаемся из школы под проливным дождем, заходим в дом, а там никого нет. Стол, стулья и чемодан куда‑то исчезли, огонь не горит. Но Лев XIII висит на стене, значит, мы не переезжаем. Без портрета папа не уехал бы. На полу повсюду лужицы, стены блестят от сырости. Наверху какой‑то шум. Мы поднимаемся по лестнице и видим папу, маму и пропавшую мебель. На втором этаже тепло и уютно, в камине горит огонь. Мама сидит на постели, а папа у камина читает «Айриш‑пресс» и курит. Мама рассказывает, что нас тут затопило, дождевая вода потоками текла вниз по переулку и подливалась под дверь. Мама с папой пытались заделать щель тряпками, но только вымокли сами и воды в дом напустили. А народ тут еще со своими ведрами ходит, и теперь на кухне тошнотворная вонь. Нам придется жить наверху, пока дожди не прекратятся. Зимой тут будет тепло, а весной — если стены и пол просохнут, — мы снова переедем вниз. Папа говорит, что мы будто бы уехали на отдых за границу, в Италию какую‑нибудь. Теперь мы называем верхний этаж «Италией». Мэйлахи говорит, что папа римский на стене внизу замерзнет, может, его наверх принести?

— Нет уж, пусть там висит, — возражает мама. — Хватит того, что мы его из Бруклина в Белфаст тащили, потом еще в Дублин и в Лимерик, теперь хоть немного покоя и уюта хочется.

###### \* \* \*

Мама берет нас с собой в Общество Святого Викентия де Поля в надежде раздобыть гуся или окорок к рождественскому столу, но распорядитель говорит, что нынче всем в Лимерике туго. Нам дают талон в лавку миссис Макграт и еще один — к мяснику.

— Какой уж там гусь или окорок, — говорит мясник. — По талону деликатесов не полагается. Вон, кровяную колбасу берите, потроха еще могу дать, голову овечью или свиную. Свиная голова — штука хорошая — мяса много и детям нравится. Свиная щечка да с горчичкой — воистину райская пища. В Америке такого нету, наверное, там всем стейки подавай да птицу дикую, домашнюю и водоплавающую.

— Нет, — говорит он маме. — Ни бекона вареного, ни сосисок я вам дать не могу. Да берите же свиную голову, пока бедняки не налетели и все не расхватали.

— Да кто ж свиную голову в Рождество подает? — удивляется мама.

— У Святого Семейства в холодном вифлеемском хлеву и того не было, — отвечает мясник. — Уж они бы там не упирались, коли им бы такую хорошую свиную голову предлагали.

— Не упирались бы, — говорит мама. — Но и есть бы не стали. Они же иудеи были.

— А это тут при чем? — недоумевает мясник. — Свиная голова — это свиная голова.

— А иудей — это иудей, им религия запрещает, такие уж у них правила.

— А вы, миссус, знаток по части иудеев и свинины, — усмехается мясник.

— Вовсе нет, — говорит мама. — Просто у нас в Нью‑Йорке соседка была, миссис Лейбовиц, не знаю, что бы мы без нее делали.

Мясник снимает с полки свиную голову, и Мэйлахи кричит:

— Ой, дохлая собачка.

Мама и мясник смеются. Он заворачивает свиную голову в газету и говорит маме:

— С Рождеством!

Потом добавляет в сверток несколько сосисок.

— Возьмите вот сосисок еще, позавтракаете в Рождество.

— У меня денег нет на сосиски, — говорит мама.

— А я разве просил денег? — обижается мясник. — Так возьмите, вместо гуся и окорока.

— Ну, что вы, вовсе не обязательно, — говорит мама.

— Знаю, миссус. Было б обязательно, не давал бы.

Мама говорит, что у нее спина болит и свиную голову придется нести мне. Я прижимаю сверток к груди, но свиная голова мокрая, и газета слезает с нее кусками.

— Теперь все узнают, что у нас свиная голова на Рождество. Вот позор‑то, — сокрушается мама.

Мальчики из нашей школы тычут в меня пальцем и смеются:

— О, гляньте, у Фрэнки Маккорта свиное рыло. Это янки такое на Рождество едят, да, Фрэнк?

— Эй, Кристи, знаешь, как свиную голову есть? — кричит один другому.

— Не‑а, не знаю, Пэдди.

— Хватаешь за уши и сжираешь морду.

— А ты Пэдди знаешь, как Маккорты свинью съедят? — хохочет Кристи.

— Нет, Кристи, не знаю.

— Подчистую, ни хрю‑хрю не останется.

Еще несколько улиц, газета окончательно отваливается и теперь все видят свиную голову. Пятачок упирается мне в подбородок, и мне жаль поросенка — он умер, а над ним все потешаются. Мои сестра и братики тоже умерли, а если б кто вздумал над ними смеяться, я б в того камнем.

Вот бы папа к нам вышел и помог, а то мама все время останавливается и прислоняется к стене. Она держится за спину и говорит, что на Барачный холм ей не подняться, а от папы все равно толку нет, он никогда не носит ни свертков, ни сумок, ни узлов, потому что это унижает его достоинство. Вот близнецов он носил, когда те уставали, и папу римского тащил из Америки, но это ж не свиная голова. Он и мне с Мэйлахи говорит, чтоб, когда вырастем, носили воротничок и галстук, а чтоб с поклажей в руках нас никто не видел.

Папа сидит наверху у огня, курит и читает «Айриш‑пресс» — это его любимая газета, потому что ее издает Де Валера, величайший из людей. Увидев меня со свиной головой, папа говорит маме, мол, безобразие, что мальчик нес такое по улицам города. Мама снимает пальто, устало опускается на кровать и отвечает папе, что в следующий раз он сам пойдет искать еду на Рождество. У нее совсем нет сил и ужасно хочется чаю, так что не будет ли любезно его сиятельство вскипятить воду на чай и поджарить хлеб, а то малютки‑сыновья того и гляди умрут с голоду.

Утром в Рождество папа разводит огонь пораньше, чтобы мы позавтракали сосисками и хлебом с чаем. Мама велит мне сбегать к бабушке за кастрюлей для свиной головы.

— Что‑что у вас на ужин? Свиная голова?! Господи Исусе и святые Мария с Иосифом. Да куда ж это годится! Что, папаша даже не почесался раздобыть гуся или окорок? Да что за мужик такой в самом деле?!

Мама запихивает свиную голову в кастрюлю, и, едва прикрытую водой, ставит вариться, а папа ведет нас с Мэйлахи в церковь редемптористов[[44]](#footnote-44). Там тепло, и в воздухе сладко пахнет цветами, ладаном и свечами. Мы подходим к яслям, где лежит Младенец Иисус — упитанный малыш с золотистыми кудряшками, как у Мэйлахи. Папа показывает, вот мать Иисуса, Мария, в синем платье, а вот — отец, святой Иосиф — почтенный старец с бородой. Они оба печальные, потому что знают — Иисус вырастет и его убьют ради того, чтобы мы все попали в рай. Я спрашиваю, зачем Младенцу Иисусу умирать, папа отвечает, что об этом спрашивать нельзя. Мэйлахи интересуется почему, но папа велит ему вести себя тихо.

Мама в ожидании нас вся извелась. Угля не хватило, вода в кастрюле не кипит — как же тут с ума не сходить! Придется снова идти на Док‑роуд, искать по обочинам торф и уголь, а уж сегодня‑то они там точно будут — даже самая голь городская не пойдет в Рождество уголь на дороге собирать. Папу просить бесполезно — он же никогда не падет так низко, а если бы и пал до угля, так с мешком по улице не пойдет — принципы не позволяют. А мама пойти не может, у нее спина болит.

— Придется тебе идти, Фрэнк, — говорит мама. — И Мэйлахи с собой возьми.

Док‑роуд далеко от нас, но ничего — мы наелись сосисок и напились чаю и дождя нет. С собой у нас холщовая сумка, которую мама одолжила у соседки, миссис Хэннон. На Док‑роуд и правда ни души. Все бедняки сидят по домам и обедают свиной головой или гусем, так что Док‑роуд полностью в нашем распоряжении. Мы выковыриваем кусочки угля и торфа из трещин на дороге и в стенах угольного склада, подбираем обрывки бумаги и картона — для растопки сгодится. Бродим туда‑сюда, пытаясь набить сумку, и тут к нам подходит Па Китинг. Наверное, он вымылся к празднику, потому что теперь не такой черный, как был тогда, когда умер Юджин. Па Китинг спрашивает, чего это мы тут делаем, и Мэйлахи объясняет.

— Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом! — восклицает Па Китинг. — Сегодня Рождество, а вам огонь нечем развести, чтобы сварить свиную голову? Да это же безобразие, черт подери!

Он отводит нас в «Саутс‑паб», который вообще‑то закрыт, но Па Китинг там — постоянный клиент, и для тех, кто желает выпить пинту за рождение Младенца Иисуса, есть черный ход. Па Китинг берет себе пинту, а нам лимонад и спрашивает бармена, не найдется ли у него несколько кусочков угля. Тот отвечает, что за двадцать семь лет, что он спиртным торгует, угля у него еще не просили, но для такого хорошего приятеля он даже луну с неба готов достать. Бармен ведет нас к угольной яме под лестницей и разрешает набрать столько угля, сколько сможем унести. Уголь хороший, а не какие‑то обломки с Док‑роуд, ну и что, что сумка тяжелая получается, ее ведь можно по земле тащить.

До Барачного холма мы добираемся очень долго, потому что в сумке дыра. Я волочу сумку по дороге, а Мэйлахи подбирает вываливающийся из прорехи уголь и засовывает обратно. Потом начинается дождь, а под крышу сумку не затащишь. Она оставляет на дороге черный след, да и Мэйлахи весь перемазался, потому что пока собирал уголь, то вытирал мокрое от дождя лицо грязными руками.

— Ты весь черный, — говорю я ему.

— А сам‑то, — отвечает он.

— А ну марш с крыльца! — гонит нас лавочница. — Что за «Африку» вы мне тут развели в Рождество?

Приходится брести дальше, не то не видать нам рождественского ужина. Огонь будут разводить целую вечность, а потом еще столько же ждать придется, потому что капусту и картошку надо подкладывать к свиной голове, когда вода кипит. Мы тащим сумку по О’Коннелл‑авеню, а в окнах ярко горит свет и люди сидят за красиво накрытыми столами. Одно из окон приоткрывается и оттуда высовываются дети.

— Зулусы, зулусы! Где ваши копья? — смеются они, показывая на нас пальцами.

Мэйлахи корчит им рожи и хочет швырнуть в них углем, но я его останавливаю, потому что тогда на свинью меньше угля останется и еды нам вовсе не дождаться.

Дома у нас опять море разливанное из‑за дождя, но мы шлепаем по воде — и так уже до нитки вымокли. Папа перетаскивает мешок наверх, в «Италию». Он хвалит нас за то, что так много угля набрали — наверное, Док‑роуд была им усыпана. Мама при виде нас сначала смеется, потом плачет. Смеется она, потому что мы совсем чумазые, а плачет — потому что промокли до костей. Она велит нам снять всю одежду, отмывает нам руки и лица. Папе она говорит, что свиная голова может и подождать, главное нас горячим чаем напоить.

На улице дождь, на кухне — море, а у нас в «Италии» снова горит огонь. В комнате сухо и так тепло, что после чая мы с Мэйлахи засыпаем и просыпаемся только когда папа говорит, что ужин готов. Одежда еще не высохла, поэтому Мэйлахи восседает на чемодане, закутанный в мамино красное пальто, а я — в старое пальто дедушки, который сбежал в Австралию.

В комнате вкусно пахнет капустой, картошкой и мясом. Папа достает свиную голову из кастрюли и кладет ее на тарелку.

— Бедный поросеночек, — говорит Мэйлахи. — Не хочу его есть.

— Значит, не голоден, — говорит мама. — Давай, ешь без разговоров.

— А мы вот как сделаем, — говорит папа.

Он отрезает от поросячьих щек два кусочка, кладет нам на тарелки и мажет горчицей, а блюдо с головой убирает под стол.

— Вот тебе просто окорок, — говорит он Мэйлахи, и Мэйлахи ест, потому что это просто мясо и не видно, откуда оно взялось.

Капуста горячая и мягкая и картошки с маслом и солью навалом. Мама очищает нам картошку от кожуры, а папа ест прямо так, потому что вся польза в кожуре.

— Ладно у нас не яйца на ужин, — смеется мама. — А то со скорлупой бы слопал.

Папа говорит, что да, и слопал бы, и вообще это безобразие, что ирландцы каждый день выбрасывают миллионы картофельных шкурок, потому и мрут от чахотки, и в яичной скорлупе уж очень много полезного, и вообще расточительство — восьмой смертный грех.

— Будь моя воля… — начинает он.

— Тебя забыли спросить, — перебивает его мама. — Ешь давай.

Папа съедает полкартофелины с кожурой, а оставшуюся половинку кладет обратно в кастрюлю. Еще он берет себе маленький кусочек свинины и капустный лист, а остальное отдает нам с Мэйлахи. Потом снова заваривает чай, и мы пьем чай с вареньем — теперь никто не скажет, что нам на Рождество сладкого не дали.

За окном темно, и по‑прежнему льет дождь, а в камине поблескивают угольки. Мама и папа сидят у камина и курят сигареты. Одежда сырая и остается только забраться снова в теплую постель и слушать папину сказку про то, как Кухулин стал католиком, а потом уснуть и видеть во сне поросенка, который плачет в яслях, потому что и он, и Младенец Иисус, и Кухулин умрут, когда вырастут.

###### \* \* \*

Ангел, который приносил нам Маргарет и близнецов, прилетел снова, и теперь у нас есть братик Майкл. Папа говорит, что нашел его на седьмой ступеньке лестницы в «Италию», и что, мол, если уж попросил у Бога ребеночка, то жди Ангела Седьмой Ступеньки.

Мэйлахи интересуется, как Ангел Седьмой Ступеньки приносит братиков тем, у кого лестницы нет, но папа отвечает, что чрезмерное любопытство — сродни недугу.

Мэйлахи спрашивает, что такое «недуг», да и мне тоже интересно, но папа говорит, что весь мир поражен недугом, надевает кепку и уходит в больницу Бедфорд‑роуд проведать маму и Майкла. Она в больнице, потому что у нее спина болит, а малыш при ней просто, чтобы убедиться, что его оставили на седьмой ступеньке здоровеньким. Но разве ангелы понесли бы куда‑то на лестницу больного ребенка? Папу и маму об этом спрашивать бесполезно.

— Совсем как твой брат — все почему да почему. Иди, лучше поиграй, — обычно говорят они.

Взрослые не любят, когда дети задают им вопросы. А самим так, значит, можно о чем угодно спрашивать. Например: «Как дела в школе?», «Ты хорошо себя вел?», «Ты сегодня молился?». А если спросишь взрослых, молились ли они, то можно и подзатыльник схлопотать.

Папа возвращается с мамой и малышом, но маме надо еще несколько дней лежать, чтоб спина прошла. Мама говорит, что малыш — вылитая наша сестричка покойная: такие же волнистые черные волосики, голубые глазки и чудесные брови.

Мне хочется знать, кто и куда вылил Майкла, раз он вылитый, и еще, откуда седьмую ступеньку отсчитывать: сверху или снизу, их же там девять?

— Ангелы прилетают с неба, — добродушно отвечает папа. — А не приходят с кухни, где с октября по апрель плещется море.

Это означает, что ступеньку надо отсчитывать сверху.

Малыш Майкл простудился. У него нос почти совсем не дышит. Мама волнуется, потому что сегодня воскресенье и амбулатория для бедных закрыта. Если пойти к доктору домой, служанка увидит, что ты бедный и скажет в амбулаторию приходить. А то, что у тебя младенец на руках умирает, ей все равно, она ответит, что доктор за городом на лошади катается.

Мама плачет, потому что малыш хватает ртом воздух. Она пытается прочистить ему носик скрученной бумажкой, но боится засунуть ее слишком далеко.

— Не пихай ничего в нос ребенку, — говорит папа. — Не так надо.

Он наклоняется, будто хочет поцеловать Майкла, но вместо этого прикладывается губами к его носику, высасывает то, что там накопилось, и сплевывает в огонь. Майкл громко кричит, вдыхает воздух носом, начинает сучить ножками и смеяться. Мама смотрит на папу так, будто он ангел, спустившийся с небес, а папа сообщает, что так в Антриме делали задолго до того, как появились доктора, которые на лошадях катаются.

###### \* \* \*

На Майкла дают прибавку к пособию, но мама жалуется, что этого мало, и ей снова приходится идти в Общество и выпрашивать еду. Как‑то вечером к нам в дверь стучат, мама велит мне спуститься и посмотреть, кто там. На пороге двое мужчин. Они из Общества Святого Викентия де Поля и спрашивают маму или папу. Я говорю им, что родители в «Италии».

— Где‑где? — переспрашивают они.

— Наверху, там сухо, — объясняю я. — Сейчас их позову.

Они спрашивают, что это за сарайчик у нас прямо у двери. Я отвечаю, что туалет. Они удивляются, почему не на заднем дворе. А я объясняю, что туалет тут один на всех, и ладно, что не на заднем, а то через наш двор все жители переулка таскались бы со своими вонючими ведрами.

— Точно один туалет на всю улицу? — переспрашивают они.

— Точно, — говорю я.

— Матерь Божья, — сокрушаются они.

— Кто там? — кричит мама сверху.

— Дяди.

— Какие дяди?

— Из Викентия де Поля.

Дяди осторожно пробираются по лужам, цокая языками и приговаривая, что это форменное безобразие. Наверху они говорят маме с папой, что извиняются за беспокойство, но Обществу необходимо убедиться, что оно помогает тем, кто действительно нуждается. Мама предлагает им чаю, но они оглядывают комнату и отказываются. Потом спрашивают, почему мы живем наверху и почему у нас только один туалет. Они задают много вопросов, потому что взрослые могут спрашивать, о чем захотят и записывать что‑то в блокнотиках, тем более, если эти взрослые в воротничках, галстуках и костюмах. Они хотят знать, когда родился Майкл, сколько папа получает на бирже, когда у него была работа, и почему ее нет сейчас, и что у него за акцент.

Папа рассказывает им, что туалет кишит смертельной заразой, что кухню затопило зимой и нам пришлось переехать наверх, чтоб не промокнуть окончательно. Еще он говорит, что река Шаннон насылает на нас сырость и убивает одного за другим.

Мэйлахи сообщает дядям, что мы живем в «Италии», и они улыбаются.

Мама спрашивает, не найдется ли для нас с Мэйлахи хоть каких‑нибудь ботинок, и дяди отвечают, что ей надо лично прийти в Озанам‑хаус[[45]](#footnote-45) и подать прошение.

Мама сетует, что она еще не оправилась после родов и не сможет стоять в очереди, но дяди отвечают, что правила для всех одинаковы — даже женщина из Айриштауна, которая недавно родила тройню, и та стоит в очереди, а про наше бедственное положение они в Общество доложат.

Они направляются к лестнице, и Мэйлахи хочет им показать, на какую ступеньку ангел положил Майкла.

— Не сейчас, — говорит ему папа.

Мэйлахи плачет, и один дядя вынимает из кармана ириску и дает ему, а я жалею, что мне не о чем поплакать, а то меня б тоже ириской угостили.

Я снова иду вниз и показываю дядям, куда наступать, чтобы не промочить ноги. Они все качают головами и повторяют:

— Господь Всемогущий и Матерь Божья, какая нищета! Да там не Италия, а настоящая Калькутта.

Наверху папа упрекает маму, что она, мол, попрошайничала.

— У тебя что, гордости нет, что ты ботинки выпрашиваешь?

— А что мне остается делать, ваше высочество? Дети что, без ботинок ходить должны?

— Старые починю.

— Да они на ходу разваливаются.

— Все равно починю, — не сдается папа.

— Если б умел еще, — бросает ему мама.

На следующий день папа притаскивает откуда‑то велосипедную шину и тут же велит мне сбегать к соседу, мистеру Хэннону, за обувной колодкой и молотком. Потом берет мамин острый нож и вырезает из шины заплатки. Мама ругается, что он вконец нам ботинки испортит, но он молча прибивает куски резины к подошвам.

— Да, Боже ж мой, оставь ботинки в покое, их тогда до Пасхи хватит, да и в Обществе что‑нибудь дадут.

Но папа все колотит молотком, но квадраты резины слишком большие — они торчат с боков и свисают спереди и сзади. Он велит нам надеть ботинки и обещает, что уж теперь то ноги не промокнут и не замерзнут. Но как ходить в таких ботинках, если все время спотыкаешься из‑за торчащей повсюду резины? Папа велит мне вернуть колодку и молоток мистеру Хэннону.

— Бог ты мой, что с твоими ботинками? — смеется миссис Хэннон, а мистер Хэннон только качает головой, и мне от этого стыдно. Наутро я не хочу идти в школу и притворяюсь больным, но папа все равно поднимает нас с постели и дает нам гренки с чаем.

— Радоваться надо, что у вас вообще ботинки есть, — укоряет он нас. — Некоторые мальчики даже в холод босыми ходят.

Над нами начинают смеяться еще по дороге в школу — толстые куски резины прибавляют несколько дюймов роста.

— Эй, долговязые! — хохочут мальчишки. — Как там погодка наверху?

В моем классе шесть или семь босых мальчишек. Они помалкивают, и я не знаю, что лучше: спотыкаться из‑за резины или ходить босиком. Если у тебя нет ботинок, то все босоногие с тобой заодно, а если у тебя ботинки на резиновых шинах, то ты такой один, если не считать брата, и приходится давать отпор обидчикам в одиночку. Я сажусь на скамью в школьном дворе и снимаю ботинки и чулки, но когда я захожу в класс, то учитель спрашивает, где ботинки, потому что помнит, что они у меня были. Он заставляет меня вернуться во двор за ботинками и надеть их.

— Зубоскалите? — обращается он классу. — Над чужим горем смеетесь? Есть у нас такие, кто считает себя совершенством? А ну, поднимите руки!

Рук нет.

— А богатые сынки, у которых денег куры не клюют? Ну?!

Снова никого.

— Зато есть такие, кто вынужден обувь чинить тем, что есть. А у некоторых и вовсе ботинок нет. Так вот, это не их вина, и стыдиться тут нечего. У Господа Нашего ботинок не было. Он босым умер. Или он, по‑вашему, в ботинках на кресте висит? Видите вы там ботинки?

— Нет, сэр.

— Итак, чего вы там не видите?

— Ботинок, сэр.

— Еще хоть раз услышу, что кто‑то потешается над Маккортом или его братом, живо палку в ход пущу. Ну‑ка, повторите, что я в ход пущу?

— Палку, сэр.

— А ясеневая палочка, она больно бьет. Со свистом пройдется по мягкому месту того, кто смеется и дразнится. По чьему мягкому месту?

— Того, кто смеется, сэр.

— И?

— Того, кто дразнится, сэр.

Больше нас никто не дразнит, и мы шлепаем подметками из шин до самой Пасхи, а потом в Обществе Святого Викентия нам дают ботинки.

###### \* \* \*

Каждый раз, когда я ночью встаю пописать в ведерко, то проверяю, нет ли ангела на седьмой ступеньке. Иногда мне мерещится свет на лестнице, и если все спят, я на всякий случай сижу на ступеньке и жду: вдруг ангел снова принесет малыша или просто так прилетит? Я спрашиваю маму, помнит ли ангел младенцев, которых он кому‑то принес?

— Конечно, помнит, — отвечает она. — Ангел никогда не забывает младенцев, а иногда даже навещает, чтобы проверить, все ли у них хорошо.

Вот уж ангел бы на все мои вопросы ответил, если это не девчонка‑ангел, конечно. Хотя девчонка тоже бы ответила — я еще никогда не слышал, чтоб ангелы на что‑то не отвечали.

Я долго сижу на ступеньке и не сомневаюсь, что ангел сидит рядом со мной. Я рассказываю ему обо всем, о чем даже маме и папе не расскажешь из страха, что дадут подзатыльник или на улицу отправят. Я рассказываю ему про школу, и как сильно я боюсь учителя с палкой, и еще когда он орет на нас на ирландском, а я не понимаю, потому что я же из Америки приехал, а другие мальчики уже год как ирландский учат.

Я сижу и сижу, но потом или совсем замерзаю, или папа просыпается и велит мне вернуться в постель. Это ведь он сказал мне, что ангел прилетает на седьмую ступеньку, и вроде бы должен понимать, почему я там сижу. Как‑то ночью я признался ему, что жду ангела.

— Вот это да, Фрэнсис. Ты у нас фантазер, оказывается, — удивляется он.

Я возвращаюсь в постель, и слышу, как он шепчет маме:

— Бедняга, сидел на лестнице и с ангелом беседовал. — Он смеется, и мама тоже, а я думаю, какие все‑таки странные эти взрослые: смеются над ангелом, которым им же малыша принес.

###### \* \* \*

Перед самой Пасхой мы переезжаем вниз, в «Ирландию». Пасха лучше Рождества: на улице тепло, со стен не капает, на кухне больше не плещется море, а рано утром туда даже заглядывает солнце.

В хорошую погоду мужчины сидят на улице, курят сигареты, когда они есть, обозревают окрестности и смотрят на то, как мы играем. Женщины стоят, скрестив руки на груди, и судачат о чем‑нибудь. Им сидеть некогда — хозяйством надо заниматься, за детьми приглядывать, еду готовить, да и мужчинам стулья нужнее. Те‑то сидят, потому что утомительное это дело — ходить по утрам на биржу, обсуждать мировые проблемы и решать, на что употребить остаток дня. Одни идут к букмекеру — поставить на надежную лошадку шиллинг‑другой, другие часами просиживают в библиотеке Карнеги за чтением английских и ирландских газет. Безработному надо быть в курсе событий, потому что его собратья — настоящие знатоки по части того, что в мире делается, и нельзя ударить в грязь лицом, если кто примется рассуждать о Гитлере, Муссолини или о том, как туго приходится миллионам китайцев. Безработный приходит домой, проведя день у букмекера или за чтением газеты, и жена не будет ворчать, если он минутку‑другую посидит в тишине и покое с сигаретой и чашкой чая, размышляя от судьбах мира.

Пасха лучше Рождества, потому что папа ведет нас в церковь редемптористов, где поют священники в белом одеянии. Они радуются тому, что Господь теперь в раю.

— Значит, младенец, который лежал в яслях, уже умер? — спрашиваю я папу.

— Нет, — отвечает он. — Бог умер, когда ему было тридцать три года, вон, видишь распятие?

Я гляжу и не понимаю, как Бог так быстро вырос и висит теперь на кресте в терновом венце и отовсюду у него идет кровь: из головы, рук, ног и большой раны в груди.

— Подрастешь — поймешь, — говорит папа.

Он все время так говорит, и мне хочется поскорее стать взрослым и все понять. Здорово, наверное, проснуться в одно прекрасное утро и разом все понять. Вот бы стать таким, как все эти взрослые в церкви, которые то стоят, то преклоняют колени, то молятся и при этом все понимают.

Во время мессы все подходят к алтарю, и священник каждому кладет что‑то в рот. Они возвращаются на свои места, опустив головы и что‑то жуя. Мэйлахи говорит, что он проголодался и тоже съел бы то, что там дают.

— Ш‑ш‑ш, — шикает на него папа. — Это же Святое Причастие — Тело и Кровь Христовы.

— Но папа…

— Ш‑ш‑ш, это таинство.

Если еще у кого‑нибудь спросить, то ответят, что это — таинство, подрастешь, поймешь, а пока веди себя хорошо, спроси маму, спроси папу, не приставай, ради бога, а иди лучше поиграй на улице.

###### \* \* \*

Папа получает свою первую работу в Лимерике — его берут на цементный завод. Мама счастлива. Ей теперь не придется стоять в очереди и выпрашивать одежду и ботинки для меня и Мэйлахи. Правда, она всегда говорит, что это не попрошайничество, а благотворительность, а папа возражает, что попрошайничество, причем самое позорное. Мама радуется, что наконец‑то заплатит долг в лавке Кэтлин О’Коннелл и вернет деньги матери, потому что терпеть не может быть кому‑то должной, особенно собственной матери.

Цементный завод далеко за городом, а поспеть на работу надо к шести утра, но папа не против — он привык много ходить пешком. Накануне вечером мама наливает чаю во фляжку, делает бутерброд, варит яйцо вкрутую. Ей жалко папу, потому что ему придется прошагать три мили туда и три мили обратно. Жалко велосипеда нет, но чтоб его купить, надо целый год работать.

В пятницу выдают зарплату. Мама встает рано утром, убирается дома и поет.

Всем понятно, почему

Дорог мне твой поцелуй…

Убирать особо нечего — только подмести пол на кухне и в «Италии», да вымыть четыре стеклянных банки, из которых мы пьем чай. Мама говорит, что если папа удержится на работе, мы купим нормальные кружки и, может быть, с Божьей помощью, обзаведемся постельным бельем, а если удастся накопить денег — то и одеялами вместо старых пальто, оставшихся со времен Великого голода. Мама кипятит воду и стирает тряпки, в которые пеленает Майкла — если б их не было, он бы уж давно закакал всю коляску и весь дом.

— Ох и славно почаевничаем, когда папка ваш денежку принесет, — мечтает она.

Папка. Значит, настроение у нее хорошее.

В полшестого вечера фабричные сирены и свистки возвещают об окончании рабочего дня. Мы с Мэйлахи радуемся, потому что в день получки отцы приносят детям пятничный пенни. Нам так сказали мальчики, у которых папы работают. Значит, после чая можно будет сбегать за сладостями в лавку Кэтлин О’Коннелл. А раз у мамы хорошее настроение, она добавит двухпенсовик и можно будет пойти в «Лирик‑синема» на фильм с Джеймсом Кэгни[[46]](#footnote-46).

Мужчины возвращаются домой с фабрик и из мастерских, моются, ужинают и уходят в пабы, а женщины идут в кино — в «Колизей» или «Лирик‑синема». С собой они берут сладости, сигареты, а если муж хорошо зарабатывает, то и коробочку конфет. Женщины обожают фильмы о любви и готовы все глаза выплакать, если финал трагический или главный герой‑красавчик уезжает от своей возлюбленной и погибает где‑нибудь от рук индусов или других некатоликов.

Пока папа прошагает три мили с цементной фабрики, пройдет много времени. Без него за чай садиться нельзя, но терпеть уже нету сил, потому что у соседей вкусно пахнет стряпней. Мама говорит, хорошо, что получку выдают по пятницам, когда мясо нельзя есть, а то она бы с ума сошла от аромата бекона и сосисок. Зато можно хлеб с сыром, а впридачу банку чая с молоком. А чего еще желать?

Женщины ушли в кино, мужчины сидят в пабах, а папы все нет. Мама говорит, что с завода идти долго, даже если привык быстро ходить. Правда глаза у нее при этом мокрые, и она больше не поет, а сидит у камина и курит сигареты «Уайлд Вудбайн», которые взяла в долг у Кэтлин О’Коннелл. Сигареты — единственная радость, что ей осталась, и уж доброты Кэтлин она никогда не забудет. А вообще, сколько можно кипятить воду в чайнике? Если сейчас заварить чай, то к приходу папы он остынет и перестоит, и пить его будет невозможно. Мэйлахи просит есть, и мама дает ему кусочек хлеба с сыром.

— Эта работа — наше спасение, — говорит мама. — Папе так трудно куда‑нибудь устроиться из‑за северного акцента, а если его и с этой работы выгонят, не знаю, что мы делать будем.

На улице уже так темно, что приходится зажечь свечу. Мама все‑таки дает нам чаю с хлебом и сыром, потому что мы больше нисколечко ждать не можем — так есть хочется. Она сидит за столом, ест хлеб с сыром и курит сигареты. Потом выходит посмотреть, не идет ли папа, и вспоминает, как нам приходилось искать его по всему Бруклину в день получки.

— Когда‑нибудь мы вернемся в Америку, и у нас будет теплое жилье и туалет на первом этаже, как на Классон‑авеню, а не этот вонючий сарай.

Женщины возвращаются из кино, смеясь, а мужчины — из пабов, распевая песни. Мама говорит, что хватит ждать, и если папа просидит в пабе до закрытия, то от получки ничего не останется, так что лучше отправляться спать. Она ложится на постель с Майклом. Кругом тишина, слышно только, как мама плачет, укрывшись старым пальто. И тут с улицы раздается пьяное пение.

Это точно папа, потому что больше никто в Лимерике не поет, как Родди Маккорли шел умирать на Тумском мосту. Завернув к нам в переулок, папа заводит «Кевина Барри». Споет куплет, схватится за стену и поплачет над судьбой Кевина Барри. Соседи высовываются из окон и дверей и кричат ему:

— Да заткнись ты уже, Бога ради. На работу утром рано вставать. Иди домой и там ори свои песни, патриот несчастный.

Папа останавливается посреди улицы и сообщает всем, что готов сражаться и умереть за Ирландию, не то, что жители Лимерика — всем известно, что они с подлыми англичанами якшались.

Потом вваливается в дом и поет:

Умолкло все вокруг, тревожно бдит,

А Запад спит, увы, все Запад спит!

Напрасно Эрин скорбный клич трубит —

Не внемлет Коннахт, пеленою сна укрыт.

Но час настанет зову прогреметь:

«Проснись же, Запад, на призыв ответь!»

Пускай дрожит под Англией земная твердь!

На то до смерти самой будем мы смотреть!

— Анджела, Анджела, — кричит он снизу. — В этом доме хоть капля чая найдется?

Мама не отвечает.

— Фрэнсис, Мэйлахи, спускайтесь, ребята. Я вам пятничный пенни принес, — снова кричит он.

Я хочу спуститься за монеткой, но мама всхлипывает под пальто, а Мэйлахи говорит:

— Не нужен мне этот пенни. Пусть себе оставит.

Папа, шатаясь, поднимается по лестнице и призывает нас отдать жизнь за Ирландию. Он чиркает спичкой и зажигает свечу около маминой кровати. Потом, держа эту свечу над головой, марширует по комнате и поет:

Высоко подняв зеленые знамена над собой,

По полям, где вереск рдеет, они шествуют вперед.

Взоры непреклонны, крепок строй,

За свободу гордый дух сразиться их зовет[[47]](#footnote-47).

Проснувшийся Майкл принимается реветь, в стену барабанят Хэнноны, мама говорит папе, что от него позор один и лучше б он убрался куда подальше.

Папа так и стоит посреди комнаты со свечой. Он достает из кармана монетку и протягивает нам с Мэйлахи.

— Вот ваш пятничный пенни, ребятки. Давайте‑ка, постройтесь, как солдаты, и поклянитесь умереть за Ирландию, а я вам денежку отдам.

Мэйлахи садится на кровати.

— Не нужна мне твоя денежка.

— И мне тоже, — говорю я.

Папа стоит еще какое‑то время, покачиваясь из стороны в сторону, потом убирает пенни в карман и поворачивается к маме.

— Тебе сегодня в этой постели места нет, — говорит она.

Папа со свечой ковыляет вниз, спит на стуле, не идет утром на работу, его увольняют с цементной фабрики, и мы снова живем на пособие.

## IV

Учитель объявляет, что нам пора готовиться к первой исповеди и первому причастию, и нужно учить катехизис, становиться добрыми католиками, понимать что есть грех, а что — добродетель, и, если потребуется, умереть за веру.

Учитель говорит, что почетно умереть за веру, а папа — что за Ирландию, и мне непонятно: нужно ли вообще кому‑нибудь, чтоб мы жили? Братики мои умерли, сестричка тоже, но за что? За Ирландию или за веру? Папа говорит, что они были еще слишком маленькими, чтоб отдать свою жизнь за что‑то, а мама говорит, что их сгубили болезнь, голод и то, что папа вечно сидит без работы.

— Ох, Анджела. — Папа надевает кепку и уходит.

Учитель велит каждому принести три пенса на катехизис в зеленой обложке. В нем есть все вопросы и ответы, которые нужно выучить назубок перед первым причастием. У пятиклассников катехизис потолще и в красной обложке, и стоит он шесть пенсов. Вот бы мне тоже быть таким взрослым и важным и ходить с катехизисом в алой обложке, но как бы еще дожить до этого, раз все хотят, чтоб я отдал свою жизнь за что‑нибудь. Мне хочется узнать, почему тогда столько взрослых живы и не отдали свою жизнь ни за Ирландию, ни за веру, но если спросить, то получишь подзатыльник или тебе скажут пойти погулять.

К счастью, за углом от нас живет Майки Моллой. Ему одиннадцать, у него случаются припадки, и за глаза мы зовем его Припадочный Моллой. Соседи говорят, что припадки — это недуг, и теперь я знаю, что означает это слово. Майки очень умный, потому что во время припадков у него бывают видения, а еще он много книг прочитал. Майки знаток по части того, как устроены девочки и всяких непристойностей вообще.

— Вот стукнет тебе одиннадцать, Фрэнки, перестанешь быть таким темным тупицей, вот тогда я все тебе расскажу, — обещает он.

Хорошо, что он при этом называет меня по имени, а то у него глаза косят, и непонятно, кому он говорит. А то вдруг он скажет что‑то Мэйлахи, а я подумаю, что мне, и Майки так взбесится, что у него случится припадок, который сведет его в могилу? Майки говорит, что косоглазие — это дар, потому что можно смотреть сразу в обе стороны, как божество, а в Древнем Риме косоглазых сразу брали на работу, и все древнеримские императоры на портретах — с косинкой. Когда у него нет припадков, он сидит на самом верху Барачного холма и читает книжки, которые его отец приносит из библиотеки Карнеги.

— Книги, книги, книги, — причитает его мать. — Совсем зрение испортишь, а еще операцию надо делать от косоглазия, знать бы только, где денег на нее взять. А будешь так глаза все время напрягать, они сойдутся у тебя на лбу и получится один‑единственный глаз.

С тех пор отец зовет его циклопом из книжки про греков.

Наши мамы познакомились в очереди в Общество Святого Викентия. Нора говорит маме, что у Майки ума поболее, чем у дюжины мужиков, что сидят с пинтами в пабе. В свои одиннадцать лет он уже знает имена всех пап римских от Святого Петра до Пия XI. И ведет себя, как настоящий мужчина. Сколько раз Майки семью от голода спасал! Он просит у Эйдана Фаррелла тележку, ходит по домам и спрашивает, не надо ли кому привезти угля или торфа, а потом притаскивает огромные мешки с Док‑роуд — каждый по сто фунтов, не меньше. Еще старикам помогает, которые ходить не могут, и ежели у них нет грошика заплатить ему, так хоть помолятся.

Все заработанные деньги он отдает матери, а уж та души не чает в своем Майки. Он ей дороже всех на свете, и если с ним что случится, лучше ее сразу запереть в лечебнице, а ключ выбросить.

Отец Майки, Питер — пивной чемпион. Он сидит в пабе и пьет пинты на спор, а перед очередным раундом просто идет в уборную, сует себе палец в глотку и выблевывает выпитое. Да он без пальца обойтись может, и даже если всех пальцев лишится — все равно победит. Он выигрывает кучу денег, но домой их не приносит, а иногда даже пособие пропивает, как мой отец. В такие дни Нора Моллой сходит с ума от беспокойства за голодающее семейство и ее увозят в лечебницу. Там‑то ты огражден от мира с его страданиями и все равно сделать ничего не можешь — сиди себе знай в тепле и под защитой и ничего не делай. Всем известно, что сумасшедших увозят в лечебницу силком, только Нору Моллой, наоборот, оттуда выгонять надо к пятерым детями и пивному чемпиону.

Если детишки Норы бегают по улице, обсыпанные мукой с головы до пят, значит, Нору скоро заберут в психлечебницу — когда Питер пропивает пособие, Нора впадает в отчаяние и, зная, что скоро за ней приедут, начинает как угорелая печь хлеб, чтоб дети не голодали, пока ее дома не будет. Она ходит по Лимерику и выпрашивает у всех муку. К священникам сходит, к монашкам, к протестантам, к квакерам. Потом на мукомольный завод идет и там умоляет отдать ей муку, которую смели с пола. А после печет день и ночь. Питер умоляет ее остановиться, но без толку.

— Нечего было пособие пропивать! — кричит она ему.

Он говорит ей, что хлеб все равно зачерствеет, но она не слушает, а знай себе печет. Будь у нее деньги, она извела бы всю муку в Лимерике и его окрестностях. Если б санитары ее вовремя в лечебницу не забирали, она пекла бы до упаду.

Ее дети едят столько хлеба, что, по, словам соседей, скоро сами станут круглые, как булочки. Но хлеб и правда быстро черствеет. Майки становится жалко, что столько добра пропадает зря, и одна богачка с поваренной книгой подсказывает ему, как приготовить хлебный пудинг. Майки варит черствый хлеб в кислом молоке с водой, бухает туда чашку сахара, и его братья с удовольствием едят этот «пудинг» все две недели, что матери нет дома.

— Интересно, — говорит папа. — Ее забирают, потому что она с этой выпечкой ума лишилась или она печет, как умалишенная, потому что ее скоро заберут?

Домой Нора возвращается спокойная, будто на вóды съездила, только без конца спрашивает:

— Где Майки? Он жив?

Она так беспокоится о Майки, потому что он не совсем католик, и если у него случится смертельный припадок, то кто знает, где он очутится в загробной жизни. А не совсем католик он, потому что так и не принял первое причастие — боялся, что если ему положат гостию[[48]](#footnote-48) на язык, то начнется припадок, и он подавится насмерть. Учитель все клал ему на язык кусочки газеты «Лимерик Лидер», чтобы тот поупражнялся, но тот неизменно их выплевывал, так что учитель потерял терпение и отправил Майки к священнику, а тот написал епископу. От епископа пришел ответ, мол, разбирайтесь сами. Учитель послал родителям Майки записку, чтоб они упражнялись с ним получать причастие, но и они не смогли заставить его проглотить газетную «гостию». Они даже из хлеба похожую вырезали и вареньем мазали, но все без толку. В конце концов священник успокоил миссис Моллой, она перестала тревожиться, мол, «неисповедимы пути Господни и то, как творит Он чудеса». Значит, у Бога свой замысел насчет Майки с его приступами.

— Ну надо же! Конфеты и булочки так он уплетает, а от Тела Христова у него припадок? Ну надо же! — приговаривает миссис Моллой.

Она боится, что Майки поперхнется насмерть и угодит в ад. Конечно, всем известно, что он почти что ангел во плоти, но вдруг и за его душой какой‑нибудь маленький грешок сыщется? Майки успокаивает ее, что Бог не стал бы насылать на человека припадки, а потом из‑за них же его в ад отправлять. Бог же милосерден.

— Точно, Майки?

— Точно. Я в книжке читал.

Он сидит на холме под фонарем и со смехом рассказывает про свое первое причастие. Гостию он проглотить не смог, но мать все равно провела его по Лимерику в нарядном черном костюмчике.

— А я и не наврала никому, Майки, что ты! — оправдывалась она. — Я только сказала, что ты принарядился по случаю первого причастия и ни словечка больше. А если соседи решили, что ты и гостию проглотил, чего ради их разубеждать?

— Да не боись, циклоп, — сказал Майки его отец. — У тебя еще полно времени. Иисус тоже не сразу стал католиком, а в тридцать три года, когда вкусил вина и хлеба на Тайной Вечере.

— Хватит уже его циклопом звать, а? — рассердилась Нора Моллой. — У него два глаза, и он тебе не грек.

Но отец Майки — пивной чемпион, ему, как и дяде Па Китингу, глубочайше плевать, что думают другие. Вот бы и мне стать таким когда‑нибудь.

Майки говорит, что самое лучшее в первом причастии — это сбор даров. Мама тебе новый костюм купит, потому что надо же похвалиться перед соседям и родней, а те дадут конфет и денег, так что можно сходить в «Лирик Синема» на Чарли Чаплина.

— А как же Джеймс Кэгни?

— Да ерунда твой Джеймс Кэгни! — говорит Майки. — Вот Чарли Чаплин — это да. Но сначала надо, чтоб мама с тобой к соседям пошла, а то просто так каждому мальчишке в костюмчике никто денег дарить не станет.

Сам Майки в день первого причастия получил аж больше пяти шиллингов и так обожрался конфетами и булочками, что его стошнило прямо в «Лирик‑синема», и Фрэнк Годжин, билетер, выставил его оттуда. Но Майки совсем не огорчился. У него оставалось еще много денег, так что он пошел в «Савой‑синема» на кино про пиратов и пировал шоколадками с лимонадом, пока пузо не раздулось. Теперь он ждет не дождется конфирмации, ведь тому, кто старше, еще больше подарков полагается. Он тогда всю оставшуюся жизнь будет ходить в кино, сидеть рядом с девчонками и непристойности вытворять — уж в этом‑то он знаток. Маму он любит, но никогда не женится, а то вдруг жена тоже в психушку будет попадать. Да и зачем жениться, если можно и так ходить в кино с девчонками и непристойно себя вести — они же против не будут, потому что уже позволяли всякое такое своим братьям. А то женишься и будет полон дом орущих детей, которые чай с хлебом требуют, от припадков задыхаются, и глаза у них в разные стороны. Лучше он, когда вырастет, будет ходить по пабам, как отец, пинты пить и совать палец в глотку, а потом снова пить и выигрывать кучу денег, только он их домой маме станет приносить, чтоб она с ума не сходила. Майки говорит, что он же все равно не совсем католик, а значит его так и так ждет ад, и можно делать все что хочешь.

— Вот подрастешь Фрэнки, — обещает он, — я тебе еще не такое расскажу, а то пока ты ни черта в жизни не понимаешь.

###### \* \* \*

Наш учитель, мистер Бенсон, очень старый. Он каждый день орет на нас, брызжа слюной. Ребята в первом ряду надеются, что он не заразный, а то вдруг от него чахотка разлетается направо и налево? Бенсон говорит, что мы должны зазубрить катехизис вдоль, поперек и даже наискосок. Еще нам надлежит выучить Десять заповедей, Семь добродетелей — богословских и моральных, Семь Таинств и Семь Грехов, а также назубок знать все молитвы: «Богородице Дево, радуйся», «Отче наш», «Confiteor»[[49]](#footnote-49), апостольский Символ веры, молитву о Прощении[[50]](#footnote-50), и литанию Пресвятой Деве Марии[[51]](#footnote-51), причем и на ирландском, и на английском, а если забудешь хоть слово по‑ирландски и скажешь вместо него английское, Бенсон впадает в ярость и лупит нас палкой. Была б его воля, мы бы учились на латыни — языке святых мужей, получавших откровения от Бога и Пресвятой Богородицы, языке первых христиан, ютившихся в катакомбах и принимавших мученическую смерть на дыбе, от меча или в пасти бешеного льва. Ирландский — язык патриотов, английский — предателей, и только латынь раскрывает перед нами врата рая, ибо на латыни молились Богу мученики, когда варвары выдирали им ногти и дюйм за дюймом срезали кожу с их тел.

— А вы, — тычет в нас пальцем Бенсон, — позорище для Ирландии, страны с богатой, многострадальной историей, лучше б вам жить где‑нибудь в Африке да молиться какому‑нибудь дереву или кусту. Таких конченых тупиц мне еще не доводилось готовить к первому причастию. Но ничего, ничего, я из вас католиков сделаю, уж будьте покойны — дурь повыбью, а Освящающую Благодать вколочу[[52]](#footnote-52).

Брендан Куигли поднимает руку. Мы зовем его Вопрошайка Куигли, потому что он всегда задает вопросы. Никак без них не может.

— Сэр, — говорит он. — А что такое Освящающая Благодать?

Учитель возводит глаза к небу. Ну все, Куигли не жилец. Но Бенсон только рявкает:

— А тебе и не нужно знать, что это такое, Куигли. Не твоего ума дело. Ты здесь, чтобы катехизис изучать, вот и делай, что велят, а вопросы не задавай. Слишком много умников развелось с вопросами — вон до чего страну довели. Так что если в этом классе хоть кто‑нибудь осмелится еще хоть один вопрос задать, я за себя не отвечаю. Слышишь меня, Куигли?

— Да, сэр.

— Что да?

— Слышу, сэр.

— Некоторые из присутствующих никогда не узнают Освящающей Благодати. А все из‑за чего? Из‑за алчности. Слышал я, как они на школьном дворе рассуждали, что первое причастие — счастливейший день в жизни. И почему же? Потому что в этот день вкушают Тело и Кровь Спасителя Нашего? А вот и нет! Маленьким негодяям важнее, что в этот день они получат подарки и деньги. Будут шастать по домам в нарядных костюмчиках и выпрашивать подарки. Так, может быть, они пошлют денег маленьким негритятам в Африку? Пожалеют маленьких язычников, чьи души обречены вечно блуждать в потемках, лишенные истинной веры? Чернокожих младенцев, коим не суждено вкусить Тела Христова? А сколько таких несчастных малюток летают между раем и адом, плачут и зовут матерей, а все потому, что навеки отказано им во вступлении в Чертоги Бога Нашего и славное собрание святых, мучеников и непорочных дев. Нет же, первопричастники наши бегут в кино, чтоб изваляться в грязи, которую сеют по всему миру дьяволовы приспешники из Голливуда. Верно, Маккорт?

— Да, сэр.

Вопрошайка снова тянет руку. Жить ему надоело, что ли?

— А кто такие приспешники, сэр?

Лицо учителя сначала бледнеет, потом багровеет. Он поджимает губы, потом резко распахивает рот и во все стороны летит слюна. Бенсон подскакивает к Вопрошайке и выволакивает его из‑за парты. Пыхтя и бормоча, он лупцует Вопрошайку по плечам, спине и ногам, потом за шиворот вытаскивает его на середину класса.

— Только гляньте на этого недоумка, — рычит он.

Вопрошайку всего трясет.

— Простите, сэр, — всхлипывает он.

— «Простите, сэр», — передразнивает его учитель. — Чего тебе простить?

— То, что вопросы задавал. Я больше никогда не буду, сэр.

— А если будешь, Куигли, то в тот же день возжелаешь, чтоб Господь забрал тебя в лоно Свое. Чего ты возжелаешь, Куигли?

— Чтоб Господь забрал меня в лоно Свое.

— Садись на место, омадхаун[[53]](#footnote-53), презренный трус из дальнего угла нужника.

Бенсон возвращается за учительский стол и кладет палку перед собой.

— Хватит ныть, будь мужчиной, — велит он Куигли. — А если кто еще хоть раз задаст глупый вопрос или про подарки вспомнит, до крови выпорю. Что я сделаю?

— Выпорете, сэр.

— Как?

— До крови, сэр.

— Клоэсси, о чем гласит шестая заповедь?

— Не прелюбодействуй.

— Что забыл сказать?

— Не прелюбодействуй, сэр.

— А что такое прелюбодеяние, Клоэсси?

— Непристойные мысли, непристойные слова, непристойные поступки, сэр.

— Молодец, Клоэсси. Хоть ты и тугодум и забываешь, как к старшим надо обращаться, и ботинок у тебя нет, но шестую заповедь ты усвоил, а значит, непристойностей совершать не будешь.

###### \* \* \*

У Пэдди Клоэсси и правда нет ботинок, мать обривает его наголо, чтоб вши не водились; его глаза все время красные, а из носа течет. Болячки у него на коленях никогда не заживают, потому что он их отковыривает и жует. Одет он в лохмотья, которые, кроме него, носят еще шесть братьев и сестра, так что когда он приходит в школу с разбитым носом или с фингалом, это значит, что утром он подрался из‑за одежды. Школу Пэдди терпеть не может. Ему почти восемь лет — он самый крупный и старший в классе, и ждет не дождется, когда ему стукнет четырнадцать, тогда он удерет из дома, скажется семнадцатилетним, вступит в английскую армию и его отправят в Индию, где хорошо и тепло. Он поселится в палатке с темнокожей девушкой, у которой красная точка на лбу, будет день‑деньской лежать и лакомиться инжиром — в Индии ведь едят инжир, — а девушка будет готовить ему карри днем и ночью, бренчать на гитаре‑укулеле, а когда он скопит достаточно денег, то выпишет к себе всю семью, и они все будут жить в палатке, и всем будет хорошо, особенно бедняге‑отцу, который лежит дома и кашляет кровью — у него чахотка. Наша мама, когда видит Пэдди на улице, всякий раз ахает:

— Вот бедняжка. Ходячий скелет в лохмотьях. Кабы про голод снимали кино, ему бы точно главная роль досталась.

Пэдди я, похоже, нравлюсь из‑за изюминки, но я чувствую себя виноватым, потому что я вообще‑то не из щедрости так поступил. В один из дней учитель, мистер Бенсон, объявил, что правительство решило бесплатно кормить нас обедом, чтоб нам домой по морозу не шастать. Он повел нас в холодный школьный подвал, где поломойка Нелли Эхерн выдала нам по полпинте молока и по булочке с изюмом. Бутылки с молоком замерзли, и нам пришлось отогревать их между ног. Ребята шутили, что мы так все причиндалы себе отморозим, но Бенсон рявкнул, если еще хоть что‑то подобное услышит, то разогреет молоко об наши затылки. Мы все булочки расковыряли в поисках изюма, но Нелли сказала, что их, наверное, забыли туда положить и она спросит у того, кто их привез. С тех пор мы каждый день искали в булках изюм, наконец я нашел одну и победно поднял ее над головой. Мальчишки стали ворчать, что им тоже изюму хочется, а Нэлли сказала, что ничего не может сделать, разве что опять посыльного спросить. Все стали выпрашивать у меня изюминку и предлагать за нее что угодно: глоток молока, карандаш, комиксы. Тоби мне сестру свою предложил, а мистер Бенсон за эти слова вывел его в коридор и лупил, пока тот не завыл от боли. Я хотел оставить изюминку себе, но Пэдди Клоэсси стоял в уголке без ботинок, а в зале было так холодно, и он весь дрожал, как побитая собака, а я всегда жалел побитых собак, вот я и отдал Пэдди изюминку — просто не знал, что еще сделать, и все принялись орать, что я дурак и идиот чертов и горько пожалею. Мне и самому хотелось изюминку, но было уже поздно — Пэдди тут же молча сунул ее в рот и проглотил, а я мысленно обозвал себя идиотом за то, что изюминку отдал.

Мистер Бенсон странно на меня посмотрел и тоже промолчал, а Нелли Эхерн сказала:

— Молодец, янки.

###### \* \* \*

Скоро в школу придет священник экзаменовать нас по катехизису и по всему остальному. Но сначала учитель сам должен нам показать, как принимать святое причастие. Он велит нам встать вокруг него и наполняет свою шляпу обрывками «Лимерик Лидер». Потом передает шляпу Пэдди Клоэсси, встает на колени, велит Пэдди взять кусочек газеты и положить ему в рот. Он показывает нам, как нужно высунуть язык, подержать на нем обрывок газеты, втянуть язык, сложить руки, обратить взор к небесам, благоговейно закрыть глаза, подождать, пока бумага намокнет во рту, проглотить ее и вознести благодарность Господу за нисходящую на тебя благодать. Но когда он высовывает большой лиловый язык, мы едва не прыскаем со смеху. Бенсон открывает глаза, чтоб узнать, кто хихикает, но сказать ничего не может, потому что на языке у него Тело Христово и это святое мгновение нарушать никак нельзя. Он поднимается и велит нам встать на колени и поупражняться в принятии Святого Причастия, а сам ходит по классу, кладет нам на языки бумажки и бормочет что‑то на латыни. Кто‑то из ребят хихикает, и Бенсон рычит, что если хихиканье не прекратится, то закончится все не первым причастием, а последним.

— И как называется такое таинство, Маккорт?

— Соборование, сэр.

— Верно, Маккорт. Неплохо для янки с грешных берегов Америки.

Он велит нам высунуть язык как можно дальше, чтоб гостия не упала на пол — худшего происшествия для священника и придумать нельзя. Если гостия упадет с языка причащающегося, бедному священнику придется опуститься на колени, подобрать ее с пола языком, да еще и вокруг все облизать — не дай боже гостия при падении перекатилась с одного места на другое. А вдруг священник занозит язык, тот распухнет и станет, что брюква? А там и задохнуться недолго.

Бенсон говорит, святее гостии нет ничего, только Животворящий Крест Господень, потому первое причастие — самый важный день в нашей жизни. Говоря о первом причастии, учитель приходит в крайнее волнение: расхаживает взад‑вперед по классу, машет палкой, говорит, мы всегда должны помнить, что с той минуты, как нам в рот положат Святое Причастие, мы становимся членами наиславнейшего религиозного братства — Единой Святой Римско‑католической Апостольской церкви; что вот уже две тысячи лет мужчины, женщины и дети умирают за веру и что уж кто‑кто, а ирландцы могут по праву гордиться своими мучениками. Разве не из нашего народа вышла целая вереница мучеников? Разве не мы подставляли шеи под протестантские топоры? Не мы ли шли на казнь с песнею, будто на праздник, а, мальчики?

— Мы, сэр.

— Итак, что мы делали, мальчики?

— Подставляли шеи под протестантские топоры, сэр.

— И?

— Шли на казнь с песней, сэр.

— Как куда?

— На праздник, сэр.

Бенсон говорит, что, возможно, в классе есть будущий священник или мученик, хотя вряд ли конечно, потому что мы самое ленивое скопище оболтусов, которое ему приходилось обучать.

— Однако, в мире всякому есть место, — продолжает он. — И даже относительно таких, как вы, у Бога есть замысел. Ведь не просто так послал он в этот мир босого Клоэсси, Куигли с его дурацкими вопросами, Маккорта, душу которого отягощают грехи Америки. И запомните, мальчики, не для того Бог посылал Сына своего Единородного на крест, чтоб вы тут подарки загребали в день первого причастия. Господь отдал жизнь свою ради вашего спасения. Вера — вот главный дар. Слышите меня?

— Да, сэр.

— Главный дар, это что?

— Вера, сэр.

— Ладно. Марш по домам!

###### \* \* \*

Вечером мы втроем — Майки, Мэйлахи и я — сидим под фонарем в самом верху переулка и читаем. Папаша Моллой тоже пропивает все пособие и получку, так что денег не остается ни на свечи, ни на керосин для лампы. Майки читает книги, а мы — комиксы. Его отец, Питер, приносит книги из библиотеки Карнеги, чтобы было чем себя занять, когда не надо распивать пинты и присматривать за семейством в отсутствии миссис Моллой. Он разрешает Майки брать любые книжки, какие тот захочет, и теперь Майки читает книжку про Кухулина и рассуждает о нем с видом знатока. Мне хочется сказать ему, что я знал все про Кухулина когда мне было три, почти четыре, и что я Кухулина в Дублине видел, и вообще, Кухулин запросто ко мне во сне приходит. Еще мне хочется, чтобы Майки замолчал, потому что Кухулин — мой, еще с тех пор, как я совсем маленьким был, но я не могу ничего поделать, потому что Майки читает нам сказку, которой я прежде не слыхал — непристойную, которую я ни маме, ни папе ни за что не расскажу. Она про то, как Эмер стала женой Кухулина.

— Кухулин рос и мужал, и вот ему уже почти исполнился двадцать один год. Было ему одиноко и захотел он жениться. Потому‑то он силу свою и растерял, — поясняет Майки. — И в конце концов это его сгубило.

Все женщины Ирландии были без ума от Кухулина и хотели выйти за него замуж. Он сказал, хорошо бы жениться сразу на всех, потому что раз он одолел всех мужчин Ирландии, отчего бы не взять в жены всех женщин?

«Хорошо тебе, Ку, — сказал ему тогдашний король, Конор МакНесса. — Но мужи ирландские не хотят коротать ночи в одиночестве».

Посему король решил, что замуж за Кухулина выйдет та, что победит в состязании, да не в простом, а кто больше всех написает. Итак, все женщины Ирландии собрались на равнине Муртемне, чтоб узнать, кто из них прописает дольше, и победительницей стала Эмер. Она и вышла замуж за Кухулина, вот почему она по сей день зовется Эмер Бездонный Мочевой Пузырь.

Майки и Мэйлахи хохочут, хотя сдается мне, что Мэйлахи ничего не понял. Он еще мал, до первого причастия ему далеко, его просто слово «писать» смешит. Майки объявляет мне, что я согрешил, послушав сказку, в которой есть такое нехорошее слово, так что теперь мне придется признаться в этом священнику на исповеди.

— Верно, — говорит Мэйлахи. — «Писать» — плохое слово, расскажи священнику.

Я не знаю, что делать. Как можно признаться священнику в столь ужасном грехе перед первым причастием? Все в классе уже знают, о каких грехах рассказывать на исповеди, чтобы пойти на первое причастие, на сбор даров, посмотреть на Джеймса Кэгни в кино и наесться конфет и пирожных в «Лирик‑синема». Учитель помог нам разобраться в грехах, и они у всех одинаковые: ударил брата, солгал, украл пенни из материного кошелька. Ослушался родителей, съел сосиску в пятницу.

Но теперь у меня появился грех, которого нет больше ни у кого. Да священник в ужас придет и вышвырнет меня вон из церкви, и все узнают, что я слушал сказку про то, как жена Кухулина была чемпионкой по пи`санию. Я не пройду причастие, и, завидев меня, матери будут брать на руки своих детишек, показывать на меня пальцем и говорить: «Глядите на него, он, как и Майки Моллой, не прошел первое причастие, ходит теперь тут, грешник, и ни денег не собрал, ни Джеймса Кэгни не увидел».

Лучше б мне никогда не слышать ни про первое причастие, ни про сбор даров. Мне так плохо, что я даже чая с хлебом не хочу, и вообще ничего не хочу.

— Странно, — говорит мама папе. — Ребенок хлеба и чаю не хочет.

— Из‑за причастия волнуется, — отвечает папа.

Мне так хочется забраться к нему на колени и рассказать, что со мной сделал Майки Моллой, но я уже слишком большой, чтобы сидеть на коленях, а если сяду, Мэйлахи побежит на улицу и всем расскажет, что я веду себя как маленький. Вот бы рассказать о своих бедах Ангелу Седьмой Ступеньки, но он занят — разносит младенцев матерям по всему свету. И все же я решаюсь спросить папу, есть ли у Ангела Седьмой Ступеньки еще какие‑нибудь дела, кроме как младенцев приносить?

— Есть, конечно.

— А если не знаешь, как поступить, он поможет?

— Ну, конечно, сынок. Такая уж у ангела служба, даже если это Ангел Седьмой Ступеньки.

Папа уходит пройтись, мама идет с Майклом к бабушке, Мэйлахи играет на улице — весь дом в моем распоряжении. Я сажусь на седьмую ступеньку и разговариваю с ангелом. Я знаю, что он где‑то рядом, потому что седьмая ступенька самая теплая и в голове у меня как будто горит свет. Я рассказываю ангелу о своих бедах и слышу голос.

— Отринь страх, — говорит он.

Я не понимаю, что значит «отринь».

— Не бойся, — поясняет голос. — Расскажи священнику о своем грехе и будешь прощен.

На следующее утро я встаю спозаранку и за чаем рассказываю папе про Ангела Седьмой Ступеньки. Папа трогает ладонью мой лоб, будто проверяет, нет ли у меня жара. Потом спрашивает, правда ли я видел свет и что сказал голос.

Я отвечаю, что голос велел отринуть страх и что это означает перестать бояться.

Папа говорит, что ангел прав, бояться не надо, и я признаюсь ему в том, что со мной сделал Майки Моллой — рассказываю все про Эмер с бездонным мочевым пузырем и даже говорю слово «пи`сать», потому что ангел велел отринуть страх. Папа ставит банку с чаем на стол, гладит меня по руке и повторяет: «Ага, ага, ага», и я уже начинаю думать, может он сошел с ума, как миссис Моллой, которую то и дело увозят в лечебницу, но тут папа спрашивает, не из‑за этого ли я вчера переживал?

Я говорю, что да, а он отвечает, что это не грех вовсе и что не обязательно признаваться в нем на исповеди.

— Но ведь Ангел Седьмой Ступеньки велел.

— Ладно. Говори священнику, о чем хочешь, но Ангел так сказал только потому, что ты сначала со мной этим не поделился. Разве не лучше рассказывать о своих бедах отцу, чем ангелу, который разговаривает с тобой светом и голосом в голове?

— Лучше, папа.

###### \* \* \*

Накануне причастия учитель ведет нас на первую исповедь в церковь Святого Иосифа. Идти нужно парами, а если кто‑то хотя бы пикнет на улице, учитель тут же прибьет нарушителя, и тот отправится прямиком в ад со всеми своими неотпущенными грехами. Но мальчишки все равно хвастаются, кто больше согрешил. Вилли Гарольд шепотом сообщает, что видел свою сестру голой. Пэдди Хартиган говорит, что спер десять шиллингов из теткиного кошелька и до тошноты объелся мороженым и жареной картошкой. Вопрошайка Куигли говорит, что как‑то раз сбежал из дома и полночи просидел в овраге с козами. Я начинаю рассказывать о Кухулине и Эмер, но учитель замечает и дает мне тумака.

Я, как и все, стою на коленях у исповедальни и раздумываю, что хуже: послушать про Эмер или увидеть сестру голой, потому что я теперь понимаю, что одни грехи более тяжкие, чем другие. Потому‑то они и делятся на святотатство, смертные и простительные. А еще, говорят, бывает какой‑то непростительный грех, но в чем он состоит — великая тайна. И как понять, что ты именно его и совершил, если даже не знаешь, что это такое? Если я расскажу священнику про Эмер — Бездонный Мочевой Пузырь и состязание по пи`санию, он может сказать, что это непростительный грех и вышвырнуть меня из исповедальни. Я опозорюсь на весь Лимерик и попаду в ад, где меня вечно будут терзать демоны, у которых нет других забот, кроме как тыкать в меня раскаленными вилами.

Я пытаюсь подслушать, о чем говорит в исповедальне Вилли, но слышу только сердитый шепот священника. Вилли выходит в слезах.

Наступает моя очередь. В исповедальне темно, а над головой висит большое распятие. Я слышу, как с другой стороны кто‑то из мальчиков бубнит свою исповедь. Может, мне попробовать обратиться к Ангелу Седьмой Ступеньки? Конечно, вряд ли он летает над исповедальнями, но у меня в голове снова будто зажигается свет и голос говорит: «Отринь страх».

Занавеска на окошке отодвигается, и священник произносит:

— Да, дитя мое?

— Благословите меня, святой отец, ибо я согрешил. И это моя первая исповедь.

— Какие же грехи ты совершил, дитя мое?

— Соврал, ударил брата. Взял пенни из маминого кошелька. Сказал плохое слово.

— Да, дитя мое. Что еще?

— Я, я слушал сказку про Кухулина и Эмер.

— Ну, это не грех, дитя мое. Некоторые летописцы утверждают, что Кухулин перед смертью стал католиком, как и его король, Конор МакНесса.

— Сказка была про то, как Эмер вышла за него замуж, святой отец.

— И как же?

— Выиграла состязание по пи`санию.

Священник как‑то часто дышит и, прикрыв ладонью рот, кашляет, будто подавился.

— Матерь Божья, — бормочет он. — Кто, кто рассказал тебе эту сказку, дитя мое?

— Мики Моллой, святой отец.

— А он где ее слыхал?

— В книжке прочитал, святой отец.

— А‑а, в книжке. Книги могут быть опасными, дитя мое. Отврати же разум свой от глупых сказок и подумай о житиях святых. О Святом Иосифе подумай, о Маленьком Цветке Иисуса[[54]](#footnote-54), добром и смиренном Франциске Ассизском — покровителе птиц небесных и зверей земных. Хорошо, дитя мое?

— Хорошо, святой отец.

— Есть ли у тебя еще прегрешения, дитя мое?

— Нет, святой отец.

— Во искупление грехов своих прочти трижды «Богородица Дева, радуйся», трижды «Отче Наш» и помолись за меня.

— Да, святой отец. А мой самый тяжкий грех какой?

— То есть?

— Я хуже всех мальчиков, святой отец?

— Нет, дитя мое, далеко тебе до худших. Помолись же о прощении и помни, что Господь все видит. Да хранит тебя Бог, дитя мое.

###### \* \* \*

День первого причастия — самый счастливый день в жизни, потому что после будут сбор даров и Джеймс Кэгни в «Лирик‑синема». Накануне я так разволновался, что не смог уснуть до самого рассвета, и так бы и проспал, если бы в дверь не постучала бабушка.

— Вставай! Вставай! А ну, живо вылезай из постели! Счастливейший день в его жизни, а он знай себе дрыхнет.

Я бегом спустился в кухню.

— Рубаху снимай, — велела бабушка.

Я снял рубаху, и меня запихали в жестяное корыто с ледяной водой. Сначала меня терла мочалкой мама, потом бабушка — чуть кожу не содрали.

Меня высушили полотенцем, нарядили в черный бархатный костюмчик, белую рубашку с оборками, короткие штанишки, белые чулки и черные кожаные туфли. На руку повязали белый атласный бант, а на пиджак прикололи брошь со Святейшим Сердцем Иисуса — окровавленное сердце в языках пламени, и сверху — устрашающего вида терновый венец.

— Иди, причешу, — велела бабушка. — Нет, вы гляньте на эти волосья, никак не пригладишь. В моем роду ни у кого таких не было. Это от папаши твоего наследство, с севера Ирландии. У пресвитерианцев волос такой. Ежели б мать твоя вышла замуж за приличного человека из Лимерика, не были бы у тебя волосы торчком, как у всех этих пресвитерианцев с Севера.

И она дважды плюнула мне на макушку.

— Бабушка, не плюй на меня, пожалуйста.

— Помолчи лучше. Не помрешь, если малость наплюю. Идем, а то на мессу опоздаем.

И мы побежали в церковь. Мама, задыхаясь, бежала позади с Майклом на руках. Мы зашли в церковь как раз вовремя — последний из мальчиков отходил от перилец алтаря и священник с чашей и причастием в руках уже сурово на меня косился. Потом он положил мне на язык Тело и Кровь Христовы. Ну, наконец‑то! Я втянул язык обратно, но что это? Бог прилип мне к нёбу, а ведь учитель говорил, что ни в коем случае нельзя касаться причастия зубами: кто раскусит его, тому гореть в аду веки вечные.

Я попытался пропихнуть Господа языком, но священник шикнул на меня:

— Прекрати чавкать и вернись на место.

Бог оказался вкусным. Он размяк у меня во рту, и я Его проглотил, и теперь я наконец‑то член Истинной Церкви, полноправный грешник.

На улице меня уже ждали мама с Майклом на руках и бабушка. Они принялись обнимать меня и твердить, что это — счастливейший день в моей жизни. Вместе они залили мне слезами всю макушку, а если учесть, что утром бабушка туда плевала, на голове у меня, наверное, было целое болото.

— Мам, можно я пойду на сбор даров?

— Хотя бы перекуси сначала, — ответила она.

— Нет, — сказала бабушка. — Никуда ты не пойдешь — у нас сейчас будет праздничный завтрак в честь твоего первого причастия. Идем.

И мы отправились к бабушке. Она гремела кастрюльками и сковородками и ворчала, что не обязана по первому зову всех обслуживать. Я съел яйцо, сосиску и собрался положить еще сахару в чай, но бабушка хлопнула меня по руке.

— Полегче с сахаром. Я что вам, миллионерша, что ли? Американка в брилльянтах и мехах?

К горлу неожиданно подступила тошнота. Зажав рот, я помчался на задний двор, и там меня стошнило. Бабушка прибежала вслед за мной.

— Посмотри что ты наделал. Весь первопричастный завтрак обратно выдал. Тело и Кровь Христовы! У меня теперь Господь на заднем дворе. И что мне делать прикажете? Ну‑ка, живо — к иезуитам, им самого Папы грехи известны.

И она потащила меня по улицам Лимерика, рассказывая всем соседям и прохожим, что у нее теперь Бог на заднем дворе. В церкви она втолкнула меня в исповедальню.

— Во имя Отца, и Сына и Святого Духа. Благословите меня, святой отец, ибо я согрешил. Прошел день с моей первой исповеди.

— День? Как же ты успел нагрешить за день, дитя мое?

— Чуть не проспал первое причастие. Бабушка сказала, что у меня волосы торчком, как у пресвитерианцев из Северной Ирландии. Еще меня стошнило первопричастным завтраком на заднем дворе. Теперь бабушка говорит, что у нее там Бог, и не знает, что делать.

Этот священник, как и тот, что на первой исповеди, часто задышал и кашлянул, будто поперхнулся.

— Э… э… бабушке передай, чтоб смыла все водой, а сам прочти «Богородица, Дева, радуйся» и «Отче Наш». За меня помолись. И да простит тебя Господь, дитя мое.

Бабушка и мама ждали рядом с исповедальней.

— Ты что шутки там священнику рассказывал? Узнаю, что с иезуитами шутишь, почки из тебя повыдеру. Что он сказал про Бога на заднем дворе?

— Смыть водой велел, бабушка.

— Святой или обычной?

— Он не сказал, бабушка.

— Вернись и спроси.

— Но, бабушка…

Она затолкнула меня обратно в исповедальню.

— Благословите меня, святой отец, ибо я согрешил. Прошла минута с моей последней исповеди.

— Минута?! Это ты только что приходил?

— Да, святой отец.

— А теперь‑то что?

— Бабушка спрашивает, святой водой смывать или обычной.

— Обычной и не беспокойте меня больше.

— Бабушка, водой обычной, и еще он сказал, чтоб его больше не беспокоили.

— Ишь ты, какой. Грубиян неотесанный.

— Теперь можно я пойду на сбор даров? — спросил я у мамы. — Я в кино хочу, на Джеймса Кэгни.

— Можешь забыть и о дарах и о Джеймсе Кэгни, — вмешалась бабушка. — Потому что католик ты ненастоящий, раз Бога на землю выплюнул. Домой пойдем.

— Погодите‑ка, — сказала мама. — Это мой сын. И его причастие. И он пойдет смотреть на Джеймса Кэгни.

— Нет, не пойдет.

— А вот и пойдет.

— Веди, веди его на Джеймса Кэгни, посмотрим, спасет ли это его северную пресвитерианскую душонку от греха. Давай.

Она запахнулась в шаль и пошагала прочь.

— Господи, опоздали уже на сбор даров, еще и Джеймса Кэгни не увидишь, — заволновалась мама. — Пойдем в «Лирик‑синема», спросим, может тебя пустят в честь первого причастия.

На Баррингтон‑стрит мы встретили Майки Моллоя. Он спросил, приду ли я в «Лирик», и я ответил, что постараюсь.

— А чего тут стараться? — удивился он. — Денег что ли нет?

Мне было стыдно признаться, что он прав, но пришлось.

— Ну и подумаешь, — усмехнулся он. — Я тебя проведу. Устрою отвлекающий маневр.

— Как это?

— У меня деньги на билет есть, я войду и притворюсь, будто у меня припадок, билетер‑то и напугается до полусмерти. Я как только завоплю, ты — шасть внутрь, а я тут же чудесным образом «исцелюсь». Это и есть отвлекающий маневр. Я все время так братьев в кино провожу.

— Нет, пожалуй, не стоит, Майки, — сказала мама. — Это, должно быть, грех, а ты ведь не хочешь, чтобы Фрэнк согрешил в день первого причастия?

Майки сказал, что в таком случае грех ляжет на его душу, а он же все равно не совсем католик, так что ему все равно. В общем, он завопил, как и обещал, а я прошмыгнул в кинотеатр и сел рядом с Вопрошайкой Куигли. Билетер, Фрэнк Годжин, так распереживался за Майки, что меня вообще не заметил. Фильм был интересный, но в конце грустный, потому что Джеймса Кэгни объявили вне закона, в него выстрелили, замотали всего бинтами и втолкнули в дом, где он жил, и это было ужасным потрясением для его старенькой матери‑ирландки[[55]](#footnote-55). Так закончился день моего первого причастия.

## V

Бабушка не разговаривает с мамой из‑за Бога на заднем дворе. Мама — со своей сестрой, тетей Эгги, и братом дядей Томом. Папа не разговаривает ни с кем из маминых родственников, а они — с ним, потому что он с Севера и со странностями. Никто не общается с женой дяди Тома, Джейн, потому что она из Голуэя и похожа на испанку. С маминым братом, дядей Пэтом, разговаривают все, потому что его уронили на голову, он простодушный и продает газеты. Его даже прозвали Эббат или Эб Шихан — правда, никто не знает, почему. С дядей Па Китингом тоже все общаются, потому что его отравили газом на войне, и он женился на тете Эгги, а если с ним кто не разговаривает, то ему глубочайше наплевать, поэтому в «Саутс‑пабе» его и называют газанутым.

Я рассказываю Ангелу Седьмой Ступеньки, что хотел бы быть таким, как он, и чтобы мне тоже было на все наплевать, но потом спохватываюсь, что слово «наплевать», наверное, не говорят в присутствии ангела.

У дяди Тома и Джейн из Голуэя есть дети — сын Джерри и дочь Пегги, — но нам не велено с ними разговаривать, потому что у нас родители не общаются. За разговоры с ними нам влетит от мамы, но как же не поговорить с двоюродными братом и сестрой?

Жители лимерикских трущоб не общаются с родней по разным причинам, и это — целая наука, которая постигается годами. Бывает, не общаются друг с другом, потому что отцы в Гражданскую войну 1922 года воевали по разную сторону баррикад. Если глава семейства вступил в английскую армию, его близким ничего не остается, как перебраться в другой район, где живут такие же семьи. А если кто из твоей родни проявил хоть каплю дружелюбия к англичанам за последние восемьсот лет, тебе это обязательно припомнят, и лучше сразу переехать в Дублин, где всем наплевать. Бывает, стыдятся предков, которые в голодные годы отреклись от своей веры ради миски протестантского супа и их навеки заклеймили «супниками». Быть супником ужасно — ему уготованы вечные муки в особой части ада. Хуже супника только доносчик. Учитель сказал, что каждый раз, когда ирландцы были близки к победе над англичанами в честном бою, их выдавал подлый доносчик. Таких вешать надо или, еще страшнее — никогда больше с ними не разговаривать, потому что лучше болтаться на виселице, чем быть отвергнутым всеми.

Среди жителей каждого переулка обязательно есть такие, кто никогда не заговорит друг с другом, а бывает, что все в переулке сторонятся кого‑то одного, или кто‑то один терпеть не может весь остальной переулок. Такое сразу видно по тому, как люди себя ведут при встрече на улице. Женщина, например, гордо вскинет голову, подожмет губы и отвернется, а если на ней шаль — то перекинет ее конец через плечо, будто говоря: «Скажешь хоть слово или глянешь косо, гадина, я тебе фасад‑то начищу».

Плохо, что бабушка с нами не разговаривает: не сбегаешь к ней за сахаром, чаем или молоком. К тете Эгги идти бесполезно. Она сразу взбучку устроит.

— Иди домой, — обычно орет она. — И передай папаше, чтобы оторвал свою северную задницу от стула и пошел работать, как порядочный человек.

Говорят, что тетя Эгги всегда злая, потому что у нее рыжие волосы, а может они рыжие, от того, что она всегда злая.

Мама дружит с Брайди Хэннон, которая живет по соседству со своими родителями. Мама и Брайди все время болтают о чем‑нибудь. Когда папа уходит прогуляться, Брайди сразу — шмыг к нам, и они с мамой сидят у огня, пьют чай и курят. Если у нас дома ничего съестного нет, Брайди приносит чай, сахар и молоко. Иногда они все добавляют и добавляют кипятка в одну и ту же заварку, и мама потом говорит, что чай перестоял и его пить невозможно.

###### \* \* \*

Мама с Брайди сидят у самого огня, и ноги у них отсвечивают то красным, то лиловым, то голубым. Они болтают часами, шепчутся и секретничают, а нам велят поиграть на улице. Но я, бывает, сажусь на седьмую ступеньку и все слышу, а они не знают. Даже если на улице льет как из ведра, мама все равно гонит нас во двор и велит высматривать отца, а если он появится, сразу прибежать и сказать ей.

— Слышала стих, который будто про нас с мужем писан? — спрашивает она Брайди.

— Что за стих, Анджела?

— «Суженый с Севера». Мне его Минни Макэдори в Америке рассказала.

— Нет, никогда не слышала. Ну‑ка расскажи.

Мама рассказывает, но почему‑то все время смеется.

Мой суженый на Севере рожден,

И потому немногословен он.

Но душу добрую в глазах его я угадала,

И верною женою ему стала.

Пускай твердят, что Гэрриоун веселей,

Чем суженый мой с озера Лох‑Ней.

Но в городе моем течет река,

Под солнцем нежится, тиха и глубока.

Я с гордостью скажу — пусть слышит целый свет,

Что в Манстере во всем мужчины лучше нет,

И в Лимерике всех светлее дом,

В котором с суженым мы счастливо живем.

Всем в Лимерике так желаю жить

И с добрыми соседями дружить.

Ведь, если б был во всем сосед соседу другом,

Вражды бы было меньше между Севером и Югом[[56]](#footnote-56).

Она повторяет третий куплет снова и снова, и смеется до слез, а на словах «И в Лимерике всех светлее дом, в котором с суженым мы счастливо живем» почему‑то рыдает.

###### \* \* \*

Если «суженый с Севера» возвращается раньше и видит Брайди на кухне, то говорит:

— Все шепчетесь. — И стоит, не снимая кепки, пока Брайди не уйдет.

Мать Брайди, другие соседи и жители окрестных переулков иногда приходят к нам и просят папу написать письмо то властям, то какому‑нибудь далеко живущему родственнику. Папа садится за стол, берет ручку и баночку с чернилами, а когда ему диктуют, что написать, возражает:

— Нет‑нет, не так надо. — И пишет так, как ему больше нравится.

Потом просители говорят, что да‑да, именно это они и имели в виду и что папа прекрасно владеет английским языком и пишет очень хорошо. Ему дают шестипенсовик за труды, но он отмахивается, потому что считает, что негоже брать деньги за такую мелочь, и монетку отдают маме. Когда просители уходят, папа, однако, берет у мамы эти шесть пенсов и отправляет меня в лавку Кэтлин О’Коннелл за сигаретами.

###### \* \* \*

Бабушка спит на большой кровати на втором этаже. В изголовье у нее висит образ Святейшего Сердца Иисуса, а на каминной полке красуется такая же статуэтка. Бабушка хочет когда‑нибудь провести электричество, чтобы статуэтка подсвечивалась маленькой красной лампочкой. Всем в нашем переулке, да и вообще в трущобах, известно, как бабушка почитает Святейшее Сердце.

Дядя Пэт спит в той же комнате, на маленькой кровати в углу, так что бабушка всегда знает, во сколько он пришел и помолился ли перед сном. И пускай его роняли на голову, он не умеет читать и писать, да и выпить может лишку — все это не избавляет его от необходимости вознести молитву Богу перед сном.

Дядя Пэт сообщает бабушке, что познакомился с одним человеком, который ищет жилье, где можно будет помыться утром и вечером и чтоб подавали обед и чай. Зовут его Билл Гэлвин, и работа у него хорошая, на известковом заводе. Правда, он вечно покрыт известью, но это же лучше, чем угольная пыль.

Бабушке придется отдать постояльцу свою кровать и переселиться в комнатушку рядом. Образ Святейшего Сердца она возьмет с собой, а статуэтку оставит — за мужиками пригляд нужен. Да и к тому же в маленькой комнатке все равно статуэтке места нет.

После работы Бил Гэлвин заходит посмотреть жилье. Это низенький человечек, весь обсыпанный белой пылью и непрестанно шмыгающий носом. Он спрашивает бабушку, можно ли убрать статуэтку, потому что он — протестант и спать рядом с ней не сможет. Бабушка напускается на Пэта за то, что протестанта в дом притащил.

— Господи, Боже мой! Что люди‑то скажут?!

Дядя Пэт говорит, он не знал, что Билл Гэлвин — протестант. Разве ж по нему скажешь? Под пылью ведь не разглядеть. С виду католик как католик, да и с чего бы протестанту в известняке ковыряться?

Билл Гэлвин говорит, что у него совсем недавно жена умерла, она была католичкой, и дома все стены увешаны образами Святейшего Сердца и Девы Марии с сердцем. Сам он против Святейшего Сердца ничего не имеет, просто статуэтка будет напоминать ему о бедной почившей женушке и душу бередить.

— Да Боже мой, что ж сразу не сказал? Конечно, я могу перенести статуэтку на подоконник в моей комнате, так чтоб твоя душа при виде нее не страдала.

Каждое утро бабушка готовит Биллу обед и относит его в известняковый карьер. Мама недоумевает, почему Билл не берет обед с собой по утрам.

— Мне что теперь, на рассвете подниматься и варить свиные ножки с капустой, чтоб его светлость успевал их с собой таскать?

— На следующей неделе занятий в школе уже нет, так что Фрэнк с радостью будет носить Гэлвину обед за шесть пенсов в неделю, — предлагает мама.

Я не хочу ходить к бабушке каждый день. И таскаться в самый конец Док‑роуд к Биллу Гэлвину тоже не хочу, но мама говорит, что шесть пенсов нам бы пригодились, и если я не соглашусь, то она вообще никуда меня не пустит.

— Дома будешь сидеть, — грозит она. — И к мальчишкам на улицу не пойдешь.

Бабушка вручает мне жестяной судок с обедом и велит поторопиться, не глазеть по сторонам и не портить ботинки, пиная консервные банки по дороге. Билл Гэлвин ждет, что ему принесут горячий обед.

Из судка так вкусно пахнет вареным беконом, капустой и двумя большими молочно‑белыми картофелинами. Билл ведь не заметит, если я съем полкартофелины, и бабушке жаловаться не станет — он вообще почти не разговаривает, только носом шмыгнет и все.

Да и вторую половинку лучше не оставлять, а то спросят, почему картошка не целая. И бекона можно чуть‑чуть попробовать, и капусты, а если съесть и вторую картофелину, Билл просто решит, что картошки ему вовсе не послали.

И вот уже вторая картофелина тает у меня во рту, и я не могу удержаться, чтобы не попробовать еще кусочек капусты и еще ломтик бекона. Еда осталась только на донышке, Билл обязательно что‑то заподозрит, так что лучше уж все доесть.

И что теперь делать? Бабушка меня убьет, мама год на улицу не выпустит. А Билл Гэлвин в известняке меня закопает. А скажу‑ка я ему, что на меня напала собака и все съела, повезло еще, что и меня впридачу не сожрала.

— Да ну? — ухмыляется Билл Гэлвин. — А почему вон капуста на свитере? Тебя собака в благодарность за обед облизала? А ну, ступай домой и скажи бабушке, что ты слопал весь мой обед, а я тут умираю с голода.

— Да она ж меня убьет!

— Пусть сначала пришлет что‑нибудь поесть, а потом убивает, а если ты сейчас же не пойдешь к ней, то я сам тебя убью и выброшу в карьер, так что матери даже оплакивать нечего будет.

— А чего судок обратно припер? — ворчит бабушка. — Он что, сам его принести не мог?

— Билл добавки просит.

— Какой такой добавки? У него что, дыра в пузе, Господи спаси?

— Говорит, что умирает с голоду там у себя в карьере.

— Ты что, издеваешься?

— Просит прислать ему еще какой‑нибудь еды.

— Нет уж. Он свой обед получил.

— Нет, не получил.

— Как это не получил?

— Я его съел.

— Что‑о?

— Я есть хотел и попробовал немножко, а потом еще немножко.

— Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом!

Я получаю такую затрещину, что слезы на глазах выступают. Бабушка верещит как банши, мечется по кухне и вопит, что сейчас же отволочет меня к священнику, нет, к епископу, да к самому папе римскому бы отволокла, живи он рядом. Потом, грозя мне ножом, нарезает хлеб и делает бутерброды со студнем и вареной картошкой.

— На, неси, а если хотя бы крышку приоткроешь, я с тебя три шкуры спущу.

Конечно, бабушка тут же бежит к маме, и они постановляют, что за такой ужасный грех я должен буду две недели носить обед бесплатно. Судок мне велено приносить обратно, а значит, придется сидеть и смотреть, как Билл запихивает себе в рот еду, а он не из тех, кто хоть кусочком поделится.

И вот, каждый раз, когда я приношу судок обратно, бабушка заставляет меня вставать на колени перед статуэткой Святейшего Сердца и просить прощения, и все это из‑за протестанта Билла Гэлвина.

###### \* \* \*

— Умираю без сигарет, — жалуется мама. — И отец ваш тоже.

В доме может не быть чая и хлеба, но родители как‑то ухитряются раздобыть пачку «Уайлд Вудбайн». Курят они по утрам и когда чай пьют. Нам‑то они каждый день твердят, чтоб мы курить не смели, что легкие и глотку испортим и не вырастем больше, а сами сидят у огня и смолят одну сигарету за другой.

— Если хоть раз с сигаретой увижу, головы поотрываю, — грозит мама.

Они говорят, что от сигарет зубы гниют, и это чистая правда. У них у обоих зубы чернеют и выпадают один за другим. Папа говорит, что у него такие дупла в зубах, что воробьям гнезда вить можно. В больнице ему выдирают последние зубы, и он подает прошение о вставной челюсти. С новыми зубами он сверкает белозубой улыбкой, как какой‑нибудь американец, а рассказывая нам истории про приведений вечерами, так выпячивает челюсть, что нижней губой почти достает до носа, и мы пугаемся до полусмерти. У мамы зубы такие плохие, что ей приходится идти в больницу Баррингтон и выдрать их все разом. Возвращается она домой, прижимая ко рту окровавленную тряпку, а потом всю ночь сидит у огня, потому что ложиться нельзя, а то кровью захлебнешься. Она обещает, что бросит курить насовсем, когда кровь перестанет идти, вот только еще одну сигаретку для успокоения. Она отправляет Мэйлахи в лавку к Кэтлин и велит спросить, можно ли взять в долг пять сигарет «Вудбайн», а в четверг будет пособие и она деньги отдаст. Если кто и может выпросить сигарет у Кэтлин, так это Мэйлахи. Он обаятельный малый, а меня посылать без толку: физиономия кислая и сам со странностями, как отец.

Когда десны у мамы заживают, она идет в больницу и ей дают вставную челюсть. Курить мама так и не бросила, хоть и обещала — вставной челюстью ей натирает десны, а от «Вудбайна» хоть не так сильно болит. Они с папой курят у огня, когда есть, чем его разжечь, и разговаривают, клацая зубами. Чтобы перестать, им приходится двигать челюстью взад‑вперед, но от этого только хуже, и мама с папой на чем свет стоит ругают дантистов и тех, кто сделал эти челюсти в Дублине, и когда ругаются, тоже клацают зубами. Папа утверждает, что эти зубы сделали для дублинских богачей, а они им не подошли, поэтому их отдали беднякам Лимерика, которым все равно, потому что беднякам жевать все равно почти нечего и они рады хоть каким‑то зубам. Если родители разговаривают слишком долго, то десны у них начинают болеть и вставную челюсть приходится вынимать. Потом они сидят у огня с обвисшими щеками. Перед сном челюсть надо оставлять на кухне, в банках с водой. Мэйлахи спрашивает, зачем, и папа объясняет, что зубы так моются.

— Нет, — говорит мама. — Нельзя с искусственными зубами спать, а то они вывалятся и можно подавиться насмерть.

Из‑за этих‑то зубов Мэйлахи вскоре увозят в больницу, а мне делают операцию. Как‑то ночью Мэйлахи спрашивает меня шепотом, не хочу ли я пойти вниз и примерить челюсть?

Челюсть такая большая, что во рту не помещается, но Мэйлахи не сдается. Он запихивает папину челюсть себе в рот, а вытащить не может. У него теперь оскал, как у чудовища из фильма. Я смеюсь, но Мэйлахи не смешно — он тянет челюсть изо рта и мычит, а в глазах у него слезы. Чем больше он мычит, тем сильнее я смеюсь, пока папа не кричит сверху:

— Вы чего там делаете?

Мэйлахи убегает от меня наверх, и теперь уже папа с мамой смеются, но потом понимают, что Мэйлахи может задохнуться. Они по очереди пытаются вытащить челюсть у него изо рта, но Мэйлахи пугается и мычит еще громче.

— Придется в больницу идти, — говорит мама.

Папа говорит, что отведет его, а меня берет с собой, на случай если доктор будет спрашивать, как такое получилось — а кто старше, тот и зачинщик. Папа бежит по улицам с Мэйлахи на руках, я пытаюсь поспеть за ним. Мне жалко Мэйлахи. Он лежит у папы на плече и жалобно смотрит на меня, по щекам у него текут слезы, а во рту торчат папины зубы.

— Пустяки, — говорит врач в больнице.

Он наливает Мэйлахи в рот масла и мигом вынимает челюсть. Потом смотрит на меня и спрашивает:

— А у этого почему рот открыт?

— Да привычка у него такая, — отвечает папа.

— А ну‑ка, поди сюда, — говорит доктор.

Он проверяет мне нос, уши, горло, ощупывает шею.

— Гланды, — говорит он. — Надо удалять, и чем скорее, тем лучше, а то так и будет вечно раззявой ходить.

На следующий день Мэйлахи выдают большую ириску за то, что он себе в рот вставную челюсть запихал, а меня ведут в больницу на операцию, чтобы я наконец закрыл рот.

В субботу утром после чая мама говорит, что отдаст меня на уроки танцев.

— Танцев? Зачем?

— Семь тебе уже исполнилось, и первое причастие было, отчего бы танцам не поучиться? Решено, веду тебя в класс миссис О’Коннор, что на Кэтрин‑стрит. Будешь учиться ирландским танцам по субботам, вместо того, чтоб на улице болтаться с хулиганами.

Она велит мне вымыть шею и лицо, вычистить как следует уши, причесаться, высморкаться и убрать с лица постную мину.

— Что убрать?

— Не важно, — бросает она. — Просто смени выражение лица, чулки надевай и туфли, в которых на первое причастие ходил, эх, продрал ты их совсем — ведь ни одной жестянки или булыжника на дороге не пропустишь. Не для того я по очередям мыкаюсь и ботинки вам с Мэйлахи выклянчиваю, что вы тут же все носы у них оббили. Отец ваш говорит, песням и танцам своих предков следует обучиться как можно раньше.

— А кто такие предки?

— Не важно, — отвечает она. — Но танцевать ты будешь.

— Что мне теперь, кроме того, что умирать за Ирландию еще и петь и танцевать за нее надо? Вот почему никогда не скажут: наешься конфет за Ирландию, прогуляй школу, иди искупайся за Ирландию?

— Не умничай, не то по ушам получишь, — сердится мама. — Сирил Бенсон вон танцует. Медалями с ног до головы увешан. Конкурсы по всей Ирландии выигрывает, а уж какой он в своем желтом килте красавчик! Вот уж отрада для матери, и в газетах про него все время пишут, и домой уж точно несколько фунтов да принесет. Он не слоняется по улицам и не пинает все, что ни попадя, и пальцы из ботинок у него наружу не торчат. Вот хороший мальчик, знай себе танцует и радует свою бедную матушку.

Мама смачивает водой старое полотенце и так трет мне лицо, что оно начинает гореть. Потом наматывает кончик полотенца себе на палец и ковыряет мне уши.

— У тебя тут столько земли, хоть картошку выращивай.

Она пытается пригладить мне волосы водой, велит не скулить, и говорит, что танцы стоят шесть пенсов за урок — сам мог их заработать, если бы Биллу Гэлвину обед носил, а теперь непонятно где их взять.

— Мам, не надо тогда танцы, лучше купи себе «Вудбайн» и чаю выпей.

— Ишь ты, умник. Нет уж, танцевать ты пойдешь, даже если мне для этого придется навсегда курить бросить.

Вот увидят мальчишки, что мать таскает меня на уроки ирландских танцев, и тогда мне вечный позор. Когда Фред Астер с Джинджер Роджерс[[57]](#footnote-57) по экрану носятся — это одно дело, а на ирландских танцах и Джинджер никакой нет и больно‑то не покружишься. Там надо стоять на одном месте, прижав руки к туловищу и дрыгать ногами, да еще и улыбнуться не смей. Дядя Па Китинг как‑то выдал, что у ирландских танцоров вид такой, будто им в задницу прут железный воткнули, но если маме такое сказать, она совсем убьет.

Граммофон в классе миссис О’Коннор играет то ли джигу, то ли рил, а мальчики и девочки дрыгают ногами, прижав руки к телу. Миссис О’Коннор — женщина крупная, непонятно, как ей вообще удается преподавать танцы, она и пластинку‑то когда останавливает, у нее по всему телу жир колышется.

— Ах, это у нас, значит, маленький Фрэнки, — говорит она моей маме. — Так‑так, задатки танцора у нас, похоже, имеются. Верно я говорю, ребятки?

— Да, миссис О’Коннор.

— Вот шесть пенсов, миссис О’Коннор. — Мама протягивает ей деньги.

— Ах, да, — отвечает та. — Минуточку.

Грузно покачиваясь, она идет к столу и приносит копилку в виде головы негритенка с курчавыми волосами, большими глазами, огромными красными губами и открытым ртом. Миссис О’Коннор велит мне положить монетку в рот копилке и сразу же убрать руку, не то укусит. Мальчики и девочки с улыбкой ждут, что я буду делать. Я кладу в копилку монетку и отдергиваю руку — рот эфиопа тут же захлопывается. Все смеются, но я‑то знаю: они хотели, чтоб меня укусили за руку.

— Ну не потеха ли? — ахает миссис О’Коннор.

— Да‑да, — соглашается мама.

Она велит мне вести себя хорошо и приходить домой уже готовым танцором.

Я не хочу оставаться в танцевальном классе, где миссис О’Коннор не может сама взять монетку, а обязательно хочет, чтобы мне откусили руку. И я не хочу становиться в ряд с мальчиками и девочками и держать спину прямо, не шевелить руками, глядеть прямо перед собой, дрыгать ногами все быстрее и быстрее и смотреть на Сирила. Вот он в своем желтом килте трясет медальками. Все девочки любят Сирила, и миссис О’Коннор любит Сирила — он прославил ее имя, ведь это она учила его каждому шагу.

— О, танцуй, Сирил, танцуй! Ах, как он порхает по залу! Ну, чисто ангел небесный. А ну не хмурься, Фрэнк Маккорт, а то у тебя лицо, будто дряни какой наелся. Танцуй, Фрэнки, танцуй, да поднимай ты ноги выше, ради Христа, раз‑два‑три‑четыре‑пять‑шесть‑семь, и‑и‑и раз‑два‑три, раз‑два‑три. Мора, помоги Фрэнки Маккорту, а то у него ноги сейчас в узел завяжутся, помоги ему, Мора.

Мора — рослая девочка лет десяти. У нее белые зубы, а платье золотое, и на нем зеленый узор, наверное, старинный.

— Давай руку, малыш, — говорит она мне. — И кружит меня по залу так быстро, что в глазах все плывет, я краснею и чуть не плачу, чувствуя себя конченым идиотом, но тут, к счастью, пластинка заканчивается и граммофон больше не играет, только шипит.

— Спасибо тебе, Мора, — говорит миссис О’Коннор. — А на следующей неделе ты, Сирил, покажешь Фрэнки движения, которые принесли тебе славу. До следующей недели, мальчики и девочки, и не забывайте шесть пенсов для негритенка.

Мальчики и девочки выходят из класса вместе. Я спускаюсь по лестнице и выхожу на улицу последним, надеясь, что никто из приятелей не увидит меня вместе с мальчиками, которые носят килт, и девочками, у которых белые зубы и золотые платья со старинными узорами.

Мама пьет чай с Брайди Хэннон — соседкой.

— Ну, чему ты научился? — спрашивает мама и заставляет меня протанцевать по кухне на «раз‑два‑три‑четыре‑пять‑шесть‑семь» и еще на «раз‑два‑три и раз‑два‑три».

— Неплохо для начала, — смеются они с Брайди. Месяцок‑другой — и будешь как Сирил Бенсон.

— Не хочу как Сирил Бенсон. Лучше как Фред Астер.

Они смеются еще пуще, прыская чаем во все стороны.

— А губа не дура, — хохочет Брайди. — Как Фред Астер, ишь ты!

Мама говорит, что Фред Астер по субботам на уроки ходил, а не продирал ботинки до голых пальцев. И если я хочу быть как Фред Астер, тем более надо ходить к миссис О’Коннор каждую субботу.

Утром четвертой по счету субботы в дверь стучится Билли Кэмпбелл.

— Миссис Маккорт, а Фрэнки гулять выйдет?

— Нет, Билли. Фрэнки идет на урок танцев.

Билли поджидает меня внизу улицы. Его интересует, зачем мне эти танцульки, они же для неженок, и так я скоро опущусь до того, чтобы как Сирил Бенсон плясать в килте с девчонками и греметь медальками. А потом и вовсе усядусь у окна носки вязать. Он уверяет, что танцы меня погубят, и я больше ни в простой футбол, ни в гэльский, ни в рэгби играть не смогу, потому что буду бегать, кривляясь, как девчонка, и все станут надо мной потешаться.

Я говорю ему, что с танцами покончено и что шесть пенсов, которые лежат у меня в кармане, пойдут не в копилку миссис О’Коннор, а на билеты в «Лирик‑Синема». У нас еще даже по пенсу на ириски останется, и мы здорово развлечемся — там сейчас «Всадников полынных прерий»[[58]](#footnote-58) показывают.

Папа с мамой сидят у огня. Они спрашивают, какие танцы я выучил сегодня. Про «Осаду Энниса» и «Стены Лимерика»[[59]](#footnote-59), которые мы правда учили, я им уже рассказывал, теперь надо выдумать еще какие‑нибудь танцы.

— Впервые слышу про танец под названием «Осада Дингла», — удивляется мама. — Но раз уж выучил, давай, показывай, — говорит она.

Я пляшу по кухне, прижав руки к телу и на ходу выдумывая мотив: «диддли‑ай‑ди‑ай‑ди‑ай, диддли‑ай‑ду‑ю‑ду‑ю». Мама с папой хлопают в такт.

— Хороший танец, — хвалит папа. — Знатный танцор из тебя выйдет, не посрамишь героев, отдавших жизнь за Ирландию.

— На шесть пенсов‑то не натанцевал, — говорит мама.

В следующую субботу в кино показывают Джорджа Рафта[[60]](#footnote-60), а еще через неделю — ковбойский фильм с Джорджем О’Брайеном[[61]](#footnote-61). Потом — с Джеймсом Кэгни, и Билли я уже с собой не беру, иначе мне денег на шоколадку не хватит впридачу к ириске. Я сижу, смотрю кино, как вдруг чувствую во рту дикую боль — зуб остался в ириске, и теперь десна болит так, что терпеть невозможно. Но конфету‑то жалко, поэтому я выковыриваю зуб из конфеты, кладу его в карман, а ириску жую на другой стороне рта вперемешку с кровью. С одной стороны больно, с другой — сладко. У моего дяди Па Китинга на такой случай есть поговорка: «То ли радоваться, что просрался, то ль горевать — что в штаны».

Пора идти домой, но я боюсь, потому что мама обязательно заметит, что зуба нет. Мамы — они все замечают, а наша еще всегда рот проверяет: нет ли какой заразы. Папа сидит у огня вместе с мамой, и они спрашивают меня, какой танец я учил сегодня. Я отвечаю, что «Стены Корка» и прыгаю по кухне и еле слышно напеваю, потому что зуб все еще дико болит.

— «Стены Корка»? — переспрашивает мама. — Нет такого танца.

— А ну, подойди сюда, — велит папа. — Посмотри мне в глаза и отвечай: ты был на уроке сегодня?

Соврать не получится, потому что зуб страшно ноет и во рту полно крови. К тому же, они и так уже обо всем узнали. Какой‑то мальчишка из школы танцев видел, как я иду в «Лирик‑синема», и миссис О’Коннор прислала маме записку, в которой сокрушалась, что я давно не был на занятиях, и спрашивала, не заболел ли я, а то ведь у меня задатки танцора и я мог бы стать вторым Сирилом Бенсоном.

Папе наплевать, что у меня зуб болит.

— Сейчас же исповедоваться, — говорит он и тащит меня в церковь редемптористов, потому что сегодня суббота и хочешь — хоть весь день исповедуйся. Папа называет меня неслухом и позорищем за то, что я шастал в кино вместо того, чтобы учить ирландские народные танцы — джигу и рил, танцы, за которые ирландцы и ирландки сражались и умирали на протяжении всех этих горестных веков. Да многие юноши, которые погибли и теперь гниют в земле сырой, были бы рады восстать и сплясать ирландский танец.

Священник старенький, мне приходится чуть ли не кричать ему в ухо. Он говорит, что я хулиган, раз бегал в кино вместо того, чтобы учиться танцевать, хотя сам он считает, что танцы — дело почти столь же опасное, что и кино, ибо будят греховные мысли, но пускай даже танцы — мерзость, я все равно согрешил, раз взял у мамы шесть пенсов и солгал, а в аду для таких как я специальное место уготовлено, так что придется мне прочесть молитву по четкам десять раз и умолять Бога о прощении, ибо я и так уже подошел к самым вратам ада.

###### \* \* \*

Мне исполняется восемь лет, потом девять, а папа все еще без работы. Он пьет чай по утрам, ходит за пособием на биржу, читает газеты в библиотеке Карнеги, бродит где‑то за городом. Если его принимают на цементный завод или на мукомольню, то через две недели выгоняют, потому что на третью пятницу он идет в паб, пропивает всю получку, в субботу утром спит до обеда и не приходит на работу.

— Да что ж у нас все не как у людей? — сокрушается мама. — У других вон мужья дома еще до того, как Анжелюс в шесть прозвонит, деньги домой несут, переодеваются, пьют чай, берут у жен несколько шиллингов и идут выпить пинту‑другую в пабе.

Мама говорит Брайди Хэннон, что папа никогда таким не станет. Болван он: шатается по пабам и угощает других, а у собственных детей животы к спине присохли от голода, ужина нормального не видят. Перед всеми бахвалится, что исполнил свой долг перед Ирландией, не ища ни денег, ни славы, и что счастлив будет отдать свою жизнь за отечество, если понадобится, и вообще, жаль, что только одну жизнь можно отдать своей несчастной родине, а если кто не согласен, так пусть выходят с ним на улицу и решают этот вопрос по‑мужски.

— Как же, станут эти бродяги и любители дармовщины с ним спорить, — усмехается мама. — Знай напевают ему, что он — человек выдающийся, ничего, что с Севера, и для них честь принять угощение от истинного патриота. Ума не приложу, что делать, — продолжает она. — Пособие — девятнадцать шиллингов шесть пенсов в неделю, рента — шесть шиллингов шесть пенсов, вот и остается тринадцать шиллингов на еду, одежду, да уголь, чтоб зимой от холода не околеть.

Брайди затягивается сигаретой. Потом отпивает чаю и говорит, что Господь Бог милостив.

— Да, только далековато отсюда он милость свою раздает, в трущобах Лимерика его давно не видали.

— Ох, Анджела, за такие слова и в ад угодить можно, — смеется Брайди.

— А где я сейчас, по‑твоему? — отвечает мама.

Они смеются, пьют чай, курят и говорят, что сигареты — единственное утешение, которое у них осталось в жизни.

###### \* \* \*

Вопрошайка Куигли сообщает мне, что в пятницу я должен пойти в церковь редемптористов и вступить в юношеское отделение при Архибратстве. Отказаться нельзя. Все мальчишки из трущоб и c окраины, у кого отцы живут на пособие или работают на заводе, обязаны в него вступать.

— Хоть твой отец и чужак с Севера, ты все равно должен поступить к нам.

Всем известно, что Лимерик — самый святой город в Ирландии, потому что в нем есть Архибратство Святого Семейства — самое большое в мире. Братство может быть в любом городе, а вот Архибратство есть только в Лимерике.

Члены Архибратства собираются в церкви редемптористов по вечерам, пять раз в неделю: два раза мужчины, один раз женщины и один раз мальчики. Там и благословение проводят, и гимны поют на английском, ирландском и латыни, но лучше всего — проповедь, которой славятся священники‑редемптористы. Никакая другая не сравнится с ней по силе — ей‑то они и спасают китайцев и других язычников от того, чтобы те не попали в ад с протестантами.

— Если вступишь в Архибратство, — продолжает Вопрошайка, — твоя мама расскажет об этом в Обществе Викентия, и там будут знать, что ты — добрый католик.

Отец у Куигли — верный член братства, вот он и получил хорошую работу — чистит туалеты на вокзале, а там даже пенсию дают. Сам Вопрошайка на такую же работу пойдет, если только не убежит в канадскую конную полицию, чтобы распевать «Когда я зову тебя, о‑о‑о, о‑о‑о», как Нельсон Эдди пел своей возлюбленной Джанет Макдональд[[62]](#footnote-62), когда та лежала на диване и умирала от чахотки. А если он уговорит меня вступить в Архибратство, то в конторе его имя запишут в большую книгу и когда‑нибудь назначат старостой группы, а этого он хочет больше всего на свете, ну, после униформы конной полиции, конечно.

Староста — главный в группе из тридцати мальчиков, живущих по соседству. Каждая группа носит имя какого‑нибудь святого, чье изображение красуется на деревянном шесте около места старосты. Староста с помощником отмечают присутствующих и следят за порядком, например, раздают подзатыльники тем, кто смеется во время Благословения или еще какое святотатство совершает. Если пропустишь одно собрание, то начальство в конторе спросит, в чем причина и не уклоняешься ли ты от своих обязанностей, и может сказать: «А наш маленький друг‑то, похоже, за супом пошел». Для католика в Лимерике, да и вообще во всей Ирландии нет хуже слов — все помнят, что происходило во времена Великого голода. После двух пропусков тебе пришлют желтую повестку с требованием явиться и объяснить свое поведение, а если пропустишь три собрания, за тобой придет отряд — пять или шесть мальчиков постарше из твоего отделения, и по пути они обшарят все улицы — вдруг ты где‑то прохлаждаешься вместо того, чтобы стоять на коленях вместе с Архибратством и молиться за китайцев и прочие заблудшие души. Отряд найдет, где ты живешь, и скажет твоей матери, что бессмертная душа ее сына в опасности. Бывает, что мать от этого начинает беспокоиться, а бывает, что заявит: «А ну‑ка, убирайтесь, а то как выйду сейчас да задницы‑то надеру!» Если будет проявлено такое неуважение к Архибратству, директор скажет, мол, надо помолиться за этих матерей, чтоб осознали они свои заблуждения.

Однако хуже всего, если к тебе заявится сам директор Архибратства, отец Гори. Встанет наверху улицы и гаркнет зычным голосом, каким уже обратил в истинную веру миллионы китайцев:

— Где тут живет Фрэнк Маккорт?

Адрес у него записан на бумажке, но он все равно гаркнет, чтоб весь мир знал, что ты уклоняешься от посещения собраний, и тем самым подвергаешь опасности свою бессмертную душу. Матери придут в ужас, отцы зашепчут: «Скажи, что меня нет дома». И с этого дня родители будут зорко следить за тем, чтобы ты ходил на собрания и не позорил семью перед соседями, которые и так шепчутся за спиной.

Вопрошайка приводит меня в отделение имени Святителя Финбара[[63]](#footnote-63).

— Сядь вон там и помалкивай, — велит мне староста.

Его зовут Деклан Коллопи, ему четырнадцать лет, а на лбу у него торчат шишки — чисто рога. Еще у него густые рыжие брови, сходящиеся на переносице, а руки свисают до колен. Он сообщает мне, что намерен добиться звания «самое лучшее отделение Архибратства», и если я хоть раз пропущу собрание, он порежет меня на кусочки и отправит моей матери. Никаких уважительных причин быть не может — вон тут недавно один мальчик из другого отделения вообще умирал, так его все равно принесли на носилках.

— Причиной отсутствия может быть только смерть, и не кого‑нибудь из родственников, а твоя собственная, — грозит мне он. — Все ясно?

— Да, Деклан.

Мальчишки рассказывают мне, что если в отделении нет прогулов, старост премируют. Деклан хочет побыстрей закончить школу и устроиться продавцом линолеума в большой магазин «Кэннокс» на Патрик‑стрит. Его дядя Фонси много лет продавал там линолеум и заработал столько денег, что открыл свой собственный магазин в Дублине, где теперь торгуют линолеумом трое его сыновей. Директор, отец Гори, легко может устроить Деклана на работу в «Кэннокс», если тот будет хорошим старостой и обеспечит полную посещаемость в отделении, потому‑то Деклан и грозит стереть нас в порошок, если что.

— Никто и ничто не встанет между мной и линолеумом, — говорит он нам.

Вопрошайка Куигли в милости у Деклана и может прогулять пятницу‑другую, потому что как‑то сказал Деклану:

— Вот вырасту, женюсь и настелю в доме линолеум, а за ним — только к тебе.

Другие мальчишки из группы пытаются провернуть тот же номер, но Деклан только ругается:

— Отвали, ладно если на горшок ночной денег наскребешь, какой тебе линолеум.

###### \* \* \*

Папа говорит, когда ему было столько же лет, сколько мне, и он жил в Туме, то долго помогал при алтаре. Вот и мне пришла пора стать алтарником.

— Это еще зачем? — удивляется мама. — У ребенка для школы‑то одежды нет, не то, что для церкви.

Папа возражает, что под облачением одежду не видно, а мама — что и на облачение тоже денег нет, да и стирать его нужно каждую неделю.

Папа говорит, Господь щедр, и велит мне стать на колени. Сам он будет изображать священника, потому что помнит мессу наизусть, а мне только ответы надо заучить.

— Introibo ad altare, Dei[[64]](#footnote-64), — произносит он.

А я должен ответить:

— Ad Deum qui laetificat juventutem meam[[65]](#footnote-65).

Теперь каждый вечер после чая я становлюсь на колени, и папа не разрешает подняться, пока я не отвечу урок без запинки. Мама говорит, разрешил бы уж сидеть ребенку, что ли, но папа считает, что латынь — святой язык, и его подобает учить на коленях. Римский папа, поди, у себя тоже не рассиживается и не чаи распивает, когда на латыни говорит.

Латынь учить трудно, а коленки у меня и так в ссадинах и болячках. Я бы лучше на улицу погулять пошел, но прислуживать в алтаре мне тоже хочется: я бы помогал священнику надевать облачение в ризнице, и у алтаря бы все делал, весь такой красивый в красно‑белом одеянии, как у моего приятеля Джимми Кларка; отвечал бы священнику на латыни, пододвигал бы ему большую книгу, наливал воду и вино в чашу. Во время Пресуществления[[66]](#footnote-66) я бы звонил в колокольчик, во время Покаяния — вставал бы на колени, кланялся, махал кадилом, а на проповеди сидел бы весь серьезный, сложив ладони на коленях, и все в церкви Святого Иосифа смотрели бы на меня и восхищались.

Спустя две недели чин мессы накрепко затвержен, и можно показаться дьякону Стивену Кэри, который заведует алтарниками в церкви Святого Иосифа. Папа начищает мне ботинки, мама штопает носки и насыпает в утюг побольше угля, чтоб как следует отгладить рубашку. Потом кипятит воду и трет мне голову, шею, руки и коленки — все, что хоть на дюйм высовывается из‑под одежды. Я уже весь красный, а она приговаривает:

— Ничего, терпи, зато никто не скажет, что мой сын у алтаря грязным стоял.

Она сокрушается, что коленки у меня в болячках, потому что бегаю где ни попадя, пинаю консервные банки и падаю, как заправский футболист. А еще жаль, что ни капли масла для волос нет, остается только пригладить волосы водой или поплевать на них, а то торчат, как солома из матраса. Мама велит мне в церкви отвечать громко, хоть на английском, хоть на латыни, а не бурчать себе под нос.

— Жалость‑то какая, что костюмчик с первого причастия уже маловат, но ничего, стыдиться тебе нечего — предки у тебя хорошие, хоть Маккортов возьми, хоть Шиханов, хоть Гилфойлов с моей стороны, у них земли тут в Лимерике было без счета, пока англичане ее не отобрали и не отдали этим грабителям из Лондона.

Папа ведет меня за руку, и прохожие на нас оглядываются, потому что мы переговариваемся на латыни. Он стучит в дверь ризницы и сообщает Стивену Кэри:

— Вот мой сын, Фрэнк, он выучил латынь и готов стать алтарником.

Стивен Кэри глядит на папу, потом на меня.

— Мест нет, — говорит он и захлопывает дверь.

Папа сжимает мне руку так сильно, что я едва не вскрикиваю от боли. Всю дорогу он молчит. Дома снимает кепку, садится у огня и зажигает сигарету. Мама тоже курит.

— Ну, — говорит она. — Взяли в алтарники?

— Мест нет.

— Ха, — мама затягивается сигаретой. — А я скажу тебе, как это называется. Классовое неравенство, вот как. Детям из трущоб у алтаря не место. У них же коленки ободранные и волосы торчком. Нет, там нужны благовоспитанные мальчики в новых туфлях и с напомаженными волосами, потому что отцы у таких мальчиков ходят в костюмах и галстуках и работа у них хорошая. Вот так‑то! И как, спрашивается, веру не потерять, когда кругом снобы одни?

— Ох, да.

— Да ну тебя с твоим оханьем вечным. Шел бы лучше да сказал священнику, мол, вот, голову сыну латынью забил, а на кой она ему сдалась, раз в алтарники не берут?

— Ох, ну может, когда вырастет, священником станет.

Я спрашиваю папу, можно ли мне пойти на улицу играть.

— Да, — произносит он. — Поиграй.

— Иди теперь куда хочешь, — говорит мама.

## VI

В четвертом классе у нас преподает мистер О’Нил. Мы зовем его Дотти[[67]](#footnote-67) — уж больно ростом мал.

В классе есть кафедра, так что Дотти возвышается над нами, грозит нам ясеневой тростью или демонстративно чистит яблоко. В первый же учебный день сентября он пишет на доске три слова — «Евклид», «геометрия», «идиот», — которые остаются там на весь год. Дотти говорит, если кто вздумает шутить с этими словами, то станет одноруким калекой. И что тот, кто теорем Евклидовых не знает — идиот.

— Повторяйте за мной, — велит он. — Идиот — это тот, кто не знает Евклидовых теорем.

Но мы и так знаем, кто такой идиот, потому что учителя все время нас так называют.

Брендан Куигли поднимает руку.

— Сэр, а что такое теорема и кто такой Евклид?

Мы ждем, что Дотти накинется на Брендана, как учителя обычно делают, когда их о чем‑то спрашиваешь, но он только загадочно улыбается.

— Так‑так, у нас тут даже не один вопрос, а целых два. Как зовут?

— Брэндан Куигли, сэр.

— Этот мальчик далеко пойдет. Куда он пойдет?

— Далеко, сэр.

— Непременно пойдет. Тому, кто задается вопросом об изяществе и красоте Евклида, только одна дорога — наверх. Куда ему дорога?

— Наверх, сэр.

— Без Евклида, мальчики, математика оказалась бы в шатком положении. Без Евклида никуда. И у велосипеда не было бы колес. И Святой Иосиф не стал бы плотником, ибо геометрия — основа его ремесла, а ремесло его суть геометрия. Даже эту школу без Евклида бы не построили.

— Чертов Евклид, — бормочет позади меня Пэдди Клоэсси.

— Эй там, как тебя зовут? — рявкает Дотти.

— Клоэсси, сэр.

— Нарываешься ты, парень. Как звать?

— Пэдди.

— Пэдди, а дальше?

— Просто Пэдди, сэр.

— И что ты, Пэдди, сейчас сказал Маккорту?

— Что нам следует встать на колени и возблагодарить Бога за Евклида.

— Да уж, конечно, Клоэсси. У тебя зубы от лжи гниют, отсюда видать. Что мне отсюда видать, мальчики?

— Что зубы гниют.

— От чего?

— От лжи.

— Евклид, мальчики, был греком. А кто такой грек, Клоэсси?

— Иностранец вроде, сэр.

— Недоумок ты, Клоэсси. Брендан, ты‑то уж точно знаешь, кто такой грек.

— Да, сэр. Евклид был греком.

Дотти слегка улыбается и говорит Клоэсси, чтоб тот брал пример с Куигли — он‑то знает, кто такой грек. Потом рисует на доске две линии и сообщает, что это параллельные прямые, и чудо в том, что они никогда не пересекутся, даже если их продлить до бесконечности, да хоть туда, где Господь Бог сидит, а это, ребятки, очень далеко. Хотя вот в Германии есть один еврей, который весь мир взбудоражил своими идеями о параллельных прямых.

Мы слушаем Дотти и не понимаем: кому нужны эти прямые, если в мире немцы повсюду наступают и бомбят все на своем пути. Сами мы спросить боимся, но можно подговорить Брендана Куигли. Он же теперь любимчик у Дотти, а, значит, может любые вопросы задавать. После школы мы сообщаем Брендану — завтра на уроке он должен спросить, что толку от Евклида и его непересекающихся прямых, когда немцы бомбят все подряд? Брендан говорит, что в любимчики не набивался и спрашивать не будет — боится, что Дотти ему накостыляет. А мы говорим, если не спросит, то сами ему накостыляем.

На следующий день Брендан поднимает руку. Дотти снова ему улыбается.

— Сэр, а что толку от Евклида с его прямыми, если немцы бомбят все подряд?

Улыбка сходит с лица Дотти.

— Ох, Брендан. Ох, Куигли. Ох, ребятки, ребятки.

Он кладет трость на стол и молча стоит за своей кафедрой, прикрыв глаза.

— Что толку от Евклида, значит? — произносит он наконец. — Толку? Да без Евклида ни один мессершмитт[[68]](#footnote-68) бы в воздух не поднялся. И спитфайры[[69]](#footnote-69) не носились бы меж облаков. Евклид дарит нам изящество, красоту и утонченность. Что он нам дарит?

— Изящество, сэр.

— И?

— Красоту, сэр.

— А еще?

— Утонченность, сэр.

— Евклид совершенен в своей сущности и творит настоящие чудеса. Понимаете, ребятки?

— Понимаем, сэр.

— Сомневаюсь, ребятки, сомневаюсь. Кто любит Евклида, обречен на одиночество в этом мире. — Он со вздохом открывает глаза, и взгляд его увлажняется.

###### \* \* \*

В этот же день учитель пятого класса, мистер О’Ди, останавливает Пэдди Клоэсси на выходе из школы.

— Эй, как фамилия?

— Клоэсси, сэр.

— В каком ты классе?

— В четвертом, сэр.

— А ну‑ка, скажи мне, Клоэсси, учитель рассказывал вам про Евклида?

— Да, сэр.

— А что именно?

— Что Евклид — грек.

— Ну, разумеется, грек, тупица ты этакий. А еще что‑нибудь?

— Ну, что без Евклида школы бы не было.

— Так‑так. А на доске что‑нибудь рисовал?

— Линии две, которые никогда не пересекутся, даже если их провести туда, где Господь сидит.

— Матерь Божья!

— Нет, сэр, не Матерь Божья, а Господь.

— Вот болван. Ступай домой.

На следующий день за дверью класса раздается громкий шум, а потом крики мистера О’Ди:

— А ну, выходи, О’Нил, жалкий трус и проходимец!

Нам хорошо слышно каждое слово, потому что стекло в двери выбито.

— Ну же, ну же, мистер О’Ди, возьмите себя в руки, — уговаривает его директор, мистер О’Холлоран. — Не следует выяснять отношения в присутствии учащихся.

— А тогда, вы, мистер О’Холлоран, запретите ему преподавать геометрию. Ее проходят в пятом классе, а не в четвертом. Геометрия — моя, и нечего ему Евклида трогать. Пусть своему делению в столбик обучает, заодно хоть поумнеет немножко, Господи спаси нас. Ишь, проходимец выискался, умы юные портит да кожуру яблочную направо и налево раздает, чтоб ученики пропоносились. Евклид — мой, так и передайте ему, мистер О’Холлоран, а иначе допрыгается он у меня.

Мистер О’Холлоран просит мистера О’Ди вернуться в класс, а мистера О’Нила — выйти в коридор.

— Мистер О’Нил, я же просил вас не трогать Евклида.

— Просили, мистер О’Холлоран, но это все равно, что просить меня перестать съедать по яблоку в день.

— Я настаиваю, мистер О’Нил. Больше никакого Евклида.

Мистер О’Нил возвращается в класс; его глаза снова увлажнились.

— Мало что изменилось со времен древних греков, — ворчит он. — Те же варвары у ворот, и имя им легион. Так что изменилось со времен древних греков, мальчики?

###### \* \* \*

Сущее мучение — каждый день смотреть, как мистер О’Нил снимает с яблока длинную кожуру — красную или зеленую, а если сидишь рядом, то и чувствовать яблочный аромат. Кожура достается тому, кто весь день вел себя хорошо и отвечал на все вопросы, а есть ее разрешается прямо за партой, чтоб никто не приставал, а то если выйти во двор, там просто замучают просьбами: «Дай, дай кусочек». И тогда повезет, если самому хоть что‑то останется.

Бывают дни, когда вопросы попадаются слишком сложные, и учитель мучает нас еще больше — выбрасывает кожуру в мусорное ведро. Потом просит кого‑нибудь из соседнего класса унести ведро к печке, где кожуру сожгут вместе с бумагой, или отдает поломойке, Нелли Эйхерн, а та ссыпает мусор в большой холщовый мешок. Попросить бы Нелли достать нам кожуру, пока крысы не добрались, но она уже вымыла в одиночку всю школу и страшно устала.

— Делать мне нечего, кроме как глядеть, как вы, поганцы, в мешке роетесь, — рявкает она на нас. А ну, кыш отсюда.

В такие дни учитель медленно очищает яблоко и, ухмыляясь, обводит взглядом класс.

— Может, голубям кожуру отдать, а, мальчики? — издевается он.

— Нет, сэр, голуби не едят яблок.

— Сэр, у них же от яблок понос будет, и все это на нас польется, когда мы из школы выйдем.

— Омадхаун ты, Клоэсси. Знаешь, кто такой омадхаун?

— Нет, сэр.

— Родного языка не знаешь, Клоэсси? Омадхаун — дурачок по‑ирландски. И ты, Клоэсси, именно он и есть. Кто он, мальчики?

— Омадхаун, сэр.

— А, да, мистер О’Ди тоже меня так называл, сэр, — вспоминает Клоэсси.

Дотти перестает чистить яблоко и начинает спрашивать нас обо всем на свете, а тот, кто правильно ответит — получит награду.

— Поднимите руки, — говорит он, — кто знает, как зовут президента Соединенных Штатов Америки.

Весь класс поднимает руки — нашел что спрашивать, это же любой омадхаун знает. Рузвельт, конечно.

— Теперь ты, Малкэхи. Кто стоял у креста, когда Господа нашего распяли.

Малкэхи долго думает.

— Двенадцать апостолов, сэр, — наконец отвечает он.

— Малкэхи, как по‑ирландски «дурень»?

— Омадхаун, сэр.

— И кто ты, Малкэхи?

— Омадхаун, сэр.

Руку тянет Финтан Слэттери.

— Я знаю, кто стоял у креста, сэр.

Конечно, Финтан знает. Еще б ему не знать. Они с мамашей что ни день, на мессу торопятся, а уж какая миссис Слэттери набожная, всем известно. От нее даже муж сбежал в Канаду лес рубить, и, наверное, рад‑радехонек, что ноги унес — ни весточки после не прислал. Финтан с матерью каждый вечер стоят на коленях у себя на кухне, молятся да журналы религиозные читают: «Маленький вестник Святейшего Сердца», «Светоч», «Дальний восток» и все до последней брошюрки Общества католических истин. В любую погоду они ходят на мессу и причастие, а по субботам исповедуются иезуитам, которым, как известно, позамысловатее проступки интересны, нежели грешки прихожан из трущоб — те разве что напьются, мясо съедят в пятницу, чтоб не протухло, да выругаются. Соседи на Кэтрин‑стрит прозвали мать Финтана «Миссис Зачтется», что бы ни случилось — ногу ли сломала, чай ли пролила или муж сбежал — она твердит:

— Мне это на небесах зачтется, и я уж точно попаду в рай.

Финтан нисколько не лучше. Если его толкнуть или обозвать, он улыбнется и скажет, что помолится за тебя и вам обоим это на небесах зачтется. Ребята в школе не хотят, чтобы он за них молился, и грозятся надрать ему задницу, если увидят, что он это делает. Финтан утверждает, что станет святым, когда вырастет, что само по себе глупость — святыми‑то становятся только после смерти. Он говорит, что наши внуки будут молиться на его портрет.

— Мочиться мои внуки будут на твой портрет, — заявляет ему на это один из старшеклассников.

Но Финтан знай себе улыбается. Его сестра в семнадцать лет сбежала в Англию, и все знают, что дома он носит ее блузку, а по вечерам в субботу завивает волосы горячими щипцами, чтоб на воскресной мессе выглядеть превосходно. Если встретить его по дороге в церковь, он обязательно спросит:

— Правда, Фрэнки, у меня роскошные волосы?

Уж очень ему это слово «роскошный» нравится, а какой мальчишка станет так говорить?

Разумеется, Финтан знает, кто стоял у креста. Он, наверное, даже знает, во что те люди были одеты и что ели на завтрак.

— Три Марии, — отвечает он.

— Подойти сюда, Финтан, — говорит Дотти. — Приз твой.

Финтан не спеша идет к кафедре, и там, надо же, достает из кармана перочинный ножик и режет кожуру на три маленьких кусочка — наверное, съест по одному, а не запихает целиком в рот, как все мы делаем. Потом поднимает руку:

— Сэр, можно я поделюсь яблоком?

— Яблоком, Финтан? Ха! У тебя не яблоко, Финтан, а всего лишь жалкая кожура. Никогда тебе не достичь таких головокружительных высот, за которые полагается целое яблоко, Финтан. Я правильно расслышал, что ты собрался с кем‑то разделить свой приз?

— Да, сэр. С Куигли, Клоэсси и Маккортом.

— И с чего бы, Финтан?

— Они — мои друзья, сэр.

В классе кто ухмыляется, кто пихает соседа локтем, а мне стыдно — теперь и про меня скажут, что я волосы завиваю, и на школьном дворе задразнят. С чего это он решил, что я его друг? А еще вдруг втемяшится кому‑нибудь, что я тоже сестринскую блузку ношу, и попробуй докажи, что сестры у меня никакой нет, скажут, носил бы, если б была. Во дворе вообще никому ничего не докажешь, обидчик всегда найдет, что ответить, и тут уж остается только в нос кулаком ему заехать. Но если бить всех, кто дразнится, с утра до вечера драться будешь.

Куигли берет у Финтана кожуру.

— Спасибо, Финтан.

Теперь все ждут, что скажет Клоэсси, потому что он самый рослый и крепкий в классе, и если уж он скажет «спасибо», я тоже скажу.

— Большое спасибо, Финтан, — говорит он и краснеет.

— Большое спасибо, Финтан, — повторяю я вслед за ним и стараюсь не покраснеть, но безуспешно. Мальчишки опять хихикают, и мне хочется всех побить.

— Эй, Финтан, домой идешь, роскошные кудри завивать? — кричат Финтану после школы.

Финтан, улыбаясь, поднимается по ступенькам, ведущим со школьного двора на улицу.

Какой‑то рослый семиклассник говорит Пэдди Клоэсси:

— Ты, поди, тоже бы завивался, кабы башка не лысая была.

— Заткнись, — огрызается Пэдди.

— А ты заставь меня, — ухмыляется парень.

Пэдди замахивается, но семиклассник одним ударом разбивает ему нос до крови и валит на землю. Я вступаюсь за Пэдди, верзила хватает меня за шею и так швыряет головой об стену, что у меня в глазах пляшут искры и черные точки. Пэдди бредет прочь, зажимая нос и плача. Старшеклассник толкает меня к нему. На улице стоит Финтан.

— Фрэнсис, Патрик, — ахает он. — Что с вами? Ты чего плачешь, Патрик?

— Есть хочу, — всхлипывает Пэдди. — Подраться ни с кем не могу, потому что с голоду чуть не падаю. Мне так сты‑ы‑дно.

— Пойдем ко мне, Патрик, — предлагает Финтан. — Мама даст нам что‑нибудь поесть.

— Не, у меня кровь из носа течет, — отказывается Пэдди.

— Да ерунда это. Она примочку тебе сделает или холодный ключик приложит. Фрэнсис, и ты давай с нами. У тебя тоже всегда голодный вид.

— Не, не надо, Финтан.

— Пойдем, Фрэнсис.

— Ну, ладно, Финтан.

Жилище Финтана похоже на часовню. На стенах образá: «Святейшее Сердце Иисуса» и «Непорочное Сердце Девы Марии». Иисус показывает на свое окровавленное сердце, увенчанное терновым венцом и полыхающее в огне. Голова его склонена влево в знак величайшей скорби. Дева Мария указывает на свое сердце, и на него было бы отрадно смотреть, кабы не терновый венец. Голову Мария склонила вправо — она скорбит, потому что знает, какие страдания уготованы ее Сыну.

На другой стене — изображение мужчины в бурой рясе. На его плечах, голове и руках сидят птицы.

— Знаешь, кто это? — спрашивает Финтан. — Как, нет? Это же твой покровитель, Святой Франциск Ассизский. А что за день сегодня, знаешь?

— Четвертое октября.

— Верно, и как раз праздник Святого Франциска Ассизского. Для тебя этот день особенный — можешь просить покровителя, о чем хочешь, и он обязательно исполнит твое желание. Поэтому я и позвал тебя в гости сегодня. Садись, Патрик, и ты, Фрэнсис тоже.

В комнату заходит миссис Слэттери с четками в руках. Она очень рада познакомиться с новыми друзьями Финтана и не желают ли друзья съесть по бутерброду с сыром?

— Патрик, бедный твой нос. — Она прикасается к носу Пэдди крестом на четках и читает короткую молитву. Оказывается, четки эти освятил сам папа римский, они и бурную реку остановят, не то, что кровь из носа.

Финтан сообщает, что не станет есть бутерброд, потому что постится и молится за парня, который побил меня и Пэдди. Миссис Слэттери целует его в макушку и говорит, что он святой, сошедший с небес, и спрашивает, положить ли нам горчички на бутерброд. Я отвечаю, что никогда не слышал, чтобы сыр ели с горчицей, но совсем не прочь попробовать, а Пэдди — что ни разу в жизни не пробовал бутерврот. Мы смеемся — удивительно же: до десяти лет дожил, а бутерброд ни разу не ел? Пэдди тоже смеется, зубы у него бело‑черно‑зеленые.

Мы съедаем по бутерброду, запиваем чаем, и Пэдди просится в туалет. Финтан провожает его через спальню на задний двор, а когда они возвращаются, Пэдди говорит:

— Мне домой пора, а то мать убьет. Я тебя на улице подожду, Фрэнки.

Теперь и мне захотелось в туалет, и Финтан ведет меня на задний двор.

— Мне тоже надо, — говорит он.

Я расстегиваю ширинку, но писать не могу, потому что Финтан смотрит на меня.

— Ты неправду сказал, и на самом деле не хочешь. Мне просто нравится на тебя смотреть, Фрэнсис. Это ведь не грех, да и не стал бы я грешить — у нас конфирмация на будущий год.

Как только мы с Пэдди выходим за ворота, я бегу за гаражи облегчиться, потому что уже еле терплю. Пэдди дожидается меня на улице, а когда мы идем по Хартстондж‑стрит, говорит:

— И бутерврот был что надо, и Финтан с матерью очень святые, но еще раз я бы к Финтану не пошел, уж очень он странный, правда, Фрэнки?

— Ага, Пэдди.

— Он так смотрел, когда я писать собирался. Это же странно, да, Фрэнки?

— Да, Пэдди.

Несколько дней спустя Пэдди шепчет мне на уроке:

— Финтан Слэттери зовет нас к себе на обед. Его матери дома не будет, но она оставит ему еду. С нами он тоже, может, поделится, и молоко у них вкусное. Пойдем?

Финтан сидит через два ряда от нас. Он догадался, о чем Пэдди мне шепчет, и теперь вопросительно поднимает брови, будто говорит: «Ну что, пойдете?»

Я шепчу Пэдди «да», а он кивает Финтану. Учитель рявкает, чтоб мы перестали бровями дергать и перешептываться, не то его трость пройдется каждому пониже спины.

Мальчишки во дворе дразнятся:

— О, гляньте, Финтан со своими фаворитами идет.

— Финтан, а кто такой «фаворит»? — спрашивает Пэдди.

Финтан отвечает, что, ну, просто мальчиков‑помощников так называли в стародавние времена.

У себя дома он разрешает нам сесть за стол на кухне и почитать комиксы: «Киноюмор», «Бино»[[70]](#footnote-70), «Денди» или материны религиозные брошюрки и дамские журналы «Чудо» и «Оракул», в которых печатают истории про бедных, но красивых девушек с фабрики, влюбленных в графских сыновей, а те — в них. Все это заканчивается тем, что бедняжка от безысходности бросается в Темзу и ее спасает проходящий мимо парень‑плотник — честный, но бедный, который полюбит бедную девушку такой, какая она есть, хотя потом оказывается, что бедный плотник на самом деле — сын герцога, а это еще лучше, чем граф, так что девушка становится герцогиней и может утереть нос отвергнувшему ее графу, потому что она теперь счастлива в своем шропширском поместье на двенадцати тысячах акров земли. Она ухаживает там за розами и заботится о бедной старушке‑матери, которая ни за какие деньги не уедет из своего маленького бедного домика.

— Не хочу я это читать, — протестует Пэдди. — Для дураков все эти истории.

Финтан убирает салфетку, под которой обнаруживаются бутерброд и стакан молока. Молоко на вид жирное, прохладное и вкусное, а хлеб почти такой же белый, как и молоко.

— С ветчиной бутерврот? — интересуется Пэдди.

— Ага, — отвечает Финтан.

— Вкусный, наверное, — продолжает Пэдди. — А горчица там есть?

Финтан кивает и режет бутерброд пополам. Из него вылезает горчица. Финтан облизывает пальцы и отпивает большой глоток молока. Потом разрезает бутерброд на четыре части, на восемь частей, на шестнадцать, берет из стопки журналов «Маленького вестника Святейшего Сердца» и читает, поедая бутерброд кусочек за кусочком, запивая молоком. Мы сидим и смотрим на него, и я точно знаю, о чем думает Пэдди, потому что сам думаю о том же: что мы тут делаем вообще? Я все надеюсь, что Финтан подвинет тарелку к нам, но он допивает молоко, накрывает недоеденный бутерброд салфеткой, изящным движением вытирает губы, склоняет голову, крестится, вознося благодарственную молитву, потом восклицает:

— Боже мой, в школу опоздаем!

На выходе он снова крестится, смочив пальцы святой водой из фарфоровой чаши, что висит у двери. На чаше изображена Дева Мария, указывающая себе на сердце, будто и без того непонятно, где оно находится.

Мы с Пэдди уже не успеваем к Нэлли Эйхерн за булочкой с молоком, и я не знаю, как продержаться до того времени, когда можно будет сбегать домой за кусочком хлеба. Пэдди останавливается у ворот школы.

— Дальше не могу, — говорит он. — Умираю с голода. Я просто усну на уроке, и Дотти меня убьет.

— Пойдемте, пойдемте же, а то опоздаем. Поторопись, Фрэнсис, — нервничает Финтан.

— Не пойду. Ты так пообедал, а мы ничего не ели.

— Брехун ты чертов, Финтан, — взрывается Пэдди. — И жадюга. Да ну тебя в задницу с твоим бутервротом, Святейшим Сердцем на стене и святой водичкой.

— О, Патрик.

— Какой я тебе к черту Патрик. Пошли, Фрэнки.

Финтан бежит в школу, а мы с Пэдди залезаем в сады в Баллинакарре[[71]](#footnote-71). Стоит нам спрыгнуть с забора, как к нам тут же кидается собака, но Пэдди ласково говорит:

— Хороший песик, хороший, мы просто голодные. Иди домой к мамочке.

Пес лижет ему лицо и убегает, виляя хвостом, а Пэдди стоит ужасно довольный собой. Мы напихиваем под рубахи столько яблок, что еле переваливаемся через забор, бежим в поля, падаем у изгороди, наедаемся яблок так, что больше ни кусочка не лезет, и окунаем лица в прохладный чудесный ручей. После разбегаемся в разные концы оврага по большой нужде и подтираемся травой и листьями.

— Ничего нет лучше, чем налопаться яблок, напиться воды и посрать как следует, — выдает Пэдди, сидя на корточках. — Это тебе не какой‑нибудь бутерврот с сыром и горчицей, а свое яблоко Дотти О’Нил может запихать себе в задницу.

К каменной ограде подходят три коровы. Они смотрят на нас и мычат.

— Ого, да их же доить пора! — Пэдди перемахивает через ограду и устраивается под огромным выменем одной из коров. Он тянет за сосок, молоко брызжет ему прямо в рот.

— Иди сюда, Фрэнки, это же парное молоко! — зовет он меня, отрываясь от питья. — Вкусно‑то как! Вон еще корова. Их всех доить пора.

Я залезаю под корову, тяну за сосок, однако корова лягается и вот‑вот наступит на меня и раздавит. Пэдди перелезает ко мне, показывает, как надо тянуть, и молоко бьет струей. Мы лежим под коровой и пируем, но тут раздается вопль — по полю к нам несется фермер с палкой в руках. Мы в мгновение ока перемахиваем через ограду, и куда теперь фермеру в резиновых сапогах нас догнать. Он стоит у ограды, потрясывая палкой и крича, что ужо мы ему попадемся, он нам сапоги в задницы по самое голенище запихает, а нам весело, потому что ничего‑то он нам не сделает, и вообще, почему на свете столько голодающих, когда кругом полно молока и яблок.

Нет, легко, конечно говорить, мол, пусть Дотти запихает себе яблоко в задницу, а я не хочу всю жизнь лазить по садам и чужих коров доить — я всегда стараюсь получить от Дотти яблочную кожуру в награду, чтоб дома сказать папе, что я лучше всех отвечал на трудные вопросы.

Мы снова проходим через Баллинакарру. Начинается дождь, сверкает молния, и мы припускаем по улице, но в ботинках с хлопающими подметками далеко не убежишь. А Пэдди хоть бы хны — знай себе шлепает по мостовой босиком, а у меня чулки насквозь мокрые и в ботинках хлюпает — получается два звука. Мы с Пэдди сочиняем из них песенку: шлеп‑шлеп, хлюп‑хлюп, шлеп‑ хлюп, шлеп‑хлюп, и давимся от смеха, хватаясь друг за друга. Дождь расходится, но под деревом стоять нельзя — молния испепелит на месте. Стоит нам только на минутку встать под крышу какого‑то дома, как на крыльцо выбегает грузная горничная в белом чепце и черном платье с белым фартуком и велит нам убираться, мол, ишь пристроились, перед соседями стыдно.

— Телка маллингарская[[72]](#footnote-72), туша жирнявская, — кричит ей Пэдди на бегу, и так заходится от смеха, что без сил прислоняется к стене. Прятаться от дождя больше нет смысла, насквозь промокшие, мы бредем по О’Коннелл‑авеню. Пэдди говорит, что про «маллингарскую телку» слышал от своего дяди Питера, того самого, который служил в Индии — у них дома даже есть его фотокарточка, он там стоит с другими солдатами в касках, с ружьями и патронташами, а рядом темнокожие индийцы в форме, которые присягнули на верность королю. Дяде Питеру здорово жилось в местечке под названием Кашмир, там было даже лучше, чем в ирландском городке Килларни, про который в песнях поют. Вот он, Пэдди, вырастет и сбежит в Индию, где будет жить в шелковой палатке с девушкой, у которой красная точка на лбу, и объедаться карри и инжиром. От его слов мне снова хочется есть, хотя живот все еще распирает от яблок и молока.

Дождь затихает, у нас над головой кричат какие‑то птицы. Пэдди рассказывает, что это утки, гуси или еще какое‑то дикие птицы летят в Африку, где красиво и тепло. Птицы — не люди, знают, что делать — только на лето сюда, к реке Шаннон, возвращаются, а потом улетают в теплые края, может, в ту же самую Индию. Пэдди говорит, что вот убежит туда, напишет мне письмо, и я тоже приеду в Индию и найду себе девушку с красной точкой.

— А зачем эта точка, Пэдди? — спрашиваю я.

— Ну, у знатных людей она бывает.

— Но, Пэдди, думаешь, знатные люди будут с тобой разговаривать, если узнают, что ты из трущоб и у тебя даже ботинок нет?

— Конечно, это ж индийцы, а не англичане. У тех‑то даже ссак не допросишься.

— Ссак не допросишься! Здорово! Сам придумал?

— Не‑а, папа так говорит, когда кровью харкает и англичан клянет.

«Ссак не допросишься», — твержу я про себя. Надо запомнить. В Америке никто такой шутки точно не знает, я один такой буду.

К нам неуклюже подкатывает Вопрошайка Куигли на большом дамском велосипеде.

— Эй, Фрэнки Маккорт! — кричит он. — А тебя прибьют. Дотти послал твоим родичам записку, что ты вместе с Пэдди Клоэсси школу прогулял после обеда. Твоя мать тебя убьет. Отец тебя уже повсюду ищет, чтоб прибить.

Внутри у меня все холодеет. Вот бы оказаться прямо сейчас в Индии, где красиво и тепло и нет никакой школы. Там папа ни за что не найдет меня и не прибьет.

— Ничего мы не прогуливали, — кричит Пэдди в ответ. — Финтан Слэттери нас голодом заморил, и мы за булкой с молоком не поспели.

— А ты, Фрэнки, наплюй, — говорит он мне. — Подумаешь, ерунда какая. Моим вечно шлют записки, так мы ими подтираемся.

Мои мама и папа не станут подтираться запиской от учителя, и я ой как боюсь идти домой. Вопрошайка, хихикая, уезжает на своем велосипеде, а мне непонятно, чего он смеется — сам же из дому убегал и с четырьмя козами в овраге ночевал, а это похуже чем полдня школы прогулять.

Мне бы свернуть на Баррак‑роуд, пойти домой и признаться родителям, что я прогулял, потому что страшно хотел есть, но Пэдди предлагает:

— Пошли‑ка лучше на Док‑роуд, камни в реку кидать.

Мы кидаем камни в реку, качаемся на железных цепях, висящих вдоль берега. Уже темнеет, и я не знаю, куда мне податься. Наверное, придется спать прямо здесь, у реки, или на крыльце каком‑нибудь, а то и уйти снова к огородам и забраться в овраг к козам, как Брендан Куигли. Пэдди говорит, что можно пойти к нему домой — посплю на полу, а к утру обсохну.

Пэдди живет на набережной Артура, в одном из высоких домов, что выходят окнами на реку. Весь Лимерик знает, что дома эти ветхие и в любой момент рухнут. Мама часто говорит, чтоб мы не смели ходить на набережную, а если пойдем, то она нам головы оторвет. Люди там дикие, и ограбить могут запросто, и убить.

Снова начинается дождь. У Пэдди в коридоре и на лестнице играют малыши.

— Ступай осторожно, — предупреждает Пэдди. — Тут кое‑где ступенек нет, а на тех, что есть — какашки везде, потому что уборная только на заднем дворе, и мелкие не успевают до горшка добежать.

На лестнице между третьим и четвертым этажами сидит какая‑то женщина и курит, кутаясь в шаль.

— Это ты Пэдди? — окликает она.

— Да, мам.

— Встать не могу, Пэдди, так умаялась, — говорит она. — Ты чай пил уже?

— Не‑а.

— Не знаю, остался ли хлеб. Поднимись, посмотри.

Семья Пэдди живет в одной большой комнате с высоким потолком и маленьким камином. Два больших окна выходят на реку Шаннон. Отец Пэдди лежит на постели в углу, стонет и сплевывает в ведро. Братья и сестры Пэдди лежат на матрасах на полу: кто спит, кто болтает, кто глядит в потолок. Пэдди оттаскивает совсем голого малыша от отцовского ведра.

— Чуть не померла, пока поднялась, — охает мать, заходя в комнату.

Она находит хлеб и заваривает нам с Пэдди слабый чай. Я не знаю, как себя вести. Никто не спрашивает, что я тут делаю и не собираюсь ли идти домой.

— Ты кто? — спохватывается мистер Клоэсси.

— Это Фрэнки Маккорт, — отвечает за меня Пэдди.

— Маккорт? Что за фамилия такая?

— Мой отец с Севера, мистер Клоэсси.

— А мать как зовут?

— Анджела, мистер Клоэсси.

— Ох ты Господи, уж не Анджела ли Шихан?

— Она, сэр.

— Ох ты, Господи, — повторяет он, закашливается, снова извергает из себя что‑то в ведро и откидывается на подушки.

— Ох, Фрэнки, а я ведь хорошо знал твою маму. Танцевал с ней. Ох, Матерь Божья, как в нутре‑то все горит. Так вот, танцевал с ней в Уэмбли‑холле. Лучше всех она была. — Он снова наклоняется над ведром, хватая воздух ртом и руками, но, несмотря на мучения, продолжает говорить:

— Лучше всех танцевала, Фрэнки. Как перышко была в моих руках. Не худышка, но как перышко. Немало парней в Лимерике огорчила своим отъездом. А ты танцуешь, Фрэнки?

— Нет, мистер Клоэсси.

— Танцует‑танцует, папа. Он уроки брал у миссис О’Коннор и Сирила Бенсона.

— А покажи нам, Фрэнки. Вот тут прямо по кругу, на шкаф только не наткнись. Да ноги повыше поднимай.

— Я не умею, мистер Клоэсси.

— Что? Сын Анджелы Шихан и не умеет? Танцуй, Фрэнки. Мне что, встать и помочь тебе?

— У меня ботинок порвался, мистер Клоэсси.

— Фрэнки, Фрэнки, не заставляй меня разговаривать, а то я кашляю. Потанцуй ты, ради Бога, я хоть вспомню, как танцевал с твоей мамой в Уэмбли‑холле. Снимай чертов ботинок, Фрэнки, и танцуй.

Придется выдумывать танцы и музыку, как я делал, когда был маленьким. Я скачу по комнате в одном ботинке, потому что забыл его снять, и на бегу сочиняю слова: «Стены Лимерика пали, стены пали, стены пали, а река нас всех убьет».

Мистер Клоэсси корчится от смеха.

— Господи помилуй, в жизни такого не слыхивал. А ты знатный танцор, Фрэнки. Господи помилуй. Он закашливается, и изо рта у него тянется желто‑зеленая слизь. От ее вида меня тошнит, и я думаю, что может, лучше уйти домой, подальше от всей этой заразы и ведра, и пусть мои родители меня прибивают, если им так уж хочется.

Пэдди ложится на матрас у окна, я опускаюсь рядом. Все легли прямо так, в одежде, и я даже забываю снять мокрый вонючий ботинок. Пэдди тут же засыпает. Его мама курит у полупотухшего камина, а отец кашляет и сплевывает в ведро.

— Опять чертова кровь, — стонет он.

— Рано или поздно все равно в больницу придется поехать, — говорит мать.

— Не поеду. Оттуда мне уже не выйти.

— Детей чахоткой перезаражаешь. Полицию придется вызвать, чтоб тебя увезли от них подальше.

— К ним эта зараза уже не прилепится.

Огонь в камине затухает, миссис Клоэсси перелезает через мужа в постель и через минуту уже храпит, а он все кашляет и смеется, вспоминая дни молодости, когда он танцевал с легкой, как перышко, Анджелой Шихан в Уэмбли‑холле.

В комнате холодно, я дрожу в мокрой одежде. Пэдди тоже дрожит, но он спит и не знает, что ему холодно. Я все думаю, может мне пойти домой? Но кому охота бродить по городу ночью — еще нарвусь на полицейского, и тот будет спрашивать, что я один делаю на улице ночью. Я первый раз ночую не дома — но там все равно лучше, пусть даже вонючий туалет и конюшня рядом. Плохо бывает только, когда на кухне море и приходится перебираться в «Италию», но у Клоэсси хуже — в уборную надо спускаться по лестнице, где того и гляди на дерьме поскользнешься. Даже в овраге с козами и то лучше.

Я то проваливаюсь в сон, то просыпаюсь, а потом миссис Клоэсси будит всех окончательно. Спали все одетыми, так что одеваться не надо, и никто за одежду не дерется. Дети капризничают спросонья, и наперегонки бегут в уборную на заднем дворе. Мне тоже туда надо, я бегу вместе с Пэдди, но на горшке уже сидит его сестра Пегги, так что нам приходится писать у стенки.

— А я все маме расскажу, — говорит Пегги.

— Заткнись, а то в нужник запихаю, — огрызается Пэдди.

Пегги тут же вылетает из туалета, натягивает штанишки и убегает вверх по лестнице.

— Расскажу, расскажу, — плачет она.

Дома Пэдди получает от матери хорошего тумака за то, что сестренку обидел. Пэдди молчит, потому что мать накладывает кашу в кружки, стеклянные банки и в миску и велит нам есть поживее и отправляться в школу. Сама она тоже садится есть кашу. Волосы у нее грязные, серо‑черные пряди попадают в миску, и к ним прилипают комочки каши и молоко. Дети хлебают кашу и ноют, что не наелись. У всех сопливые носы, красные глаза и ободранные коленки. Мистер Клоэсси корчится, задыхаясь от кашля, и исторгает из себя кровавые комки. Я выбегаю на лестницу, меня тошнит в дыру в ступеньке, и каша с кусками яблок утекает вниз, прямо туда, где люди ходят по двору в туалет и обратно.

— Ерунда, — успокаивает меня Пэдди. — Тут все срут и блюют, все равно этот дом скоро рухнет к чертям.

Я не знаю, что мне делать дальше. В школе меня убьют, а зачем мне идти домой или в школу, чтоб меня там убивали — лучше убегу за город и буду кормиться молоком и яблоками, пока в Америку не уеду.

— Да ладно тебе, — продолжает Пэдди меня утешать. — Вся эта школа — дуриловка одна, а учителя — психи.

Тут раздается стук в дверь, и в дом заходит мама с моим братиком Майклом, а за ними — гард Деннехи, который отвечает за посещаемость в школе.

— Почему ты без ботинка? — ахает мама.

— Ха, миссис, — говорит гард Деннехи. — Полагаю, правильнее было бы спросить, почему ты в одном ботинке?

— Мамочка плакала, — подбегает ко мне Майкл. — Из‑за тебя, Фрэнки.

— Где ты был всю ночь? — спрашивает мама.

— Здесь.

— Я чуть с ума не сошла. А отец твой весь город обыскал, каждую улицу.

— Кто там? — спрашивает мистер Клоэсси.

— Это моя мама, мистер Клоэсси.

— Боже мой, неужто Анджела?

— Да, мистер Клоэсси.

— Анджела, ради всего святого, зайди в дом, — говорит отец Пэдди, с трудом приподнимаясь на постели. — Помнишь меня?

Мама озадаченно смотрит на него. В комнате темно, и не сразу разглядишь, кто лежит в постели.

— Это же я, Дэннис Клоэсси.

— О, нет!

— Да, Анджела.

— Не может быть!

— Да, Анджела. Я уже не тот. Кашель меня убивает. Но я помню вечера в Уэмбли‑холле. Боже мой, как ты танцевала! А после мы ели рыбу с картошкой. Эх ребятки, ребятки. Эх, Анджела.

У мамы текут слезы по лицу.

— Ты и сам прекрасно танцевал, Дэннис Клоэсси, — тихо говорит она.

— Да мы соревнования могли выигрывать, Анджела. Джинджер и Фред обзавидовались бы. И чего ты в Америку уехала?! Эх, Господи, Боже мой.

Он снова заходится в приступе кашля, а мы стоим и смотрим, как он наклоняется над ведром и исторгает гадость из легких.

— Ладно, миссус, мальчишка нашелся, так что я, пожалуй, пойду, — говорит гард Деннехи. — Он поворачивается ко мне: — Если еще раз школу прогуляешь, я тебя в тюрьму заберу. Понял, парень?

— Да, сэр.

— Мать свою не мучай больше. Гарды никому не позволят матерей мучить.

— Не буду, сэр. Не буду маму мучить.

Он уходит, а мама идет к постели и берет мистера Клоэсси за руку. Глаза у него ввалились, а черные волосы мокры от пота, который градом катится со лба. Его дети стоят у постели и смотрят то на отца, то на мою маму. Миссис Клоэсси сидит у камина, ворошит кочергой угли и не пускает малыша к огню.

— Сам виноват, — ворчит. — Гоню, гоню его в больницу.

— Кабы я в сухом климате жил, то поправился бы, — с трудом выговаривает мистер Клоэсси. — В Америке нету такой сырости, да, Анджела?

— Нету, Дэннис.

— Доктор советовал мне в Аризону уехать. Ну не смешно ли, а? У меня на пинту в пабе и то денег нет.

— Ты поправишься, Дэннис, — обещает мама. — Я свечку за тебя поставлю.

— Не трать деньги, Анджела. — Я свое отплясал.

— Мне надо идти, Дэннис. Фрэнки в школу пора.

— Анджела, можешь кое‑что для меня сделать?

— Все, что в моих силах, Дэннис.

— Спой хотя бы куплет из песни, что ты пела вечером накануне отъезда в Америку.

— Трудная это песня, Дэннис. Мне дыхания теперь не хватит.

— Ну, пожалуйста, Анджела. Я больше ни разу ее не слышал. В этом доме не поют. Жене медведь на ухо наступил, и ноги тоже отдавил.

— Хорошо, Дэннис. Попробую, — соглашается мама.

Где те танцы вечерами? Где волынки звук прекрасный?

С нами счастье разминулось, молодость прошла напрасно.

Помнишь, дружною гурьбою как в долине собирались?

И от звуков той волынки души счастьем наполнялись.

— Все, не могу, совсем задохнулась. — Мама прижимает руку к груди. Помогай, Фрэнк.

Я пою вместе с ней:

Стоит вспомнить и припомнить, и слеза бежит.

Где те танцы вечерами? Где волынки звук прекрасный?

С нами счастье разминулось, молодость прошла напрасно[[73]](#footnote-73).

Мистер Клоэсси начинает подпевать, но тут же закашливается; в глазах его стоят слезы.

— Я и не сомневался, что сможешь, Анджела, — качает он головой. — Сразу все так живо вспомнилось. Храни тебя Господь.

— И тебя, Дэннис. Спасибо миссис Клоэсси, что Фрэнки на ночь приютили.

— Не за что, миссис Маккорт. Он хорошо себя вел.

— Хорошо‑то, хорошо, — говорит мистер Клоэсси. — Но по части танцев до матери ему далеко.

— Да много ли натанцуешь в одном‑то ботинке, Дэннис?

— Да, Анджела, но отчего бы его не снять? Странное дело, не находишь?

— У него бывают странности, в отца пошел.

— Да уж, папаша с Севера, вот и странности. Может, там у них так и полагается в одном ботинке танцевать.

Мы с мамой, Майклом и Пэдди идем по Патрик‑стрит, потом по О’Коннелл‑стрит. Мама всю дорогу плачет.

— Не плачь, мамочка, Фрэнки больше не убежит, — успокаивает ее Майкл.

Мама берет его на руки и крепко прижимает к себе.

— Нет, Майкл, я не из‑за Фрэнки плачу. Вспомнилось просто, как мы с Дэннисом Клоэсси танцевали в Уэмбли‑холле и картошку с рыбой потом ели.

Мама заходит с нами в школу. Мистер О’Нил строгим голосом велит нам с Пэдди идти в класс и сидеть тихо, сам выходит в коридор и долго говорит с мамой, а когда возвращается, то, проходя между рядами, гладит Пэдди по голове.

Мне жалко семейство Клоэсси, уж очень тяжко им приходится, но это только благодаря им мне от мамы не влетело.

## VII

По четвергам, когда папа получает пособие на бирже, к нему кто‑нибудь обязательно подойдет и скажет:

— Пропустим по пинте, а, Мэйлахи?

На что папа отвечает:

— Ну, по одной можно. Но только по одной.

И вот — вечер еще не закончился, а денег уже нет, и папа приходит домой, распевая песни, вытаскивает нас из постели, веля построиться и поклясться, что мы умрем за Ирландию. Он даже Майкла заставляет клясться. Тому всего три, а, поди ж ты — тоже поет и клянется умереть за Ирландию, как только представится случай. Папа так и говорит «как только представится случай». Мне девять лет, Мэйлахи восемь, и мы знаем все папины песни. Мы поем и «Кевина Барри», и «Родди Маккорли», и «Да будет нация одна», и «О’Доннелл Абу»[[74]](#footnote-74) и «Вексфордских парней». Поем и клянемся умереть: а вдруг у папы один или два пенса завалялись после пьянки, и он нам их отдаст? Тогда утром можно будет сбегать к Кэтлин О’Коннелл за ирисками. Однако иногда он объявляет лучшим певцом Майкла, а мы с Мэйлахи удивляемся: нам восемь и девять лет, и песни мы все знаем, и за Ирландию умереть готовы, а монетка все равно достается Майклу, чтоб он пошел в лавку и объелся конфетами. Да никому бы в голову не пришло просить трехлетнего малыша умереть за Ирландию, даже самому Патрику Пирсу[[75]](#footnote-75), которого англичане расстреляли в Дублине в тысяча девятьсот шестнадцатом, и который призывал всех умереть вместе с ним. И вообще, отец Майки Моллоя сказал, что надо быть законченным идиотом, чтоб хотеть умереть за Ирландию. Вон уже сколько народу за нее перемерло с незапамятных времен, и посмотрите, в каком состоянии страна.

Плохо уже то, что папу каждый раз выгоняют с работы на третью неделю, так теперь он еще и месячное пособие пропивает. Мама в отчаянии. По утрам она сердито смотрит на папу и не разговаривает с ним. Рано утром папа пьет чай, потом надолго уходит за город, а когда возвращается вечером, мама по‑прежнему с ним не разговаривает и чай ему не делает. Если огонь не разожжен, потому что нет ни угля, ни торфа, и воду для чая не вскипятишь, папа охает, пьет воду из стеклянной банки и причмокивает, будто это не вода, а портер.

— Чистая вода — вот и все, что человеку надо, — говорит он, а мама в ответ фыркает.

В те дни, когда она с папой не разговаривает, дома мрачно и холодно, и мы на всякий случай тоже с папой не разговариваем, а то мама и на нас будет сердито смотреть. Мы же понимаем, что папа плохо поступает, а когда с человеком не разговариваешь, это ему вроде наказания. Даже малыш Майкл понимает, что когда папа плохо себя ведет, с ним нельзя разговаривать с пятницы по понедельник, а если он захочет взять тебя на ручки, надо убегать к маме.

###### \* \* \*

Мне девять лет, и у меня есть приятель Мики Спелласи, у которого родственники один за другим «сгорают» от скоротечной чахотки. Я завидую Мики, потому что каждый раз, как кто‑то у него в семье умирает, ему разрешают неделю не появляться в школе, а его мама пришивает ему на рукав черный траурный ромбик, и все в трущобах знают, что у него горе, и гладят его по головке и конфеты дают.

Однако нынче Мики обеспокоен. Его сестра, Брэнда, угасает от чахотки, но сейчас только август, и если она умрет до сентября, то недельного освобождения от занятий он не получит, потому что они еще не начнутся. Мики подбивает меня и Билли Кэмпбелла сходить с ним в церковь Святого Иосифа и помолиться, чтоб Бренда протянула до сентября.

— А нам‑то что с этого, Мики?

— Ну, если Бренда продержится, и мне дадут неделю от школы, можете прийти на поминки. Там будут окорок, сыр, пирог, шерри, лимонад и все остальное, а еще песни и разговоры до утра.

Кто же от такого откажется? На поминках скучно не бывает. Мы спешим в церковь, где стоит статуя Святого Иосифа, а еще есть Святейшее Сердце Иисуса, Дева Мария и Святая Тереза из Лизьё по прозванию Маленький Цветок Иисуса. Я молюсь ей — она сама от чахотки умерла, она поймет.

Видимо, какая‑то из наших молитв оказывается действенной, потому что Бренда умирает лишь на второй день учебы в школе. Мы говорим Мики, что соболезнуем, но он радуется тому, что можно снова неделю не ходить в школу, что у него снова черный ромб на рукаве, а значит, снова будут деньги и конфеты.

У меня слюнки текут при мысли о пиршестве на поминках. Билли стучится в дверь к Мики. К нам выходит его тетушка.

— Вам чего?

— Мы пришли помолиться за Бренду, Мики позвал нас на поминки.

— Мики! — кричит она.

— Что?

— Выйди. Звал ты этих голодранцев на поминки?

— Нет.

— Но, Мики, ты же обещал.

Дверь захлопывается у нас перед носом. Мы стоим в нерешительности, а потом Билли Кэмпбелл говорит:

— Вот пойдем сейчас к Святому Иосифу и помолимся, чтоб родственники Мики Спелласи теперь мерли посреди лета и чтоб его больше никогда в жизни от уроков не освобождали.

Наши молитвы опять оказываются действенными, потому что следующим летом Мики сам умирает от скоротечной чахотки, так что его теперь даже на день никогда от школы не освободят — будет знать, как обманывать.

Протестанты попляшите,

В ад скорее попадите.

По утрам в воскресенье протестанты со всего Лимерика идут в церковь. Я смотрю на них и мне становится очень их жалко, особенно девочек — они такие хорошенькие, с красивыми белыми зубами. А жалко мне красивых девочек‑протестанток, потому что они обречены на вечные муки в аду. Нам так священник говорит. Вне Католической Церкви спасение невозможно. Все, кто не принадлежит к ней — обречены. И мне хочется хоть кого‑нибудь спасти. «Девочка, пойдем со мной в истинную церковь. Там тебя спасут, и ты больше не будешь обреченной».

После мессы в субботу мы с моим другом Билли Кэмпбеллом смотрим, как эти девочки играют в крокет на ярко‑зеленой лужайке у протестантской церкви на Баррингтон‑стрит. Крокет — протестантская игра. Девочки ударяют по шарику молоточком — стук да стук — и смеются. И как это они еще смеются — не знают что ли, что обречены на адские муки? Мне их жаль.

— Какой толк играть в крокет, если все равно обречен? — говорю я Билли.

— Фрэнки, а отчего бы и не играть, раз уж все равно обречен, — отвечает он.

###### \* \* \*

— У братца твоего, Пэта, и нога болит, и сам весь больной, а он с восьми лет газеты продает по всему городу. А Фрэнк твой вон какой дурень вымахал, пора бы и работать уже, — говорит бабушка маме.

— Да ему всего девять, он еще школу не окончил.

— Школу! Да у него от школы этой только рожа кислее делается, и странностей все больше, все равно что у папаши. Мог бы бедняге Пэту помогать хоть по пятницам, когда у него кипа газет тяжелющая. Знай себе, бегай по дорожкам в садах у богачей — глядишь и Пэту полегче, и несколько пенни заработал бы.

— У него по пятницам Братство.

— Да ну их, эти Братства. В катехизисе про них ничего не сказано.

Мы с дядей Пэтом встречаемся у редакции «Лимерик лидер» в пять вечера пятницы. Служащий, который выдает газеты, говорит, что такими худющими руками, как у меня, и марок‑то двух не удержать, но дядя Пэт сует мне под каждую руку по восемь газет и грозится, что убьет, если я их уроню, мол, на улице‑то дождь льет как из ведра. На О’Коннелл‑стрит он велит мне держаться ближе к стене, чтоб газеты не замочить. Каждый раз, когда мы доходим до нужного дома, я взбегаю на крыльцо с черного хода, кричу «газета», получаю плату за неделю, сбегаю вниз, отдаю Пэту деньги и мы идем дальше. Пэту дают чаевые, и он берет их себе.

Мы обходим дома на О’Коннелл‑авеню, в Баллинакарре, на Южной Окружной и возвращаемся в контору по Генри‑стрит. У дяди Пэта шляпа и еще штука такая, похожая на ковбойское пончо, чтоб газеты не замочить.

— Ноги болят до смерти, — жалуется он, и мы заходим в паб их полечить.

Там сидит Па Китинг, весь черный от угля, и потягивает пиво.

— Парнишка так и будет стоять, вылупившись на нас? Что, даже лимонаду ему не купишь? — обращается он к дяде Пэту.

— Чего‑чего? — переспрашивает тот.

— Бог ты мой, он таскает твои чертовы газеты по всему Лимерику, а ты даже не можешь… — возмущается Па Китинг. — А, ладно. Тимми, дай‑ка ребенку лимонада. Фрэнки, у тебя что, дождевика нету, что ли?

— Нет, дядя Па.

— Нельзя тебе в такую погоду на улицу. Насквозь ведь промок. Кто это тебя грязь месить послал?

— Бабушка велела дяде Пэту помогать, потому что у него нога болит.

— А, ну конечно, стерва старая, только не говори дома, что я так сказал.

Дядя Пэт с трудом слезает со стула.

— Пойдем, темнеет уже.

Он ковыляет по улицам, выкрикивая слова, которые больше похожи на чье‑то имя, чем на название газеты «Лимерик лидер», но все и так знают, что это Эб Шихан, которого в младенчестве на голову уронили.

— Вот, Эб, давай газету. Как нога твоя? Сдачу себе оставь, купи сигаретку, а то таскаешься в такую мерзкую погоду с этой поганой газетенкой.

— Спсибо, — отвечает Эб, мой дядя. — Спсибо, спсибо, спсибо.

Хоть у него и больная нога, но я за ним еле поспеваю.

— Сколько у тебя еще «Лидеров» подмышкой? — спрашивает он меня.

— Один, дядя Пэт.

— Снеси его мистеру Тимони. Он мне за две недели должен. Еще чаевые будут. Он много чаевых дает, да не клади их себе в карман, как твой кузен Джерри. Вот уж тот негодник мелкий.

Я ударяю в дверной молоток, в ответ слышится лай собаки, такой громкий, что дверь сотрясается.

— Макушла, а ну тихо! — командует мужской голос. — А то как наподдам сейчас.

Шум стихает, из двери выходит седой старик — очки с толстыми стеклами, белый свитер, в руке палка.

— Ты кто? — говорит он. — Чего принес?

— Газету, мистер Тимони.

— А где Эб Шихан?

— Я его племянник, сэр.

— Джерри Шихан, что ли?

— Нет, сэр. Я Фрэнк Маккорт.

— Еще один племянник? На фабрике он вас клепает, что ли? Вот деньги за две недели, газету хошь отдай, хошь себе оставь. Все равно читать больше не могу, а миссис Минихэн, которая мне вслух читает, не явилась сегодня. Знаю я, что с ней — шерри перебрала и на ногах не стоит. Звать‑то тебя как?

— Фрэнк, сэр.

— И читать, поди, обучен?

— Да, сэр.

— Хочешь шесть пенсов заработать?

— Да, сэр.

— Приходи завтра. Тебя ведь Фрэнсис зовут, так?

— Фрэнк, сэр.

— Нет имени «Фрэнк» среди святых покровителей. Его оставь гангстерам и политикам, а тебя Фрэнсис зовут. Приходи завтра в одиннадцать, почитаешь мне.

— Приду, сэр.

— Точно читать умеешь?

— Точно, сэр.

— Можешь называть меня мистер Тимони.

— Хорошо, мистер Тимони.

Дядя Пэт стоит у калитки, что‑то бормоча и потирая ногу.

— Где мои деньги? — ворчит он. — А ну, нечего с клиентами болтать. Я тут стою с больной ногой, жду его под дождем.

Ему снова приходится зайти в паб на Панчиз‑кросс, подлечить больную ногу. После пинты он говорит, что больше совсем идти не может, и мы садимся в автобус.

— Платите за проезд! — кричит кондуктор. — Уйди прочь, — грозит ему дядя Пэт. — Не видишь, с больной ногой я?

— Ладно, Эб, ладно.

Автобус останавливается у памятника О’Коннеллу, дядя ковыляет в кафе, где так вкусно пахнет рыбой с картошкой, что у меня живот сводит от голода. Дядя Пэт набирает себе картошки с рыбой на шиллинг, и у меня слюнки текут, но когда мы доходим до бабушкиного дома, он дает мне всего три пенса и говорит, чтоб я снова приходил ему помогать в следующую пятницу, а сейчас чтоб шел домой к маме.

###### \* \* \*

Собака Макушла лежит на крыльце дома, где живет мистер Тимони. Как только я открываю садовую калитку, она несется ко мне, сбивает с ног и вот‑вот откусит мне голову, но тут появляется мистер Тимони. Он гонит ее палкой и кричит:

— А ну пошла, чертова псина! Людоедка‑переросток. Не завтракала, что ли? Ты как, Фрэнсис, не ушибся? Заходи, заходи. Собака эта — индуска настоящая. Ее мать по улицам Бангалора бегала. Если когда собаку завести надумаешь, Фрэнсис, заводи лучше пса‑буддиста. Спокойные собаки. Никогда не заводи магометанина. Сожрет, пока спишь. И ни в коем случае — пса‑католика. Тот в любое время сожрет, даже в пятницу. А теперь садись и почитай мне.

— «Лимерик лидер», мистер Тимони?

— Не‑е, этой чертовой газетой я и подтираться бы не стал. Вон там, на столе книга «Приключения Гулливера», видишь? Найди в конце памфлет «Скромное предложение». Его и читай. Он такими словами начинается: «Печальное зрелище предстает перед теми…» Нашел? Я эту чертову историю наизусть знаю, да все равно читай давай.

Я прочитываю две‑три страницы, и он меня останавливает:

— Молодец, хорошо читаешь. А что, Фрэнсис, согласен ли ты, что «здоровый, годовалый младенец, как следует откормленный — отменное кушанье, хоть в тушеном, хоть в жареном, печеном или вареном виде?» Макушла так с удовольствием бы пообедала упитанным младенцем‑ирландцем, да, мерзкая псина? Он дает мне шесть пенсов и велит приходить в следующую субботу.

Мама рада, что я заработал шесть пенсов у мистера Тимони.

— А что ты ему читал, «Лимерик лидер»?

— Нет, «Скромное предложение» из книжки про Гулливера.

— Ну, ладно, — говорит она. — Только это же детская книжка. Хотя да, он малость странный, тронулся умом, когда с англичанами в Индии служил на солнцепеке. Говорят, у него и жена была из Индии, так ее случайно застрелили во время беспорядков. Тут поневоле детские книжки читать начнешь. Это мне миссис Минихэн рассказала, соседка его. Она к нему убираться ходила, да не могла больше слушать, как он над католической церковью смеется и говорит, мол, что одному грех, другому — детская забава. Когда он с шерри перебирал по субботам, так миссис Минихэн еще терпела, но потом ему вздумалось обратить ее в буддизм, мол сам‑то он буддист, а ирландцы бы зажили гораздо лучше, кабы пустили свои Десять заповедей вместе со Смертными грехами по реке Шаннон, а сами уселись бы под деревом и созерцали, как те уплывают далеко‑далеко к морю.

В следующую пятницу мы с дядей Пэтом снова разносим газеты и встречаем Деклана Коллопи из Архибратства.

— Эй, Фрэнки Маккорт, чего это ты с Эбом Шиханом по улицам разгуливаешь?

— Он мой дядя.

— Тебя в Архибратстве ждут.

— Я работаю, Деклан.

— Какой тебе работать? Тебе десяти еще нет, и ты нам посещаемость в отделении портишь. Если в следующую пятницу не явишься, шею сверну, понял?

— Иди, иди, отсюда, а то схлопочешь у меня, — грозит ему дядя Пэт.

— Заткнитесь, мистер Тупица на голову уроненный. — Деклан хватает дядю Пэта за плечо и отшвыривает к стене. Я кидаю газеты на землю и бросаюсь на Деклана, но он отходит в сторону, и я врезаюсь лбом в стену, и от этого во мне вскипает такая ярость, что я уже ничего вокруг не вижу, а только молочу Деклана кулаками и ногами, я б и в морду ему зубами вцепился, если б мог, но у него руки длинные, как у гориллы, его не ухватишь.

— Ты, псих чертов, я с тобой в Братстве разделаюсь, — вопит он и убегает.

— Нечего было драться, и газеты вон все раскидал, и как я теперь мокрые продавать буду? — ворчит дядя Пэт.

Мне и его тоже побить хочется — я тут с Декланом Коллопи из‑за него сцепился, а ему, видите ли, газет жалко.

После работы он дает мне три ломтика жареной картошки и шесть пенсов, а не три, причитая, что это слишком много, и нечего было моей маме бабушке жалиться, что платят мало.

Мама радуется, что я получаю шесть пенсов от дяди Пэта по пятницам и шесть пенсов от мистера Тимони по субботам. Лишний шиллинг в неделю — это уже много, и мама дает мне двухпенсовик на фильм «Тупик»[[76]](#footnote-76), который покажут в «Лирик‑синема» в субботу.

— Погоди еще, вот до «Гулливера» доберемся, Фрэнсис, — говорит мне мистер Тимони в субботу утром. — Джонатан Свифт — величайший из ирландских писателей, нет, вообще из всех писателей. Не человек, а человечище, Фрэнсис.

Когда я читаю ему «Скромное предложение» он смеется, не переставая, только совсем непонятно над чем, там же говорится про то, как готовить ирландских младенцев.

— Вот постарше станешь — тоже посмеешься, Фрэнсис, — улыбается мистер Тимони.

Вообще‑то, взрослым нельзя перечить, но мистер Тимони не такой как все, он не будет ругаться, если я его спрошу.

— Мистер Тимони, почему взрослые всегда так говорят? Подрастешь — узнаешь, старше станешь — посмеешься, вырастешь — поймешь. Взрослым так все, а детям — ничего.

Мистер Тимони так хохочет, что я боюсь, как бы он не лопнул от смеха.

— Боже мой, Фрэнсис, ну ты и чудо. Да что за муха тебя укусила? Рассказывай, что стряслось.

— Ничего, мистер Тимони.

— Ох и кислая у тебя, наверное, физиономия сейчас, Фрэнсис, жаль я не вижу. Пойди вон к зеркалу, глянь на себя. Как обиженная девица, ей‑богу. Да ладно, не ходи, просто скажи, что случилось.

— Деклан Коллопи меня задирал вчера, ну, я и подрался с ним.

Он расспрашивает меня про Архибратство, Деклана, дядю Пэта Шихана, которого уронили на голову, а потом говорит, что знает моего дядю Па Китинга, который отравился газом на войне и работает на газовом заводе.

— Па Китинг — чудо, а не человек. Вот, что я сделаю, Фрэнсис. Я поговорю с Па Китингом, и мы с ним сходим, да с этими святошами из Братства потолкуем. Я хоть и буддист и насилие не одобряю, но кулаками махать не разучился. Они больше моего чтеца пальцем не тронут, ей‑богу, не тронут.

Мистер Тимони — старик, но разговаривает со мной как с другом, ему можно все как есть сказать, не то, что папе. Тот бы отмахнулся и ушел надолго за город.

Дядя Пэт Шихан сообщает бабушке, что ему моя помощь больше не нужна — он наймет себе помощника подешевле, и вообще, ему с моих субботних шести пенсов причитается, потому что без него меня бы не наняли читать.

Соседка мистера Тимони говорит мне, что я зря стучу в дверь. Макушла за один день перекусала почтальона, молочника и монахиню, и мистер Тимони хохотал без остановки, а когда собаку увезли усыплять, то заплакал. Укусить почтальона или молочника — это еще ничего, но про монахиню расскажут самому епископу, и тот примет меры, тем более, если хозяин собаки — буддист и представляет угрозу для соседей‑добрых католиков. Когда все это сообщили мистеру Тимони, он принялся попеременно хохотать и рыдать во весь голос, приехал доктор и сказал, что рассудок пациента непоправимо поврежден, и мистера Тимони отвезли в приют для больных и немощных стариков при городской больнице.

Моим субботним заработкам пришел конец, но я все равно буду читать мистеру Тимони, хоть за деньги, хоть бесплатно. Дождавшись, когда соседка уйдет к себе домой, залезаю в дом к мистеру Тимоти через окно, забираю «Путешествия Гулливера» и иду в приют далеко за городом, чтобы мистер Тимони субботнее чтение не пропустил.

— Чего? — изумляется сторож у ворот. — Пришел старику почитать? Ты мне голову‑то не морочь. А ну, марш отсюда, пока я полицию не вызвал!

— А можно я книгу оставлю, пусть мистеру Тимони кто‑нибудь другой почитает?

— Да оставляй что хочешь и отстань от меня ради Христа. Я ему передам. — И он смеется.

— Что ты какой смурной ходишь? — спрашивает мама. — Что случилось?

Я рассказываю ей, что дядя Пэт больше не хочет, чтоб я ему помогал, и что мистера Тимони увезли в приют за то, что он смеялся, когда Макушла покусала почтальона, молочника и монахиню. Мама тоже смеется. С ума все посходили что ли?

— Да уж, какая жалость, что ты обе работы потерял, — говорит она, просмеявшись. — Зато теперь можешь снова в Братство ходить, чтоб ни отряд, ни отец Гори за тобой не явились.

Деклан велит мне сесть напротив него и предупреждает, что если я хоть что‑то против него задумаю, он мне шею свернет, и что он тут староста, и никакой засранец вроде меня не встанет на его пути к линолеуму.

###### \* \* \*

Мама жалуется, что ей трудно подниматься по лестнице, и теперь она будет спать на кухне.

— Вернусь в Сорренто[[77]](#footnote-77), когда стены отсыреют и вода под дверь потечет, — смеется она.

Занятия в школе закончились, и мама может лежать на кровати на кухне сколько пожелает, потому что ей не надо теперь вставать по утрам и будить нас в школу. Папа разжигает огонь, заваривает чай, нарезает хлеб, заставляет нас умыться и велит идти на улицу поиграть. Он даже разрешает нам поваляться в постели подольше, но кто ж захочет валяться, когда школы нет — мы готовы бежать на улицу сразу, как просыпаемся.

В один из июльских дней он говорит, что нам пока нельзя на кухню и чтоб мы поиграли наверху.

— Почему, папа?

— Просто нельзя. Поиграй здесь с Мэйлахи и Майклом, спуститесь, когда я разрешу.

Он встает у двери, чтоб нам не взбрело в голову нарушить запрет. Мы поднимаем ноги под одеялом и представляем, что у нас палатка, а мы сами — славная шайка Робин Гуда. Потом принимаемся ловить и давить блох.

Неожиданно внизу раздается плач новорожденного.

— Папа, у мамы что, новый малыш? — спрашивает Мэйлахи.

— Ну да, сынок.

Я старше, вот и объясняю Мэйлахи, что кровать поставили на кухне, потому что ангелу так ближе к седьмой ступеньке, но Мэйлахи не понимает — ему еще девяти нет, а мне уже десять будет в следующем месяце.

Мама лежит в постели с ребеночком. У него большое пухлое личико, и он весь красный. На кухне суетится тетенька в сестринской униформе — медсестры всегда приходят помыть новорожденных, те же грязные с дороги. Нам хочется пощекотать младенца, но медсестра говорит:

— Не смейте даже пальцем трогать. Только смотреть можно.

Медсестры всегда говорят: «Не смей даже пальцем трогать».

Мы сидим за столом, пьем чай с хлебом и смотрим на новорожденного братика, но он даже глазки не открывает, поэтому мы идем гулять.

Через несколько дней мама встает с постели и садится у огня с малышом на коленях. Теперь глазки у него открыты, и когда мы его щекочим, он гулит, и пузико у него так смешно трясется. Папа его щекочет и поет шотландскую песенку:

Кто у нас хохочет?

Кто тут всех щекочет?

Джок, Джок, малышок —

Он тут всех щекочет!

У папы есть работа, так что Брайди Хэннон может навещать маму и малыша, когда ей вздумается, и мама в кои‑то веки не отправляет нас гулять на улицу, чтоб самой секретничать с Брайди. Они сидят у огня, курят и выбирают имя малышу. Мама говорит, что ей нравятся имена «Кевин» и «Шон».

— Ну нет, их и так слишком много в Лимерике, — возражает Брайди. — Боже, Анджела, выйди за порог да позови Кевина или Шона чай пить, полгорода сбежится!

Брайди говорит, что если бы у нее был сын — а он у нее с Божьей помощью когда‑нибудь будет, — она бы назвала его Рональдом — уж очень ей нравится Рональд Колмэн[[78]](#footnote-78), которого в «Колизее» показывают. Или вот Эррол еще красивое имя, в честь Эррола Флинна[[79]](#footnote-79).

— Да ну тебя, Брайди. Как мне его домой тогда звать? Эррол, Эррол, иди чай пить? Засмеют же беднягу.

— Рональд, — повторяет Брайди. — Ах, Рональд. Всем именам имя.

— Нет, — говорит мама. — Имя должно быть ирландское. Столько лет с англичанами боролись, а детей Рональдами называть будем?

— Боже мой, Анджела, ты прямо как твой муж говоришь.

— Так ведь он прав, Брайди.

— Анджела, чего это с ним? — ахает Брайди, глядя на ребенка.

Мама вскакивает со стула, прижимая к себе малыша.

— Боже мой, Брайди, он задыхается!

— Сейчас маму позову. — Брайди убегает и через минуту возвращается с миссис Хэннон.

— Касторка есть? — спрашивает миссис Хэннон. — Да любое масло, хоть рыбий жир. — Она вливает немного масла в рот ребенку, переворачивает его, давит ему на спинку, снова переворачивает, сует ложку ему в горло и вытаскивает белый комочек.

— Вот, — говорит она. — Молоко. Скапливается у младенцев в горлышке, и тогда масло надо давать.

— Боже мой, — плачет мама. — Я чуть его не потеряла. Я бы не пережила этого.

Она с плачем обнимает ребенка и благодарит миссис Хэннон.

— Да ладно, миссус. Вы лучше прилягте с ребенком‑то, а то перепугались оба.

Брайди и миссис Хэннон помогают маме улечься в постель, и тут я замечаю на мамином стуле пятна крови. У мамы кровь? Она умирает? Может, сказать им, что на стуле кровь? Нет, нельзя такое говорить, у взрослых же всегда секреты. Они скажут: «Ну, чего уставился? Тебя это не касается, иди погуляй».

Приходится смолчать — хотя нет, можно же с ангелом поговорить! Когда миссис Хэннон и Брайди уходят, я сажусь на седьмую ступеньку и говорю ангелу, что мама истекает кровью. Я все жду, что ангел скажет: «Отринь страх», но ступенька холодная, и ни света нет, ни голоса. Ангел покинул меня навсегда — наверное, это потому что мне скоро исполнится десять лет.

Однако мама не умирает. На следующей день она встает с постели, наряжает малыша для крещения и говорит Брайди, что никогда бы себе не простила, если бы малыш умер некрещеным и попал в лимбо, куда попадают все некрещеные младенцы, может, там тепло и хорошо, но все равно — тьма вечная, и никакой надежды на спасение, даже в Судный день.

Бабушка приходит помочь нам собраться на крестины.

— Верно, верно, — говорит она. — Некрещеным младенцам в рай путь заказан.

Брайди говорит, что Бог жесток, раз допускает такое.

— Приходится ему таким быть, — возражает бабушка, — а то в рай бы куча младенцев устремилась, протестанты и прочий сброд, а с какой стати их туда пускать, после того, как они нас восемьсот лет мытарили.

— Ну, не младенцы же, — отвечает Брайди. — Малы они для такого.

— Так вырастут ведь, — говорит бабушка. — И примутся за свое.

Малыша одевают в кружевное платьице, в котором всех нас крестили. Мама объявляет, что теперь мы все пойдем в церковь Святого Иосифа, и мы радуемся, потому что потом будут лимонад и булочки.

— Мама, а как малыша зовут? — спрашивает Мэйлахи.

— Альфонс Джозеф.

— Дурацкое имя какое. И совсем не ирландское, — вырывается у меня.

Бабушка зыркает на меня красными старческими глазами.

— Давно по губам не получал?

Мама дает мне пощечину, и я отлетаю в другой конец кухни. Сердце колотится, хочется зареветь, но нельзя — папы дома нет и я старший мужчина в семье.

— За язык твой длинный, — говорит мама. — Марш наверх и сиди там.

На седьмой ступеньке я останавливаюсь, но она по‑ прежнему холодная — ни света, ни голоса.

Все ушли в церковь, в доме тихо. Я сижу наверху, давлю блох на руках и ногах, думаю про папу, которого нет дома, и про братика Альфонса с его дурацким иностранным именем.

Внизу слышатся голоса: говорят про чай, шерри, лимонад, булочки, и что малыш Альфи — самый милый на свете, имя иностранное, а ведь умница какой — не пискнул во время крещения, ах, какой воспитанный мальчик, храни его Господь, он уж точно проживет долгую жизнь, такой милашка и похож сразу на маму, на папу, на бабушку и покойных братиков.

— Фрэнк, спускайся, лимонада выпей, булочку съешь, — зовет мама.

— Не хочу. Себе оставьте.

— Я сказала сейчас же спускайся, а то я поднимусь и задницу тебе надеру, будешь потом локти кусать.

— Как это?

— Никак, спускайся сейчас же.

Голос у нее сердитый, а «локти кусать» звучит зловеще. Лучше спуститься.

— Что за кислая рожа, — говорит бабушка. — Нет, чтобы за братика порадоваться. Хотя с мальчишками в этом возрасте одно мучение, уж я знаю, двоих вырастила.

Лимонад и булочка вкусные, а малыш Альфи весело щебечет и радуется, что его покрестили — он еще не знает, что у него дурацкое имя.

###### \* \* \*

Дедушка с Севера присылает денежный перевод на пять фунтов в честь Альфиного крещения. Мама хочет сама забрать деньги с почты, да еще слаба далеко ходить. Папа говорит, что сходит, и берет нас с Мэйлахи с собой. Получив деньги, он велит нам:

— Идите домой, ребятки, а я сейчас приду.

— Папа не ходи в паб, — просит Мэйлахи. — Мама сказала, что деньги нужно домой принести. Нельзя тебе пить пинту.

— Ну‑ну, сынок. Иди домой к мамочке.

— Папа, отдай нам деньги. Они для малыша.

— Фрэнсис, будь умницей. Делай, как папа велит. — Он отворачивается от нас и идет прямиком в «Саутс‑паб».

Мама сидит у огня с Альфи на руках.

— В паб пошел, да? — качает она головой.

— Да, мама.

— Идите и проучите его. Встаньте посреди паба и скажите всем, что ваш отец пропивает деньги, подаренные младенцу. Всем расскажите, что дома ни крошки хлеба, ни кусочка угля, ни капли молока малышу.

Мы идем по улице, Мэйлахи звонким голосом репетирует, что он скажет в пабе.

— Папа, папа, эти пять фунтов для малыша. Их нельзя пропивать. Малыш дома наверху плачет, молока хочет, а ты пьешь пинту.

Папы нет в «Саутс‑пабе». Мэйлахи все равно хочет произнести свою речь, но я говорю ему, что некогда, надо в других пабах поискать, пока папа все пять фунтов не пропил. В других пабах его тоже нет. Он знает, что мама или сама придет за ним или нас пришлет, а пабов в Лимерике столько, что за месяц не обойдешь. Приходится вернуться домой и сказать маме, что мы его не нашли.

— Проку от вас никакого. Господи, были б у меня силы, я бы весь Лимерик обшарила, нашла бы вашего папашу и уж точно глаза бы ему выцарапала. Идите, обыщите пивнушки около вокзала и кафе «Нотонс» проверьте.

Я иду один, потому что у Мэйлахи понос и он не может отлучаться далеко от ведра. Я прохожу по всем пабам на Парнелл‑стрит и в окр*у* ге, заглядываю в каждый закуток, где выпивают женщины, и во все мужские уборные. Я проголодался, но боюсь идти домой без новостей. В кафе «Нотонс» папы нет, но за столиком в углу спит пьяница, а его газетный кулек с рыбой и картошкой валяется на полу. Если не возьму я, то кошки сожрут, так что я запихиваю кулек под свитер, опрометью выскакиваю за дверь и мчусь до вокзала, а там сажусь на ступеньки, ем рыбу с картошкой, гляжу на пьяных солдат, которые прогуливаются под ручку с хихикающими девушками, и мысленно благодарю пьяницу из паба за то что он полил картошку с рыбой уксусом и посолил. Потом я вдруг начинаю думать, что, если сегодня умру, то, как есть — с пузом, набитым картошкой, и рыбой отправлюсь прямиком в ад, ибо кража — это грех, но сегодня суббота, и если священники еще в исповедальнях, то я успею и доесть, и облегчить душу исповедью.

Тут как раз недалеко церковь доминиканцев на Глентуорт‑стрит.

— Благословите меня, святой отец, ибо я согрешил — прошло две недели с моей последней исповеди. — Я перечисляю ему свои обычные грехи, а потом говорю, что украл рыбу с картошкой у пьяницы.

— Зачем ты это сделал, дитя мое?

— Я был голоден, святой отец.

— А почему ты был голоден?

— У меня в животе пусто было, святой отец.

Он ничего не говорит, и хоть в исповедальне темно, я знаю, что он качает головой.

— Дитя мое, но отчего же ты не пошел домой и не попросил у матери чего‑нибудь поесть?

— Она послала меня искать папу в пивных, святой отец, а я не мог его найти, а у нас в доме ни крошки нет, потому что он сидит где‑то и пропивает пять фунтов, которые дедушка прислал с Севера в подарок новорожденному братику, а мама сидит у огня и ужасно сердится, что я папу найти не могу.

Священник молчит, и я начинаю думать, что он уснул. Потом он говорит:

— Дитя мое, сижу я здесь, грехи бедняков выслушиваю, епитимью на них накладываю, дарую прощение, а должен бы стоять на коленях, омывать им ноги. Понимаешь, дитя мое?

Я отвечаю, что да, но вообще‑то не очень.

— Ступай домой, дитя. Помолись за меня.

— А наказания не будет, святой отец?

— Нет, дитя мое.

— Но я же украл рыбу с картошкой, я обречен вечно страдать.

— Грех твой отпущен, дитя мое. Ступай. Помолись за меня. — Он благословляет меня на латыни, и бормочет что‑то на английском себе под нос, и я понять не могу, что с ним такое сделалось.

Вот бы найти папу, я бы тогда сказал маме:

— Нашел! И у него еще три фунта осталось.

Голод меня теперь не мучает, и я могу пройти по одной стороне О’Коннелл‑стрит, а вернуться по другой и заглянуть во все пабы. А вот и папа сидит в «Глисонз», мимо никак не пройдешь, потому что он горланит свою песню:

И пусть меня окинет удивленным взглядом

Прохожий, что окажется случайно рядом.

Не знает он, ликует как душа,

К родным долинам Антрима издалека спеша[[80]](#footnote-80).

Сердце готово выпрыгнуть из груди, и я не знаю, что делать, потому что ужасно зол, как и мама, и мне хочется вбежать в паб, пнуть папу по ноге со всей силы и убежать, но я не могу — я помню, как по утрам мы сидели у огня и папа рассказывал мне про Кухулина и Де Валера и Рузвельта, и пусть даже он сейчас сидит в пабе и пропивает Альфины деньги, но взгляд у него такой же, какой был у Оливера, когда тот искал и не находил Юджина. Нет, лучше я вернусь домой и скажу маме, что не нашел папу.

###### \* \* \*

Мама лежит в постели с малышом. Мэйлахи и Майкл спят в «Италии». Смысла что‑то говорить маме нет, все равно пабы скоро закроются, и папа вернется, будет горланить песни и предлагать нам пенни, если поклянемся умереть за Ирландию, но на этот раз все по‑другому: пропивать пособие или получку плохо, но тот, кто пропивает деньги, предназначенные для новорожденного, окончательно переходит все границы, как говорит мама.

## VIII

Мне десять лет, и скоро мне предстоит пройти конфирмацию в церкви Святого Иосифа. Мистер О’Ди вовсю готовит нас к этому событию. Нам полагается знать все про Освящающую Благодать и великую цену, которую Иисус заплатил за наше искупление. Возведя глаза к небу, мистер О’Ди сообщает нам, что конфирмация — есть окончательное соединение с Церковью и обретение благодатных даров Святого Духа: премудрости разума, совета, крепости, в*е* дения, благочестия, страха Божия. Святые отцы и учителя говорят, что после конфирмации мы станем истинными воинами церкви, и если нас задумают завоевать протестанты, магометане или еще какие язычники, мы с полным правом сможем умереть и стать мучениками. Опять умирать. Ну и как мне отдавать жизнь за веру, если я уже поклялся умереть за Ирландию?

— Ты что, спятил? — говорит Майки Моллой. — Умирать за веру? Болтовня это все, так, чтоб припугнуть. И про Ирландию тоже. Никто ни за что умирать не собирается. Все, кому надо было, поумирали уже. Я так не стал бы умирать за веру или за Ирландию. Ну вот за мать разве, а за все остальное — ни‑ни.

Майки знает все. Ему скоро четырнадцать. У него бывают припадки и видения.

Взрослые твердят нам, что умереть за веру — это честь и почет, только мы пока к этому не готовы, потому что конфирмация — это вроде первого причастия, после нее тоже бывает сбор даров, когда ходишь по домам и тебе дают пироги, конфеты и деньги.

Из‑за этого‑то мы и влипли в историю с Питером Дули. Мы зовем его Квазимодо, потому что у него горб на спине, как у актера‑горбуна из фильма «Нотр‑Дам», которого на самом деле зовут Чарльз Лоутон.

У Квазимодо девять сестер. Говорят, мать совсем его не хотела, но раз уж ангел принес — куда деваться. Квазимодо совсем большой, ему пятнадцать. У него рыжие волосы торчком, зеленые глаза, причем один смотрит куда‑то вверх, да так сильно, что Квазимодо все время хлопает себя по виску, чтоб глаз не уезжал. Правая нога у него короче левой, да еще и вывихнутая, поэтому ходит он, пританцовывая, и может ни с того ни с сего брякнуться. Он проклинает свою ногу и весь белый свет, зато с превосходным английским акцентом, которому выучился, слушая радиостанцию «Би‑би‑си». Перед тем, как выйти из дома, он высовывается из двери и возвещает всему переулку:

— В эфире с вами я и задница моя.

Когда Квазимодо было двенадцать, он решил для себя, что с его внешностью лучше будет подыскать такую работу, где бы его слышали, но не видели, а что может быть более подходящим, чем вещать новости на «Би‑би‑си»?

Однако в Лондон без денег не попадешь, и вот он, ковыляя, подходит к нам с Билли в пятницу накануне конфирмации и говорит, что есть у него к нам одно предложение, мол, ему известно, что назавтра мы разживемся дареными деньгами, так вот: если мы пообещаем отдать ему по шиллингу, он завтра же вечером разрешит забраться на водосточную трубу за домом — сестры его моются по пятницам и мы сможем подглядеть за ними в окно. Я тут же соглашаюсь.

— У меня своя сестра есть, — говорит Билли. — Чего мне на твоих голых сестриц пялиться?

Квазимодо возражает, что увидеть свою сестру нагишом — величайший грех, и ни один священник в мире не сможет такой грех отпустить, разве что к самому епископу ехать, а он известный зануда.

Билли вздыхает.

Вечером в пятницу мы забираемся во двор Квазимодо. Погода стоит прекрасная: высоко в небе плывет июньская луна, а с реки Шаннон дует теплый ветерок. Квазимодо уже собирается пустить Билли на трубу, но тут через стену собственной персоной перелезает припадочный Майки Моллой и шипит Квазимодо:

— На шиллинг. Меня вперед пусти.

Майки четырнадцать, он крупнее и сильнее всех нас, потому что работает развозчиком угля. Он весь черный от угольной пыли, прямо как Па Китинг, в темноте только белки глаз видно, да полоску пенистой слюны на губе — значит, с ним в любой момент может припадок приключиться.

— Погодь, Майки, — говорит Квазимодо. — Они первые пришли.

— Вот еще, буду я ждать, — огрызается Майки и мигом влезает на трубу.

Билли ноет, но Квазимодо качает головой, мол, что поделаешь. Он каждую неделю приходит с шиллингом и мне приходится его пускать, а то он меня побьет и мамке расскажет, а та запрет меня в подвале на весь день с крысами. Припадочный держится за трубу одной рукой, а другой шарит у себя в кармане, шарит, шарит, шарит, и тут труба начинает со скрипом качаться, а Квазимодо ковыляет по двору и шипит:

— Моллой, на трубе лысого не гонять.

Дикторский акцент куда‑то пропал, на смену ему пришел обычный лимерикский.

— Моллой, слезай, а то матери все расскажу.

Майки двигает рукой все быстрей и быстрей, труба еще сильнее кренится и бац — падает. Майки катается по земле и вопит:

— Помираю! Господи, помираю!

На губах у него выступает кровавая пена — он прикусил язык.

Из дома раздается вопль Квазимодовой матери.

— Господи Иисусе, кто там шумит?

На кухне зажигается свет. Наверху визжат сестрицы. Билли пытается удрать, но мамаша Квазимодо хватает его за шиворот и велит бежать в аптеку за углом и звонить в неотложку или доктору, да кому угодно, главное побыстрее. Нам она орет, чтоб мы живо шли на кухню, а сама тащит упирающегося Квазимодо в подвал под лестницей и запирает там.

— Сиди тут, ума набирайся.

Он плачет и кричит по‑лимерикски:

— Мамочка, мамочка, выпусти. Тут крысы. Я только на «Би‑би‑си» хотел. Боже мой, мамочка, пожалей! Я больше никого на трубу не пущу. Я из Лондона деньги присылать буду. Мамочка!

Майки все корчится и катается по двору. Неотложка забирает его в больницу, плечо у него сломано, язык искусан в лохмотья.

Тут же сбегаются наши матери.

— Позор мне, позор, — причитает миссис Дули. — Дочкам помыться даже нельзя — тут же все начинают в окно пялиться, а мальчишки совершают грех, их на исповедь отвести надо, а то конфирмация завтра.

— Не скажу за остальных, но я так целый год копила Фрэнку на костюм, и я не поведу его к священнику, чтоб тот конфирмацию еще на год отложил, и Фрэнки из пиджака вырос, и все из‑за невинной шалости — подумаешь, по трубе влез на тощий зад Моны Дули поглазеть, — заявляет мама.

Она тащит меня домой за ухо и заставляет встать перед «папой римским» на колени и поклясться, что я не видел голую Мону Дули.

Я клянусь.

— Если ты лжешь, то тебе нельзя на конфирмацию завтра, а это самый страшный грех.

— Клянусь.

— Только сам епископ может такой грех отпустить.

— Клянусь, не видел.

— Ладно. Иди спать и с этого дня даже не подходи к этому несчастному Квазимодо Дули.

На следующий день мы все проходим конфирмацию.

— Назови четвертую заповедь, — спрашивает меня епископ.

— Почитай отца и мать своих, — отвечаю я.

Он треплет меня по щеке. Теперь я — полноправный воин Истинной Церкви. Я преклоняю колени на скамье, и мне вспоминается запертый в подвале Квазимодо. Может, все‑таки надо дать ему шиллинг, чтоб он поехал на «Би‑би‑си»?

###### \* \* \*

Однако вскоре мне становится совсем не до Квазимодо, потому что у меня течет носом кровь и кружится голова. Прошедшие конфирмацию мальчики и девочки высыпают на залитый солнцем церковный двор, их обнимают и целуют родители, но мне все равно. Папа работает, но мне все равно. Мама целует меня, но мне все равно. Мальчики говорят о сборе даров, но мне все равно. Кровь из носа все идет и идет, и мама волнуется, что я испорчу костюм. Она бежит в церковь и просит у Стивена Кэри, ризничего, какую‑нибудь тряпочку. Он дает ей какую‑то дерюжку, которая царапает нос.

— На сбор даров пойдешь? — спрашивает мама.

Я говорю ей, что мне все равно.

— Иди‑иди, Фрэнки, — говорит Мэйлахи.

Ему грустно, потому что я пообещал, что свожу его в «Лирик‑синема» и мы наедимся конфет.

Мне хочется прилечь. Я готов улечься на ступеньки церкви и проспать вечность.

— Бабушка вкусный завтрак готовит, — сообщает мама.

От упоминания о еде мне становится так плохо, что я бегу к краю тротуара и меня тошнит у всех на виду, но мне все равно. Мама говорит, лучше скорее пойти домой и уложить меня в постель, и все мои приятели удивляются: какая может быть постель, если на сбор даров пора?

Дома мама помогает мне раздеться и улечься в постель. Она кладет мне под голову мокрую тряпку, кровотечение прекращается. Мама приносит чай, но мне даже смотреть на него противно и меня снова тошнит в ведро. Приходит соседка миссис Хэннон и заявляет, что ребенок очень болен и надо врача.

— Сегодня суббота, — сетует мама. — Амбулатория закрыта, и где врача искать, ума не приложу.

Папа возвращается с мукомольни и говорит маме, что это болезнь роста. Приходит бабушка и повторяет то же самое, мол, когда мальчику исполняется десять — это уже две цифры, а не одна, как раньше, внутри что‑то меняется, поэтому кровь носом часто идет, и что, наверное, во мне слишком много крови, так что дурную спустить не помешает.

Проходит день, я то засыпаю, то просыпаюсь. Мэйлахи и Майкл ложатся спать.

— Фрэнки очень горячий, — говорит Майкл. — И у него кровь идет мне прямо на ногу.

Мама кладет мокрую тряпку мне на нос и ключик на шею, но кровь не останавливается. Утром в воскресенье у меня вся грудь в крови и все вокруг тоже. Мама говорит папе, что у меня уже из попы кровь идет, а папа отвечает, что, наверное, просто понос такой в период роста.

Обычно нас лечит доктор Трой, но он уехал отдыхать. От врача, который приходит в понедельник, разит виски. Он осматривает меня и говорит маме, что я сильно простудился, и мне нужно лежать. Проходит несколько дней, я сплю и у меня идет кровь. Мама заваривает чай и варит мясной бульон, но я ничего не хочу. Она даже мороженое приносит, но меня тошнит от одного его вида. Снова приходит миссис Хэннон и заявляет, что этот доктор совсем ничего не понимает, надо узнать, вернулся ли доктор Трой.

Мама приводит доктора Троя. Он щупает мне лоб, поднимает веки, переворачивает на живот, осматривает спину, хватает меня в охапку и бежит к машине.

Мама бежит за ним, и он кричит ей, что у меня тиф.

— Господи, господи, — плачет мама. — Я так всю семью потеряю. Да когда же это кончится?

Она садится в машину, держит меня на руках и всю дорогу до больницы причитает.

Простыни белые и прохладные. Медсестры одеты в белоснежную униформу, и у сестры Риты, монахини, одеяние белое. Доктор Хамфри и доктор Кэмпбелл в белых халатах, а на шеях у них висит по какой‑то штуке, которую они прикладывают мне к груди и ко всему телу. Я сплю и сплю, просыпаюсь только, когда приносят склянки с чем‑то алым — их подвешивают на высокие белые стойки у кровати, а мне в ноги и в правую руку вставляют какие‑то трубочки.

— Тебе переливают кровь, Фрэнсис, — объясняет нянечка Рита. — Кровь солдата из Сарсфилдских казарм.

Мама так и сидит у моей койки.

— Это удивительно, миссус, — говорит ей сестра Рита. — Обычно в инфекционное отделение никого не пускают, чтоб заразу не подхватили, но для вас сделали исключение — у мальчика кризис, если переживет, обязательно выкарабкается.

Я засыпаю, потом снова просыпаюсь. Мама ушла, но в комнате кто‑то есть — это священник Гори из Архибратства служит мессу за столиком в углу. Я снова проваливаюсь в забытье, потом меня будят тем, что стягивают с меня одеяло. Отец Гори мажет меня елеем и молится на латыни. Это соборование, значит, я умру, но мне все равно. Меня снова будят и дают причастие, и я боюсь, что меня снова стошнит. Я засыпаю с гостией на языке, а когда просыпаюсь — ее уже нет.

Становится темно, рядом с постелью сидит доктор Кэмпбелл. Он держит меня за запястье и смотрит на часы. У него очки и рыжие волосы, и когда он говорит со мной, то всегда улыбается. Сейчас он просто сидит, напевает что‑то и поглядывает в окно. Потом прикрывает глаза и начинает похрапывать. Встрепенувшись, он наклоняется на стуле, пукает и улыбается, и мне становится ясно, что я иду на поправку — какой врач будет пукать при умирающем пациенте?

Облачение сестры Риты кажется ослепительно белым в лучах солнца. Она держит меня за запястье, смотрит на свои часы и улыбается.

— О, мы проснулись! Что ж, Фрэнсис, полагаю, худшее позади. Господь услышал наши молитвы, и молитвы сотен маленьких мальчиков из Братства. Ты только представь: за тебя молились сотни мальчиков и даровали тебе благодать своего причастия!

Ноги и рука у меня болят от трубочек, через которые в меня льется кровь, и мне все равно, что мальчики молились за меня. Сестра Рита уходит — я слышу, как шуршит ее облачение и постукивают четки. Я засыпаю, а просыпаюсь уже в темноте. Около моей кровати сидит папа и держит меня за руку.

— Сынок, ты проснулся!

Я пытаюсь говорить, но во рту совсем пересохло, и я показываю себе на рот. Папа подносит к моим губам стакан с водой, она сладкая и прохладная. Потом он сжимает мою руку и говорит, что я настоящий храбрый солдат. И это правда, потому что во мне теперь течет кровь солдата!

Трубки вынули, склянки унесли.

В палату заходит сестра Рита и сообщает папе, что ему пора идти. Я не хочу, чтобы он уходил — у него такой грустный вид, как у Пэдди Клоэсси в тот день, когда я отдал ему изюминку. Когда папа грустный, это хуже всего. Я плачу.

— Это еще что такое? — спрашивает сестра Рита. — Солдаты не плачут. Завтра тебя ожидает большой сюрприз, Фрэнсис. Ни за что не угадаешь, какой. Ну ладно, так и быть скажу: утром ты получишь вкусное печенье с чаем. Здорово, правда? А папа придет через денек‑два, так ведь, мистер Маккорт?

Папа кивает и снова кладет ладонь мне на руку. Он смотрит на меня, идет к двери, потом возвращается и целует меня в лоб впервые в жизни, и у меня такое ощущение, что я сейчас воспарю от счастья.

Две остальные койки пусты. Медсестра говорит, я единственный пациент с тифом, и что я чудом выжил.

Соседняя палата тоже пустует, но однажды утром я слышу оттуда девичий голос:

— Эй, есть здесь кто?

Я не понимаю, ко мне девочка обращается или к кому‑то в своей палате.

— Эй, мальчик с тифом, ты проснулся?

— Ага.

— Тебе лучше?

— Ага.

— Тогда чего тебя не выписывают?

— Не знаю, я в постели лежу, меня все еще колют иголками и дают пилюли.

— А ты как выглядишь?

Я не знаю, как ответить на такой странный вопрос.

— Эй, мальчик с тифом, ты меня слышишь?

— Ага.

— Как тебя зовут?

— Фрэнк.

— Хорошее имя.

— А меня Патрисия Мэдиган. Тебе сколько лет?

— Десять.

— О‑о, — разочарованно тянет она.

— Но будет одиннадцать в августе, уже в следующем месяце.

— Одиннадцать лучше, чем десять. А мне будет четырнадцать в сентябре. Тебе интересно, почему я в больнице?

— Ага.

— У меня дифтерия и еще какая‑то зараза.

— Какая?

— А они не знают. Говорят, какая‑то иностранная, потому что у меня папа в Африке был. Я чуть не померла. Ну, ты мне скажешь, как ты выглядишь?

— У меня черные волосы.

— Да у миллиона человек черные волосы.

— Зелено‑карие глаза.

— У тысяч людей такие.

— Швы на руке и на ногах — мне солдатскую кровь переливали.

— Да ну, правда?

— Ага.

— Теперь все время маршировать будешь и честь отдавать.

Слышится шуршание одежд и постукивание четок, а потом голос сестры Риты.

— Это еще что такое? Пациентам нельзя разговаривать друг с другом, особенно мальчикам и девочкам. Слышишь, Патрисия?

— Да, сестра.

— Слышишь, Фрэнсис?

— Да, сестра.

Вам Господа благодарить надо за свое чудесное исцеление. Помолились бы лучше или «Маленького вестника Святейшего Сердца» почитали — на тумбочке у койки лежит. Чтобы когда я вернусь, никаких разговоров не было.

Она заходит в палату и грозит мне пальцем.

— Особенно это тебя касается, Фрэнсис. За тебя тысячи мальчиков молились в Братстве. Возблагодари же их, Фрэнсис, возблагодари. — Она уходит, и на некоторое время становится тихо. Потом Патриция шепчет:

— Возблагодари их, Фрэнсис, и вознеси молитву, Фрэнсис.

Я начинаю так хохотать, что прибегает медсестра проверить, все ли у меня хорошо. Это очень строгая медсестра из графства Керри, я ее боюсь.

— Что такое, Фрэнсис? Смеешься? Что смешного? С Мэдиган разговариваешь. Вот я сестре Рите пожалуюсь. Никакого смеха, а то внутренности себе растрясете. — Она выплывает в коридор, а Патрисия тут же шепотом шепчет, подражая ее выговору:

— Никакого смеха, Фрэнсис, а то внутренности себе растрясешь. Читай молитву, Фрэнсис, молись за свои внутренности.

Мама навещает меня по четвергам. Мне бы хотелось, чтобы папа пришел вместе с ней, но кризис миновал, и теперь ко мне пускают только одного посетителя.

— Кроме того, — говорит мама. — Папа снова работает на мукомольне, и дай‑то Бог, чтоб продержался там подольше, война началась, англичанам ох как нужна мука.

Мама приносит мне плитку шоколада, значит, папа и правда работает. Она бы не купила шоколад на пособие. А от папы мне записка. Он пишет, что мои братики молятся за меня и что я должен быть хорошим мальчиком, слушаться докторов, медсестер, монахинь и не забывать молиться. Он уверен, что это Святой Иуда помог мне выжить, потому что он помогает в безнадежных случаях, а у меня случай и вправду был безнадежный.

Патрисия говорит, что у нее есть две книжки. Одна — ее любимый сборник стихов, а вторая — краткая история Англии, вот ее она может мне дать. Она просит Шеймуса — уборщика, который моет у нас полы каждый день, и тот передает книжку мне. Шеймус говорит, что ему запрещено носить что‑то из палаты, где дифтерия, в палату, где брюшной тиф, потому что вокруг микробы летают и между страниц прячутся, и если я подхвачу еще и дифтерию, врачи сразу все поймут, Шеймус лишится такой хорошей работы, и придется ему распевать патриотические песни ради подаяния, а уж песни петь он мастер — все‑все горестные песни про Ирландию знает, ну, и еще несколько веселых про виски тоже. Да, конечно, он знает «Родди Маккорли», да хоть прямо сейчас спеть может, но едва он затягивает первый куплет, как в палату влетает медсестра из Керри.

— Что такое, Шеймус? Песни распеваешь? Тебе, как никому, известно, что правилами запрещено петь. Пожалуюсь‑ка я сестре Рите.

— Ох, не надо сестра, не жалуйтесь, ради Бога.

— Ладно, Шеймус. На первый раз прощаю. Но не забывай, что из‑за пения болезнь может вернуться!

Когда она уходит, Шеймус шепчет, что научит меня нескольким песням, потому что пение — очень даже помогает скоротать время, когда лежишь один в тифозной палате. Он говорит, что Патрисия — славная девочка, иногда она угощает его конфетами из передачи, которую посылает ей мать раз в две недели. Он перестает подметать пол и кричит Патрисии:

— Патрисия, я сказал Фрэнки, что ты — милая девочка.

— Вы тоже милый человек, Шеймус, — отзывается она.

Шеймус улыбается. Ему уже сорок, а детишек у него своих нет, только пациенты в инфекционной больнице.

— Держи книгу, Фрэнки, — говорит он мне. — Жалко, что ни одной книжки про историю Ирландии у нас тут не завалялось и тебе придется читать про англичан, которые столько нас мучили.

В книге рассказывается про Альфреда Великого и Вильгельма Завоевателя, и про всех королей вплоть до Эдварда, который целую вечность ждал, когда его мать, Виктория, освободит ему трон. Тут же мне впервые встречаются строки из Шекспира.

Я веские имею основанья

Вас полагать своим врагом[[81]](#footnote-81).

Так Катерина, жена Генриха VIII, обращается к кардиналу Вулси, который хочет, чтобы ей отрубили голову. Что она имеет в виду, я не понимаю, но это ведь Шекспир, и слова эти перекатываются на языке, как драгоценные камни. Да если б мне дали целую книжку Шекспира, я бы согласился и год в больнице пролежать.

Патрисия тоже не знает, что означают слова «веские обстоятельства» и «полагать», и вообще — ей все равно, Шекспир это или нет — у нее своя книжка есть, со стихами. Она зачитывает мне из‑за стенки какой‑то стих про филина и кошечку, которые отправились в море в зеленой лодке, захватив с собой мед и деньги[[82]](#footnote-82). Я говорю Патрисии, что это чепуха какая‑то, она обижается и заявляет, что больше вообще ничего мне читать не будет, и еще — что строчки из Шекспира, которые я все время твержу, тоже чепуха полная. Шеймус снова перестает тереть пол и говорит нам, что, мол, нечего из‑за стихов ссориться, ссоры оставьте до того времени, когда вырастете и поженитесь. Патрисия извиняется, и я тоже, и она зачитывает мне другое стихотворение, и я стараюсь его запомнить, чтоб потом пересказать ей рано утром или поздно вечером, когда поблизости не будет ни монахинь, ни медсестер.

Ветер макушки дерев гнул с неистовой силой,

В облачном море луна галеоном туманным скользила,

Лентой сребристой дорога вилась вдоль пурпурных болот,

По ней ехал всадник, лихой человек,

Он ехал все тише и тише, коня замедляя бег,

И вот он подъехал к трактиру, и стал у ворот.

На нем треуголка была, у горла — жабо, богачей украшенье,

Винного цвета плащ и бриджи из кожи оленьей

Ладно на нем сидели. Ботфорты его высоки.

Перстни его блестели,

И пистолеты блестели,

И шпаги эфес блестел в свете звезд, что так далеки[[83]](#footnote-83).

Каждый день я жду не дождусь, когда доктора и медсестры уйдут и можно будет разучить новый куплет из книжки Патрисии и узнать, что же случилось с разбойником и дочкой трактирщика, у которой алые губки. Стих мне очень нравится — он почти такой же красивый, как мои строчки из Шекспира. Английские солдаты в красных мундирах поджидают разбойника, потому что знают — он пообещал хозяйской дочке вернуться лунной ночью, даже если против него ополчатся все силы ада.

Вот бы и мне так — прийти к Патрисии лунной ночью, даже если против меня ополчатся все силы ада. Патрисия как раз собирается прочитать последние две строфы, но тут приходит медсестра из Керри и поднимает крик.

— Сказали ведь вам, чтоб никаких разговоров между палатами. Дифтерийным запрещено говорить с тифозными и наоборот. Я вас предупреждала. Шеймус, забери мальчика. Унеси его отсюда. Сестра Рита сказала, что если хоть еще слово от него одно будет, то его переведут наверх. Мы вас предупреждали, чтоб никакой болтовни, а вы что? Забирай его, Шеймус.

— Ну же, сестра, что он такого сделал? Подумаешь, стихи почитал чуток.

— Забирай его, Шеймус, сейчас же!

Шеймус склоняется надо мной и шепчет:

— Ох, Фрэнки, прости. Вот твоя книжка. — Он засовывает мне под рубашку английскую историю и берет меня на руки, шепча, что я легкий, как перышко. Я пытаюсь увидеть Патрисию, когда мы проходим через ее палату, но различаю только темноволосую голову на подушке.

В коридоре нас останавливает сестра Рита и сообщает, что я ее ужасно разочаровал, что она ожидала от меня лучшего поведения — и Господь‑то сотворил для меня чудо, и сотни мальчиков из Братства за меня молились, и монахини с медсестрами так обо мне заботились, и папе с мамой даже позволили меня навещать, что вообще огромная редкость. И вот как я всех отблагодарил: декламировал глупые стишки с Патрисией Мэдиган, хотя знал, видит Бог, знал, что тифозным запрещено разговаривать с дифтерийными. Она говорит, что теперь у меня будет куча времени, чтоб поразмыслить над своими грехами, потому что я буду лежать один в большой палате наверху, и я должен молить Господа о прощении за свое непослушание и за то, что рассказывал языческий стишок про разбойника на лошади и служанку с алыми губками, которая совершает страшный грех. Молиться надо было и жития святых читать вместо всего этого. Она лично прочла тот стих — да уж, ознакомилась, — чтобы убедиться в моем прегрешении, и мне несомненно следует сознаться во всем священнику на исповеди.

Сестра из Керри поднимается за нами по лестнице, тяжело дыша и держась за перила, и на ходу ворчит, чтоб я не очень‑то надеялся, что она в такую даль ко мне бегать будет, если у меня где‑то кольнет.

В палате двадцать пустых коек, застеленных белыми покрывалами. Медсестра велит Шеймусу положить меня на ту, что у дальней стены — оттуда я уж точно не смогу болтать ни с кем, кто по коридору пройдет, хотя тут и ходить‑то некому, на всем этаже ни души. Давным‑давно, еще во времена Великого голода, тут лежали с горячкой, и одному Богу известно, сколько народу перемерло — только и успевали, что обмывать покойников, говорят, здесь и сейчас по ночам крики да стоны слышатся.

— Как подумаешь, что с нами англичане творили, — продолжает она, — так сердце кровью обливается. Если даже и не они на картофель заразу наслали, то пальцем о палец не ударили, чтоб ее извести. Никого не пожалели. Ни взрослых, что мерли в этой самой палате, ни детей малых. Сами‑то небось жаркое ели да самолучшим вином запивали, сидя в своих хоромах, а тут у детей рты были зеленые, потому что они траву жевали. Упаси нас Бог еще раз такой голод пережить!

— Да, ужасные были времена, — подтверждает Шеймус и добавляет, что не хотел бы ночью в этих коридорах оказаться и с призраками зеленоротых детей встретиться.

Медсестра измеряет мне температуру.

— Немного повышенная. Ну, теперь‑то уж у тебя будет хороший ночной отдых без болтовни с Патрисией Мэдиган, которой не видать седых волос.

Она кивает Шеймусу, и тот печально качает головой.

Медсестрам и монахиням и в головы не приходит, что я понимаю, о чем они говорят. Если тебе десять, почти одиннадцать, считается, что ты вроде моего дяди Пэта, которого роняли на голову. Вопросы задавать не смей. И не показывай вида, что все понял — ведь медсестра на самом деле сказала, что Патрисия Мэдиган не выживет. И заплакать нельзя, — а так жалко девочку, которая научила тебя прекрасному стихотворению, пусть монахиня и считает его греховным.

Медсестра сообщает Шеймусу, что ей пора, а он пускай выметет сор из‑под моей койки да протрет пол во всей палате. После ее ухода, Шеймус говорит, мол, вот стерва — побежала к сестре Рите и наябедничала, что пациенты стихи друг другу читают, а от них что? Самое худшее — влюбиться можно, ха‑ха‑ха, но какая там еще любовь, когда тебе сколько? Десять, почти одиннадцать? Он, мол, никогда не слышал, чтобы мальца на второй этаж отправляли из‑за стихов, и он даже подумывал о том, чтобы пойти в «Лимерик‑лидер» и там эту историю рассказать, чтоб они статью напечатали, так ведь сестра Рита о том прознает и он тут же вылетит с работы.

— Ладно, Фрэнки, тебя в один прекрасный день выпишут, и будешь тогда читать любые стихи, какие пожелаешь, а вот Патрисия не знаю, ох не знаю, Господь ей помоги.

Проходит два дня, и теперь он знает, что Патрисия никогда больше не прочитает стихов, потому что она встала в постели и пошла в туалет, хоть ей и велели пользоваться уткой, а там упала в обморок и умерла. Шеймус моет пол, а на щеках у него блестят слезы.

— Вот судьба‑злодейка проклятущая, — в сердцах бросает он. — Такая милая девочка и умерла в туалете! Она жалела очень, что тебя из‑за ее стиха наверх отправили, Фрэнки. Говорила, что она одна во всем виновата.

— Вовсе не виновата, Шеймус.

— Знаю, я ей тоже так сказал.

Патрисии больше нет, и я так и не узнал, что случилось с разбойником и Бесс — дочерью трактирщика. Я спрашиваю у Шеймуса, но он вообще стихов не знает, тем более английских. Ирландский один стих знавал когда‑то, но там было про фей, и никакие разбойники не упоминались. Но он спросит у приятелей в пабе — там все время какие‑нибудь стихи рассказывают. А пока мне стоит почитать английскую историю и узнать побольше про вероломство англичан. Ни он, ни я не знаем, что означает это слово, но, должно быть, что‑то ужасное, раз так говорят про англичан.

Шеймус моет пол три раза в неделю, а медсестра приходит каждое утро, измеряет мне температуру и пульс. Доктор приставляет мне к груди штуку, которая висит у него на шее, и что‑то слушает.

— Ну, как наш солдатик сегодня? — обычно спрашивают меня все.

Трижды в день мне приносит еду девушка в синем платье, но она никогда со мной не заговаривает.

— Ты ее не спрашивай ни о чем, — предупреждает Шеймус. — Она малость не в себе.

В июле дни долгие, а темноты я очень боюсь. В палате всего лишь две лампы на потолке. Вечером я пью чай и принимаю лекарства, а потом приходит медсестра за подносом и гасит свет. Она велит мне спать, но я не могу уснуть — мне мерещится, что на всех девятнадцати койках лежат умирающие и рты у них зеленые, потому что они ели траву, а еще они стонут и просят супа, хоть какого, даже протестантского. Я накрываю голову подушкой и надеюсь, что они не обступят меня со всех сторон и не вопьются в меня когтями, требуя отдать им плитку шоколада, которую мама принесла на прошлой неделе. Вернее, не принесла, а передала, потому что посетителей ко мне больше не пускают. Сестра Рита говорит, что навещать больных в инфекционной больнице разрешают только в исключительных случаях, а после моего неподобающего поведения с Патрисией Мэдиган и тем стишком исключений для меня больше делать не станут.

— Все равно тебя через несколько недель выпишут, — заявляет она. — Тебе сейчас главное — побыстрее выздоравливать и заново учиться ходить после того, как пролежал шесть недель. Еще она добавляет, что утром, после завтрака, мне будет позволено встать с постели. Я не понимаю, почему мне нужно заново учиться ходить — я же давным‑давно научился, еще когда совсем маленький был. Однако когда медсестра помогает мне встать, я сразу оседаю на пол.

— Вот видишь, снова как младенец, — смеется она.

Я ковыляю от одной койки к другой и обратно, туда и обратно. Не хочу быть как маленький. И в палате пустой сидеть больше не хочу без Патрисии и без разбойника и трактирщицы с алыми губками. Не хочу, чтобы призраки детей с зелеными ртами тянули ко мне свои костлявые пальцы и требовали отдать им шоколад.

Шеймус говорит, что один его приятель в пабе знает стихотворение про разбойника и что конец там очень печальный, и точно ли я хочу его услышать? Только он, Шеймус, читать не обучен, ему пришлось стих запомнить и в голове мне принести.

Он стоит посреди палаты, опершись на половую щетку, и декламирует:

Цок‑цок, — стучали подковы тихой порой ночною.

Все ближе и ближе! Румянец залил лицо волною.

Очи раскрыв широко, напоследок вздохнула она.

Палец скользнул под луною,

Гром прогремел под луною,

Ударил ей в грудь под луною, ценой ее жизни — его спасена!

Разбойник слышит выстрел и успевает скрыться. На рассвете он узнаёт, как умерла Бесс, приходит в ярость и возвращается отомстить красным мундирам, но те его убивают.

На солнце шпоры сверкали, и реял плащ за спиной,

Но всадник упал на дороге,

Пристрелен как пес на дороге,

В крови он лежал на дороге, белел воротник кружевной.

Шеймус вытирает лицо рукавом и шмыгает носом.

— Ну вот зачем надо было вас с Патрисией разлучать? Ты ведь даже не успел узнать, что сталось с разбойником и девицей Бесс. История дюже печальная, я ее жене рассказал, так она весь вечер проплакала. За что, говорит, эти красные мундиры разбойника убили, и мол, половина бед в мире из‑за них приключилась, и ирландцев они не щадили никогда. Если еще какие стихи захочешь узнать, Фрэнки, только скажи, и я их тебе снова из паба в голове принесу.

В один из дней девушка в синем платье — та, которая малость не в себе — неожиданно спрашивает меня:

— Хочешь книжку дам почитать? — И приносит мне «Удивительные приключения Эрнеста Блисса» писателя Э. Филипса Оппенгейма[[84]](#footnote-84) про англичанина, которому все опостылело настолько, что он не знает, куда себя девать, хотя у самого денег куры не клюют. Лакей приносит ему утреннюю газету, чай, яйцо и гренок с повидлом, а он говорит: «Унеси все. Жизнь — тщета».

Газету он читать не хочет, яйцо есть не хочет и все чахнет и чахнет. Доктор советует ему пожить среди бедняков в Ист‑Энде, чтоб вкус к жизни возвернулся. Он так и делает и влюбляется в бедную, но честную и очень умную девушку, они женятся и переезжают в его роскошный дом в Вест‑Энде, потому что помогать бедным и не пресыщаться жизнью как‑то легче, когда живешь в тепле и уюте.

Шеймусу нравится слушать, о чем я прочитал. Он говорит, что история про мистера Эрнеста Блисса — чистой воды выдумка, потому что никто в здравом уме не пойдет к доктору от того, что денег у него слишком много, и от яйца на завтрак отказываться не будет, хотя всякое бывает. Может, в Англии у них и так. Вот в Ирландии точно такого человека не сыщешь. Тут если кто‑то яйцо не съест, его в лечебницу для душевнобольных упрячут или епископу на него пожалуются.

Как же мне хочется поскорее домой, чтоб рассказать Мэйлахи про этого богача, который яйцо не хочет! Да Мэйлахи по полу будет кататься от смеха, скажет, что я все выдумал, а я отвечу, что это из книжки про англичанина, и тогда он, конечно, поверит. Девушке в синем платье я боюсь сказать, что книжка дурацкая — вдруг у нее припадок случится?

— Если ты прочитал книгу, я тебе еще дам — от прежних пациентов целый ящик остался, — говорит она и приносит мне очень трудную книжку под названием «Школьные годы Тома Брауна»[[85]](#footnote-85) и целую кучу книг П. Г. Вудхауса. Читая их, я от души смеюсь над Укриджем, Берти Вустером, Дживсом и Муллинерами. Берти Вустер богат, но по утрам он съедает яйцо, потому что Дживс будет недоволен. Вот бы обсудить эти книжки с девушкой в синем платье или еще с кем‑нибудь, да только я боюсь, что медсестра из Керри или сестра Рита узнают и ушлют меня в палату, где пятьдесят коек и еще больше зеленоротых призраков с костлявыми пальцами. По ночам я лежу и думаю про Тома Брауна и его приключения в школе Рэгби и про героев книг П. Г. Вудхауса. Можно еще подумать о дочке трактирщика, у которой алые губки, и о разбойнике, и ни медсестры, ни монахини ничего об этом не узнают — в голову‑то они мне залезть не могут.

Наступает август, и мне исполняется одиннадцать. Я лежу в больнице уже два месяца и не знаю, выпишут ли меня к Рождеству. Медсестра из Керри говорит мне, что нечего жаловаться — Бога благодарить должен, что вообще жив остался.

— А я и не жалуюсь, просто хочу узнать, буду ли я дома к Рождеству.

Она не отвечает, говорит только, чтобы я вел себя хорошо, не то ко мне придет сестра Рита, и тогда я стану как шелковый.

В мой день рождения приходит мама и передает мне две плитки шоколада и записку от соседей, в которой они желают мне скорейшего выздоровления и возвращения домой и пишут, что я — храбрый солдат. Медсестра разрешает мне поговорить с мамой через окно, а это трудно — окна высоко и мне приходится забраться на плечи к Шеймусу. Я говорю маме, что хочу домой, но она отвечает, что мне надо еще немножко подкрепиться, а там я и оглянуться не успею, как меня выпишут.

— Это здорово, что тебе уже одиннадцать, — одобряет Шеймус. — Почти мужчина, скоро бриться начнешь и с девушками гулять. Работа у тебя будет и станешь пинты распивать в пабе, как все мужчины.

Я лежу в больнице уже четырнадцать недель, и наконец сестра Рита сообщает, что меня выписывают и надо же какая удача — именно в день Святого Франциска Ассизского. Она говорит, что я был очень послушным пациентом, если не считать того происшествия со стихами и Патрисией Мэдиган, упокой Господи ее душу, и приглашает меня на рождественский обед в больницу. За мной приходит мама, но у меня такая слабость в ногах, что мы долго‑долго бредем до автобусной остановки на Юнион‑кросс.

— Не торопись, иди потихоньку, — велит мама. — Три с половиной месяца тебя ждали, а тут подумаешь, какой‑то часок.

Соседи с Баррак‑роуд и Роден‑лейн радуются, что я вернулся, и говорят, что я настоящий солдат, и мама с папой могут мной гордиться. Мэйлахи и Майкл бегут мне навстречу и кричат:

— Ты чего еле ползешь? Ходить разучился?

Я иду и радуюсь солнышку, но дома на кухне сидит папа с Альфи на коленях, и вся моя радость куда‑то исчезает, ведь это значит, что папа опять без работы. Все это время я был уверен, что он работает — мама так говорила, — и думал, что дома всем хватает еды и ботинок. Папа улыбается мне и говорит Альфи:

— А вот и твой старший брат из больницы вернулся.

Мама сообщает ему, что доктор велел мне хорошо питаться и много отдыхать и еще, что для восстановления сил мне нужно есть говядину. Папа кивает. Мама варит мне говяжий бульон из кубика. Мэйлахи с Майком смотрят, как я его пью. Им тоже хочется, но мама говорит:

— Вам нету, вы тифом не болели.

Еще она вспоминает, что доктор велел мне пораньше ложиться спать. Она пыталась вывести блох, но погода стоит теплая, их только больше развелось.

— От тебя им все равно нечем поживиться, — замечает она. — Кожа да кости одни.

Я лежу в постели и вспоминаю больницу: там простыни белые и их меняют каждый день и ни единой блошки не водится. Еще в туалете можно было сидеть и читать книжку, пока кто‑нибудь не придет проверить, жив ли ты еще там. И ванна с горячей водой — лежи себе сколько хочешь и декламируй:

Я веские имею основанья

Вас полагать своим врагом.

Я повторяю эти слова много раз и засыпаю.

###### \* \* \*

Утром Мэйлахи с Майклом собираются в школу, а мне мама разрешает спать дальше. Мэйлахи в пятом классе, он учится у мистера О’Ди и всем рассказывает, что готовится к конфирмации по толстому красному катехизису, и мистер О’Ди рассказывает им все про благодать и Евклида и про то, как англичане восемьсот долгих лет измывались над ирландцами.

Мне не хочется лежать в постели. Деньки в октябре стоят погожие, и лучше сидеть на улице и смотреть, как солнце закатывается за стену напротив нашего дома. Майки Моллой приносит мне книги П. Г. Вудхауса, которые его папа берет в библиотеке, и я прекрасно коротаю дни с Укриджем, Берти Вустером и Муллинерами. Папа разрешает мне почитать его любимую книгу «Тюремные записки» Джона Митчелла про великого ирландского революционера, которого англичане услали на Землю Ван‑Димена в Австралии. Англичане разрешают ему свободно разъезжать по Земле Ван‑Димена, если он даст слово джентльмена, что не попытается сбежать. Он дает такое слово, но потом ему устраивают побег на корабле, так он идет в магистрат к англичанам, сообщает, что сбегает, вскакивает на коня и уезжает в Нью‑Йорк. Папа говорит, он не против, чтоб я читал глупые английские книжки П. Г. Вудхауса, главное — не забывать тех, кто сражался и умер за Ирландию.

Однако нельзя же сидеть дома вечно, и в ноябре мама ведет меня в школу Лими. Новый директор, мистер О’Холлоран, говорит, что сожалеет, но раз я пропустил больше двух месяцев учебы, мне придется вернуться в пятый класс.

— Но он точно готов к тому, чтобы учиться в шестом, — возражает мама. — Он же всего несколько недель пропустил.

— Я сожалею, — повторяет мистер О’Холлоран, — но отведите мальчика в соседний класс к мистеру О’Ди.

Мы идем по коридору, и я говорю маме, что не хочу снова в пятый класс к Мэйлахи, не хочу учиться вместе с братом, который младше меня на год. Я в прошлом году конфирмацию проходил, а он — нет. Я старше, правда, не сильнее из‑за того, что переболел тифом, но все равно же старше.

— Ничего, не помрешь, если поучишься в пятом.

Ей все равно, и меня помещают в один класс с Мэйлахи, и все его друзья хихикают из‑за того, что меня оставили на второй год. Мистер О’Ди велит мне сесть впереди и сменить выражение лица, а если сам не смогу — трость поможет.

Потом, не иначе как по воле моего святого покровителя Франциска Ассизского и самого Господа Бога, случается чудо. В первый же день учебы я нахожу на улице пенни и мне бы сбегать к Кэтлин О’Коннелл за ирисками, но какой там бегать — я еще хожу‑то после тифа с трудом, иногда даже за стену приходится держаться. Мне ужасно хочется ирисок, но еще больше не хочется сидеть в пятом классе.

Нужно бы пойти к статуе Святого Франциска Ассизского — только он меня выслушает, — но это на другом конце Лимерика. Я бреду туда почти час, по пути отдыхаю на ступеньках, держусь за стены. Монетки хватит на то, чтобы поставить свечку, но может, свечку поставить, а монетку не отдавать? Нет, Святой Франциск узнает. Он хоть и любит птиц небесных и рыб речных, но не дурак. Я ставлю свечку, опускаюсь на колени перед Франциском и прошу, чтобы он вытащил меня из пятого класса, где я застрял с младшим братом. Тот, наверное, разгуливает сейчас по трущобам и похваляется, что его старшего брата оставили на второй год. Святой Франциск не отвечает мне, но я знаю, что он слушает и непременно поможет. Вытащить меня из пятого класса — самое малое, что он может для меня сделать после того, как я плелся к нему через весь город, сидел на ступеньках, держался за стены, хотя мог спокойно пойти в церковь Святого Иосифа и поставить свечку Маленькому Цветку Терезе или Святейшему Сердцу Иисуса. Зря что ли меня назвали в честь Франциска Ассизского? Неужели он бросит меня в трудную минуту?

Я сижу на уроке мистера О’Ди и заново слушаю катехизис и все, что нам рассказывали в прошлом году. Я все порываюсь поднять руку и ответить, но мистер О’Ди каждый раз говорит:

— Помолчи, дай брату ответить.

Он дает ученикам задачки по арифметике, а я исправляй ошибки; диктует слова на ирландском, а я — пиши за них правильно. Потом он заставляет меня писать сочинения и зачитывать их перед классом — ведь я же так много выучил в прошлом году.

— Чтобы продемонстрировать вам, как хорошо он выучился писать в пятом классе, — объявляет О’Ди, — Фрэнк Маккорт к следующему разу напишет сочинение про Господа нашего, да, Маккорт? В котором расскажет, что было бы, если бы Господь родился в Лимерике — самом святом городе Ирландии, где даже имеется Архибратство Святого Семейства. Мы знаем, что если бы Господь наш вырос в Лимерике, его бы никогда не распяли, поскольку люди в Лимерике всегда были добрыми католиками и никого не распинали. Итак, Маккорт, ступай домой и к завтрашнему дню напиши сочинение.

Папа говорит, у мистера О’Ди, конечно, богатое воображение, но Господь и так уже настрадался на кресте, зачем ему еще Лимерик, где все время сыро от реки Шаннон? Он надевает кепку и идет прогуляться, а мне приходится в одиночку думать над сочинением про Господа.

На следующий день мистер О’Ди вызывает меня к доске.

— Итак, Маккорт, выйди перед классом и прочитай свое сочинение.

— Мое сочинение называется…

— Озаглавлено, Маккорт, озаглавлено.

— Мое сочинение озаглавлено «Иисус и погода».

— Как‑как?

— «Иисус и погода».

— Ну, читай.

— Вот мое сочинение. Вряд ли Иисусу, Господу Богу нашему, понравилась бы погода в Лимерике, потому что тут все время идет дождь, а из‑за реки Шаннон во всем городе сыро. Мой папа говорит, что Шаннон — река‑убийца, потому что она убила двоих моих братиков. На картинах Иисус странствует по древнему Израилю в одной простыне. Дождя там никогда не бывает, никто не кашляет, не подхватывает чахотку или что‑нибудь в этом духе, и не работает — только стоят кр*у* гом, вкушают манну небесную, потрясают кулаками и ходят на распятия.

Когда Иисусу хотелось есть, он просто подходил к смоковнице или к апельсиновому дереву и наедался досыта. Если ему хотелось пинту, он водил рукой над кружкой и превращал воду в пинту. Или шел в гости к Марии Магдалине и ее сестре, Марте, и они без вопросов кормили его, омывали ему ноги и вытирали их волосами Марии Магдалины, а Марта в это время мыла посуду, хотя это и несправедливо, я считаю. Почему это ей приходилось мыть посуду, а сестра ее сидела и беседовала с Господом? Хорошо, что Иисус предпочел родиться иудеем в теплой стране, потому что если б он родился в Лимерике, то заразился бы чахоткой и через месяц бы умер, и не было бы ни Католической Церкви, ни Причастия, ни Конфирмации, и нам не пришлось бы зубрить катехизис и писать сочинения о Боге. Конец.

Мистер О’Ди молчит и как‑то странно на меня смотрит, и я волнуюсь — такое его молчание обычно означает, что кому‑то сейчас будет плохо.

— Кто написал это сочинение, Маккорт? — наконец спрашивает он.

— Я, сэр.

— Может, все‑таки твой отец?

— Нет, сэр.

— Ступай за мной, Маккорт.

Мы выходим из класса и идем по коридору в кабинет директора. Мистер О’Ди показывает ему мое сочинение, и директор тоже странно на меня смотрит.

— Сам написал?

— Да, сэр.

И меня тут же переводят в шестой класс к мистеру О’Холлорану, где учатся все мои приятели: Пэдди Клоэсси, Финтан Слэттери, Вопрошайка Куигли. После уроков я иду поблагодарить Святого Франциска Ассизского, даже несмотря на слабость в ногах и на то, что мне приходится то и дело отдыхать на ступеньках и держаться за стену. И еще я так и не понял: хорошее у меня было сочинение или плохое.

Мистер Томас Л. О’Холлоран преподает в одном кабинете сразу трем классам: шестому, седьмому и восьмому. Голова у него как у президента Рузвельта, а из верхнего кармана жилета до нижнего тянется золотая цепочка от часов. Мы зовем его Хоппи[[86]](#footnote-86), потому что у него одна нога короче другой, и при ходьбе он подпрыгивает. О’Холлоран знает, как мы его называем, и сам говорит:

— Да, я Хоппи, и вы у меня попрыгаете.

С собой у него всегда длинная указка, и если слушать невнимательно или задать глупый вопрос, то получишь ею три удара по каждой ладони или по ногам сзади. Он заставляет нас зазубривать все‑превсе, и из‑за этого слывет самым строгим учителем в школе. Хоппи любит Америку, и поэтому мы учим названия всех американских штатов в алфавитном порядке. Еще он рисует таблицы по грамматике ирландского, истории Ирландии и по алгебре, ставит их на подставку в классе, и мы хором склоняем, спрягаем, проговариваем фамилии знаменитых людей и названия известных сражений, зубрим арифметические пропорции, коэффициенты, уравнения. Он говорит нам, что важно и почему. До этого ни один учитель нам так не объяснял, а если мы что‑то спрашивали, то получали тумака. Хоппи не называет нас идиотами, а если задашь ему вопрос, не впадает в ярость. Он единственный из учителей, кто посреди рассказа может остановиться и спросить:

— Все понятно? Вопросы есть?

Все ужасно удивляются, когда он говорит, что битва при Кинсейле в тысяча шестьсот первом году стала печальнейшим событием в ирландской истории — то была кровопролитная схватка, обе стороны которой проявляли жестокость и чинили зверства.

Зверства? Обе стороны? И ирландцы тоже? Да как такое возможно? Учителя всегда говорили нам, что ирландцы сражались благородно и честно. О’Холлоран декламирует стихотворение и заставляет нас учить его наизусть.

Смело в бой они бросались, но победы не видали,

Хоть в лицо врагу смотрели, стали не страшась суровой.

Благородство и отвага в битве им не помогали.

Их как будто злые чары прямо в сердце поражали[[87]](#footnote-87).

Ирландцы же проиграли битву из‑за предателей и доносчиков. Какие еще зверства?

— Сэр, ирландцы тоже чинили зверства при Кинсейле?

— Да, и это правда. Существуют письменные свидетельства того, что они убивали пленников, то есть вели себя не лучше, но и не хуже англичан.

Не может быть, чтобы мистер О’Холлоран врал, он же директор. Все эти годы нам твердили, что ирландцы всегда сражались благородно и произносили храбрые речи перед казнью. А теперь Хоппи заявляет, что ирландцы тоже плохие дела совершали. Может, еще скажет, что англичане правы были? Вместо этого он говорит:

— Вы должны учиться и познавать новое, чтобы составить собственное мнение об истории и обо всем остальном, но ничего не получится, коли в голове пусто. Наполняйте же свой разум, наполняйте знаниями. Он — ваша сокровищница, и никто в мире у вас этого не отнимет. Вот если бы случилось вам выиграть на скачках и купить дом, вы б стали его старьем обставлять? Так вот, разум ваш — как тот дом — забьете его мусором из фильмов, получите гниль в голове. Можно быть босым и бедным, но в сознании своем жить во дворце.

Он вызывает нас по очереди к доске и проверяет обувь, спрашивает, почему ботинки рваные или отчего их вообще нет. Он говорит, что это позор, и обещает устроить лотерею, чтобы собрать средства и обеспечить всех прочными ботинками на зиму. Мы получаем от него отрывные билетики и носимся с ними по всему Лимерику, предлагая делать пожертвования в обувной фонд школы Лими и обещая главный приз в пять фунтов и пять призов по фунту. У одиннадцати босых мальчиков появляются новые ботинки. Мы с Мэйлахи ничего не получаем, потому что ботинки у нас есть, ну и что, что подошвы худые. И чего мы тогда бегали по всему Лимерику? Чтобы ботинки другим мальчикам достались? Финтан Слэттери говорит, что нам на небесах все грехи отпустят за то, что другим добро делаем.

— Финтан, иди уже и себе делай свое сраное добро, — огрызается Пэдди Клоэсси.

###### \* \* \*

Понятно, что папа поступает плохо. Да, когда он пропивает пособие, маме приходится выпрашивать еду в Обществе Святого Викентия де Поля или у Кэтлин О’Коннелл, но я все равно не хочу держаться от него подальше и убегать к маме. Не могу я с ним так поступить. Он и я встаем спозаранку, когда весь мир еще спит. Папа разжигает огонь в камине и ставит чай, напевая что‑то себе под нос или читая мне газету шепотом, чтобы не разбудить остальных. Майки Моллой украл у меня Кухулина, Ангел Седьмой Ступеньки куда‑то пропал, но папа по утрам по‑прежнему мой. Рано утром он получает свежий номер «Айриш‑пресс» и рассказывает мне, что делается в мире, про Гитлера, Муссолини, Франко. Он говорит, что эта война нас не касается, потому что англичане опять взялись за свои штучки. Он рассказывает мне о великом Рузвельте в Вашингтоне и великом Де Валера в Дублине. Утром весь мир принадлежит нам двоим, и он не просит меня умереть за Ирландию. Он говорит, что в стародавние времена в Ирландии англичане запрещали католикам учиться в школах, потому что хотели держать народ в невежестве, и что дети‑католики собирались под открытым небом и учили английский, ирландский, латынь и греческий. Людям нравилось учиться, читать рассказы и стихи, пусть даже этими знаниями нельзя было прокормиться. Мужчины, женщины и дети собирались в оврагах, чтобы послушать ученых людей, и удивлялись тому, как много знаний может вместить одна голова. Учителя рисковали жизнью, переходя из одного оврага в другой, из одной такой «школы под открытым небом» в другую, потому что если бы англичане их поймали, то сослали бы на чужбину или придумали бы наказание похуже. Папа говорит мне, слава богу, теперь есть школы и больше не нужно прятаться по оврагам, чтобы изучить арифметику и историю великой Ирландии. Он повторяет, что я должен хорошо учиться в школе и тогда в один прекрасный день я вернусь в Америку и получу хорошую работу, где буду сидеть за столом с двумя ручками в карманах — красной и синей — и принимать решения, а не мокнуть, работая под дождем. У меня будут костюм, ботинки и теплое жилье, а что еще нужно человеку для счастья? А в Америке можно добиться чего угодно, ведь это — страна возможностей. Можно промышлять уловом рыбы в штате Мэн, а можно держать ферму в Калифорнии, Америка — это не серый захолустный Лимерик с рекой‑убийцей.

Когда папа сидит с тобой у огня утром, то не надо ни Кухулина, ни Ангела Седьмой Ступеньки, никого.

По вечерам он помогает нам с упражнениями. Мама говорит, что в Америке это называется «домашнее задание», а тут упражнения: по арифметике, английскому, ирландскому, истории. С ирландским языком папа помочь не может — он сам с Севера и не так хорошо его знает. Мэйлахи предлагает научить его всем ирландским словам, которые ему известны, но папа говорит, что ему уже поздно: старого пса новым трюкам не обучишь. Перед сном мы все вместе садимся у огня, и стоит только попросить: «Пап, расскажи сказку», как он тут же начинает сочинять историю про кого‑нибудь с нашей улицы, тот путешествует по всему миру — то поднимаясь в небо, то опускаясь на морское дно, а потом возвращается домой. В его сказках у всех разный цвет кожи, и все перевернуто вверх тормашками и задом‑наперед: автомобили и самолеты плавают под водой, а подводные лодки летают по небу. Акулы сидят на деревьях, а громадные лососи резвятся на луне вместе с кенгуру. Белые медведи борются со слонами в Австралии, а пингвины учат зулусов играть на волынке. После сказки он идет с нами наверх, где мы все преклоняем колени, повторяем «Отче Наш», трижды «Богородица Дева, радуйся», а еще молимся за здоровье папы римского, мамы, за упокой нашей сестрички и братиков, за Ирландию, за Де Валера, и за того, кто даст папе работу.

— А теперь ложитесь спать, мальчики, — велит па‑ па, — надо вести себя хорошо, потому что Господь смотрит на вас с небес и все видит.

Мой папа прямо как Святая Троица, потому что в нем уживаются сразу три разных человека: утренний папа с газетой, вечерний — со сказками и молитвами, и тот, который поступает плохо и приходит домой с запахом виски и хочет, чтобы мы умерли за Ирландию.

Плохие его поступки меня расстраивают, но я не могу отрекаться от него, потому что тот папа, который утром — он мой, настоящий, и если бы мы жили в Америке, я бы сказал ему как в голливудских фильмах:

— Я люблю тебя, папа.

Но в Лимерике так не говорят, иначе засмеют. Тут можно говорить, что любишь Бога, младенцев, лошадей, которые побеждают на скачках, а все остальное — телячьи нежности.

###### \* \* \*

День и ночь мы страдаем от запаха на кухне, потому что соседи все выливают и выливают свои помои. Мама жалуется, что вовсе не река Шаннон нас убьет, а вонь из уборной. И зимой‑то плохо, когда туалет переполняется и зловонная жижа просачивается к нам под дверь, а уж в теплую погоду и того хуже — повсюду летают навозные мухи и бегают крысы.

В стойле рядом с туалетом живет большой конь с угольного склада Габбетта. Его зовут Финн, мы все любим его, но конюший не чистит стойло как следует, и оттуда тоже воняет. Смрад из туалета и из конюшни привлекает крыс, и мы натравливаем на них нашего пса Лаки. Он загоняет крыс в угол, а мы добиваем их камнями, палками и вилами из конюшни. Финн боится крыс, и надо быть осторожными, когда он встает на дыбы. Он понимает, что мы не крысы — ведь мы приносим ему яблоки из садов за городом.

В попытке удрать пойманные крысы забегают в дом и скрываются в угольном подвале под лестницей, а там попробуй их найди в кромешной тьме. Туда даже со свечой соваться бесполезно, потому что норы могут быть где угодно. Если есть уголь, можно накипятить воды и лить ее медленно из чайника в норы, крысы пробегают у нас между ногами и снова — шмыг за дверь, хотя бывает, что Лаки успевает их там перехватить и загрызает до смерти. Мы все ждем, что он крыс есть будет, но он бросает их на улице кишками наружу, и бежит к папе за смоченным в чае кусочком хлеба. Соседи говорят, что пес ведет себя странно, но чего ожидать от собаки Маккортов.

Стоит где‑нибудь промелькнуть крысиному хвостику или кому‑то заговорить о крысе, как мама тут же выбегает за дверь. Она лучше будет вечно по улицам бродить, но ни минуты не останется в одном доме с крысами, и нет ей покоя, потому что рядом стойло и туалет, так что где‑нибудь обязательно притаилась крыса со своим выводком.

Мы боремся и с крысами, и с вонью из туалета. В хорошую погоду так хочется держать дверь открытой, но нельзя — мимо ходят соседи с переполненными ведрами, и у некоторых семейств помои особенно вонючие. Из‑за этого папа соседей терпеть не может, но мама говорит, мол, они же не виноваты, строители сто лет назад именно сюда воткнули единственный на всю улицу туалет. Папа ворчит, что нет чтобы ночью тут с ведрами шастать, тогда бы хоть днем не воняло.

Мухи нисколько не лучше крыс. В теплые дни они роятся в конюшне, а стоит кому‑то вылить помои, устремляются в туалет. Если мама что‑то готовит — мухи тут как тут, и папа ворчит, что до чего же противно делается, когда подумаешь, что на сахарнице сидит муха из туалета. Если где‑то на теле есть болячка, мухи ее находят и начинают тебя допекать. Днем мухи, ночью блохи. Мама говорит, ладно еще блохи чистые, а вот с мухами никогда не знаешь, откуда они прилетели, и уж чего‑чего, а заразы они разносят немерено.

Крыс можно загнать в угол и убить, мух и блох переловить, а вот с соседями и их ведрами ничего не сделаешь. Если мы играем на улице, и кто‑то идет с ведром, мы кричим домой:

— Ведро, ведро! Дверь закройте!

И тот, кто дома, бегом бежит закрывать дверь.

В теплую погоду мы целый день бегаем и закрываем дверь, потому что знаем, у кого из соседей самые вонючие ведра. У некоторых семейств, где отец с работой, входит в привычку готовить с карри, и тогда сразу понятно, что их ведра развоняются на всю округу и нас будет тошнить. А сейчас война, главы семейств присылают деньги из Англии, все больше семей кладут в стряпнину карри, и наш дом наполнен вонью днем и ночью. Мы знаем семьи с карри, мы знаем семьи с капустой. Маму все время тошнит. Папа все дольше бродит за городом. А мы день‑деньской торчим на улице и стараемся держаться подальше от туалета. Папа больше ничего не говорит про реку‑убийцу — теперь он знает, что туалет еще хуже. В один из дней он идет жаловаться в мэрию и берет меня с собой.

— Мистер, я могу только посоветовать переехать, — говорит служащий.

Папа отвечает, что у нас денег нет на переезд, и ему на это — ничем помочь не можем.

— Мы же не в Индии, а в христианской стране живем! — возмущается папа. — Нашей улице нужны еще туалеты.

— Вы что же, думаете, власти Лимерика станут строить уборные рядом с ветхим жильем, которое все равно после войны снесут? — возражают ему.

Папа говорит, что этот туалет нас всех убьет. Служащий отвечает, что мы вообще в опасное время живем.

###### \* \* \*

Мама говорит, что угля маловато, чтоб рождественский обед сготовить, но раз я иду на праздник в больницу, то мне придется вымыться как следует, от макушки до пят, а то сестра Рита скажет, что за мной присмотра нет и я вот‑вот еще чем‑нибудь заболею. Рано утром, еще до мессы, мама кипятит в кастрюле воду и чуть не ошпаривает мне голову. Потом принимается за уши и трет меня всего мочалкой так, что кожа горит. Два пенса на автобус до больницы у мамы есть, а обратно придется идти пешком, но это даже хорошо — после обильного обеда полезно пузо растрясти. А сейчас маме снова надо разжечь огонь, чтобы сварить свиную голову с капустой и молочно‑белыми картофелинами, которыми нас щедро одарило Общества Святого Викентия де Поля.

— Нет уж, — решительно говорит мама. — Это последнее Рождество со свиной головой. На будущий год будет у нас гусь или окорок, почему бы и нет? Лимерик на весь мир славится окороками.

— Гляньте‑ка на нашего солдатика! Жив‑здоров, худой только, кожа да кости, — встречает меня сестра Рита. — На мессу утром ходил?

— Да, сестра.

— Причастился?

— Да, сестра.

Она отводит меня в пустую палату и велит, чтоб я посидел тут на стуле и что мне скоро принесут обед. Она уходит, а я думаю: интересно меня посадят обедать с монахинями и медсестрами или в палате с другими детьми? Вскоре приходит девушка в синем платье, та, что приносила книги. Она ставит поднос с едой на кровать, и я пододвигаю стул туда.

— Вот тебе обед, а на книжки не рассчитывай, — говорит она, почему‑то хмурясь.

Обед очень вкусный: индейка, картофельное пюре, горошек, желе, крем и кружка чаю. Желе и крем такие аппетитные! Начну‑ка я с них, все равно никто не видит, но стоит мне приняться за лакомство, как девушка в синем платье приносит мне хлеб.

— Что это ты делаешь?! — возмущается она.

— Ничего.

— Как это ничего? Сладкое ешь перед обедом! — Она убегает с криком: — Сестра Рита, сестра Рита, идите скорее сюда.

— Фрэнсис, что случилось? — влетает в палату сестра Рита.

— Ничего, сестра, — отвечаю я.

— Как это ничего? Он желе и крем съел перед обедом. Это грех, сестра!

— Ладно‑ладно, дорогая. Ты беги, я поговорю с Фрэнсисом.

— Да уж, сестра, поговорите. Если все дети в больнице начнут есть сладкое перед обедом, где мы тогда окажемся?

— Да уж, воистину! Ну, беги.

Девушка уходит, а сестра Рита улыбается мне.

— Все‑то она примечает. Нужно быть терпеливыми с ней, Фрэнсис, она не такая как мы. — Сестра Рита уходит, и я остаюсь один в пустой палате.

С обедом покончено, и я не знаю, что делать дальше, потому что никто не дал мне никаких указаний. В больницах и школах всегда дают указания, что и как делать. Наконец девушка в синем платье приходит за подносом.

— Наелся? — спрашивает она.

— Да.

— Больше ничего не дадут, можешь идти домой.

Но можно ли верить указаниям девушки, которая малость не в себе? Может, лучше подождать сестру Риту? Коридорная медсестра сообщает, что сестра Рита обедает и ее нельзя беспокоить.

От Юнион‑кросс до Барачного холма идти далеко, и когда я прихожу домой, все уже сидят в «Италии» и едят свиную голову, капусту и молочно‑белый картофель. Я рассказываю им про рождественский обед. Маме интересно с кем я обедал. С медсестрами и монахинями? Я отвечаю, что один в палате, и она немножко сердится, мол, кто же так с ребенком обращается?

— Садись, свиной головы поешь, — предлагает она.

Я с трудом проглатываю кусочек — я уже так объелся, что живот торчит.

Рано утром к нам в переулок — невиданное дело — автомобиль. Из него выходят мужчины в костюмах и смотрят на дверь конюшни, где живет Финн. Наверное, что‑то случилось — к нам сюда никогда не приезжают люди в униформе.

Да, Финну плохо. Он лежит на полу в конюшне, смотрит на улицу, а вокруг рта у него пенится что‑то белое, похожее на молоко. Конюх говорит, что когда пришел утром, Финн уже так лежал, и это странно, потому что по утрам он всегда радуется и ждет, когда его покормят. Люди в костюмах качают головами.

— Мистер, что с Финном? — спрашивает мой братик Майкл у одного из них.

— Заболел он, сынок. Ступай домой.

От конюха пахнет перегаром.

— Конь не жилец, — говорит он Майклу. — Придется пристрелить.

— Фрэнк, они ведь его не убьют? — тянет меня за руку Майкл. — Скажи им, чтоб не убивали. Ты большой, тебя послушают.

— Иди домой, мальчик. Уйди, — повторяет конюх.

Майкл бросается на него, пинает по ноге, царапает руку. Конюх отшвыривает его от себя, и Майкл падает на землю.

— Брата своего придержи, — велит он. — Придержи брата.

Человек в костюме достает какую‑то желто‑коричневую штуковину из сумки, приставляет ее к голове Финна. Раздается треск, Финн дергается. Майкл кричит, бросается на человека в костюме, но тот отвечает:

— Лошадка болела, сынок. Так будет лучше.

Люди в костюмах уезжают, а конюх говорит, что сейчас приедет грузовик и увезет Финна, здесь его оставлять нельзя, крысы тут же набегут. Он просит нас приглядеть за конем вместе с Лаки, а он пока сходит в паб, ему опрокинуть кружечку надо, а то тяжко на душе.

Хоть Майкл и маленький, но у него палка и ни одна крыса ни за что до Финна не доберется. Конюх возвращается, и от него разит портером. Потом приезжает грузовик с тремя рабочими. Они перекидывают из кузова на землю, прямо к голове Финна, две доски. Потом вместе с конюхом обвязывают Финна веревкой и тащат его в кузов по доскам, а соседи кричат на них, потому что из досок торчат гвозди и щепки, они продирают на шкуре Финна кровавые полосы, и доски окрашиваются в розовый цвет.

— Шкуру ведь сдерете! Имейте уважение к мертвым! Полегче там с бедной лошадью! — кричат наперебой соседи.

— Ну, чего раскудахтались? Это же просто лошадь дохлая! — орет им в ответ конюх.

Майкл, наклонив голову, налетает на него и молотит кулачками, но тот отшвыривает его от себя так, что Майкл шмякается на спину. Мама выбегает из дома и набрасывается на конюха с такой яростью, что тот, перепугавшись, бежит вверх по доскам, перемахивает через мертвого Финна и дает деру.

Возвращается он вечером пьяный, утром уходит, а от тлеющей соломы случается такой пожар, что конюшня сгорает дотла. Крысы разбегаются во все стороны, а мальчишки и собаки со всей округи гонят их к улицам, где живут респектабельные горожане.

## IX

— Все, Альфи — последний, — заявляет мама. — Сил моих нет. Хватит. Больше никаких детей.

— Добрая католичка должна исполнять супружеский долг и подчиняться мужу, иначе ее ждут вечные муки, — говорит папа.

— Если эти муки никак с детьми не связаны, то я согласна, — отвечает мама.

Что делать отцу? Идет война. Англичане вербуют рабочую силу на военные заводы. Платят там хорошо, в Ирландии работы нет, а раз жене ты не нужен, то в Англии женщин хватает. Здоровые английские мужчины ушли воевать с Гитлером и Муссолини, так что можешь делать все, что угодно, главное — не забывай свое место, потому что ты ирландец и низший класс.

Многим семья в нашем переулке отцы присылают денежные переводы из Англии. Получив телеграмму, те тут же бегут на почту за деньгами, чтобы после накупить разного‑всякого и хвастаться перед всеми своим достатком. Мальчишек по субботам стригут, женщины завивают себе волосы железными щипцами. Богатые соседи теперь могут позволить себе платить шесть пенсов или даже шиллинг за билеты в «Савой‑синема», куда ходит публика поприличней, а не та рвань, что теснится на двухпенсовой галерке и улюлюкает, когда африканцы мечут копья в Тарзана или индейцы снимают скальпы с американских кавалерийцев. Новоявленные богачи важно возвращаются домой с мессы по воскресеньям и объедаются мясом с картошкой, конфетами и пирожными; чай они пьют из маленьких фарфоровых чашечек, которые ставят на блюдца, чтоб он не проливался, а когда поднимают чашечку, то оттопыривают мизинчик, мол, посмотрите, какие мы все из себя культурные. Некоторые перестают ходить в кафе, потому что такие места, видите ли, только для пьяной солдатни, уличных девок и неудачников, что пропивают пособие, и жены их потом выкликают из пабов. Нет, приличные люди ходят в ресторан «Савой» или «Стеллу», пьют там чай, едят булочки, вытирают рот салфеточками и возвращаются домой на автобусе, причитая, что обслуживание, мол, уже не то, что раньше. Дома у них электричество и можно разглядеть даже то, чего раньше не было видно, а когда стемнеет — включить новехонький радиоприемник и слушать военные сводки. Они благодарят Бога за Гитлера, потому что если бы он не прошелся по всей Европе, мужчины Ирландии по‑прежнему сидели бы дома и почесывали задницы в очереди за пособием.

Некоторые даже поют:

Не нужны нам англичане,

Не сдались французы.

Лучше мы с Германией,

Выступим союзом.

Если холодает, они включают электрические печки, сидят на кухне, слушают новости, охают, мол, как жаль, что от немецких бомбежек гибнут английские женщины и дети, но посмотрите, что с нами делала Англия восемьсот лет.

Семьи, у которых отцы работают в Англии, важничают перед остальными. Мамаши встают у дверей и зовут детишек ужинать или чай пить.

— Мики, Кэтлин, Пэдди, ужинать идите. У нас вкусненькая ножка ягненка, восхитительный зеленый горошек и белейшая картошечка.

— Шон, Джози, Пегги, идите чай пить, проголодались, наверное, я вам свежайшего хлебушка дам с маслицем и вкуснейшее яичко утиное, какого тут никто не пробовал.

— Брендан, Энни, Пэтси, идите есть. Я кровяные колбаски поджарила, шкворчат еще, а на десерт будет чудесный бисквит, пропитанный лучшим испанским шерри.

Когда начинаются такие зазывания, мама велит нам сидеть дома. У нас кроме хлеба и чая ничего нет, и она не хочет, чтобы вредные соседи видели, как мы сидим с разинутыми ртами и мучаемся от аппетитных ароматов, плывущих по улице.

— Сразу видно, — говорит она, — что люди эти только‑только из бедности вылезли, вот и хвастаются. Только бедняки будут сообщать всем, что у них на ужин. Позлить нас хотят, потому что отец у вас с Севера и не хочет иметь с ними дела.

Папа утверждает, что все эти продукты куплены на английские деньги и удачи они не принесут, но что вообще можно ожидать от Лимерика, где люди наживаются на войне, развязанной Гитлером, — и воюют, и работают по указке англичан. Сам он нипочем в Англию не поедет и не будет англичанам помогать.

— Да уж, лучше сидеть здесь без работы и не иметь ни уголька, чтобы воду на чай вскипятить, — ухмыляется мама. — Лучше сидеть здесь, пропивать пособие, когда тебе в голову взбредет, и смотреть, как твои сыновья ходят в рваных ботинках и штанах. У всех в переулке уже электричество есть, только мы считаем, что нам крупно повезло, если свечка завалящая находится. Да, Боже мой, если бы у меня деньги на билет были, я б сама в Англию поехала, на заводах уж точно и женский труд нужен.

Папа говорит, что нечего женщинам на заводе делать, а мама отвечает, что нечего мужчинам задницу у огня просиживать.

— А может, пап, тебе все‑таки поехать в Англию? — спрашиваю я. — У нас бы электричество было и радиоприемник, и мама тоже вставала бы у двери и всем рассказывала, что у нас на ужин.

— Тебе разве не хочется, чтобы папа был дома, с тобой? — спрашивает папа.

— Хочется, но ты же вернешься, когда война кончится, и мы все вместе уедем в Америку.

— Ну ладно, ладно, — вздыхает папа. — Хорошо, поеду в Англию после Рождества, потому что если уж Америка в войну вступила, значит, дело серьезное.

А если бы американцы воевать не стали, папа бы не поехал. Он говорит, что мне придется остаться за старшего в семье, и нанимается на завод в городе Ковентри, который, говорят, чаще всего подвергается бомбежкам. Вербовщик говорит, что там полно работы для тех, кто ее не боится. Можно даже сверхурочно работать, пока не свалишься от усталости, а если будешь откладывать деньги, приятель, то к концу войны вообще сделаешься богатым, как Рокфеллер.

Рано утром мы провожаем папу на вокзал. Кэтлин О’Коннел — хозяйка продуктовой лавки — знает, что папа уезжает в Англию и деньги так и потекут к нам ручьем, так что с радостью дает маме взять в долг чай, молоко, сахар, хлеб, масло и яйцо.

Одно на всех.

— Отцу оставьте, — велит мама. — Ему поесть нужно, как следует, дорога длинная.

Папа очищает сваренное вкрутую яйцо, режет его на пять частей и дает нам по малюсенькому ломтику на бутерброд.

— Не дури, — ворчит мама.

— Да зачем одному человеку целое яйцо? — говорит папа.

У мамы слезы на ресницах. Она садится ближе к огню. Мы едим хлеб с яйцом, а мама все плачет.

— Ну, чего уставились? — бросает она, отворачивается и смотрит на золу в камине.

Ее доля хлеба с яйцом так и лежит на столе. Интересно, будет ли она их есть? Они выглядят так аппетитно, а я совсем не наелся, но папа забирает хлеб с яйцом и относит маме к огню вместе с чаем. Мама качает головой, но он сует ей хлеб и чай, и она съедает хлеб и пьет чай, шмыгая носом и всхлипывая. Папа сидит напротив нее, молчит, потом смотрит на часы.

— Ну все, пора. — Он надевает кепку и берет саквояж.

Мама заворачивает Альфи в старое одеяло, и мы выходим на улицу.

С нами рядом идут и другие семьи. Уезжающие отцы шествуют немного впереди, матери несут детей на руках или толкают перед собой коляски.

— Боже, миссус, — говорит одна из мам с коляской женщине без коляски. — Неужели вы не устали тащить ребенка на себе? Положили бы его в колясочку и дали бы отдых рукам.

В коляску может быть напихано четыре‑пять малышей. Они едут и ревут, потому что коляски старые и с кривыми колесами, малышей трясет и укачивает, и они выдают обратно съеденные конфеты.

Мужчины перекрикиваются.

— Здорово, Мик.

— Хорошая погодка на дорожку, Джо.

— Ага, Мик.

— Что, может, пойдем по кружечке пропустим до поезда, а, Джо?

— Отчего бы и нет, Мик, хуже не станет.

Они смеются, а у жен, которые идут позади, глаза заплаканные и носы распухшие от слез.

Привокзальные пабы полны мужчин, пропивающих деньги, которые вербовщики выдали им на то, чтобы купить еду в дорогу. Мужчины выпивают последнюю пинту, последнюю каплю виски на ирландской земле.

— Может и вообще последнюю, да, Мик? — говорит Джо. — Ох и бомбят фрицы Англию, и давно пора после всего того, что англичане с нами сделали, а прискорбнее всего то, что мы теперь едем спасать задницу своего заклятого врага.

Женщины стоят около паба и разговаривают. Мама рассказывает миссис Михан, что первый же денежный перевод потратит на хороший завтрак, чтоб каждый из нас съел по яйцу утром в воскресенье.

— Слышал? — киваю я Мэйлахи. — Каждому по яйцу!

Боже мой, я уже представляю, как буду его есть. Сначала тихонько постучу по верхушке, надломлю скорлупу, аккуратно сниму ее ложечкой, добавлю капельку масла, посолю желток немножко, медленно окуну ложечку в желток, съем, еще капельку масла, еще соли — и снова в рот. Если и есть райская пища, то это точно яйцо с маслом и солью, а после яйца всего вкуснее на свете — ломоть горячего хлеба и кружка сладкого золотистого чая.

Некоторые мужчины уже так напились, что идти не могут, и вербовщики платят тем, кто потрезвее, чтоб те вытащили пьяных из пабов, побросали на телегу, отвезли на вокзал и погрузили в поезд. Вербовщикам отчаянно хочется вытащить всех из пабов.

— Ну же, вставайте. Поезд уйдет, и прощай хорошая работа. Вставайте, ребята, в Англии тоже «Гиннесс» есть и «Джеймсон». Ну, давайте, поднимайтесь, вы же пропиваете деньги на еду, других никто не даст.

— Идите вы в задницу, — говорят мужчины вербовщикам. — Радуйтесь, что вообще живы, а не болтаетесь на фонарных столбах после того, что с Ирландией творили. — И тут же принимаются горланить:

Рано утром в понедельник

Во дворе тюрьмы Маунтджой

Кевин Барри распрощался

С жизнью со своей младой.

Поезд дает гудок, вербовщики умоляют женщин вытащить мужей из пабов. Мужья бредут, спотыкаясь, горланят песни, рыдают, обнимают жен и детей и обещают прислать столько денег, что Лимерик станет вторым Нью‑Йорком. Потом поднимаются по ступенькам на перрон, а женщины кричат им вслед.

— Кевин, любимый, береги себя и не надевай мокрых рубашек!

— Носки просушивай, Майкл, а то бородавки тебя доконают!

— Пэдди, смотри, полегче там с выпивкой, слышишь, Пэдди?!

— Папа, папа, не уезжай! Папа!

— Томми, денег прислать не забудь! Дети кожа да кости!

— Питер, лекарство от кашля принимай! Боже помоги нам!

— Ларри, не лезь под чертовы бомбы!

— Кристи, с англичанками не болтай! Они заразные все!

— Джеки, вернись! Как‑нибудь справимся! Не уезжай, Джеки‑и‑и, Джеки‑и‑и, Боже мой, не уезжай!

Папа гладит нас по головам, просит не забывать молиться, но главное — слушаться маму. Он подходит к ней. У нее на руках малыш Альфи.

— Береги себя, — говорит она ему.

Папа роняет саквояж на землю и обнимает маму. Они стоят так с минутку, потом малыш между ними взвизгивает. Папа кивает, берет саквояж, поднимается на перрон, оборачивается, машет нам и все — папы нет.

Дома мама говорит:

— Мне все равно. Это расточительство, конечно, но я все равно разожгу огонь и сделаю еще чаю — не каждый же день отец уезжает в Англию.

Мы сидим у огня, пьем чай и плачем, потому что папа уехал.

— Ну‑ну, не плачьте, — успокаивает нас мама. — Папа же в Англию уехал, теперь вам лучше заживется.

Обязательно.

###### \* \* \*

Мама и Брайди Хэннон сидят у огня в «Италии», пьют чай и курят, а я сижу на стуле и слушаю, о чем они говорят. Папа наш теперь в Англии, так что можно брать все, что пожелаешь в лавке Кэтлин О’Коннелл, а расплатиться потом, когда папа пришлет деньги через две недели. Мама говорит Брайди, что ждет не дождется, когда можно будет наконец перебраться из этого чертового переулка в дом с приличным туалетом, куда не шастает еще полгорода. Она купит всем нам дождевики и ботинки, так что из школы домой мы будем приходить сухие, и голодать больше не придется. По воскресеньям на завтрак станем есть яичницу с ветчиной, а на ужин — окорок с капустой и картошкой. А еще электричество в доме будет, почему бы нет? Фрэнк и Мэйлахи вообще родились в Америке, где у всех оно есть.

Вот подождем две недели, а там мальчик‑рассыльный постучит к нам в дверь. Папе надо устроиться на новом месте, купить рабочую одежду, снять жилье, так что первый денежный перевод будет небольшим — фунта три, может, три фунта десять пенсов, — но после мы будем получать пять фунтов в неделю, как и соседи, отдадим все долги, купим новую одежду, откладывать будем, чтоб потом насовсем в Англию переехать, а оттуда — в Америку. Мама и сама устроится на какой‑нибудь английский завод, где делают бомбы или еще что‑нибудь, и у нас денег будет — куры не клюют. Нехорошо, конечно, если дети станут говорить с английским акцентом, но лучше уж английский акцент, чем пустое брюхо.

Брайди говорит, что неважно, какой у ирландца акцент — он никогда не забудет, как англичане с нами обращались долгих восемь веков.

Мы все знаем, что суббота в нашем переулке — большой день. Некоторые семьи, например, Даунсы из дома напротив, получают телеграмму рано утром, потому что мистер Даунс — человек обязательный: выпьет пинту‑две после работы в пятницу и сразу домой — спать. Такие мужья, как он, получат зарплату — и бегом на почту, чтоб семья ни секунды не волновалась. Такие отцы, как мистер Даунс, посылают сыновьям нашивки Королевских Воздушных Сил, чтоб те их на рукавах пальто носили. Мы тоже такие хотим, и мы папу просили, чтоб не забыл про нашивки.

И вот, в переулок въезжают рассыльные на велосипедах. Этим мальчишкам повезло — в трущобах по субботам дают больше чаевых, чем на богатых улицах, где тебе даже ссак пожалеют.

Соседи, получившие телеграммы рано утром, ходят довольные. Вся суббота впереди и можно распорядиться деньгами в свое удовольствие. Они сходят за покупками, поедят, а потом станут думать, чем развлечь себя вечером, а это почти так же приятно, как и само развлечение, ведь если настал субботний вечер, а у тебя есть несколько шиллингов в кармане, значит, это будет лучший вечер недели.

Некоторые соседи получают телеграмму не каждую неделю, таких сразу видно по встревоженному взгляду. Миссис Мигер уже два месяца каждую субботу караулит рассыльного у дверей. Мама говорит, что ей было бы ужасно стыдно стоять так на пороге и ждать. Дети Мигеров, играя на улице, тоже высматривают рассыльных.

— Мальчик, а мальчик, есть что‑нибудь Мигерам?

Рассыльный отвечает, что нет, и они переспрашивают:

— Уверен?

— Конечно, — отвечает тот. — Я ж знаю, что в сумке вожу.

Всем известно, что после того, как в шесть прозвонит Анжелюс, рассыльных больше не будет и темнота принесет отчаяние женам и детям.

— Мальчик, посмотри еще раз? Ну, пожалуйста!

— Да смотрел уже. Ничего вам нет.

— Ну, пожалуйста, глянь, а? Мигеры мы. Посмотришь?

— Да знаю я, что вы Мигеры, сто раз смотрел уже.

Дети вцепляются в рассыльного, а он от них отбрыкивается.

— Да отстаньте вы от меня.

Когда звонит Анжелюс, значит, все, день окончен. Те, кто с телеграммами, ужинают при ярком электрическом свете, а кто без телеграмм — сидят при свечах и спрашивают у Кэтлин О’Коннор, не даст ли она им немного чаю и хлеба до следующей недели, когда они уж точно, с Божьей помощью, получат телеграмму.

Мистер Михан из дома выше по переулку уехал в Англию вместе с нашим папой. Рассыльный останавливается у дома Миханов, значит, мы — следующие. Мама уже надела пальто, чтобы идти на почту, но сказала, что не спустится из «Италии», пока телеграмма не будет у нее в руках. Рассыльный проезжает мимо нашего дома и заруливает к Даунсам. Он отдает им телеграмму, получает чаевые, разворачивается и едет обратно в гору.

— Мальчик, мальчик! — кричит Мэйлахи. — А Маккортам что‑нибудь есть? Мы телеграмму ждем сегодня.

Мальчик качает головой и уезжает.

Мама затягивается сигаретой.

— Ладно, еще целый день впереди, хотя лучше бы, конечно, за покупками с утра сходить, пока самую лучшую ветчину у мясника не разобрали.

Мама не может оставить огонь, а то он потухнет, а мы не уходим с улицы — вдруг рассыльный приедет, дома никого не будет, придется ждать денег до понедельника и выходные совсем пропадут. Придется смотреть на то, как Миханы и другие соседи идут по улице в новой одежде и несут тяжелые сумки с яйцами, картошкой и сосисками для воскресного обеда, а вечером уходят в кино. Нет уж, с места не сдвинемся, пока рассыльный не приедет. Мама говорит, что пока рано волноваться, потому что у некоторых рассыльных обед с полудня до двух, а уж потом они будут ехать и ехать до самого Анжелюса. Так что до шести можно не беспокоиться. Мы останавливаем каждого мальчика‑рассыльного, сообщаем что мы — Маккорты, ждем первую телеграмму и нам должно прийти фунта три или чуть больше. Может, на почте забыли фамилию надписать или адрес? Точно ничего нет? Один мальчик обещает, что спросит на почте, потому что знает, каково это ждать телеграмму — у него у самого отец, пьянь подзаборная, уехал в Англию и ни пенни не прислал. Мама слышит его и говорит нам, чтоб не смели так же об отце отзываться. Этот же мальчик приезжает перед самым Анжелюсом и говорит, что спрашивал у самой миссис О’Коннелл на почте, нет ли чего Маккортам — весь день спрашивал, но ничего нет. Мама отворачивается к прогоревшему камину и затягивается окурком, держа его между побуревшим большим пальцем и обожженным средним. Майклу всего пять, он ничего не поймет, пока ему не исполнится одиннадцать, как мне, вот он и спрашивает, пойдем ли мы есть рыбу с картошкой, потому что он проголодался.

— Через недельку теперь, милый, — говорит мама, и Майкл снова убегает играть на улицу.

Совершенно непонятно, куда себя девать, раз телеграмма не пришла. На улице весь вечер не станешь играть, потому что кроме твоих братьев там больше никого нет, да и чего сидеть на улице, когда отовсюду пахнет сосисками, жареной ветчиной и хлебом. Смотреть на ярко освещенные окна и подслушивать новости по «Би‑би‑си» или по «Ирландскому радио» тоже не хочется. Миссис Мигер с детьми ушли к себе — в кухонном окне у них тускло поблескивает свеча. Им тоже стыдно. Они вообще не выходят никуда вечером по субботам, и даже на мессу в воскресенье не ходят. Брайди Хэннон рассказала маме, что миссис Мигер постоянно стыдится того, что ее семья ходит в лохмотьях, и уже так отчаялась, что ходит в амбулаторию за бесплатной помощью. Мама говорит, что это самое худшее, что может случиться с семьей. Это хуже, чем получать пособие, хуже, чем ходить в Общество Святого Викентия и хуже, чем промышлять на улицах за компанию с цыганами и попрошайками. Это вообще последнее, что отделяет человека от работного дома, а его детей — от сиротского приюта.

###### \* \* \*

У меня между бровями вскакивает какая‑то болячка. Она серо‑кровавая и чешется.

— Не трожь, — говорит бабушка. — И водой не мочи, а то весь в язвах будешь.

Ага, если руку сломать, она тоже скажет, мол, не трогай и водой не мочи, а то весь в переломах будешь. Однако зараза из болячки все равно попадает мне в глаза, и теперь они красные, и из них течет какая‑то желтая гадость, так что я по утрам не могу их открыть. Веки так сильно слипаются, что мне приходится раздвигать их пальцами, а мама вытирает мне желтую гадость тряпочкой, смоченной в растворе борной кислоты. Ресницы у меня отваливаются, а без них в ветреные дни в глаза летит вся пыль, которая только есть в Лимерике. Бабушка говорит, что у меня теперь глаза лысые, и что сам виноват — сижу под фонарем в любую погоду, уткнувшись в книжку, и то же самое ждет Мэйлахи, если он чтение это не бросит. Майкл вон, и то уже приохотился нос в книжки совать, а лучше бы побегал поиграл, как нормальные дети.

— Книги, книги, книги, — ворчит бабушка. — Только окончательно глаза попортите.

Они с мамой пьют чай, и я слышу, как бабушка шепчет:

— Плевок святого Антония тут надобен.

— А что это? — шепчет в ответ мама.

— Твой плевок, когда не ела еще ничего с утра. Подойдешь к нему спящему да плюнешь в глаза. В слюне постящейся матери — большая целебная сила.

Но я всегда просыпаюсь раньше мамы, и на этот раз тоже разлепляю глаза задолго до того, как она встает. Я слышу ее шаги, и как только она наклоняется надо мной, я открываю глаза.

— О, глаза смог открыть, — говорит она.

— По‑моему, проходит.

— Вот и славно. — Она возвращается в постель.

Но ничего не проходит, и мама ведет меня в амбулаторию, где врачи осматривают бедняков и бесплатно выдают лекарства. Скамьи в амбулатории всегда забиты битком; все сидят и обсуждают свои хвори. Старики стонут, дети орут, матери их успокаивают. Посередине амбулатории высокая круглая стойка, похожая на прилавок. Нужно встать в очередь у стойки, и тогда тебя примут мистер Коффи или мистер Кейн. Женщины в амбулатории ведут себя так же, как в очереди у Общества Святого Викентия де Поля. Они кутаются в шали и заискивают перед мистером Коффи и мистером Кейном, потому что если разговаривать с теми без должного уважения, они скажут идти домой и приходить через неделю, а как уйдешь, если помощь нужна прямо сейчас? Мистер Коффи и мистер Кейн любят подтрунивать над женщинами в очереди. Это они решают, действительно ли ты нуждаешься в государственном пособии и помощи врача. Перед всей очередью нужно рассказать им, что с тобой случилось, и это их неизменно забавляет.

— Чего изволите, миссис О’Ши? — скажут они. — Талончик к доктору? А что у вас стряслось, миссис О’Ши? Ах, болит, да? Ну, может ветром надуло или капусты меньше надо было есть. От капусты такое бывает. — Они смеются, и миссис О’Ши тоже смеется, и все женщины смеются и говорят, что мистер Коффи и мистер Кейн — мастера шутить, нисколько не хуже Лорел и Харди[[88]](#footnote-88).

— Женщина, вы кто? — обращается мистер Коффи к маме.

— Анджела Маккорт, сэр.

— Что у вас?

— Не у меня, у сына, сэр. Глаза болят.

— Да уж, страх‑то какой, Господи. Красны, что солнце восходящее. Хоть японцам на флаг вешай, ха‑ха‑ха. Ему что, кислотой в лицо плеснули?

— Инфекция какая‑то, сэр. В прошлом году тиф у него был, а нынче — вот это.

— Ладно, ладно, не надо нам тут всю свою жизнь пересказывать. Нате вам талон к доктору Трою.

Две длинные скамьи заполнены пациентами, ожидающими приема. Мама садится рядом со старушкой, у которой никак не проходит огромная болячка на носу.

— Уж что я только не делала, миссус, все средства испробовала, что на Божьем свете есть. Годов‑то мне уже восемьдесят три, так я б хотела в могилу сойти здоровой. И совсем мало ведь мне нужно — всего‑то с приличным носом перед Спасителем предстать. А у вас что стряслось, миссус?

— Глаза болят у сына.

— Да Боже сохрани, никогда таких больных глаз не видала, да чтоб такие краснющие были.

— Инфекция, миссус.

— О, для этого верное средство есть. Чепец младенческий нужен.

— Что за чепчик?

— Младенцы рождаются иногда в таких, на головке у них сразу надет, редкостное чудо. Возьмите чепец этот да положите сыну на голову любого числа, в котором цифра три имеется, да пусть он не дышит три минуты, можете даже ему рот сами закрыть, а потом окропите его трижды святой водичкой с головы до ног, наутро‑то глазки и засияют.

— А где этот чепец достать?

— Да у всех повитух они есть, миссус. Что за повитуха без младенческого чепца? Он все болезни излечивает и от хворей хранит.

Мама отвечает, что спросит у сестры О’Холлоран, может у той где‑нибудь такое чудо есть.

Доктор Трой осматривает мои глаза.

— В больницу парня живо. В глазную палату. Вот направление.

— А что у него, доктор?

— Сложнейший случай конъюнктивита, даже не припомню такого, и еще что‑то, что не пойму. Глазник нужен.

— А надолго в больницу доктор?

— Да кто ж знает. Давно надо было парня ко мне вести.

В палате двадцать коек, тут лежат мужчины и мальчики с перебинтованными головами, черными повязками на глазу, в очках с толстыми стеклами. Некоторые ходят, нащупывая койки тростью. Один мужчина все время кричит, что он слишком молод чтоб ослепнуть, дети еще совсем малыши, а он их никогда не увидит.

— Господи Иисусе, за что ты меня так?! За что, Господи?! — то и дело вопрошает он.

Монахини в ужасе от того, что он поминает имя Господа всуе.

— Полно вам, Морис, прекратите богохульствовать. Руки и ноги у вас на месте. Вы живы. Да у всех свои беды. Ваши зачтутся вам на небесах, вспомните‑ка лучше про Спасителя нашего — на голове терновый венец, руки и ноги пробиты гвоздями, в боку рана.

— Боже, да погляди же ты на меня с небес и сжалься, — сокрушается Морис.

Сестра Бернадетт грозит ему, что если он не будет думать, что говорит, его поместят в изолятор.

На это Морис говорит только:

— Святый Боже!

А это лучше, чем «За что ты меня так, Господи?» и сестра Бернадетт больше его не ругает.

Утром меня зовут вниз — капать лекарство в глаза.

— Садись на высокий стул, — велит мне медсестра. — Держи конфетку.

У врача в руках бутылочка с какой‑то бурой жидкостью.

— Откинь голову, — говорит он мне. — Да, вот так, а теперь открой глаза, глаза открой. — Он льет жидкость мне в правый глаз, и мне будто огнем голову прожигает.

— Теперь другой глаз, — просит медсестра. — Ну же давай, будь молодцом. — Она раздвигает мне веки, и врач «обжигает» мне второй глаз. Медсестра вытирает мне щеки и велит бежать наверх, но я почти ничего не вижу и жжет так, что хочется лицо в ледяную воду сунуть.

— Ну давай, беги, — говорит доктор. — Ты же мужчина будущий и солдат!

Весь мир видится каким‑то коричневым и размытым. В палате все сидят и обедают. Мне тоже приносят поднос, но у меня в голове так жжет, что есть совсем не хочется. Я сажусь у своей койки, а мальчик напротив спрашивает:

— Эй, ты есть не будешь? Можно, я съем? — И забирает себе мой обед.

Я хочу прилечь, но медсестра не разрешает:

— Нет‑нет, днем лежать не полагается, не так уж и сильно ты болен.

Мне приходится сидеть с закрытыми глазами, все вокруг коричнево‑черное и черно‑коричневое, и мне кажется, что я сплю, потому что я вдруг слышу знакомый голос.

— Господь Всевышний, не тот ли это малец с тифом? Малыш Фрэнки? «Луна галеоном туманным скользила», помнишь? И правда ведь, Фрэнки. А меня сюда перевели из инфекционного отделения, слава Богу, а то там можно всякую заразу подхватить и неизвестно каких микробов приносишь домой на одежде. Что это с тобой, Фрэнки? Чего у тебя глазья какие‑то бурые?

— Инфекция у меня, Шеймус.

— Да пустяки, до свадьбы заживет, Фрэнки. Глаза упражнять нужно. Моргать очень полезно. Дядюшка мой слаб глазами был, так моргание его спасло просто. Моргал каждый день по часу и исцелился. Снова глаз как у орла стал.

Мне хочется расспросить его про моргание и про орлиный глаз, но он говорит:

— А помнишь, Фрэнки, те красивые стихи, что Патрисия читала? — Он встает между койками со шваброй и ведром в руках и начинает декламировать стих про разбойника.

Пациенты перестают стонать, монахини и медсестры бросают свои дела и слушают, а Шеймус все декламирует и декламирует, и когда доходит до последних строк, все ему громко‑прегромко хлопают и хвалят. Он отвечает, что уж больно нравится ему этот стих, и он всегда в голове его носит, куда бы ни пошел, и если бы не Фрэнки Маккорт с тифом и бедная Патрисия Мэдиган с дифтерией, упокой Господь душу несчастной девочки, он бы никогда это стихотворение не услышал. Я тут же становлюсь знаменитым в глазной палате, и все благодаря Шеймусу.

Мама не может навещать меня каждый день, потому что у нее не всегда есть деньги на автобус, а идти так далеко тяжело из‑за мозолей на ногах. Она говорит, что глаза у меня выглядят получше, хотя трудно сказать из‑за лекарства. По виду, и по запаху похоже на йод, и если это правда он, то ой как жжет, наверное. Но говорят же, чем лекарство горше — тем полезнее.

Когда погода проясняется, маме разрешают гулять со мной вокруг больницы, и надо же — у отделения для стариков стоит мистер Тимони и смотрит на небо. Мне хочется с ним поговорить, но надо спросить маму, потому что никогда наверняка не знаешь, что можно, а чего нельзя делать в больнице.

— Мистер Тимони!

— Кто это? Кто у нас тут?

— Фрэнк Маккорт, сэр.

— Фрэнсис, ах, Фрэнсис!

— А я его мама, мистер Тимони, — говорит мама.

— Тогда вам двоим повезло. У меня вот ни детишек, ни другой родни, да даже Макушлы, псины моей, нет больше. А ты что тут делаешь, Фрэнсис?

— У меня в глазах инфекция.

— Боже мой, Фрэнсис, нет, только не глаза. Святая Матерь Божья, ты еще слишком молод.

— Мистер Тимони, хотите я вам почитаю?

— Нет‑нет, сынок, у тебя же глаза болят, побереги их. Не нужны мне больше книги. У меня в голове хранится все, что нужно. Когда я молодой был, то предусмотрительно начитался всего, и теперь у меня в голове целая библиотека. Англичане убили мою жену, а ирландцы — бедняжку Макушлу. Вот ведь как в мире бывает, да?

— Мир ужасен, но Бог добр, — говорит мама.

— Да, миссус, добр. Бог сотворил этот ужасный мир, но сам Бог добр. Прощай, Фрэнсис. Вылечи глаза, а потом читай и читай, пока можешь. А хорошо было, когда мы с тобой старину Джонатана Свифта читали, да, Фрэнсис?

— Да, мистер Тимони.

Мама отводит меня обратно в палату.

— Не плачь из‑за мистера Тимони, — говорит она мне. — Он тебе кто, отец, что ли? Да и глаза еще сильнее заболят.

Шеймус приходит к нам в палату три раза в неделю и приносит в голове новые стихи.

— Ты огорчил Патрисию, Фрэнсис, когда сказал, что тебе не нравится стишок про филина и кошечку.

— Я жалею об этом, Шеймус.

— А ведь этот стих у меня в голове, Фрэнсис, и я расскажу его тебе, только больше не говори, что он дурацкий.

— Не буду.

Шеймус декламирует стих, и всем в палате он очень нравится. Они хотят выучить слова, Шеймус повторяет стих три раза, и вся палата декламирует вместе с ним:

Филин и Кошечка в море уплыли

На лодочке цвета горошка.

С собою побольше деньжат захватили

Да меду в кувшине немножко.

Филин воздел к небу звездному очи,

И под гитару спел песню:

Голубушка‑Кошка, милы вы мне очень,

Нет вас на свете чудесней!

На всем белом свете,

На всем белом свете,

Нет никого вас чудесней!

Все повторяют куплеты до конца вместе с Шеймусом, снова хлопают ему, а он смеется, довольный собой. Подобрав швабру и ведро, он уходит, а в палате теперь то и дело слышится день и ночь:

Голубушка Кошка, милы вы мне очень,

Нет вас на свете чудесней!

На всем белом свете,

На всем белом свете,

Нет никого вас чудесней!

В один из дней Шеймус приходит без швабры и ведра, и я беспокоюсь, что его уволили из‑за стихов, но он с улыбкой сообщает, что едет в Англию работать на заводе, там хоть платить нормально будут. А месяца через два он выпишет к себе жену, и может быть, Господь благословит их детишками — надо же что‑то делать со стихами, которые крутятся у него в голове, а что может быть лучше, чем рассказывать их малышам в память о милой Патрисии Мэдиган, которая умерла от дифтерии?

— Прощай, Фрэнсис. Кабы я умел, то написал бы тебе письмо, но я жену попрошу, когда она ко мне приедет. Может, даже и сам читать и писать выучусь, чтоб у ребеночка нашего будущего отец умный был, а не дурак.

Мне хочется заплакать, но нельзя — я же в глазной палате, и у меня бурая жидкость в глазах, да и медсестры пристыдят:

— Ну‑ка, будь мужчиной!

А монахини скажут:

— Ну‑ка, подумай о том, как страдал Господь наш на кресте — терновый венец, рана в боку, руки и ноги, пробиты гвоздями.

Я провожу в больнице месяц, и доктор разрешает мне уйти домой, пусть инфекция и не до конца из глаз вывелась, но если я буду их хорошенько промывать с мылом, вытирать чистым полотенцем и питаться говяжьим бульоном и яйцами, то скоро мои глазки снова засияют, ха‑ха.

###### \* \* \*

Мистер Даунс — наш сосед из дома напротив — приезжает на похороны матери и рассказывает миссис Даунс про моего отца. Та передает новости Брайди Хэннон, а Брайди — моей маме. Мистер Даунс говорит, что Мэйлахи Маккорт как с цепи сорвался — спускает получку в пабах по всему Ковентри и распевает ирландские революционные песни. Причем это еще ладно — англичане привыкли слушать про ирландские страдания в течение восьми веков, но не потерпят если кто‑то примется во всеуслышание оскорблять короля и королеву Англии, двух их славных дочерей и даже саму королеву‑мать. Обижать королеву‑мать — это уже ни в какие ворота не лезет. Бедная старушка‑то чем провинилась? Раз за разом Мэйлахи пропивает деньги на жилье, хозяин выгоняет его на улицу, и он ночует в парках. Стыд и срам, иначе не скажешь, и мистер Даунс рад, что Маккорт не из Лимерика родом, а то навлек бы позор на древнейший город. В магистрате уже теряют терпение, и если Мэйлахи Маккорт свои чертовы выходки не прекратит, его вообще из страны вышвырнут.

Мама говорит Брайди, что совсем не знает, что теперь — она никогда еще до такой крайней степени нужды не доходила. Кэтлин О’Коннелл больше не желает ссужать нас продуктами, мать собственная огрызается из‑за каждого шиллинга, а Обществе Святого Викентия де Поля интересуются, когда же она перестанет попрошайничать — муж‑то в Англии работает. Она стыдится, что мы ходим в драных старых рубашках, ветхих свитерах, облупленных ботинках и дырявых чулках. Ночами ей не дает спать мысль, что милосерднее всего было бы отдать мальчишек в приют, а самой поехать в Англию и найти работу, а через годик перевезти всех нас туда ради лучшей жизни. Хоть там и бомбят, но уж лучше бомбы, чем вечный позор и попрошайничество.

Нет, мысль о том, чтобы поместить нас в приют, ей невыносима. Ладно бы у нас тут было что‑то вроде американского «Бойз‑тауна»[[89]](#footnote-89) во главе с добрым, как Спенсер Трейси, священником, так нет, у «Христианских братьев»[[90]](#footnote-90) из Глина[[91]](#footnote-91) бить детей и морить их голодом — обычное дело.

Мама говорит, что остается только амбулатория и пособие для неимущих, и ей до смерти стыдно идти туда и просить помощи, ведь это означает, что ты дошел до предела и опустился почти до уровня цыган и уличных попрошаек. Придется унижаться перед мистером Коффи и мистером Кейном и благодарить Бога за то, что амбулатория на другом конце Лимерика, так что соседи не узнают, что мы получаем пособие оттуда.

Женщины советуют маме идти в амбулаторию с утра пораньше, пока мистер Коффи и мистер Кейн еще в добром расположении духа. А ближе к обеду настроение у них испортится, потому что они наслушаются просьб от сотен больных мужчин, женщин и детей. Мама возьмет нас собой — а то вдруг не поверят, что ей и вправду четверых детей кормить надо. Она встает спозаранку и в кои‑то веки велит нам не умываться, не причесываться и напялить то, что похуже. Меня просят хорошенько потереть и без того красные глаза — чем хуже у просителя вид, тем больше шансов получить пособие. Она сетует, что Мэйлахи, Майкл и Альфи с виду пышут здоровьем, и как нарочно, именно сегодня у них не ободраны коленки, нет ни ссадин, ни фингалов. Если по дороге встретится кто знакомый, о том, куда мы направляемся — молчок. Маме и так стыдно, ни к чему, чтоб все в Лимерике узнали и сообщили бабушке.

Около амбулатории уже очередь. Много женщин, у которых на руках сидят малыши Альфиного возраста; дети постарше играют на тротуаре. Матери прижимают к себе малышей, чтоб те не мерзли, а старшим детям покрикивают, чтоб не выбегали на улицу — не ровен час кто на машине или на велосипеде поедет. У стены стоят старички и старушки: одни разговаривают сами с собой, другие молчат. Мама велит нам не отходить от нее далеко, и мы полчаса стоим и ждем, когда откроется большая дверь. Оттуда выходит служащий и говорит, чтоб все заходили внутрь, соблюдая порядок, и встали в очередь у стойки, а мистер Коффи и мистер Кейн сей же час будут, только чай допьют. Какая‑то женщина ворчит, что дети совсем продрогли на улице стоять, и не могли бы Коффи и Кейн поторопиться со своим чертовым чаем?

— Кто тут бучу поднимает? — сердится служащий. — На первый раз я вас не записываю — утро и правда выдалось холодное, — но если вы, дамочка, еще хоть слово скажете, то непременно о том пожалеете.

Мистер Коффи и мистер Кейн садятся за стойку, не обращая никакого внимания на людей в очереди. Мистер Кейн надевает очки, снимает, протирает стекла, надевает снова и смотрит в потолок. Мистер Коффи читает газеты и пишет что‑то, передает газеты мистеру Кейну, шепчется с ним. Ни тот, ни другой не спешат и совсем не смотрят на нас.

Потом мистер Кейн вызывает старичка, который стоит первым в очереди.

— Ваше имя?

— Тимоти Кри, сэр.

— Кри? А что, старинная местная фамилия.

— Да, сэр. Вы правы.

— С чем пожаловали, Кри?

— Да желудок опять мучает, к доктору Фили бы надо.

— Может пива перебрали, а, Кри?

— Что вы, сэр. Какое тут пиво с такими болями. Да еще жена лежит, не встает, за ней ходить надо.

— Ох, сколько ленивых‑то на свете развелось, Кри.

— Слышите, дамы? Я говорю, ленивых многовато на свете развелось, — обращается мистер Кейн к очереди.

— Ваша правда, мистер Кейн, ох, развелось, — отзываются женщины.

Мистер Кри получает талон к доктору, очередь движется, и наконец мистер Кейн вызывает маму.

— За помощью от государства, сударыня, пришли, за пособием?

— Да, мистер Кейн.

— А муж ваш где?

— Он в Англии, но…

— В Англии? А как же денежные переводы каждую неделю? Кругленькая сумма ведь, наверное, приходит, а? Фунтов пять?

— Уже несколько месяцев ни пенни не присылал, мистер Кейн.

— Да вы что! Ну, всем известно, отчего такое случается. Знаем, знаем, что там мужья ирландские‑то в Англии вытворяют. Нет‑нет, да и встретишь на Пиккадилли земляка под ручку с потаскушкой. Верно говорю?

Он оглядывает очередь, и все понимают, что нужно сказать: «Да, мистер Кейн».

А еще посмеяться и поулыбаться, иначе придется туго, когда до стойки дойдешь. Все знают, что мистер Кейн может направить тебя к мистеру Коффи, а тот известен тем, что отказывает всем подряд.

Мама объясняет мистеру Кейну, что папа в Ковентри, а это очень далеко от Пиккадилли.

Мистер Кейн снимает очки и изумленно глядит на нее:

— Вы что, спорить тут задумали?

— Ой нет, мистер Кейн, конечно же, нет.

— Позвольте сообщить вам, дамочка, что у нас тут строгое правило: не давать пособие женщинам, у которых мужья в Англии. Вы же отбираете кусок хлеба у тех, кто действительно в нем нуждается, у тех, кто остался на родине и готов ей служить.

— О, да, мистер Кейн.

— А фамилия ваша как?

— Маккорт, сэр.

— Это не местная фамилия. Откуда у вас такая?

— От мужа, сэр. Он с Севера родом.

— Так он еще и с Севера? И бросил вас тут, чтоб вы получали пособие от Ирландского Свободного Государства? За это что ли мы боролись?

— Не знаю, сэр.

— Отчего бы вам тогда в Белфаст не податься, может оранжисты вам помогут, а?

— Не знаю, сэр.

— Не знает она. Конечно, вы не знаете. Совсем мир в невежестве погряз!

Он оглядывает очередь.

— Я говорю, мир в невежестве совсем погряз.

Очередь кивает и соглашается, что да, ой как погряз.

Мистер Кейн шепчет что‑то мистеру Коффи, они смотрят то на маму, то на нас. Наконец мистер Кейн объявляет маме, что пособие она получит, но если ей хоть пенни от мужа придет, то она без промедления вернет деньги. Мама заверяет его, что так и сделает.

Мы выходим из амбулатории и идем в лавку Кэтлин за чаем, хлебом и брикетами торфа. Дома поднимаемся в «Италию», разводим огонь и пьем чай в тепле и уюте. Мы все, даже малыш Альфи, ведем себя очень тихо, потому что понимаем: мистер Кейн сильно обидел маму.

## X

Внизу в «Ирландии» холодно и сыро, но мы сидим в «Италии». Мама говорит, что надо бы папу римского тоже сюда к себе взять и повесить напротив окна. Он же друг рабочего класса, итальянец, а итальянцы тепло любят. Мама сидит у огня и дрожит. Все это как‑то странно, ведь ей даже курить не хочется. Она говорит, что, кажется, простудилась, и ей бы чего‑нибудь сладкого выпить, лимонаду, например. Но нам не на что даже хлеба купить к завтраку. Мама пьет чай и ложится спать.

Ее кровать всю ночь скрипит — мама ворочается, стонет и просит воды, — и мы никак не можем уснуть. Утром она не встает и по‑прежнему дрожит, и мы сидим, притихшие. Если она сейчас не встанет, мы с Мэйлахи опоздаем в школу. Час проходит за часом, а мама все лежит. В школу идти уже поздно, я разжигаю огонь и ставлю чайник. Мама шевелится и просит лимонаду, но я даю ей воду в стеклянной банке. Я спрашиваю, не хочет ли она чаю, но она меня будто не слышит. Щеки у нее горят, и она почему‑то даже не просит сигареты.

Мэйлахи, Майкл, Альфи и я тихонько пьем чай у огня. Альфи дожевывает последний в доме кусочек хлеба с сахаром и ужасно смешно размазывает сахар по лицу, отчего его пухлые щечки становятся липкими. Громко смеяться нельзя, а то мама вскочит с постели и отправит нас с Мэйлахи в школу, а там нас убьют за опоздание. Но смеемся мы недолго, потому что хлеба больше нет, а нам хочется есть. В лавке О’Коннелл больше ничего не дадут. К бабушке тоже не сунешься — она и так все время орет на нас, потому что папа с Севера, а теперь еще и денег не присылает из Англии, где работает на военном заводе. Бабушка говорит, что ему наплевать, помрем мы тут с голоду или нет, и мол, ничего, будет знать ваша мама, как выскакивать замуж за северянина, у которого кожа бледная, странности всякие, и вообще, он на пресвитерианина похож.

Нет, все‑таки придется пойти к Кэтлин О’Коннелл. Скажу ей, что мама заболела и не встает, братья есть хотят и без хлеба мы умрем.

Я надеваю ботинки и бегу по улицам, чтобы не успеть замерзнуть на февральском морозе. В окна видны уютные кухни, где тепло от пылающего в камине огня или раскалившейся каминной решетки. Все залито электрическим светом, на столе стоят чайные пары и тарелки с ломтями хлеба и брусками масла, баночки с вареньем, и у меня текут слюнки от аромата яичницы с ветчиной. Семьи сидят за столами и завтракают, улыбаясь друг другу: мать в накрахмаленном белом фартучке, все чистенькие и причесанные, а со стены на них взирает Иисус. Взгляд его полон муки, потому что в груди у него пылает Святейшее Сердце, но в то же время он радуется, взирая на добрых католиков, у которых дома светло и полно еды.

От этой картины должна бы заиграть музыка в душе, но мне слышится только, как мама стонет и просит лимонад.

Лимонад. От «Саутс‑паба» как раз отъезжает фургон, оставив у двери ящики с пивом и лимонадом, и на улице ни души. Я запихиваю под свитер две бутылки лимонада и, как ни в чем не бывало, шагаю дальше.

Около лавки Кэтлин О’Коннелл стоит хлебный фургон. Дверца открыта, а на полках дымится свежевыпеченный хлеб. Водитель фургона пьет чай с булочкой в лавке, и мне без труда удается умыкнуть буханку. Воровать у Кэтлин вдвойне нехорошо — она всегда была добра к нам, но если я зайду внутрь и попрошу у нее хлеба, она рассердится и скажет:

— Даже чаю не дают спокойно попить с утра.

Проще запихать буханку под свитер, где у меня уже припрятан лимонад, и пообещать себе во всем сознаться на исповеди.

Мои братья играют в постели, но, завидев хлеб, тут же выскакивают из‑под старых пальто. Мы ломаем хлеб, потому что резать долго, а есть уже очень хочется, и заливаем кипятком утреннюю заварку. Мама в постели шевелится; Мэйлахи подносит к ее губам бутылку лимонада, и она выпивает ее всю глоток за глотком. Раз ей так нравится лимонад, придется раздобыть еще.

Мы бросаем последний кусочек угля в огонь, и принимаемся сочинять всякие истории, как делал папа. Я рассказываю про то, с какими приключениями добывал лимонад и хлеб, и выдумываю, как за мной гнались хозяева пабов и лавок, и как я забежал в церковь Святого Иосифа, где никому ни за кем гнаться не позволено, даже за преступником, который убил собственную мать. Мэйлахи и Майкл сначала потрясенно молчат, но потом Мэйлахи вспоминает, что Робин Гуд так же поступал — грабил богатых и отдавал добро бедным. Майкл заявляет, что я теперь разбойник, и если меня поймают, то повесят на самом высоком дереве в Народном парке, как преступников в кино, что показывают в «Лирик‑синема». Мэйлахи говорит, что мне обязательно следует пребывать в состоянии благодати, а то вдруг ни один священник не придет на мою казнь, а я доказываю ему, что священник обязательно на казнь приходит, для этого они, священники, и нужны. К Родди Маккорли священник приходил, и к Кевину Барри тоже. Мэйлахи возражает, что никаких священников там не было, потому что про них ничего не сказано в песнях, и в доказательство запевает песню, но мама стонет, чтоб мы замолчали.

Малыш Альфи спит на полу у огня. Мы кладем его в кровать поближе к маме, чтоб он не замерз, нельзя же, чтобы он тоже заболел и умер, а то мама проснется, увидит рядом с собой его мертвое тельце и причитаниям не будет конца, а виноват во всем окажусь я.

Мы втроем забираемся в нашу постель, зарываемся поглубже под пальто, стараясь не провалиться в дыру в матрасе. Нам уютно, но потом Майкл начинает волноваться, что Альфи заразится от мамы, а меня повесят, как преступника. Он говорит, что тогда у него останется всего один брат, а это нечестно, потому что у всех целая куча братьев. Устав беспокоиться, он засыпает, следом за ним и Мэйлахи, а я все лежу и думаю про варенье. Вот бы здорово раздобыть еще буханку хлеба и банку клубничного варенья, да любое сойдет, но я что‑то не припомню, чтобы с фургонов выгружали варенье, а врываться в магазин, как Джесси Джеймс[[92]](#footnote-92) и требовать варенье как‑то не хочется, иначе меня уж точно повесят.

В окна начинает светить холодное солнце — скорее всего, на улице потеплело. То‑то братья удивятся, если я раздобуду еще хлеба и варенья к тому времени, как они проснутся. Сами слопают все, а потом снова начнут пугать меня грехами и виселицей.

Мама все еще спит, но лицо у нее красное и дышит она с какими‑то хрипами.

По улице надо идти осторожно — сегодня будний день. Если гард Денни увидит меня, то потащит в школу и мистер О’Холлоран с меня три шкуры спустит. Гард Денни следит за школьной посещаемостью, уж он любит погоняться за прогульщиком на велосипеде и притащить того в школу за ухо.

Около двери большого дома на Баррингтон‑стрит стоит какая‑то коробка. Я делаю вид, что собираюсь постучать в дверь, а сам заглядываю в коробку: бутылка молока, хлеб, сыр, помидоры, и, о, Боже, банка повидла! Под свитер все это не запихнешь. А может, взять коробку целиком? Прохожие не обращают на меня никакого внимания, так что можно и всю коробку. Как мама говорит: «Все равно повесят, так какая разница: за овцу или за ягненка?» Я беру в руки коробку, делая вид, что я мальчик‑посыльный, и никто не говорит мне ни слова.

Мэйлахи и Майкл приходят в полный восторг, когда видят коробку, и тут же принимаются запихивать в рот толстые ломти хлеба с толстым слоем золотистого повидла. Альфи весь измазан в повидле: и личико, и волосы, даже на ноги и на живот попало. Мы запиваем еду холодным чаем, потому что у нас нет угля, чтобы вскипятить воду.

Мама снова бормочет, что ей бы лимонаду, и я отдаю ей половину второй бутылки, чтобы она успокоилась. Она просит еще, и я разбавляю оставшийся лимонад водой, чтоб хватило на подольше — не могу же я все время бегать по округе и таскать лимонад из пабов. Нам хорошо и весело, но тут мама начинает бредить о маленькой дочурке, которую у нее отняли, и о мальчиках‑близнецах, что умерли, когда им еще трех не было, и почему Богу было не забрать кого‑нибудь из богачей для разнообразия? И есть ли в доме лимонад вообще? Майкл начинает волноваться, что мама умрет, но Мэйлахи говорит ему, что никто не умирает до прихода священника. Тогда Майкл интересуется, будет ли у нас когда‑нибудь снова огонь в печке и горячий чай, потому что в постели очень холодно, даже под старыми пальто. Мэйлахи советует по домам походить и поспрашивать торфа, угля, и дров, а увезти то, что дадут, можно в коляске Альфи. И Альфи с собой возьмем — он маленький и улыбается, и нас буду жалеть еще больше. Мы пытаемся отмыть Альфи от грязи, ворса и липкого повидла, но, как только на него попадает вода, он поднимает рев. Майкл говорит, что все равно Альфи в коляске загрязнится, так что нет смысла его мыть. Майкл даром, что маленький, а иногда дело говорит!

Мы катим коляску по богатому району, но стоит постучаться в какой‑нибудь дом, как служанка тут же гонит нас прочь, говоря, что она сейчас вызовет кого надо, и вообще, позор таскать малыша в этой рухляди, от которой смердит хуже, чем от тележки, в которой свиней на бойню возят, а ведь мы живем в католической стране, в которой малышей следует холить и беречь, чтоб они нашу веру следующим поколениям передавали. Одной такой служанке Мэйлахи говорит:

— Поцелуйте меня в зад.

Она дает ему такую затрещину, что у него слезы на глазах выступают, и он обещает, что никогда в жизни больше ничего у богачей не попросит. И вообще, хватит просить, надо подъехать к черному ходу, перелезть через забор и взять, что захочешь. Майкл будет звонить в дверь и отвлекать служанок, а мы с Мэйлахи перебрасывать уголь и торф через забор и складывать к Альфи в коляску.

Таким манером мы обираем три дома, но потом Мэйлахи швыряет кусок угля через забор и попадает в Альфи. Тот пускается в рев, и нам приходится убегать без Майкла, который звонит в двери и получает нагоняй от служанок. Мэйлахи предлагает затащить коляску домой и вернуться за Майклом, но пока Альфи вопит, останавливаться нельзя, а то на нас и так уже грозно смотрят и говорят, что мы позорим свою мать и всю Ирландию.

Дома нам приходится попотеть, чтобы выковырять вопящего Альфи из коляски полной угля и торфа. Он замолкает только, когда я всучиваю ему хлеб с повидлом. Я боюсь, что мама сейчас вскочит с постели, но она только бормочет что‑то про папу, выпивку и мертвых малышей.

Мэйлахи возвращается с Майклом, и тот принимается рассказывать о своих приключениях. Оказывается, одна богатая леди сама открыла дверь, провела его на кухню, напоила молоком и угостила пирожным, хлебом и вареньем. Она расспрашивала про семью, и Майкл ей рассказал, что у папы важная работа в Англии, а мама заболела чем‑то ужасным, не встает и все время просит лимонаду. Богатая леди спросила, кто за нами присматривает, и Майкл похвалился, что мы сами за собой присматриваем, и у нас вдоволь хлеба с повидлом. Леди даже записала нашу фамилию и адрес и сказала Майклу, чтоб он был умницей и шел домой к братикам и больной мамочке.

Мэйлахи рявкает на Майкла, что тот тупица — все богачке разболтал. Теперь она пойдет и на нас донесет, и сейчас же толпа священников будет барабанить нам в дверь.

В дверь уже барабанят. Но это не священник, а гард Денни.

— Эй, есть кто дома? — кричит он. — Миссис Маккорт, вы дома?

Майкл стучит в окошко и машет рукой гарду. Я даю ему хорошего пинка, а Мэйлахи отвешивает подзатыльник.

— Я все гарду расскажу, — ревет Майкл. — Убива‑а‑ют, гард. По голове бьют и пинаются.

Майкл не унимается, и гард Денни кричит нам, чтоб мы сейчас же открыли дверь. Я кричу ему, что дверь открыть не могу, потому что мама слегла с ужасно заразной болезнью.

— А отец ваш где?

— В Англии.

— Откройте, я с вашей матушкой потолкую.

— Нельзя. Ни в коем случае. Она заразная. Мы все заразные. Тиф, наверное. А может чахотка скоротечная. Мы уже все пятнами пошли, а у малыша шишка на голове здоровая. От этого умирают.

Гард распахивает дверь и поднимается в «Италию», и тут как раз Альфи выкатывается из‑под маминого одеяла, весь в грязи и повидле. Гард смотрит на него, на маму, на нас, снимает кепку и чешет затылок.

— Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, да тут и впрямь беда. Как же мама ваша так сильно заболела?

Я говорю ему, что к ней даже близко нельзя подходить, а Мэйлахи — что мы теперь, наверное, ужасно долго в школу не пойдем, и гард отвечает, что в школу идти придется, что наша обязанность учиться, а его — следить за тем, чтоб мы учились. Он интересуется, где наши родственники, и отправляет меня за бабушкой и тетей Эгги.

Те сразу начинают орать на меня и называют паскудником. Я пытаюсь им объяснить, что мама заболела, а я изо всех сил пытаюсь свести концы с концами — достаю уголь для камина, лимонад для мамы и хлеб для братьев. Про повидло им лучше не рассказывать, а то опять разорутся. И про злых богачей и их служанок тоже не надо.

Они подталкивают меня в спину до самого дома, орут на меня и позорят перед соседями. Гард Денни все так же стоит и чешет у себя в затылке.

— Глядите, стыдоба какая, — говорит он. — Даже в Бомбее и в трущобах Нью‑Йорка такого не встретишь.

— Матерь Божья, Анджела, ты чего лежишь? — воет бабушка. — Что они с тобой сделали?

Мама проводит языком по сухим губам и просит еще лимонада.

— Она лимонада попросила, — поясняет Майкл. — И мы его раздобыли, и хлеба, и повидла тоже, и теперь мы все преступники. Фрэнки первый стал преступником, а потом мы вместе уголь таскали по всему Лимерику.

Вид у гарда Денни заинтересованный. Он уводит Майкла за руку вниз, и через несколько минут оттуда раздается громкий хохот гарда. Тетя Эгги говорит, что негоже так себя вести при больном человеке. Гард возвращается и велит ей идти за доктором, а сам все время прикрывает лицо кепкой, стоит ему взглянуть на меня или на братьев.

— Вот сорвиголовы, а? — приговаривает он. — Ну и сорвиголовы!

Доктор приезжает на автомобиле с тетей Эгги, и говорит, что маме срочно нужно в больницу, у нее пневмония. Нам всем хочется прокатиться в докторовом автомобиле.

— Нет, — запрещает тетя Эгги. — Со мной пойдете и будете жить у меня, пока мать не поправится.

Я говорю ей, что мне уже одиннадцать и я легко смогу приглядеть за братьями. Да я вообще рад буду посидеть дома и приглядеть, чтобы все были вымыты и сыты. Но бабушка кричит, что ничего такого мне не позволят, а тетя Эгги дает мне подзатыльник. Гард Денни говорит, что я еще слишком юн, чтобы быть преступником и отцом, но у меня есть все шансы преуспеть и в том, и в другом, когда я вырасту.

— Одежду соберите, — велит тетя Эгги. — Пойдете ко мне, пока мама не вернется из больницы. Святой Иисусе, малыш‑то как запаршивел!

Она заматывает Альфи тряпкой, чтоб он коляску не закакал, потом смотрит на нас и спрашивает, почему еще мы стоим тут, разинув рты, когда нам велено одежду собрать.

Я говорю ей, что одежда уже вся на нас и жду, что она или ударит меня или разорется, но она только смотрит на меня удивленно и качает головой.

— На, воды налей и сахару положи, — говорит она, протягивая мне бутылочку.

Потом велит катить мне коляску, потому что она с такой кособокой не справится — колеса кривые, коляска ходит туда‑сюда, да и вид у нее такой позорный, что она собаку‑то бы в ней везти постеснялась. Она сгребает пальто с нашей кровати и завешивает ими коляску, так что Альфи внутри почти не видно.

Бабушка идет с нами и кричит на меня всю дорогу от Роден‑лейн до квартиры тети Эгги на Уиндмилл‑стрит.

— Ты что, не можешь по‑нормальному коляску везти? Господи Иисусе, ребенка сейчас угробишь! Прекрати шататься из стороны в сторону, а не то я тебе по шее врежу.

К тете Эгги домой она не заходит — больше не может нас видеть ни минуты, сыта уже по горло всем выводком Маккортов, что свалился ей на шею из Америки — то денег им на похороны дай, то корми каждый раз, как папаша‑пьяница пособие или получку пропьет, то помогай Анджеле, пока этот проходимец с Севера пропивает зарплату по всей Англии. Нет уж, с нее хватит. Она уходит по Генри‑стрит, замотав черную шаль вокруг седой головы и хромая в своих черных высоких туфлях со шнурками.

Когда тебе одиннадцать, а твоим братьям — десять, пять и годик, то не знаешь, как себя вести в чужом доме, даже если это дом маминой сестры. Тебе велят поставить коляску в коридоре и принести малыша на кухню, но это не твой дом, поэтому ты не знаешь, что делать потом — вдруг тетя заорет на тебя или даст по башке? Она снимает пальто, уносит его в спальню, а ты стоишь с братиком на руках и ждешь, куда велят идти дальше. Если шагнуть вперед или вбок, то тетя выскочит из спальни и заорет, куда я пошел, а я и сам не знаю, куда. Если сказать что‑нибудь братьям, она заругает за то, что я разговариваю в ее кухне. Приходится стоять и молчать, а это трудно, потому что по звуку из спальни понятно, что тетя Эгги писает в горшок. Я не смотрю на Мэйлахи. Если я на него посмотрю, то улыбнусь, он тоже улыбнется и Майкл улыбнется, и мы все прыснем со смеху, а потом и расхохочемся, представляя белый зад тети Эгги на маленьком горшке в цветочек. Я держусь изо всех сил, и Майкл с Мэйлахи держатся, и все мы гордимся, что мы такие молодцы: не смеемся и не злим тетю Эгги, но потом Альфи у меня на руках улыбается, говорит: «Пись‑пись», и мы начинаем дружно хохотать. Альфи кривит грязное личико и снова говорит: «Пись‑пись», и все — нас уже не остановить. Тетя Эгги выскакивает из спальни, на ходу поправляя платье, и дает мне такую затрещину, что я с Альфи отлетаю к стенке. Мэйлахи она тоже бьет, и Майкла пытается ударить, но он убегает от нее за круглый стол и она не может до него достать.

— А ну, иди сюда, — шипит она. — Я тебя лыбиться‑то разучу.

Но Майкл все бегает вокруг стола, а тетя Эгги слишком толстая и неповоротливая.

— Я тебе потом задницу надеру, — грозит она ему. Потом обращается ко мне: — А ты, умник навозный, посади ребенка у камина.

Она достает из коляски пальто и постилает их на пол. Альфи лежит, пьет сахарную воду, говорит: «Пись‑пись» и улыбается.

Тетя Эгги велит нам снять с себя все «рванье», топать под кран во дворе и не возвращаться в дом, пока не отмоем себя добела. Мне хочется возразить, что сейчас февраль, на улице холодина, мы же заболеем и умрем, но я знаю, что если раскрою рот, то умру прямо здесь, на кухонном полу.

Мы стоим голышом на улице и плескаем на себя ледяную воду из‑под крана. Тетя Эгги бросает нам из окна щетку и большой кусок коричневого мыла, похожего на то, каким мыли Финна. Она велит нам тереть друг другу спины, пока она не скажет, что хватит. Майкл жалуется, что уже не чувствует рук и ног от холода, но тете Эгги наплевать. Она все твердит, что мы еще грязные и чтоб терли хорошенько, а то она сама выйдет, и мы потом локти кусать будем. Опять про локти. Я тру себя сильнее. Мы все растерлись докрасна, а зубы у нас уже стучат от холода. Но тете Эгги все мало. Она выходит и окатывает нас холодной водой из ведра.

— Марш в дом вытираться, — командует она.

Мы стоим в сарайчике, рядом с кухней, и вытираемся одним полотенцем. Мы стоим и дрожим, потому что надо ждать, когда разрешат войти в кухню. Нам слышно, как тетя Эгги разводит огонь в печке, орудуя кочергой.

— Вы что, до ночи там торчать собрались? — кричит она нам. — Заходите и одевайтесь. — Она дает нам по кружке чая и по куску жареного хлеба, и мы тихонько сидим и едим, потому что без разрешения нельзя даже пикнуть. Майкл просит еще жареного хлеба, и мы ждем, что ему сейчас влепят такую затрещину, что он со стула слетит, но тетя Эгги только ворчит:

— Вы небось по два куска хлеба и не едали ни разу. — И дает нам еще по куску.

Она пытается накормить Альфи хлебом, размоченным в чае, но он не ест. Тогда она присыпает хлеб сахаром, Альфи все съедает, улыбается и, к нашему восторгу, писает ей на колено. Тетя Эгги убегает в сарай за полотенцем, а мы переглядываемся, улыбаясь до ушей, и говорим Альфи, что он — самый лучший малыш на свете. В двери появляется Па Китинг, весь черный после работы на газовом заводе.

— О, надо же! — восклицает он. — Кто к нам пожаловал!

— У нас мама в больнице, дядя Па, — поясняет Майкл.

— Правда? А чего это с ней?

— Воспаление легких, — отвечает Мэйлахи.

— Хорошо, что не тяжелых, — шутит он.

Мы не понимаем, над чем он смеется, но тут из сарая возвращается тетя Эгги и сообщает дяде Па, что мама в больнице и мы поживем с ними, пока ее не выпишут.

— Вот и славно, — говорит дядя Па и уходит в сарайчик мыться, но возвращается такой же черный, как был.

Он садится за стол, и тетя Эгги ставит перед ним ужин — гренки, окорок и нарезанные помидоры. Нам она велит убраться подальше от стола и перестать глазеть на то, как дядя Па ест, а его ругает за то, что он кормит нас окороком и помидорами.

— Да боже мой, Эгги, — говорит он. — Дети голодные.

— А твое‑то какое дело? — напускается на него тетя Эгги. — Твои они, что ли? — Она велит нам идти на улицу поиграть и вернуться к полдевятому. На улице мороз, и лучше бы остаться в доме, но проще играть на улице, чем сидеть с тетей Эгги и слушать ее ругань.

Чуть позже она зовет меня в дом и посылает к соседке сверху за резиновым ковриком, который остался у нее после умершего ребенка. Соседка велит потом непременно вернуть коврик — он ей для следующего ребенка пригодится, а тетя Эгги говорит, что уж двенадцать лет назад у нее дите умерло, а она все коврик хранит. Ей уже сорок пять, так что если она кого‑нибудь народит, то звезда еще раз взойдет на Востоке[[93]](#footnote-93).

— А что это за звезда? — спрашивает Мэйлахи.

— Много будешь знать — скоро состаришься, — ворчит тетя Эгги.

Она расстилает коврик на своей постели и укладывает Альфи между собой и дядей Па. Тетя Эгги спит у стенки, а дядя Па с краю, потому что ему утром вставать на работу. Мы будем спать на полу, на одном старом пальто, а двумя остальными укроемся. Тетя Эгги грозит, что если услышит от нас хоть звук ночью, то надерет нам задницы, и встать нам надо рано утром, потому что завтра Пепельная среда[[94]](#footnote-94) и нам не помешает сходить на мессу и помолиться за бедную мать, у которой воспаление легких.

Будильник вырывает нас из сна.

— Эй, вы трое, вставайте и живо на мессу. Слышите? Подъем! Умойтесь и топайте к иезуитам, — кричит тетя Эгги из постели.

На заднем дворе иней и лед, от холодной воды щиплет руки. Поплескав водой в лицо, мы вытираемся не высохшим со вчерашнего дня полотенцем. Мэйлахи шепчет, что мама поругала бы нас за такое умывание.

На улицах тоже иней и лед, но в церкви Иезуитов тепло. Здорово, наверное, быть иезуитом: спать в постели на подушке и под одеялом, жить в теплом доме и ходить в теплую церковь. И делать‑то ничего не надо, знай себе служи мессу, исповеди слушай, отчитывай прихожан за грехи, обедай за накрытым столом да молитвы на латыни почитывай перед сном. Я вовсе не прочь когда‑нибудь стать иезуитом, но тому, кто вырос в трущобах, путь в иезуиты заказан — они только богачей уважают, которые на автомобилях ездят да мизинчик оттопыривают, когда чай пьют.

На мессе в семь утра полно народу — все хотят посыпать голову пеплом. Мэйлахи шепчет, что Майклу пока нельзя пепел, потому что у него первое причастие только в мае, а до той поры это грех.

— Хочу пепел, хочу пепел, — плачет Майкл.

— Вы чего такое милое дитя обижаете? — спрашивает старушка сзади.

Мэйлахи объясняет ей, что милое дитя еще ни разу в жизни не причащалось, а значит, не пребывает в состоянии благодати. Мэйлахи готовится к конфирмации, вот и старается блеснуть знанием катехизиса и рассуждает о благодати. Как будто я не знаю про благодать, — да я про нее еще год назад узнал, только это было так давно, что я уже мало что помню. Старушка говорит, что чуток пепла посыпать и без благодати можно, и нечего братика маленького обижать. Она гладит его по голове и говорит, мол, иди‑иди за пеплом, не бойся, милое дитя. Майкл бежит к алтарю, а когда возвращается, то вдобавок к пеплу получает еще и пенни от старушки.

Тетя Эгги все еще лежит в постели с Альфи. Она велит Мэйлахи налить молока в бутылочку и принести ее Альфи, а мне говорит, чтоб я затопил печку и что бумага и дрова в ящике, а уголь — в угольном ведерке, а если разгораться не будет, то надо керосина брызнуть. Угли тлеют и дымят, и никак не хотят разгораться, я брызгаю на них керосином, и огонь вспыхивает, чуть не опалив мне брови. Кругом дым. В кухню влетает тетя Эгги и отталкивает меня от печки.

— Да Господи, Боже мой, ты хоть что‑нибудь делать умеешь? Заслонку кто будет открывать, дурень ты этакий?

Я ничего не знаю про заслонки. У нас дома камины и в «Ирландии» и в «Италии», и никаких вьюшек нет. А тут приходишь в тетин дом и сразу надо знать все про вьюшки. Если сказать ей, что я в первый раз в жизни печку затапливаю, она даст мне такого тумака, что я далеко улечу. И почему взрослые так злятся из‑за мелочей? Когда я вырасту, то не буду шпынять маленьких детей из‑за вьюшек или чего‑нибудь еще.

— Ну чего стоишь, умник? — снова орет на меня тетя. — Хоть бы окно открыл и проветрил. Трудно додуматься, что ли? Рожа точно как у папаши твоего с Севера. Ты хоть воду сможешь вскипятить, дом не спалив?

Она отрезает от буханки три куска хлеба, мажет их маргарином, раздает нам и снова ложится в постель. Мы пьем чай с хлебом, и в кои‑то веки радуемся, что надо идти в школу, где тепло и нет орущих тетушек.

После школы она велит мне сесть за стол и написать папе, что мама в больнице и мы будем жить у тети Эгги, пока маму не выпишут, что у нас все хорошо, мы живы‑здоровы, и пришли денег, продукты шибко дороги, а мальчики растут и уж очень много едят. А малышу Альфи еще одежда и пеленки нужны.

И почему тетя Эгги вечно злится? Дома у нее тепло и сухо, свет есть электрический и собственная уборная на заднем дворе. У дяди Па хорошая работа, и получку он в дом приносит каждую пятницу. Пинты он пьет в «Саутс‑пабе», но не горланит потом песни про несчастную судьбу Ирландии. Еще он смешно говорит «чума на все ваши дома» и про то, что у каждого человека в мире есть задница и никто не избавлен от необходимости ее подтирать. Как только какой‑нибудь политик или папа римский заводит свою болтовню, дядя Па тут же представляет, как тот подтирает себе задницу. Гитлер, Рузвельт и Черчилль — все подтираются. Де Валера тоже. Па говорит, что магометане вон еще ладно, никогда не подтираются той рукой, которой еду берут. А у всех остальных руки шаловливые и неизвестно где побывали.

Иногда тетя Эгги уходит в Институт механики играть в карты.

— К черту скупердяев, — говорит дядя Па и покупает себе две бутылки пива в «Саутс‑пабе», а в лавке на углу — шесть булочек и полфунта окорока. Он заваривает чай, и мы сидим у печки, едим бутерброды с ветчиной и булочки и смеемся над тем, как дядя Па рассуждает о мире.

— Хочу газ глотаю, хочу пинты пью, и на всех‑превсех мне глубочайше наплевать.

А если малыш Альфи устает и начинает капризничать, дядя Па распахивает на себе рубаху и говорит ему:

— Титьку надо? У меня только такая.

Альфи недоуменно таращится на плоскую дядину грудь и умолкает.

До возвращения тети Эгги надо успеть вымыть кружки и все прибрать — если она узнает, что мы тут булочками да бутербродами угощаемся, то дядю Па месяц пилить будет. И почему он такое позволяет? В Великой войне воевал, газу наглотался, сам сильный, и работа есть, и шутки у него — чистая умора. Сие есть тайна. Так священники и учителя про все говорят, а мы должны им верить.

Вот бы дядя Па был моим отцом. Мы бы так здорово сидели у печки, пили чай и хохотали над тем, как он газы пускает и говорит:

— Спички несите. Подарочек от немцев пошел.

А вот тетя Эгги меня без конца изводит. Обзывает «золотушными глазками» и говорит, что я — копия папаши: те же странности и подленькая пресвитерианская душонка и, мол, я когда вырасту, алтарь Кромвелю построю или убегу из дома и женюсь на какой‑нибудь английской потаскушке и увешаю свой дом портретами королевской семьи.

Вот бы оказаться подальше от тети Эгги. Единственный способ: заболеть и попасть в больницу. Посреди ночи я встаю и иду на задний двор, будто бы в туалет. Я стою на холодном ветру в надежде подхватить если не воспаление легких, так скоротечную чахотку. Тогда меня увезут в больницу, где чистые белые простыни и прямо в постель приносят еду, а девушка в синем платье дает книги. Может, я встречу там кого‑то похожего на Патрисию Мэдиган и выучу длинное стихотворение. Я целую вечность стою во дворе в одной рубашке и босиком, смотрю на луну — «туманный галеон в облачном море», потом, весь дрожа, возвращаюсь в дом в надежде утром проснуться с ужасным кашлем и лихорадочным румянцем. Но ничего подобного не происходит. Просыпаюсь я здоров‑здоровехонек, и все было бы совсем хорошо, если б я был дома с мамой и братиками.

Бывают дни, когда тетя Эгги говорит, что больше видеть нас не может и чтоб мы убирались с глаз подальше.

— Эй, золотушные глазки, вывези коляску, бери братьев и идите в парк или еще куда подальше, и чтоб до самого Анжелюса духу вашего здесь не было. Слыхал? До самого Анжелюса.

На улице холодно, но нам все равно. Мы катим коляску по О’Коннелл‑авеню до самой Баллинакарры или Росбрайен‑роуд и пускаем Альфи ползать по травке на поле, где пасутся коровы и овцы. Коровы нюхают его и фыркают, а мы хохочем. Я залезаю под корову и дою ее прямо Альфи в рот, так что он напивается молока до отрыжки. Фермеры бегут к нам, но потом видят, что Майкл и Альфи совсем еще малыши.

— Ну‑ну, давайте, бейте детей, — потешается над фермерами Мэйлахи.

Потом его осеняет.

— А что если нам домой пойти и поиграть?

Мы набираем на поле палок и хвороста и бежим на Роден‑лейн. В «Италии» у камина лежат спички, и вот уже в нем ярко пылает огонь. Альфи засыпает, а следом за ним — и мы все. Просыпаемся мы от того, что в церкви Редемптористов глухо звонят колокола. Анжелюс. Ох и влетит нам от тети Эгги!

Ну и наплевать. Пусть хоть заорется. Мы так славно повеселились в полях с коровами и овцами, а потом отогрелись дома в «Италии».

Она‑то никогда так не веселится. Ну и что, что у нее электричество в доме и собственный туалет во дворе. Веселья‑то нет.

По четвергам и воскресеньям за тетей Эгги заходит бабушка, и они едут на автобусе к маме в больницу. Нас собой не берут, потому что туда детей не пускают, а когда мы спрашиваем, как там мама, бабушка с тетей усмехаются и говорит, что ничего, жить будет. Узнать бы, когда ее выпишут, и мы вернемся домой, но спросить боязно.

В один из дней Мэйлахи говорит тете Эгги, что проголодался и просит кусочек хлеба. Она бьет его по голове сложенным «Вестником Пресвятого Сердца». У Мэйлахи с ресниц капают слезы. На следующий день он не приходит домой из школы, потом становится темно и уже спать пора, а его все нет.

— Удрал, значит, — усмехается тетя Эгги. — Ну и скатертью дорожка. Проголодается — придет. В канаве поди мягче, чем в постели.

На следующий день Майкл вбегает в дом и с порога кричит:

— Папа приехал! Папа приехал!

Мы бежим за ним в коридор, а там на полу сидит папа, обнимает Майкла и причитает:

— Бедная ваша мама, бедная, бедная.

От папы разит перегаром.

— Ах, это ты, — улыбается тетя Эгги.

Она накрывает на стол: чай, вареные яйца, сосиски, а меня посылает за бутылкой портера. Мы с папой недоумеваем, чего это она вдруг так расщедрилась и разлюбезничалась.

— Мы домой поедем, папа? — спрашивает Майкл.

— Да, сынок.

Альфи снова сидит в коляске, набитой углем и дровами и покрытой тремя старыми пальто. Тетя Эгги стоит у двери и говорит, чтоб мы были умницами и в любое время приходили к ней на чай, а у меня в голове в ответ вертятся плохие слова: «стерва старая», и я ничего не могу с этим поделать, придется священнику признаться на исповеди.

Мэйлахи вовсе не в канаве — он сидит у нас дома и ест рыбу с хрустящей картошкой из кулька, который какой‑то пьяный солдат обронил у Сарсфилдских казарм.

Через два дня маму выписывают. Она еще слабая и бледная и ходит медленно. Доктор предписал ей находиться в тепле, побольше отдыхать и есть мясо и яйца три раза в неделю.

— Господи Боже, да эти врачи не понимают, что некоторым все это взять неоткуда! — сокрушается она.

Папа заваривает чай и жарит на огне хлеб сначала ей, потом нам, и мы устраиваемся наверху в «Италии», где тепло и сухо. Папа говорит, что насовсем остаться не может — ему надо обратно, на завод, в Ковентри. Мама недоумевает, как он туда вообще доберется без гроша в кармане.

В Страстную Субботу папа встает рано утром, и мы с ним сидим у огня и пьем чай. Папа поджаривает четыре куска хлеба, заворачивает по два в листы от «Лимерик‑кроникл» и кладет себе в карманы. Мама все еще лежит.

— Я поехал! — кричит папа маме с лестницы.

— Ладно. Напиши, когда до места доберешься! — кричит она ему в ответ.

Папа в Англию уезжает, а она даже не встает.

Я спрашиваю, можно ли мне проводить папу на вокзал, но, оказывается, он поедет не на поезде, а просто выйдет на шоссе — авось, кто‑нибудь и подбросит до Дублина. Папа гладит меня по голове, велит мне заботиться о маме и братиках и уходит. Он идет вверх по улице и заворачивает за угол. Я добегаю дотуда и из‑за угла смотрю, как он спускается по Барачному холму, потом по Сент‑Джозеф‑стрит. Я бегу вниз и следую за папой все дальше и дальше, но он все‑таки меня замечает.

— Ступай к маме, Фрэнсис, — говорит он, оборачиваясь.

Через неделю приходит письмо, в котором папа сообщает, что добрался благополучно, и просит нас хорошо себя вести, молиться, но самое главное — слушаться маму. Еще через неделю приходит денежный перевод на три фунта, и мы на седьмом небе от счастья. Теперь‑то мы разбогатеем, будем есть рыбу с картошкой, повидло и заварной крем, по субботам смотреть кино в «Лирик‑синема», «Колизее», «Карлтоне», «Атенеуме», «Централе» и в самом шикарном кинотеатре — «Савое». Может быть, даже зайдем в кафе «Савой» на чай с пирожными и будем там сидеть наравне с городскими богачами и модниками и обязательно будем держать чашечки, оттопырив мизинчики.

В следующую субботу телеграмма не приходит, и через неделю тоже, и вообще больше не приходит. Мама снова попрошайничает в Обществе Святого Викентия де Поля и улыбается, когда мистер Коффи и мистер Кейн в амбулатории шутят про папу и потаскушку с Пиккадилли. Майкл интересуется, что такое «потаскушка», и мама отвечает, что это ватрушка такая к чаю.

Мама целыми днями сидит у огня с Брайди Хэннон, они курят «Вудбайн» и пьют слабенький чай.

Когда мы возвращаемся днем из школы, весь стол усыпан крошками еще с завтрака, стеклянные банки и кружки стоят немытые, а на сахаре и на всем, где есть хоть капля сладости, сидят мухи.

Мама говорит, что мы с Мэйлахи должны по очереди приглядывать за Альфи и выводить его хотя бы ненадолго на свежий воздух, нельзя же ребенка держать взаперти в «Италии» с октября по апрель. А если сказать ей, что мы со своими приятелями побегать хотим, она такую затрещину отвесит, что ухо потом долго гореть будет.

Мы играем с Альфи и с коляской. Я становлюсь наверху Барачного холма, а Мэйлахи в самом низу. Я толкаю коляску, а Мэйлахи должен ее поймать, но он засматривается на какого‑то мальчишку на роликовых коньках, коляска проносится мимо него, внизу заворачивает и въезжает прямо в дверь «Ленистон‑паба». Мужчины сидят себе, пьют спокойно пиво, и тут к ним влетает коляска с чумазым ребенком, который что‑то лопочет на своем языке. Бармен кричит, что это безобразие, и должен быть закон, запрещающий младенцам въезжать в дверь паба на кривобокой коляске, и что он полицию сейчас вызовет, но Альфи машет ему ручкой, улыбается и бармен говорит:

— Ну ладно, ладно, малыш, возьми конфетку и лимонад, и братьям твоим, оборванцам, тоже лимонаду дам. Боже правый, до чего жизнь трудна стала, только подумаешь, что все налаживается, как на тебе — младенец в дверь въезжает, и ты тут лимонад и конфеты раздаешь направо и налево. Эй, вы, двое, забирайте братишку и везите домой к маме.

Мэйлахи приходит в голову новая затея: надо вот так пройтись по пабам с коляской и пособирать конфет и лимонада, но мне не хочется, чтоб мама узнала и затрещину дала. Мэйлахи кричит, что со мной со скуки помрешь, и убегает играть, а я прусь с коляской по Генри‑стрит и вверх по переулку мимо церкви Редемптористов. Небо серое, церковь серая, дом священника тоже серый, а у дверей стоит кучка нищих — ждут, когда священник пообедает и им отдадут объедки. И там посреди толпы стоит мама в грязном сером пальто.

Моя мама — попрошайка! Это еще хуже чем пособие, Общество Святого Викентия и амбулатория. Это самое позорное позорище, мы теперь почти как цыгане, которые просят подаяния на улицах да суют тебе в нос своих чумазых ребятишек со словами: «Подайте пенни, несчастному дитятке, мистер. Ребеночек голодает, миссус».

Моя мама теперь попрошайка, и если соседи или мои школьные приятели увидят ее здесь, то всех нас ждет вечный позор. Мальчишки будут издеваться надо мной на школьном дворе и кричать обидные прозвища. И я уже знаю, какие:

Фрэнки Маккорт,

Попрошайкин сын,

Глаза золотушные,

Балерун,

Раззява,

Вошка‑япошка.

Дверь священникова дома распахивается, толпа подается вперед, тянет руки.

— Брат, брат, мне, брат, ради Христа. У меня детишек дома пятеро, брат.

Маму проталкивают вперед. Поджав губы, она хватает сумку, поворачивается. Я побыстрее качу коляску дальше, пока меня не заметили.

Мне теперь даже возвращаться домой не хочется. Я качу коляску к Докери‑роуд, выхожу к городской свалке на Корканри — туда свозят мусор со всего Лимерика и сжигают. Я стою и смотрю, как мальчишки гоняют крыс, и не понимаю: этих‑то зачем мучить, они ж не у них дома живут. Я так бы и шел по полям, если бы Альфи в коляске не сучил пухлыми ножками и не ревел от голода, размахивая пустой бутылочкой.

Мама развела огонь, в кастрюльке что‑то варится. Мэйлахи, радостно улыбаясь, сообщает, что мама принесла нам солонины и картошки из лавки Кэтлин О’Коннелл. Знал бы он, что теперь его будут обзывать сыном попрошайки, не радовался бы. Мама зовет нас домой с улицы, мы садимся за стол, но мне даже смотреть не хочется на маму‑попрошайку. Она ставит перед нами кастрюльку, кладет каждому на тарелку по картофелине, а потом вилкой достает солонину.

Никакая это не солонина. Просто большой шмат серого сала — от солонины в нем только маленький «глазок» красного мяса наверху. Мы смотрим на него и гадаем, кому он достанется.

— Мясо отдадим Альфи, — говорит мама. — Он быстро растет, ему нужнее. — Она кладет мясо на блюдечко перед Альфи. Тот отталкивает блюдечко от себя, потом снова придвигает, подносит ко рту, оглядывает кухню, видит пса Лаки и швыряет мясо ему.

И ничего тут не скажешь. Мяса больше нет. Мы едим картошку, обильно посыпанную солью, а я ем жир, представляя, что это то самое мясо.

## XI

— Лапы прочь от чемодана, — требует мама. — Нет там для вас ничего интересного.

В чемодане лежат всякие бумаги, метрики, свидетельства о крещении, мамин ирландский паспорт, папин английский, выданный в Белфасте, наши американские паспорта и еще мамино ярко‑красное модное платье с блестками и черной бахромой — она его из Америки привезла и с тех пор хранит как память о том времени, когда она была молодая и ходила на танцы.

Мне нет и дела до чемодана, но потом мы с Мэйлахи и с Билли Кэмпбеллом решаем собрать футбольную команду. Форма и бутсы нам не по карману, и Билли говорит:

— Ну и как все поймут, что мы команда? У нас даже названия нет.

Я тут же вспоминаю красное платье, и сразу придумываю название «Алые сердца Лимерика». Мама все равно никогда чемодан не открывает, она и не заметит, что от платья отрезан лоскут, а у нас зато будет семь алых сердец, которые можно на грудь прилепить. Она же сама всегда говорит: «Меньше знаешь — крепче спишь».

Платье запрятано под бумаги. Я разглядываю свою фотографию в паспорте, где я еще маленький, и никак не возьму в толк, чего это меня дразнят япошкой. Еще один документ называется «Свидетельство о браке», в нем написано, что «Мэйлахи Маккорт и Анджела Шихан связали себя святыми узами брака двадцать восьмого марта тысяча девятьсот тридцатого года». Ну и как такое может быть? Я же родился девятнадцатого августа, а Билли Кэмпбелл говорил, что отец и мать должны быть женаты девять месяцев, и тогда появится ребенок, а получается, что я родился где‑то в середине этого срока. Должно быть, я рожден каким‑то чудесным образом и, может быть, даже стану святым и когда‑нибудь в Лимерике станут праздновать День святого Фрэнсиса Лимерикского.

Надо будет спросить Майки Моллоя — он по‑прежнему знаток по части «девичьих тел и всяких грязных делишек».

Билли говорит, что для того, чтобы стать прославленными футболистами, надо тренироваться, и мы договариваемся встретиться в парке. При виде сердец ребята ворчат, а я им говорю:

— Не нравится — идите домой и сами вырезайте что хотите из материных платьев и блузок.

Денег на мяч у нас нет, но кто‑то из ребят приносит овечий пузырь, набитый тряпьем. Мы гоняем пузырь по полю, в нем появляются дырки, тряпки вываливаются наружу, и от такого «мяча» больше нет никакого толку.

— Айда завтра утром, то есть в субботу, в Баллинакарру, сыграем с богатенькими сынками из Кресент‑колледжа: семь от нас, семь — от них, — предлагает Билли. — И сердца прикрепить не забудьте, пусть это всего лишь красные тряпки.

Мэйлахи идет домой пить чай, а мне надо повидаться с Майки Моллоем и узнать, почему я родился раньше времени. Он как раз выходит из дома со своим отцом Питером. Сегодня Майки исполняется шестнадцать, и отец ведет его в «Боулерс‑паб» распить первую пинту. Нора Моллой кричит Питеру из дома, что если он поведет сына в пивнушку, домой может не возвращаться, ей надоело печь хлеб и в психиатричку уезжать, так что если он ребенка напоит, то она уедет в Шотландию и поминай как звали.

— Не обращай внимания, циклоп, — говорит Майки отец. — Ирландские мамаши — известные противницы первой пинты. Моя так вообще чуть отца сковородкой не убила, когда он меня в паб повел.

Майки спрашивает отца, можно ли мне пойти с ними в паб и выпить лимонаду.

В пабе Питер объявляет, что Майки пришел выпить первую пинту, и все присутствующие выражают желание угостить Майки, на что Питер отвечает:

— Нет уж, а то хватит лишку с самого начала, потом вообще не захочет.

Пинты налиты, и мы садимся за столик у стены, Моллои с пивом, а я — с лимонадом. Мужчины в пабе желают Майки всего наилучшего в дальнейшей жизни и говорят, что разве не промысел Божий, что тогда давно Майки свалился с трубы и с тех пор припадков у него не было? А дурачка Квазимодо Дули шибко жаль — малец умер от чахотки, а ведь столько лет тренировался говорить как на «Би‑би‑си», хотя ирландцу туда нечего и соваться в наши дни.

Питер беседует с приятелями, а Майки пробует пиво.

— Что‑то мне не очень нравится, — шепчет он. — Только отцу не говори.

Потом рассказывает, что тайком учится говорить с английским акцентом, чтобы стать диктором на «Би‑би‑си» и исполнить мечту Квазимодо. Еще он говорит, что я могу забрать Кухулина обратно: директору «Би‑би‑си» он без надобности. Майки теперь шестнадцать, и он хочет поехать в Англию, так что если у меня когда‑нибудь появится радиоприемник, я услышу его в новостях.

Я рассказываю ему про свидетельство о браке и про слова Билли Кэмпбелла о том, что нужно девять месяцев, но я родился посреди срока и, может, это какое‑то чудо?

— Не‑а, — тянет он. — Ты ублюдок, и тебя ждут вечные муки.

— Майки, не обзывайся!

— И не думал. Так называют тех, кто родился не через девять месяцев после свадьбы, а кого зачали под одеялом.

— Как это?

— Что, как это?

— Зачали.

— Ну, это когда живчик попадает в яйцо, оно начинает расти, и через девять месяцев появляешься ты.

— Не понимаю.

— То, что у тебя между ног, называется «забава», — шепчет Мики. — Есть и другие названия: пенис, член, елда, пипка, но мне они не нравятся. Твой отец сует в маму свою «забаву», впрыскивает живчиков, они попадают в яйцо, и потом из него вырастаешь ты.

— Я не яйцо.

— Яйцо, яйцо. Все получились из яйца.

— А почему я обречен‑то? Я же не виноват, что родился раньше.

— Все ублюдки обречены. Это как младенчики, которые умерли не крещенными. Они навечно застревают между раем и адом, и это не их вина. Вот и думаешь после такого, что Бог сидит там на своем престоле и совсем не жалеет некрещеных младенцев. Я поэтому в церковь больше и не хожу. Но ты все равно обречен. Твои родители позабавились, когда еще не были женаты, так что благодати тебе не видать.

— И что теперь делать?

— А ничего не сделаешь. Ты обречен, и точка.

— Может, свечку поставить?

— Ну, Богородице помолись. Она обреченных жалеет.

— У меня пенни на свечку нет.

— Ладно, вот тебе пенни. Вернешь, когда работу найдешь — лет через сто. Да, разорительное это дело — быть знатоком по части девичьих тел и грязных делишек.

Бармен разгадывает кроссворд и спрашивает Питера:

— У наступления какая противоположность?

— Отступление, — отвечает Питер.

— Точно! — восклицает бармен. — У всего есть противоположность.

— Матерь Божья, — произносит Питер.

— Что с тобой, Питер? — тревожится бармен.

— Что ты только что сказал, Томми?

— Что у всего есть противоположность.

— Матерь Божья!

— Питер, ты часом, не заболел? Или с пивом что не так?

— Все так, Томми, и я — чемпион по распитию пинт, помнишь?

— Да как же не помнить, Питер. Известный факт.

— А значит, я могу быть чемпионом наоборот.

— Ты о чем, Питер?

— Я могу стать чемпионом по нераспитию пинт.

— Питер, ты лишку хватил, что ли? Жена здорова?

— Томми, унеси пиво. Я теперь чемпион по нераспитию.

Питер забирает кружку у Майки.

— Идем домой к матери, Майки.

— Ты не назвал меня циклопом, пап.

— Потому что ты Майки. Майкл. Мы едем в Англию. Больше пить не будем: ни я, ни ты. И твоя мать больше не будет печь хлеб. Пойдем.

Мы выходим из паба.

— Это все твои чертовы книги, Питер, — кричит Томми нам вслед. — Ты от них умом тронулся.

Питер и Майки идут к себе домой, а мне нужно в церковь Святого Иосифа, поставить свечку, которая меня спасет, но на прилавке в лавке мисс Кунихан лежит огромная плитка ирисок «Кливз» и написано: «Две штуки за пенни». Я помню, что обречен, но у меня так и текут слюнки, и когда я кладу монетку на прилавок, то обещаю про себя Пресвятой Деве, что как только раздобуду еще пенни, сразу же поставлю ей свечку, и пусть она пока уговорит своего Сына отложить приговор.

Даже две ириски когда‑нибудь заканчиваются, и теперь пора идти домой к маме, которая пустила в себя папину «забаву», из‑за чего я родился раньше срока и вырос ублюдком. Если она хоть слово скажет про красное платье или про что‑нибудь еще, я скажу ей, что все знаю, вот она удивится!

В субботу утром я встречаюсь с «Алыми сердцами», мы идем по улице и высматриваем, кого бы победить в футбол. Ребята опять ворчат, что сердца сделаны из платья.

— Не хотите играть в футбол, топайте домой и играйте в куколки с сестрами, — говорит им Билли.

На поле в Баллинакарре какие‑то мальчишки гоняют мяч, и Билли зовет их сыграть с нами. У них восемь игроков, а у нас семь, но мы не спорим, потому что у одного их парня глаза нет, и Билли говорит нам обходить его с той стороны, где он не видит.

— А у нас Фрэнки почти слепой, — сообщает Билли. — У него оба глаза болят, а это еще хуже.

Те мальчишки одеты как положено: в сине‑белые свитера, белые шорты и настоящие футбольные бутсы.

— Ну и вид у вас, — усмехается один из противников, и Мэйлахи лезет драться, так что нам приходится держать его за руки.

Мы соглашаемся на полчаса игры, потому что потом у ребят из Баллинакарры ленч. Ишь ты, ленч. У всех обед, а у них ленч. Если никто за полчаса не забьет, будет ничья. Мы носимся туда‑сюда по полю, и наконец Билли перехватывает передачу, бежит к воротам так быстро и ловко, что никто не может его догнать, и забивает гол. Время почти вышло, баллинакаррские просят еще полчаса, и к концу второго получаса забивают гол. Потом мяч выкатывается за поле. Теперь он наш. Билли стоит на боковой линии, держа мяч над головой, и делает вид, что смотрит на Мэйлахи, но подает мне, и для меня теперь в целом мире существует только мяч. Он подкатывается прямо к моей ноге, так что мне остается только податься чуть влево и отправить мяч прямиком в ворота. Голова у меня наполняется каким‑то белым светом, будто я в рай попал. Я «парю» над полем, а потом «Алые сердца» дружно хлопают меня по спине и хвалят:

— Отличный гол, Фрэнки, и ты тоже молодец, Билли.

Мы возвращаемся по О’Коннелл‑авеню, и я все думаю о том, как мяч подкатился мне прямо к ноге. Не иначе сам Бог послал или Пресвятая Дева Мария, а они никогда бы такого не сделали для того, кто родился не вовремя и обречен на адские муки. Теперь я всю свою жизнь буду помнить этот пас от Билли Кэмпбелла и этот гол.

###### \* \* \*

Мама встречает Брайди Хэннон с матерью, и те говорят ей, что у мистера Хэннона с ногами совсем плохо. Бедняга с утра до вечера развозит на огромной телеге уголь и торф со складов на Док‑роуд, а после такого сущее мучение на велосипеде домой добираться. Платят ему за работу с восьми утра до полшестого вечера, а ведь упряжь готовить надо задолго до восьми и в стойло коня отводить после половины шестого. С телеги этой то слезь, то залезь обратно, мешки погрузи да разгрузи да еще следи, чтоб бинты на ногах весь день продержались, а то грязь в раны попадет. Вот повязки и прилипают намертво, потом отдирать дома приходится. Миссис Хэннон промывает раны теплой водой с мылом, мазь накладывает и перевязывает чистыми бинтами. Новые каждый день покупать не на что, а старые‑то уж вконец застиранные.

Мама советует сводить мистера Хэннона к врачу.

— Да уж сто раз ходил, толку‑то. Велят ногам отдых дать и все. А какой тут отдых, коли работать надо? Жить‑то на что?

Мама говорит, что Брайди могла бы подыскать себе работу, но та обижается, мол, ты же знаешь, Анджела, у меня легкие слабые, а еще ревматическая лихорадка была и я чуть не умерла, мне поберечься надо.

Мама часто говорит про Брайди с ее слабыми легкими и ревматизмом, мол сидит часами, на болячки жалуется, однако ж дымит как паровоз.

— Очень сочувствую, что легкие у тебя слабые и что отец твой так страдает, — жалеет ее мама.

— Джону, бедняге, день ото дня все хуже, — сокрушается миссис Хэннон. — А что, миссис Маккорт, может, твой старшенький Фрэнк поездил бы с ним, помог с мешками хоть несколько часов в неделю? Нам, правда, помощник не по карману, но шиллинг другой Фрэнки бы заработал, а Джон бы ноги больные меньше утруждал.

— Не знаю, — отвечает мама. — Фрэнку ведь только одиннадцать, он тифом переболел, и для глаз пыль угольная вредна.

— Да он же на воздухе будет, а свежий воздух шибко полезен для больных глаз и после тифа, верно, Фрэнки? — говорит Брайди.

— Верно, Брайди.

Мне до смерти хочется разъезжать с мистером Хэнноном на огромной телеге, будто я взрослый рабочий человек. Если у меня хорошо будет получаться, может, мне вообще разрешат больше в школу не ходить, но тут мама как раз говорит:

— Ну, пусть ездит, только когда школы нет, в субботу утром например.

Я теперь взрослый, поэтому рано утром в субботу я развожу огонь и готовлю себе чай с гренками. Потом встаю у соседской двери и жду мистера Хэннона с велосипедом. Из окна доносится аромат яичницы с ветчиной. Мама говорит, что мистера Хэннона кормят только самым лучшим, потому что миссис Хэннон все так же без ума от него, как и в день свадьбы. Они прямо как влюбленная пара из американского кино. Мистер Хэннон, попыхивая трубкой, выводит велосипед. Он велит мне усесться на раму, и мы отправляемся на мою первую взрослую работу. Мистер Хэннон сидит позади меня, и мне очень нравится запах трубки. А вот одежда у него пропахла углем, и от этого запаха я чихаю.

По Докери‑роуд идут или едут на велосипедах рабочие — кто на угольные склады, кто на мукомольню, кто в пароходное общество. Мистер Хэннон вынимает трубку изо рта и говорит, что лучше субботнего утра ничего нет, потому что работа только до обеда. Начнем в восемь, а закончим в двенадцать, еще до Анжелюса.

Сначала мы чистим лошадь щеткой, насыпаем ей овса в корыто и наливаем воды в ведро. Мистер Хэннон показывает мне, как надевать упряжь и разрешает подвести лошадь к оглоблям телеги.

— Бог ты мой, Фрэнки, да у тебя талант! — восклицает он.

Я чуть не прыгаю от счастья. Да я готов всю жизнь на телеге ездить!

На складе двое рабочих набивают мешки углем и торфом и взвешивают их на огромных железных весах — в каждом мешке по сотне фунтов! Потом они грузят мешки на телегу, а мистер Хэннон идет в контору получить наряд на развоз. Грузчики работают быстро, и вскоре мы готовы тронуться в путь. Мистер Хэннон садится с левой стороны и, прищелкнув кнутом, указывает мне, чтоб я сел справа. Телега высоченная и доверху нагружена мешками, так что я пытаюсь забраться на нее с колеса.

— Никогда так не делай, — говорит мистер Хэннон. — Ни руки, ни ноги в колеса не суй, коли лошадь уже впряжена — вздумает прогуляться, и ногу‑то тебе или руку мигом переломит.

— Ну, приготовьсь! — командует он лошади.

Та мотает головой, гремя упряжью.

— Работать дурочке не терпится, — смеется мистер Хэннон. — Погоди, часик‑два, и упряжью трясти не захочется.

Начинается дождь; мы накрываемся старыми мешками из‑под угля, а мистер Хэннон переворачивает трубку, чтоб табак не намок. Он говорит, что сырые мешки возить тяжелее, но да что толку причитать — это все равно, что на солнце в Африке жаловаться.

Мы проезжаем по Сарсфилдскому мосту и едем доставлять уголь на Эннис‑роуд и на Северную Окружную.

— Богачи не больно‑то раскошеливаются на чаевые, — сетует мистер Хэннон.

Развезти нужно шестнадцать мешков. Мистер Хэннон говорит, что нам еще повезло, потому что в некоторые дома по нескольку мешков заказано, так хоть не придется лишний раз лазить туда‑сюда и ноги губить. Мы останавливаемся, мистер Хэннон спускается с телеги, а я подтаскиваю мешок к краю и укладываю ему на плечи. В одних домах имеются лотки для угля — открываешь дверцу и ссыпаешь туда уголь, а в другие приходится обходить и сгружать уголь в сарай у черного хода. Ноги у мистера Хэннона уже очень болят, но он не жалуется, а только охает:

— Ох, Господи Иисусе, Фрэнки.

И просит меня подать ему руку, чтоб взобраться на телегу.

— Вот была бы тачка, — говорит он. — Я б мешки прямо к дому подвозил, но она стоит столько, сколько я за две недели получаю, разорение одно.

Но вот наконец телега пуста, выглядывает солнце, и даже лошадь понимает, что рабочий день окончен. Так здорово сидеть наверху и смотреть, как покачиваются бока и шея лошади, бредущей по Эннис‑роуд, по мосту через Шаннон и по Док‑роуд. Мистер Хэннон сообщает, что за развоз шестнадцати стофунтовых мешков угля и торфа уж точно пинта полагается, а за помощь — кружка лимонада. Еще он велит мне учиться в школе, а не повторять его судьбу — он вот доработался до того, что ноги гниют.

— Выучись, Фрэнки, — говорит он. — А потом уезжай из Лимерика и Ирландии куда подальше. Война когда‑нибудь закончится, и ничто тогда не помешает уехать в Америку, Австралию или еще какую страну, где столько земли, что конца‑краю ей не видно. Мир огромен, и в нем столько всего интересного! Если б не ноги, я бы давно перебрался в Англию и целое состояние сколотил бы, работая на заводе, как все ирландцы, вот хоть как отец твой, например. Хотя нет, он‑то вас без гроша оставил. Вот уж не знаю, какой нормальный мужчина бросит жену и детей в голоде и холоде. Школа, Фрэнки, — вот что самое важное. И книги, книги читай. Выбирайся из Лимерика, пока ноги не сгнили и голова еще варит.

Лошадь, цокая копытами, подходит к угольному складу. Там мы ее кормим, поим и чистим щеткой. Мистер Хэннон приговаривает: «Славная моя старушка», а лошадь в ответ фыркает и тычется носом ему в грудь. Вот бы привести эту лошадку домой, она бы жила у нас внизу — сами‑то мы все равно в «Италии» обитаем, но если я только покажусь с лошадью на пороге, мама раскричится, что еще только лошади ей в доме не хватало.

От Док‑роуд улочки взбегают в гору, а мистеру Хэннону тяжко взбираться на пригорки на велосипеде, да еще со мной на раме, поэтому мы идем пешком. Ноги он сильно натрудил, так что мы еле доползаем до Генри‑роуд. Мистер Хэннон то и дело останавливается и приваливается к велосипеду или садится где‑нибудь на крылечко, сжимая трубку в зубах.

Я все жду, когда получу деньги за работу. Вот даст мне мистер Хэннон шиллинг или даже больше, тогда мама, наверное, разрешит пойти в «Лирик‑синема», если я на сеанс не опоздаю. Мы подходим к «Саутс‑пабу», и мистер Хэннон приглашает меня войти — он же, мол, обещал мне лимонаду?

В пабе сидит дядя Па Китинг, как обычно, весь черный. Рядом с ним — Билл Гэлвин. Он весь белый, шмыгает носом и большими глотками пьет свою черную пинту.

— Приветствую, — говорит мистер Хэннон.

Он садится по другую руку от Билла Гэлвина, и весь паб принимается хохотать.

— Боже ж ты мой! — восклицает бармен. — Вы только посмотрите: две угольные глыбы и снежный ком.

Все подходят поглазеть на двух угольно‑черных мужиков и одного известково‑белого. Кто‑то даже кричит, чтоб послали за репортером в «Лимерик лидер», то‑то уморительный снимок получится!

— А ты, Фрэнки, отчего черный? — спрашивает дядя Па. — В яму угольную провалился?

— Мистеру Хэннону помогал уголь развозить.

— Глаза у тебя просто жуть стали, Фрэнки. Желтые, будто кто две лунки в снегу пропи`сал.

— Это пыль угольная, дядя Па.

— Промой хорошенько, как домой придешь.

— Хорошо, дядя Па.

Мистер Хэннон угощает меня лимонадом, выдает мне шиллинг за работу и говорит, что ну вот теперь можно и домой, а помощник из меня вышел отличный, так что на следующей неделе он меня снова ждет.

По пути домой я оглядываю себя в витрине магазина — ну да, от угля весь черный, но я чувствую себя настоящим мужчиной. В кармане у меня целый шиллинг, и я только что распивал в пабе лимонад с двумя угольно‑черными приятелями и одним известково‑белым. Теперь никто не скажет, что я еще ребенок. Вот бы бросить школу и работать с мистером Хэнноном каждый день, а когда у него с ногами совсем плохо станет, он бы отдал мне свою телегу, я бы развозил уголь богачам всю оставшуюся жизнь, и маме не пришлось бы попрошайничать у дома священника.

Прохожие посматривают на меня с любопытством. Мальчишки и девчонки смеются и кричат:

— Вон трубочист идет! Сколько за работу берешь? Ты что, в угольную яму свалился? Или обгорел дочерна?

Вот глупые! Им невдомек, что я весь день тяжеленные мешки с углем и торфом развозил. Я теперь настоящий мужчина!

Мама спит в «Италии» с Альфи. Окно занавешено старым пальто. Я говорю ей, что заработал шиллинг.

— Молодец, — хвалит она меня. — Можешь пойти в «Лирик‑синема». Заслужил. Возьми два пенса, а остальное положи на камин внизу — хлеб к чаю купим.

Тут пальто падает с окна, и мама видит меня при свете.

— Боже мой, — ахает она. — Только посмотри, что у тебя с глазами. Быстренько вниз, сейчас спущусь, промою.

Она греет воду в чайнике, промывает мне глаза борной кислотой и говорит, что нельзя в кино, пока с глазами получше не станет, а это Бог знает когда случится.

— Куда тебе еще уголь развозить с такими глазами. Совсем от пыли ослепнешь.

— Но мне так нужна эта работа. Я хочу шиллинг в дом приносить. Настоящим мужчиной быть.

— Ты и без шиллинга настоящий мужчина. Иди наверх, ложись и дай отдых глазам, а то совсем зрения лишишься.

Я не хочу терять работу. Трижды в день я промываю глаза борной кислотой. Шеймус тогда в больнице сказал, что его дядя вылечил себе глаза упражнением. Я моргаю по часу каждый день. Ничто так не укрепляет зрение, как моргание, говорил он.

Я моргаю и моргаю. Мэйлахи, испугавшись, бежит к маме, которая стоит на улице с миссис Хэннон.

— Мама, — кричит он. — С Фрэнки неладно, он там наверху моргает.

Мама взбегает по лестнице.

— Ты чего?

— Упражнение для глаз делаю.

— Какое еще упражнение?

— Моргаю.

— Какое же это упражнение?!

— Шеймус в больнице говорил, что моргать полезно. Его дядя моргал, и глаза у него зоркие были.

— Перестань дурить, — велит мама и возвращается на улицу к миссис Хэннон.

Я еще немножко моргаю, а потом промываю глаза борной кислотой.

Мне в окно слышно, как миссис Хэннон говорит маме:

— Сам бог послал Джону твоего малыша Фрэнки. Ноги‑то он чем больше всего губил? Тем что с телеги слезал да обратно забирался.

Мама молчит, а это значит, что ей так жалко мистера Хэннона, что она разрешит мне снова ему помочь в четверг, когда работы больше всего. Я промываю глаза трижды в день и моргаю до боли в бровях. Я и на уроках моргаю, когда учитель не смотрит, и в классе меня теперь дразнят моргуном вдобавок к другим обидным прозвищам.

Моргун Маккорт

Попрошайкин сын

Глаза золотушные

Раззява

Балерун

Вошка‑япошка

Но мне наплевать, главное, что глаза стали чище, и теперь у меня есть постоянная работа — развозить стофунтовые мешки угля на телеге. Вот бы одноклассники увидели меня в четверг после школы. Я буду восседать на телеге, а мистер Хэннон даст мне поводья, чтоб самому покурить спокойно.

— Держи, Фрэнки, только поласковей, лошадка у нас хорошая, зря вожжи не тяни.

Кнут мне тоже дают, но лошадь и так слушается, так что я им щелкаю в воздухе только для виду или чтоб муху согнать с золотистого лошадкиного крупа, покачивающегося между оглоблями.

Все уж точно восхищаются, глядя, как я заправски езжу на телеге, как ловко управляюсь с поводьями и с кнутом. Вот бы еще трубку и твидовую кепку, как у мистера Хэннона. А если бы я стал такой же черный, как мистер Хэннон и дядя Па Китинг, люди бы говорили:

— Вон едет Фрэнк Маккорт. Это он всем в Лимерике уголь развозит и пинты пьет в «Саутс‑пабе». Я бы забросил умывание, и был бы все время черный, даже в Рождество, когда всем приходится хорошенько вымыться перед приходом в мир младенца Иисуса. Он бы точно не обиделся. Я видел трех волхвов у рождественских яслей в церкви редемптористов, и один из них был чернее Па Китинга, с которым в Лимерике никто чернотой не сравнится, а раз даже волхв черный, значит, угольщики повсюду в мире есть.

Лошадь поднимает хвост, и вываливает на мостовую большие дымящиеся куски желтого навоза. Я натягиваю вожжи, чтобы она постояла и спокойно справила нужду, но мистер Хэннон говорит:

— Не надо, Фрэнки. Лошадям хорошо: они на ходу облегчаются, и в отличие от племени человеческого не оставляют за собой ни грязи, ни вони. А у людей что? Ведь хуже нет зайти в уборную после того, кто накануне свиных ножек объелся да пивом их щедро залил. Смрад стоит такой, что даже самые стойкие носы не выдерживают. Лошади — дело другое. Едят они только овес да сено, потому‑то отходы у них чистые.

Я помогаю мистеру Хэннону по вторникам и четвергам после школы, а еще полдня в субботу, и приношу маме три шиллинга, но она все время беспокоится о моих глазах. Она промывает их, как только я прихожу домой, и заставляет лежать по полчаса с закрытыми глазами.

Мистер Хэннон обещает ждать меня возле школы в четверг после того, как развезет уголь по Баррингтон‑стрит. Вот теперь‑то все увидят. Будут знать, что я рабочий человек, а не раззява, не балерун и не вошка‑япошка с золотушными глазами.

— Ну, забирайся, — приглашает мистер Хэннон, и я вскакиваю на телегу, как заправский возница. Мальчишки пялятся на меня во все глаза. Я говорю мистеру Хэннону, что управлюсь с лошадью, если ему хочется спокойно покурить. Он передает мне поводья, и я отчетливо слышу, как мальчишки ахают.

— Но‑о, пошла, — говорю я лошади.

Мы трогаемся с места, и теперь не один десяток ребят из школы Лими можно уличить в зависти, а это, между прочим, смертный грех.

— Но‑о, пошла, — повторяю я погромче, чтоб уж точно все поняли, что именно я сейчас управляю лошадью, и хорошенько запомнили, что я уехал из школы на настоящей телеге, с настоящими вожжами и кнутом. Это лучший день моей жизни, даже лучше, чем первое причастие, которое испортила мне бабушка, и лучше, чем день Конфирмации, когда я заболел тифом.

После этого в школе меня больше не обзывают и не смеются над моими глазами, только спрашивают наперебой, как мне удалось заполучить такую работу в одиннадцать‑то лет, сколько мне платят, требуются ли еще работники на угольном складе и умоляют замолвить за них словечко.

А большие ребята, которым по тринадцать лет, подходят ко мне вплотную и цедят сквозь зубы, что это их должны были взять на мое место, потому что они старше и сильнее, а я костлявый узкоплечий коротышка. Пусть себе болтают, сколько влезет. Работа‑то моя, и мистер Хэннон меня все время хвалит.

Иногда боль в ногах так его донимает, что он еле ходит, и миссис Хэннон очень переживает за него. Она угощает меня чаем, а я смотрю, как она подворачивает брюки мистера Хэннона и разматывает грязные бинты. На ногах у него желто‑красные язвы, забитые угольной пылью. Она промывает их мыльной водой и смазывает желтой мазью, потом помогает ему поднять ноги на стул, и мистер Хэннон весь вечер отдыхает, читая газету или книгу, что стоит на полке у него над головой.

Ноги у него так болят, что утром ему приходится вставать на час раньше, разминать их и заново накладывать мазь. Однажды в субботу утром, еще затемно, миссис Хэннон стучится к нам и просит меня сбегать к соседу за тачкой — мистер Хэннон сегодня совсем не может таскать мешки, значит, мне придется возить их на тачке. И на велосипеде он меня подвезти не сможет, так что тачку нужно прикатить сразу на угольный склад.

— Для мистера Хэннона ничего не жалко, — говорит сосед. — Господи ему помоги.

Я жду у ворот угольного склада. Наконец мистер Хэннон медленно‑премедленно подъезжает на велосипеде, с трудом слезает с него и говорит:

— Что б я без тебя делал, Фрэнки.

Он разрешает мне запрячь лошадь, хоть я и не совсем еще научился. Потом разрешает самому выехать со склада на замерзшую улицу. Я готов целую вечность так ехать и даже домой не приходить. Мистер Хэннон показывает мне, как подтаскивать мешки к краю телеги и сбрасывать их на землю, чтобы потом загрузить на тачку и отвезти к дому. Он объясняет, как не надорваться, когда поднимаешь и грузишь мешки, и к полудню мы успеваем развезти шестнадцать мешков.

Вот бы ребята из школы видели, как умело я управляюсь с лошадью и с мешками, и всю‑всю работу сам делаю, пока мистер Хэннон дает отдых ногам. А еще как я подвожу тележку к «Саутс‑пабу» и распиваю лимонад с мистером Хэннноном, и мы с дядей Па все черные, а Билл Гэлвин — весь белый. Еще я бы похвалился перед мальчишками чаевыми, которые мистер Хэннон разрешил мне оставить себе, а это четыре шиллинга, плюс шиллинг за работу, вместе — целых пять.

Мама сидит у огня. Я протягиваю ей деньги. Она смотрит на меня, роняет монеты на колени и плачет. Почему она плачет и совсем деньгам не радуется?

— На глаза свои посмотри, — говорит она. — Иди к зеркалу.

Лицо у меня черное, а с глазами совсем плохо. Белки и веки краснющие, а из уголков глаз сочится желтая жидкость. Потом она засыхает и образует корочку, которую надо или отковыривать, или вымывать.

— Все, — заявляет мама. — Хватит. Больше никакого мистера Хэннона.

— Но мистер Хэннон не справится без меня! Он еле ходит. Я сегодня вообще все сам делал: и повозкой управлял, и мешки возил на тележке, а потом пил лимонад, и слушал, как в пабе спорят, кто сильнее: Роммель[[95]](#footnote-95) или Монтгомери[[96]](#footnote-96).

Мама говорит, что мистера Хэннона ей, конечно, жаль, но у нас своих бед полно, и не хватало еще, чтоб ее сын потерял зрение и ходил, спотыкаясь, по улицам Лимерика. От тифа чуть не умер, так теперь еще и ослепнуть хочешь?

Я плачу и никак не могу успокоиться — как я теперь стану настоящим мужчиной и добуду деньги, которые мальчик‑рассыльный так и не привез от папы? Что мистер Хэннон будет делать без меня в понедельник? Кто будет подтаскивать мешки к краю телеги и развозить их по домам? Он такой добрый, так любит свою лошадку. А она что будет делать, если мистер Хэннон не сможет вывести ее из стойла, а меня рядом не будет? Вдруг никто не даст ей больше овса и яблочком не угостит, и она умрет от голода?

Мама говорит, что от слез только хуже глазам будет.

— Ладно, посмотрим. Больше ничего пока обещать не могу.

Она промывает мне глаза и дает шестипенсовик, чтобы я сводил Мэйлахи на фильм «Человек, которого не смогли повесить», где играет Борис Карлофф[[97]](#footnote-97), и купил нам по ириске.

Из глаз у меня по‑прежнему течет желтая жижа, я почти не вижу, что делается на экране, и Мэйлахи мне все пересказывает. Зрители с соседних мест шикают на него, потому что им не слышно, что говорит Борис, а когда Мэйлахи объясняет им, что он не просто так болтает, а помогает слепому брату, они зовут билетера, Фрэнка Годжина, и тот грозит, что если Мэйлахи еще хоть словечко скажет, нас тут же вышвырнут на улицу.

Ну и ладно. Я наловчился выдавливать жижу из глаз и смотрю одним, пока в другой натекает, и так чищу то один глаз, то второй, только видится все в желтом цвете.

Наутро в понедельник к нам опять стучится миссис Хэннон и просит маму отправить меня на угольный склад и передать тамошнему начальнику, что мистер Хэннон сегодня прийти не сможет, а пойдет к врачу ноги лечить, но завтра обязательно придет и развезет сразу все за сегодня и за завтра. Миссис Хэннон теперь всегда зовет меня Фрэнком. Того, кто развозит стофунтовые мешки угля, несолидно звать Фрэнки.

— Зря мы, пожалуй, нянчимся с этим Хэнноном, — хмыкает начальник. — Как тебя, говоришь, зовут?

— Маккорт.

— Передай Хэннону, чтоб справку от врача принес. Понял?

— Да, сэр.

Врач говорит мистеру Хэннону, что ему надо лечь в больницу, а то гангрена начнется и за последствия он не отвечает. Мистера Хэннона увозит неотложка, и это означает конец моей взрослой работы. Теперь я снова стану белым, как все в Лими, и не будет больше никакой телеги, лошади и шиллингов для мамы.

Через несколько дней к нам заходит Брайди Хэннон и говорит, что ее мать приглашает меня на чашку чая. Миссис Хэннон сидит у огня, положив руку на кресло мистера Хэннона.

— Садись, Фрэнк, — просит она.

Я направляюсь к кухонному стулу, но она похлопывает рукой по креслу.

— Нет‑нет, сюда садись. Посиди на его месте. А ты знаешь, сколько ему лет, Фрэнк?

— Наверное, очень много, миссис Хэннон. Все тридцать пять, пожалуй?

Миссис Хэннон улыбается. У нее красивые зубы.

— Ему сорок девять, Фрэнк. В этом возрасте ноги не должны так болеть.

— Понятно, миссис Хэннон.

— Знаешь, как он радовался, когда ты с ним на телеге ездил?

— Нет, миссис Хэннон.

— Очень радовался. У нас две дочери: Брайди — ее ты знаешь, — и еще Кэтлин, медсестра, она в Дублине живет. А вот сына у нас нет, и он говорил, что ты ему как сын.

У меня щиплет глаза, но я не хочу плакать при миссис Хэннон, да еще когда непонятно толком отчего. Я и так только и делаю, что плачу в последнее время. Может, это из‑за работы? Или из‑за мистера Хэннона?

«Вода дырочку ищет», — говорит про это мама.

Наверное, я плачу, потому что миссис Хэннон говорит со мной так ласково, и все из‑за мистера Хэннона.

— Да, как сын, — повторяет она. — И я этому очень рада. А работать он больше не сможет, придется ему теперь дома сидеть. Может, найдется лекарство, и тогда он подлечится и пойдет работать сторожем куда‑нибудь, где тяжести таскать не надо.

— У меня больше нет работы, миссис Хэннон.

— Есть, Фрэнк. Это твоя учеба в школе.

— Но это же ненастоящая работа, миссис Хэннон.

— А другой тебе пока и не надо, Фрэнк. У мистера Хэннона сердце кровью обливается, как подумает, что ты мешки угля на себе таскаешь, а мама за глаза твои боится. Ох, бог свидетель, до чего я жалею, что втянула тебя в это, и маме твоей выбирать пришлось, что ей жальче: ноги мистера Хэннона или твои глазки.

— А можно мне к мистеру Хэннону в больницу сходить?

— Тебя к нему не пустят, наверное, но потом к нам, конечно, заглядывай, навещай его. Делать‑то ему будет особо нечего, кроме как книги читать да в окно смотреть.

— Не надо плакать, — говорит мне дома мама. — Впрочем, слезы соленые, может, глаза лучше промоются.

## XII

От папы приходит письмо. Он пишет, что приедет домой за два дня до Рождества, и у нас начнется новая жизнь — он совсем другим человеком стал. Еще он надеется, что мы хорошо себя вели, слушались мамочку, усердно молились и за это он нам кое‑что привезет к Рождеству.

Мама берет меня с собой на вокзал встречать папу. Там всегда ужасно интересно: кто‑то приезжает, кто‑то уезжает. Люди высовываются из окон вагонов, кричат, машут руками, улыбаются. Паровоз дает гудок и, пыхтя паром, трогается с места. Провожающие хлюпают носами, а вдалеке серебрятся рельсы и убегают в Дублин и куда‑то еще, совсем далеко.

Уже почти полночь, на перроне холодно и пусто. Человек в железнодорожной фуражке спрашивает, не желаем ли мы в тепле подождать.

— Спасибо большое, — соглашается мама и смеется, когда дежурный приводит нас к сигнальной будке в самом конце перрона, и нам приходится забираться куда‑то по лестнице, приставленной к стене. Мама полная, она поднимается медленно и все приговаривает:

— Господи, боже мой. Господи, Боже мой.

Мы будто на вершину мира забрались; в будке темно, только на аппарате, над которым склоняется дежурный, мелькают красные, зеленые и желтые огоньки.

— Я тут маленько поужинать собрался. Угощайтесь.

— Нет‑нет, спасибо, — отказывается мама. — Что ж мы у вас, ужин отбирать будем?

— Да супруга моя всегда с излишком провизии накладывает, я б даже если неделю тут просидел, всего бы не употребил. Да и работа несложная, сиди себе, смотри на лампочки да рычаг двигай, когда нужно.

Он откручивает крышечку фляжки, наливает какао в кружку и со словами «На, пей сколько хочешь» вручает ее мне.

Маме он протягивает полбутерброда.

— Что вы, что вы, — отнекивается она. — Домой детям лучше несите.

— У меня, миссус, два сына служат в войсках Его Величества короля Англии. Один под началом Монтгомери в Африке, другой в Бирме или еще в какой чертовой дыре — извините, что выражаюсь. Боролись мы, боролись с англичанами, а теперь за них воюем. Берите, берите, бутерброд, миссус.

Лампочки на устройстве начинают помигивать.

— Ваш поезд прибывает, — говорит дежурный.

— Спасибо вам большое и с Рождеством вас!

— И вас, миссус, и с Новым годом тоже. Дружок, по лестнице осторожно спускайся и маме помоги.

— Спасибо большое, сэр.

Мы снова стоим и ждем на перроне. Поезд с грохотом въезжает на станцию. Двери вагонов открываются, оттуда выходят люди с чемоданами и быстрым шагом идут к воротам. Где‑то звякают о землю молочные бидоны. Мужчина с двумя мальчиками выгружают из вагона газеты и журналы.

Папы нигде не видно. Мама говорит, что, может быть, он уснул в вагоне, но мы оба знаем, что вряд ли — он и в своей‑то постели плохо спит.

— Должно быть, паром из Холихеда запоздал, вот папа и не успел на поезд, — предполагает мама. — В Ирландском море погода зимой всякая бывает.

— Он не приедет, мам. Ему на нас наплевать. Валяется пьяный где‑нибудь в Англии.

— Не смей говорить так про отца.

Я замолкаю. Вот был бы у меня такой отец, как тот дежурный в сигнальной будке, который нас бутербродами и какао угостил.

На следующий день дверь открывается, и в дом заходит папа. Верхние зубы у него выбиты, а под глазом синяк. Он говорит, что в Ирландском море был шторм, он ударился о перила и зубы выбил.

— А может, подрался спьяну? — спрашивает мама.

— Нет, конечно, Анджела.

— Пап, ты подарок обещал, — встревает Майкл.

— Ах, да.

Папа достает из чемодана коробку конфет и протягивает ее маме. Она открывает коробку, а там уже половины конфет нет.

— Не мог детям оставить? — укоряет его мама.

Она захлопывает коробку и убирает ее на каминную полку.

— Ладно, завтра после праздничного обеда съедим.

Мама спрашивает папу, привез ли он денег. Тот говорит, что времена настали тяжелые, работы мало.

— Голову‑то мне не морочь, — возмущается мама. — Война идет, уж чего‑чего, а работы в Англии навалом. Пропил все, да?

— Ты все пропил, папа?!

— Ты все пропил, папа?!

— Ты все пропил, папа!

От наших криков Альфи просыпается и пускается в рев.

— Тихо‑тихо, мальчики, — говорит папа. — Имейте уважение к отцу.

Он надевает кепку — приятеля тут одного обещался навестить.

— Шагай, шагай к своему приятелю, — злится мама. — Только не вздумай пьяным заявляться и песни распевать про Родди Маккорли или еще про кого.

Папа приходит домой пьяным и тихонько засыпает на полу, у маминой кровати.

На следующий день у нас настоящий рождественский обед, потому что мама получила продуктовый талон от Общества Святого Викентия. Мы будем есть овечью голову с капустой и молочно‑белыми картофелинами и пить сидр, потому что Рождество. Папа говорит, что есть не хочет, а просто чаю попьет и просит у мамы сигаретку.

— Да съешь ты хоть что‑нибудь, — просит мама. — Рождество же.

Он повторяет, что не голоден, но если никто овечьи глаза не хочет, то так и быть — съест. Очень уж много в них пользы, и нечего носы воротить. Папа запивает еду чаем и докуривает сигарету. Потом надевает кепку и идет наверх за чемоданом.

— Ты куда это собрался? — кричит ему вслед мама.

— В Лондон.

— Это в Рождество‑то? Другого дня не нашел?

— Как раз лучшего дня и не придумать. Кто‑нибудь да подбросит рабочего человека до Дублина — в Рождество все вспоминают, что Святому Семейству тоже нелегко пришлось.

— А на паром в Холихед как попадешь без гроша в кармане?

— Да как в прошлый раз. Проскочу, пока никто не видит.

Он целует нас всех в лоб, велит хорошо себя вести, слушаться маму и молиться, потом обещает написать письмо.

— Ну да, много ты пишешь, — усмехается она.

Папа подходит к ней с чемоданом. Мама встает, достает с полки коробку с конфетами и раздает нам. Она кладет себе в рот конфету, но тут же вынимает — конфета слишком твердая, и маме ее не разгрызть. У меня конфета мягкая, я меняю ее на твердую — той на подольше хватит. Она сливочная и очень вкусная, а посередине — орешек. Мэйлахи с Майклом ноют, что у них конфеты без орешка, и почему это Фрэнку всегда орешек достается?

— Как это всегда? — удивляется мама. — У нас ни разу еще конфет в доме не было.

— Ему один раз изюминка в булочке попалась в школе, и он отдал ее Пэдди Клоэсси, — ноет Мэйлахи. — А орешек почему нам не отдал?

— Потому что сегодня Рождество, а у него глаза болят, орехи для глаз полезны.

— Орешек, правда, ему глаза полечит? — спрашивает Майкл.

— Правда.

— А один или оба?

— Я думаю, оба.

— Если б мне орешек попался, я бы ему отдал, глаза полечить, — сообщает Мэйлахи.

— Я знаю, что отдал бы, — говорит мама.

Папа еще какое‑то время стоит и смотрит, как мы едим шоколад, потом отпирает щеколду и уходит.

###### \* \* \*

— И днем‑то плохо, а ночью еще хуже, — жалуется наша мама Брайди Хэннон. — И когда этот дождь прекратится?

В ненастные дни мама с утра не встает, а разрешает нам разжечь огонь. Сама она сидит на кровати, кормит Альфи хлебным мякишем и поит чаем из кружки. Мы с Мэйлахи спускаемся в «Ирландию», умываемся под краном над тазиком и вытираемся старой рубахой, которая висит тут же на спинке стула. Мама велит нам подняться наверх, стать около постели и проверяет, чисто ли мы отмыли шеи, и если нет, отправляет обратно к крану и мокрой рубахе. Если прохудились штаны, мама ставит заплатку из любой тряпицы, какую дома найдет. Штаны у нас короткие, потому что нам еще не исполнилось ни тринадцать, ни четырнадцать, а чулки вечно дырявые. Если у мамы нет ниток для штопки, а чулки темные, то можно замазать ноги в дырках черной ваксой — иначе ужасно стыдно появляться на людях. Через несколько недель дыры увеличиваются настолько, что чулки приходится стягивать пониже и прятать дырявые места в ботинки. В дождливые дни чулки намокают, мы развешиваем их у огня на ночь, а к утру они так затвердевают от грязи, что надевать страшно — вдруг раскрошатся. Но чулки надеть — это полбеды, еще надо чем‑то заткнуть дыры в ботинках, так что мы с Мэйлахи вечно деремся за обрывки картона и бумаги. Майклу всего шесть, ему может вообще ничего не перепасть, и тогда мама ругается.

— А ну, живо помогите братику с ботинками, не то встану сейчас и разберусь с вами.

Майкла жалко: для Альфи он слишком большой, а для нас — слишком маленький, поэтому ему ни играть, ни драться не с кем.

С остальной одеждой проще — в школу я хожу в той же рубашке, в которой сплю. Получается, я ее не снимаю ни днем ни ночью. В ней же играю в футбол, лазаю по садам и огородам, хожу на мессу и в Братство. Иногда люди рядом со мной принюхиваются и отодвигаются. Если в Обществе Святого Викентия маме дают талон на новую рубашку, то старая становится полотенцем и висит на спинке стула месяцами, а то, бывает, мама режет ее на тряпки, чтобы другие рубашки латать или пеленать Альфи, а уж после всего подтыкает под дверь, чтобы дождевая вода не текла в дом.

В школу мы ходим задами, чтобы ненароком не встретиться с прилично одетыми мальчиками из «Христианских братьев», школы иезуитов и Кресент‑колледжа. «Христианские братья» одеты в твидовые пиджаки, шерстяные свитера, рубашки с галстуками и новенькие, начищенные до блеска ботинки. Эти мальчики потом будут работать во всяких государственных конторах и помогать тем, кто правит миром. Ученики Кресент‑колледжа носят блейзеры, небрежно наброшенные на шею шарфы одинакового цвета и ходят, задрав нос. У них длинные, спадающие на глаза челки, которыми они все встряхивают, как англичане. Эти ребята поступят в университеты, унаследуют семейные предприятия, будут управлять страной да и всем миром. А мы станем мальчиками‑посыльными и будем развозить продукты на велосипедах или уедем в Англию работать на стройке. Наши сестры станут ухаживать за их детьми и драить им полы, если тоже в Англию не уедут. Все это понимают. Мы стыдимся своего вида, и стоит мальчикам из богатых школ сказать нам что‑то обидное, мы тут же ввязываемся в драку, и заканчивается все это разбитыми носами и порванной одеждой. Учителя злятся на нас, их эти наши драки ох как выводят из себя, потому что их‑то сыночки ходят в богатые школы и мы не имеем права поднимать руку на тех, кто стоит выше нас. Не имеем права и все тут.

###### \* \* \*

Часто бывает так, что приходишь из школы, а с мамой у огня сидит какая‑нибудь незнакомая женщина. Обязательно с ребенком. Мама встречает этих женщин на улице, они просят у нее денежку, и маме становится их жалко. Денег у нее нет, поэтому она ведет их к нам домой, поит чаем и кормит жареным хлебом, а если вечер выдается ненастным, то разрешает им переночевать у нас на куче тряпья перед камином. Если она угощает кого‑то хлебом, значит, нам достанется меньше, а в ответ на наше недовольство она отвечает, что всегда есть те, кому еще хуже, и уж немножко‑то мы поделиться можем.

Майкл точно такой же — вечно приводит домой бродячих собак и стариков. Смотришь — а у него в постели собака лежит. Да не просто собака, а в струпьях, безухая и бесхвостая. Как‑то в парке он увидел, что мальчишки мучают ослепшую борзую. Он отбил ее у мальчишек и привел домой, а собака‑то была больше него самого.

— Я ей свой ужин отдам, — сообщил он маме.

— Какой ужин? — усмехается мама. — Хорошо, если корочка хлеба в доме завалялась.

— Ну, значит, пусть мою долю от корочки ест, — говорит Майкл.

Мама требует, чтоб собака утром же исчезла из дома, и Майкл плачет всю ночь, а утром оказывается, что собака издохла прямо рядом с ним в постели, и он плачет еще горше. В школу он не идет — надо вырыть могилу для собаки на заднем дворе, там, где раньше была конюшня. Он просит нас, чтоб мы ему помогли, а потом прочитали молитву над могилой. Мэйлахи говорит, что за собаку молиться без надобности, может, у нее даже прежние хозяева не католики были.

— Как это не католики? А я? — рыдает Майкл. — Я же с ней в обнимку спал.

Майкл так убивается, что мама разрешает нам всем остаться дома и не ходить в школу. Вот радость‑то: мы совсем не против помочь Майклу с могилой, а потом три раза прочесть «Богородица, Дева, радуйся», но не терять же целый выходной из‑за собаки. Еще Майкл приводит домой стариков, и хотя ему всего шесть, умудряется сам разжечь огонь и заварить чай. Мама говорит, ее просто из себя выводит, когда она приходит домой, а там старички сидят у огня, дуют чай из ее любимой кружки, бормочут что‑то и почесываются. Она рассказывает Брайди, что Майкл не всяких стариков домой приводит, а только тех, которые малость не в себе, а если дома хлеба нет, то он стучится к соседям и без всякого смущения просит хлеба.

Наконец она выговаривает Майклу:

— Все, больше никаких старичков, тем более что один из них наградил нас вшами.

Вши — это такая гадость, еще хуже, чем крысы. Они копошатся у нас в волосах, в ушах, во впадинах ключиц, вгрызаются в кожу, забираются в швы одежды, а пальто, которыми мы укрываемся ночью, кишат вшами. Альфи приходится осматривать с головы до пят, а то он маленький и сам прибить вшей не может.

Вши и блох хуже. Вши впиваются в кожу и сосут кровь, прямо видно как брюшко кровью наливается. Блохи прыгают и кусаются, но они не заразные. Нет, уж лучше блохи. Прыгучие твари лучше сосущих. Мы дружно решаем, что все, больше никаких женщин с детьми, собак и старичков. Хватит с нас заразы и инфекций. Майкл рыдает.

###### \* \* \*

У бабушкиной соседки, миссис Перселл, единственной во всем переулке есть радиоприемник. Ей государство его выделило, потому что она старая и слепая. Я тоже хочу радиоприемник. Моя бабушка тоже старая, но не слепая, а какая польза от бабушки, которая не ослепнет никак и не получит радиоприемник от государства?

Воскресными вечерами я сижу на тротуаре под окном миссис Перселл и слушаю «Би‑би‑си» и Ирландское радио. Там передают пьесы О’Кейси, Шоу, Ибсена и Шекспира — он самый лучший, хоть и англичанин. Шекспир, он как картофельное пюре — никогда не насытишься. А еще по радио бывают странные пьесы про греков, которые выкалывают себе глаза, потому что нечаянно женились на собственных матерях.

В один из таких вечеров, когда я сижу под окном миссис Перселл и слушаю «Макбета», из двери высовывается дочь миссис Перселл, Кэтлин.

— Заходи в дом, Фрэнки. Мама говорит, если на земле в такую погоду сидеть, то и чахотку подхватить недолго.

— Нет, спасибо, Кэтлин, я тут посижу.

— Да нет же, заходи.

Меня угощают чаем и дают толстый ломоть хлеба, густо намазанный ежевичным джемом.

— Любишь Шекспира, Фрэнки? — спрашивает миссис Перселл.

— Очень, миссис Перселл.

— О, Фрэнки, его стихи точно музыка, а сами истории — лучшие в мире. Не знаю, что бы я делала по воскресеньям, кабы не он.

Когда пьеса заканчивается, мне разрешают покрутить ручку, и я пытаюсь поймать еще какую‑нибудь передачу на коротких волнах. Из радиоприемника раздается то шепот, то шипенье, то звуки, напоминающие шум моря, то азбука Морзе: тире‑тире‑тире‑точка. Я слышу мандолины, гитары, испанские волынки, африканские барабаны, заунывные песни нильских лодочников. Вижу соборы, небоскребы, загородные дома; бедуинов в Сахаре и войска французского иностранного легиона; ковбоев в американских прериях. Я представляю, как горные козлы скачут по скалам вдоль греческих берегов, где пастухи слепые, потому что нечаянно женились на собственных матерях. Я вижу сидящих в кафе людей — они потягивают вино, прогуливаются по бульварам и авеню. В дверных проемах стоят уличные женщины, служат вечерню монахи. Потом раздается громкий звон Биг‑Бена — служба «Би‑би‑си», выпуск зарубежных новостей.

— Оставь, оставь, Фрэнки, — говорит миссис Перселл. — Послушаем, что в мире делается.

После новостей начинается передача для американских вооруженных сил. Как же здорово слышать американскую речь! Как легко и непринужденно звучат голоса! Потом играет музыка, ах, какая музыка! Сначала сам Дюк Эллингтон зовет меня поскорее сесть в поезд А[[98]](#footnote-98), а потом Билли Холидей поет, обращаясь ко мне одному:

Я не могу дать тебе ничего, кроме любви, милый.

Это единственное, чего у меня с избытком, милый.

Ох, Билли, Билли, как я хочу оказаться в Америке с тобой и с этой музыкой! Там у всех красивые зубы, люди оставляют еду на тарелках, у каждой семьи свой туалет, и все живут долго и счастливо.

— Знаешь, что, Фрэнки? — вдруг говорит миссис Перселл.

— Что?

— Шекспир так хорош, что, наверное, он ирландец.

###### \* \* \*

Сборщик ренты теряет терпение.

— Вы не платите уже четыре недели, миссус, — выговаривает он маме. — С вас один фунт и два шиллинга. Платите, а иначе я пойду в контору к сэру Винсенту Нэшу и скажу ему, что Маккорты задолжали за месяц. И где я тогда окажусь, миссус? Меня вышвырнут с работы, а у меня матушка на попечении. Ей девяносто два, и она каждый день ходит причащаться в церковь францисканцев. Моя работа — собирать ренту, миссус, и если я ее не соберу, то потеряю работу. Смотрите же, на следующей неделе я приду снова, и если к тому времени вы не найдете один фунт восемь шиллингов шесть пенсов, то окажетесь на улице, под дождем, со всеми вашими пожитками.

Мама возвращается в «Италию», садится у огня и причитает, что за неделю нечем заплатить, не то что за месяц. Ей хочется чаю, но воду кипятить не на чем. Тогда Мэйлахи вытаскивает расшатанную доску из стены между комнатами.

— И так уже отвалилась, — говорит мама. — Так что можно и на дрова пустить.

Доски хватает, чтобы вскипятить чаю утром, но что делать вечером и потом?

— Еще одну доску, пожалуй, вытащить можно, но только одну, — разрешает мама.

Она повторяет это две недели, пока от стены не остаются голые балки.

— Балки не трогать! — грозит нам мама. — На них держится потолок и весь дом.

Балки? Да ни за что!

Мама уходит к бабушке, а дома становится так холодно, что я беру топорик и примериваюсь к одной из балок. Мэйлахи меня подбадривает, а Майкл хлопает в ладоши от восторга. Я дергаю балку на себя, потолок скрипит, и на мамину кровать обрушиваются разом куски штукатурки, черепица и дождевая вода.

— О, Господи, нас прибьют, — ахает Мэйлахи.

А Майкл пританцовывает и распевает:

— Фрэнки дом сломал, Фрэнки дом сломал.

Мы бежим под дождем к бабушке, чтобы сообщить маме ужасную новость. Она озадаченно смотрит на Майкла, который по‑прежнему распевает: «Фрэнки дом сломал, Фрэнки дом сломал», но потом я объясняю, что в крыше дыра, и дом вот‑вот рухнет.

— Господи! — кричит мама и выбегает на улицу, а бабушка пытается поспеть за ней.

Кровать погребена под штукатуркой и черепицей.

— Что же нам делать? Что? — хватается мама за голову и начинает кричать на меня за то, что я тронул балки.

— Пойду к хозяину в контору, — говорит бабушка. — Скажу, чтоб дыру заделали, не то вас дождем совсем зальет.

Чуть погодя она возвращается со сборщиком ренты.

— Боже правый, а где еще одна комната? — изумленно произносит тот.

— Какая комната? — спрашивает бабушка.

— Я вам сдал две комнаты, а тут только одна. Где комната?

— Какая комната? — вторит ей мама.

— Когда я вам жилье сдавал, наверху две комнаты было, и стена между ними. Где стена? Я точно помню стену, потому что была комната. Куда вы дели стену? И комнату?

— Не помню я никакую стену, — говорит бабушка. — А если я не помню стену, как же я комнату вспомню?

— Не помните? Зато я помню. Сорок лет работаю и ни разу ничего подобного не видал. Да что ж это такое! Стоит чуть отвлечься и жильцы перестают платить, да ко всему прочему стены с комнатами куда‑то девают. Сейчас же отвечайте, где стена и где комната!

— Вы помните стену? — поворачивается мама к нам.

Майкл тянет ее за руку.

— Которую мы в камине сожгли?

— Боже правый! — произносит сборщик ренты. — Все, это уже ни в какие ворота не лезет и переходит все чертовы границы. Мало того, что не платите, так теперь еще и это. Что я сэру Винсенту скажу? Вон, миссус, я вас выселяю! Чтоб духу тут вашего через неделю не было! Слышали?!

Мамино лицо становится суровым.

— Вам надо было родиться, когда англичане лишали ирландцев крова.

— Не умничайте, миссус, не то я пришлю людей и вас выселят завтра же.

Он уходит, широко распахнув дверь, чтоб всем было ясно, какого он о нас мнения.

— Господи, да куда ж мы пойдем? — сокрушается мама.

— Мне вас селить некуда, — отвечает бабушка. — Вот кузен твой, Джерард Гриффин, который живет в домике своей матери на Росбрайен‑роуд, сможет вас приютить, пока другое жилье не подыщете. Время позднее, но я все равно схожу к нему и спрошу. Фрэнк, пойдешь со мной.

Она велит мне надеть пальто, но пальто у меня нет.

— Про зонтик тебя, конечно, тоже бесполезно спрашивать, — говорит бабушка. — Пойдем. — Она накидывает на голову шаль и выходит, я — следом за ней. Под дождем мы шагаем на Росбрайен‑роуд, а это почти две мили. Бабушка стучит в дверь маленького домика в длинном ряду таких же домишек.

— Я знаю, ты дома, Ламан. Открой дверь.

— Бабушка, почему Ламан? Он же Джерард.

— Почем я знаю. Зовут же все твоего дядюшку Пэта Эбом. А этого Ламаном кличут. Открывай, а то сами войдем. На работе, наверное, задержался.

Она толкает дверь. В комнате темно. Пахнет сыростью и чем‑то сладким. Это, похоже, кухня, а рядом с ней маленькая комнатка. Над спальней — маленький чердак с окошком, в которое барабанит дождь. Повсюду валяются коробки, газеты, журналы, объедки, кружки, пустые консервные банки. Почти всю спальню занимают кровати — одна огромная, а другая — у окна — поменьше. На огромной какой‑то бугор.

— Ламан? Вставай, ну, вставай же.

— А? Что? Что случилось?

— Беда у нас. Анджелу с детьми выселяют, а небо будто прохудилось. Приютить их надо, пока на ноги не встанут, а у меня места нету. Можешь им чердак отдать, хотя нет — дети лазить туда не смогут, убьются еще, так что сам иди наверх, а их сюда пусти.

— Ладно, ладно, ладно, ладно. — Ламан с трудом поднимается с постели, от него разит виски. Он идет на кухню, двигает стол к стене и с него забирается на чердак.

— Ну, вот и славно, — говорит бабушка. — Хоть сегодня переезжайте, и никто не придет вас выселять.

— Все, пошла я домой, — сообщает маме бабушка.

Она устала и насквозь промокла, а ведь ей уже не двадцать пять.

— Из мебели ничего не берите, — добавляет она. — У Ламана Гриффина всякого добра хватает.

Мы усаживаем Альфи в коляску и подкладываем к нему кастрюлю, сковородку, чайник, стеклянные банки и кружки, папу римского, подголовники и пальто с кроватей. Потом накидываем пальто на головы и выезжаем на улицу. Мама велит не шуметь, а то соседи узнают, что нас выселили, вот уж стыдоба будет! Из‑за кривого колеса коляска вихляет и едет, куда хочет. Ее все время приходится выравнивать, но нам все равно весело — уже за полночь, значит, утром точно не надо в школу. И вообще, мы теперь будем жить так далеко от школы Лими, что может, и совсем туда ходить не будем. Как только переулок остается позади, Альфи принимается барабанить ложкой по кастрюле, а Мэйлахи запевает песню Эла Джолсона «Свани»[[99]](#footnote-99), которую он слышал в кино:

Свани, как люблю тебя я, как люблю тебя я,

Милая моя, старушка Свани.

Он пытается петь низким голосом, и получается очень смешно.

— Хорошо, что уже ночь, и никто нашего позора не видит, — говорит мама.

Добравшись до дома, мы выгружаем из коляски Альфи со всеми пожитками, чтоб нам с Мэйлахи еще раз сбегать на Роден‑лейн за чемоданом. Мама не переживет, если что‑нибудь случится с самим чемоданом или с его содержимым.

Мы с Мэйлахи укладываемся валетом на маленькой кровати, а мама с Альфи и Майклом — на большой. В доме сыро, везде плесень и прямо над головой храпит Ламан Гриффин. Лестницы в этом доме нет, значит, и Ангел Седьмой Ступеньки сюда не прилетит. Впрочем, мне уже скоро будет тринадцать — наверное, я староват для ангелов.

###### \* \* \*

Еще до рассвета звонит будильник. Ламан Гриффин шумно сморкается и отхаркивается. Он расхаживает по скрипучему полу, потом принимается справлять нужду, и кажется, что это звяканье ночного горшка никогда не кончится. Мы суем пальто себе в рот, чтоб не расхохотаться, а мама на нас шикает. Гриффин гремит чем‑то, потом слезает с чердака, достает велосипед и пинком отворяет дверь.

— Ну все, ушел, — шепчет мама. — Поспите еще, в школу уж ладно, не пойдете сегодня.

Какой там спать! Мы же на новом месте! Надо пописать и исследовать территорию. Туалет на заднем дворе — шагах в десяти от черного хода. Собственный туалет! С дверцей, которая закрывается, и нормальным сиденьем! Можно сидеть и читать обрывки «Лимерик лидера», оставленные Ламаном Гриффином, чтоб подтираться. Задний двор большой, есть сад, поросший высокой травой и сорняками, старый велосипед великанских размеров, десять консервных банок, полусгнившие газеты и журналы, ржавая швейная машинка, дохлая кошка с петлей на шее — наверное, кто‑то через забор перебросил.

Майкл придумывает, что это Африка, и все время твердит:

— Где Тарзан? Где Тарзан?

И принимается носиться без штанов по заднему двору, изображая как Тарзан с громким кличем скачет по деревьям.

— О, у них там огороды и растет всякое, — говорит Мэйлахи, заглядывая в соседские дворы. — Мы тоже можем что‑нибудь посадить. Картошку и все остальное.

— Поищите, чем бы огонь разжечь, — кричит нам мама с черного хода.

Сзади к дому притулился деревянный сарай. Он уже и так полуразвалился, так что наверняка можно взять несколько досок на дрова. Мама смотрит на доски с отвращением. Они гнилые, и в них копошатся опарыши, но нищим выбирать не приходится. Доски, положенные поверх горящей бумаги, шипят, опарыши пытаются уползти. Майклу их жалко, но ему всех жалко.

Мама говорит, что раньше в этом доме была лавка — мать Ламана Гриффина торговала продуктами из окошка, вот и накопила денег, чтоб отправить Ламана аж в Рокуэлл‑колледж[[100]](#footnote-100), чтобы он стал морским офицером. Он и стал. Настоящим офицером Королевского флота — вон фотокарточка висит, где он с другими офицерами на званом ужине со знаменитой американской кинозвездой Джин Харлоу. С тех‑то пор все и пошло не так. Влюбился он в Харлоу без ума, а что толку? Она — Джин Харлоу, а он — простой морской офицер, вот и запил с горя, и его вышвырнули с флота. И посмотрите, кто он теперь — разнорабочий в электрической компании, а дома что творится? Позор, на человеческое жилье не похоже. Ламан, наверное, и не убирался ни разу с тех пор, как его мать умерла, так что если мы собираемся тут жить, придется хорошенько прибраться.

На полу стоят коробки, полные бутылочек фиолетового бриллиантина. Мама уходит в туалет, а мы открываем бутылочку и выливаем содержимое себе на головы. Мэйлахи говорит, что пахнет просто чудесно, но когда мама возвращается, она спрашивает нас:

— А чего это у вас волосы какие‑то масляные? И воняют страшно.

Мама заставляет нас сунуть головы под кран на дворе и вытереться старым полотенцем, которое валялось под кипой журналов «Иллюстрированные лондонские новости» — таких старых, что с их страниц еще машут читателям королева Виктория и принц Эдвард. Рядом с журналами обнаруживаются прозрачные бруски мыла «Пирс»[[101]](#footnote-101) и толстая книга под названием «Энциклопедия Пирса», из‑за которой я теперь ночами не сплю, потому что в ней рассказывается про все на свете — а мне как раз это и хочется знать.

Еще мы находим склянки с мазью Слоуна[[102]](#footnote-102), и мама говорит, что она нам очень пригодится, когда нас тут всех от сырости ревматизм скрючит. На склянках написано: «Слоун есть — боли нет». Еще нам попадаются коробочки со шпильками, сумки с дамскими шляпками, рассыпающимися от ветхости, корсетами, подвязками, высокими женскими ботинками на пуговицах, пачки слабительных пилюль, на которых написано, что от них «щечки зарумянятся, глазки прояснятся, локоны пуще закудрявятся». Тут же лежат письма от генерала Эоина О’Даффи[[103]](#footnote-103), адресованные Джерарду Гриффину, эсквайру. В одном из них написано: «Добро пожаловать в ‘‘Национальную гвардию’’ и в ряды ‘‘Синих рубашек’’[[104]](#footnote-104). Мы чрезвычайно рады, что нашей деятельностью заинтересовался Джерард Гриффин, столь блестяще образованный господин, прошедший закалку в Королевском флоте, знаменитый участник юношеской сборной Манстера по регби, завоевавшей кубок национального чемпионата. В настоящее время генерал О’Даффи формирует Ирландскую бригаду, которая вскоре отправится к берегам Испании, где будет доблестно сражаться под началом генералиссимуса Франко, и мистер Гриффин, без сомнения стал бы ценнейшим приобретением для Бригады».

Мама рассказывает, что мать не отпустила Ламана в Испанию. Не для того, мол, она горбатилась столько лет в своей лавке, зарабатывая ему на колледж, чтобы он потом к Франко удрал. Ламан остался дома, нанялся в электрификационную компанию ямы под столбы копать, и матушка его шибко радовалась, что сын теперь при ней каждый вечер, ну, кроме пятниц, когда он напивался и страдал по своей Джин Харлоу.

Мама радуется, что у нас теперь есть газеты на растопку, а то доски от сарая чадят и воняют, и еще вдруг опарыши сбегут из печки и разведутся в доме.

Мы весь день перетаскиваем коробки и сумки в сарай. Мама открывает все окна, чтобы выветрить запах от бриллиантина и многолетний затхлый воздух.

— Вот и слава богу, — говорит она. — А то пола под мусором было не видать. Теперь можно и чашечку чая выпить спокойно в тепле и уюте, а когда деньки погожие начнутся, может, сад разобьем и будем на свежем воздухе чаевничать, как англичане.

Каждый день, кроме пятницы, Ламан Гриффин приходит домой в шесть вечера, пьет чай и заваливается спать. По субботам он ложится в час пополудни и не вылезает из постели до утра понедельника. Он пододвигает кухонный стол к стене, забирается на него со стула, переставляет стул на стол, хватается за ножку кровати и залезает на чердак. Если в пятницу Ламан надирается, то заставляет меня притащить ему подушку и одеяла сверху и спит на кухне у камина или падает к нам с братом на кровать и всю ночь храпит и пускает газы.

Поначалу он ворчал, что мы его наверх выселили, и он уже замучился скакать туда‑сюда, даже в туалет нормально не сходишь.

— А ну, тащите стол со стулом — орет он нам сверху. — Я спускаюсь.

И мы срочно бежим расчищать стол и двигать его к стене. Ламан объявляет, что хватит с него лазанья, теперь он в матушкин ночной горшок справлять нужду будет. Он весь день валяется в постели, читает книги из библиотеки, курит дорогие сигареты и швыряет маме несколько шиллингов, чтоб она послала кого‑нибудь из нас в лавку за печеньем к чаю, окороком и помидорами. Потом кричит:

— Анджела, горшок.

Мама подтаскивает к стене стол и стул, лезет наверх за горшком, выливает его в уборную на дворе, ополаскивает и относит обратно на чердак.

— Больше ваше величество ничего не желает? — спрашивает она с суровым лицом.

— Женской заботы, Анджела, женской заботы и дармового жилья, — смеется он сверху.

Как‑то Ламан кидает с чердака читательский билет и велит мне принести ему из библиотеки две книги: по рыболовству и по садоводству. Еще он пишет библиотекарше записку, мол, ноги совсем не ходят после того, как целый день ямы под столбы копать приходится, вот он с этого дня и поручает Фрэнку Маккорту получать за него книги. Да, мальчику еще только исполнится четырнадцать, и да, он осведомлен, что, согласно правилам, дети во взрослую библиотеку не допускаются, но мальчик обязуется чисто мыть руки, хорошо себя вести и делать то, что ему скажут, спасибо.

— Ужасно жаль мистера Гриффина, — сокрушается библиотекарь, прочитав записку. — Настоящий джентльмен и необычайно образованный человек. А какие книги он читает! Иногда по четыре за неделю. Как‑то раз на французском книгу взял. На французском! А книга‑то про историю руля! Руля! Я бы все отдала, чтоб заглянуть в его голову, которая наверняка переполнена сведениями из самых разных областей. Переполнена!

Она выдает мне красивейшую книгу об английских садах. Потом говорит:

— А по рыболовству, ему, скорее всего, понравится эта. Уж я его вкусы знаю. Он столько книг перечитал про то, как английские офицеры рыбачат в Ирландии. Я и сама несколько прочла из любопытства. Понятно, почему всем этим офицерам нравится в Ирландии после всего, что они навидались в Африке, Индии и других жутких странах. Здесь у нас люди вежливые и воспитанные, а не дикари какие‑нибудь, которые знай только копья мечут.

Ламан валяется в кровати, читает книги и покрикивает сверху, что вот пройдут у него ноги, он такой красивый сад у себя разобьет, что станет знаменитым на весь мир, а в свободное от садоводства время будет таких лососей вылавливать в окрестных реках, что у всех слюнки потекут. Где‑то в доме лежит материн старинный рецепт приготовления лосося, он бы давно его нашел, да все некогда, и ноги болят. Еще Ламан говорит, что раз я доказал свою надежность, то могу и себе книжку брать, только чтоб без похабщины. Мне хочется узнать, что это за похабщина такая, но он все равно не скажет, придется выяснять самому.

Мама тоже хочет брать книги в библиотеке, но туда идти далеко, целых две мили, так что, может, я и для нее книжку возьму? Какой‑нибудь романчик Шарлотты М. Брейм или еще что‑нибудь в том же духе. Не надо ни про английских офицеров, которые ищут лосося, ни про то, как одни люди других убивают. В мире и так бед много, не хватало еще читать о том, как люди рыб мучают и друг друга.

###### \* \* \*

В ночь, когда случилась беда с нашим домом на Роден‑лейн, бабушка простудилась и заболела. Простуда перешла в воспаление легких, бабушку увезли в городскую больницу, и там она скончалась.

Ее старший сын, мой дядя Том, поехал было в Англию на заработки по примеру других мужчин из лимерикских трущоб, но у него усилилась чахотка, он вернулся в Лимерик и тоже скончался.

Его жена, Джейн Голуэй, сошла в могилу вслед за ним, и четверых из их шести детей пришлось поместить в приюты. Старший сын, Джерри, сбежал из дому и вступил в ирландскую армию, потом дезертировал и перешел в английскую. Старшей дочке, Пегги, пришлось пойти жить к тете Эгги, и ей там ох как несладко приходится.

Военное музыкальное училище набирает мальчиков с музыкальными способностями. Мой брат Мэйлахи проходит отбор и уезжает в Дублин, чтобы стать солдатом и играть на трубе.

Дома со мной остались только два брата, и мама говорит, что семья редеет на глазах.

## XIII

Мои одноклассники собираются на выходные в Киллало. Меня тоже с собой зовут, если велосипед раздобуду. С собой надо взять всего ничего: одеяло, немного заварки, сахара и несколько кусков хлеба. Уж на два‑то дня Ламан Гриффин точно одолжит мне свой велосипед, а я пока потренируюсь ездить на нем по вечерам, после того, как Гриффин заваливается спать.

Просить его о чем‑то лучше в пятницу вечером — после того, как он поест и выпьет, настроение у него хорошее. На ужин он всегда приносит себе в карманах одно и то же: истекающий кровью стейк, четыре картофелины, луковицу и бутылку стаута. Мама варит картошку и жарит стейк с луком. Не переодеваясь, Ламан плюхается за стол и руками ест стейк. Жир вперемешку с кровью стекает у него с подбородка прямо на одежду, руки он вытирает об нее же.

— Нет ничего лучше хорошего стейка с кровью в пятницу вечером, и уж если это худший мой грех, то воспарю я к небесам плотью и душой, — смеется он, потягивая из бутылки стаут.

— Велосипед? Конечно, бери, — кивает он. — С ребятами и не поехать за город? Конечно, надо ехать. Только ради этого придется немного потрудиться. Просто так ведь ничего не дается, ты же понимаешь?

— Да.

— Есть у меня для тебя одна работенка. Ты же не против чуть‑чуть поработать?

— Не против.

— И маме помочь хочешь?

— Да.

— У меня там горшок стоит полный с утра. Сходи‑ка, вынеси, сполосни под краном да на место поставь.

Горшок выносить мне ужасно не хочется, но я представляю, как отправлюсь на велосипеде в Киллало, туда, где только поле и небо, как буду купаться в реке Шаннон и спать на сеновале. Я придвигаю стол к стене, приношу стул, забираюсь на чердак. Под кроватью стоит белый горшок весь в желтых и коричневых потеках и до краев наполненный мочой и дерьмом. Я осторожно переношу его к краю — не дай бог прольется, — слезаю на стул, беру горшок за ручку, забираю его вниз, отвернувшись, спускаюсь на стол, ставлю горшок на стул, слезаю на пол, несу в туалет, выливаю, и там же, за туалетом, меня тошнит с непривычки.

— Вот и молодец, — посмеивается Ламан. — Можешь брать велосипед, когда захочешь, главное — выливай горшок, бегай за сигаретами в лавку и за книжками в библиотеку и делай все, что я скажу. До чего же ловко ты с горшком управился.

Мама молча глядит в потухший очаг.

###### \* \* \*

Однажды дождь так расходится, что библиотекарша, мисс О’Риордан, говорит:

— Не ходи пока на улицу, а то книги испортишь. Посиди тихонько, жития святых вон почитай.

На полке стоят четыре здоровенных тома «Житий святых» отца Батлера. На то, чтобы их прочитать, наверное, вся жизнь уйдет. Я неохотно принимаюсь за чтение, и вскоре желаю только одного — чтобы дождь никогда не заканчивался.

На церковных образах святые — и мужчины, и женщины, — всегда смотрят на небеса, где на облачках сидят упитанные ангелочки с цветочками и арфами и славят Господа. Дядя Па Китинг говорит, что нет ни одного святого, с которым ему бы хотелось распить кружечку. Однако в этой книге святые ведут себя совсем по‑другому. В ней рассказывается про девственниц, мучеников, дев‑мучениц, и эти истории почище любого фильма ужасов в «Лирик‑синема».

Мне приходится посмотреть в словаре слово «девственница». Я знаю, что девой называют Марию, мать Иисуса, потому что у нее не было настоящего мужа, только бедный старый Иосиф. В «Житиях святых» девственницы все время попадают в беду, а почему, непонятно. В словаре написано: «Девственница, женщина (обычно юная), пребывающая в состоянии неоскверненного девства». Теперь надо глядеть, что такое «неоскверненное» и «девство», и по словарю выходит, что «неоскверненное» значит «не подвергшееся осквернению», а «целомудрие» — это «отсутствие незаконных половых сношений». Теперь непонятно, что такое «сношения». Дальше словарь подсказывает «интромиссию», следом — копулятивный орган особи мужского пола. «Копулятивный» приводит меня к «копуляции», что есть «слияние полов в таинстве воспроизводства рода». Тут я уже совсем ничего не понимаю, и так устал искать одно за другим слова в этом толстенном словаре, а все потому, что те люди, которые его писали, не желают, чтобы такие, как я, хоть что‑нибудь поняли.

Я просто хочу узнать, откуда я взялся, но если начинаешь спрашивать, тебя отправляют за ответом к кому‑то еще или запутывают словами.

Всем этим девам‑мученицам римские судьи велят отречься от веры и принять римских богов, но они говорят: «Ни за что», и тогда судьи решают замучить их до смерти. Больше всего мне нравится читать про святую Христину, которая целую вечность не умирала. Судья велит отрезать ей грудь, а она кидает в него отрезанной грудью, и тот глохнет и слепнет. В дело вступает другой судья, и велит отрезать ей вторую грудь. С ним повторяется та же история. В Христину пускают стрелами, а они от нее отскакивают обратно в лучников, и те валятся замертво. Потом ее пытаются сварить заживо в масле, а она знай себе сидит в котле, ножками болтает. Судье это все окончательно надоедает, и он приказывает отрубить Христине голову, и тут уж она погибает. Святую Христину почитают двадцать четвертого июля, и я, пожалуй, запомню для себя эту дату, так же как и День святого Франциска Ассизского, четвертого октября.

— Дождь кончился, ступай домой, — говорит библиотекарша.

Я направляюсь к выходу, а она окликает меня и говорит, что написала моей маме записку и нисколечко не возражает, если я ее прочту. В записке говорится: «Дражайшая миссис Маккорт. Бывает, сидишь и думаешь, что Ирландия катится к чертям собачьим, а потом к тебе в библиотеку приходит мальчик и так зачитывается „Житиями святых“, что даже не замечает, как прекращается дождь, и его приходится чуть ли не силой отрывать от вышеупомянутых „Житий“. Так вот, миссис Маккорт, возможно, у вас в семье священник растет, и я поставлю свечку в надежде, что мое предположение сбудется. Искренне ваша, Кэтрин О’Риордан, помощник библиотекаря».

###### \* \* \*

Хоппи О’Холлоран — единственный учитель в школе Лими, кто ведет уроки сидя: то ли потому, что он директор, то ли потому, что у него одна нога короче другой, и поковыляй‑ка так долго без отдыха. Остальные учителя во время урока расхаживают по классу или на кафедру поднимаются, и никогда не знаешь, когда тебе попадет тростью или ремнем за то, что ответил неправильно или написал что‑то небрежно. Если Хоппи решит тебя наказать, он вызовет тебя к своему столу и накажет перед всеми тремя классами.

Бывают хорошие дни, когда он сидит за столом и рассуждает об Америке.

— Мальчики мои, — говорит он. — В распоряжении американцев — всевозможные климатические зоны: от ледяных равнин Северной Дакоты до благоухающих цветущих апельсиновых рощ во Флориде.

Еще он рассказывает про историю Америки. Если уж американский фермер с кремневым ружьем и мушкетом отвоевал у англичан целый континент, то чего уж нам, вечным воинам, свой остров не освободить.

Если мы не хотим, чтоб он мучил нас алгеброй и ирландской грамматикой, надо спросить что‑нибудь про Америку, и он проговорит весь день.

Сидя за столом, он перечисляет индейские племена и своих любимых вождей. Арапахо, шайены, чиппева, сиу, апачи, ирокезы. Это же музыка, мальчики, сущая музыка! А имена вождей? Вы только послушайте: Пинающий Медведь, Дождь‑на‑Лице, Сидящий Бык, Неистовый Конь и самое лучшее — Джеронимо.

В седьмом классе Хоппи раздает нам маленькие книжечки с многостраничной поэмой Оливера Голдсмита, которая называется «Покинутая деревня». Он говорит, что хотя эта поэма об Англии, в ней поэт горюет о судьбах своей родины, нашей родины, Ирландии. Мы учим поэму наизусть по двадцать строк за вечер, чтоб утром на уроке рассказывать без запинки. Хоппи вызывает перед классом сразу шестерых, и если забудешь хоть строчку, получишь дважды по рукам. Он велит нам положить книжечки в парту и хором декламировать ту часть, которая повествует о сельском учителе.

За изгородью, что бежала вдоль дорог,

Где весело желтел цветущий дрок.

В том домике, где раздавался гомон детский,

Привычно вел урок учитель сельский.

Он был суров и леность не прощал,

О том знал я, и каждый шкодник знал.

Он только бровью поведет — и чувствуешь нутром,

Сию минуту над тобою грянет гром.

А шутку скажет, так тотчас.

От облегчения смеется целый класс.

Когда мы доходим до последних строк, он закрывает глаза и блаженно улыбается.

И все же он был добр, а строгим настроеньям,

Была виной его любовь к ученью.

Деревня удивлялась вся обширным знаньям,

Какие он имел и в счете, и в правописаньи.

Умел он землю мерить, дни святых всех знал,

Во всяких единицах без труда считал.

И в споре сложном отстоять свое сужденье

Священник местный признавал за ним уменье.

Мудреность и длина латинских слов всех поражали,

Сельчане, встав в кружок, им с изумлением внимали.

И каждый раз восторгам общим не было числа —

Мол, надо ж, сколько знаний голова одна вместить смогла!

Это его любимые строки, потому что они про учителя, про него самого, и это действительно так, ведь мы тоже удивляемся, как в одной голове может вмещаться столько знаний, и каждый раз декламируя стих, мы думаем о нем.

— Ох, ребятки, ребятки, — вздыхает он. — Всегда думайте своей головой, но прежде надо наполнить ее знаниями. Слышите меня? И тогда вы сможете блистать ученостью. Кларк, что значит, блистать?

— Думаю то же, что и блестеть, сэр.

— Лаконично, Кларк, и по существу.

— Ну‑ка, Маккорт, составь предложение со словом «лаконично».

— Кларк ответил лаконично и по существу, сэр.

— Ловко выкрутился, Маккорт. Прямая дорога тебе, мой мальчик, в священники или политики. Подумай об этом.

— Подумаю, сэр.

— Передай матери, чтоб зашла ко мне.

— Передам, сэр.

— Да как же я пойду к мистеру О’Холлорану? — сокрушается мама. — У меня ни платья приличного, ни пальто. Зачем он хочет меня видеть?

— Не знаю.

— Ну так спроси его.

— Но как? Он же меня убьет. Если он сказал прийти с мамой, значит, надо прийти с мамой, иначе влетит.

Мама идет к мистеру О’Холлорану, и тот беседует с ней в коридоре школы. Говорит, мол, ваш сын Фрэнк должен продолжать учебу, ни в коем случае нельзя ему становиться мальчиком на побегушках, это путь в никуда.

— Отведите его к «Христианским братьям», скажите, что от меня, скажите, что он подает надежды и должен идти в старшую школу, а потом — в университет.

Еще он говорит маме, что не для того директором школы Лими становился, чтоб мальчиков на побегушках готовить.

— Благодарю вас, мистер О’Холлоран, — произносит мама.

Лучше бы мистер О’Холлоран не лез не в свое дело. Не хочу я идти к «Христианским братьям». Я, наоборот, хочу бросить школу, найти работу, каждую пятницу приносить деньги в дом и ходить в кино по субботам, как все остальные.

Спустя несколько дней мама велит мне как следует оттереть руки и лицо, потому что мы идем к «Братьям». Я заявляю, что не хочу больше учиться, а хочу работать и быть мужчиной. Мама велит мне прекратить нытье, и объявляет, что я буду учиться дальше и точка, если даже ей для этого придется полы драить, только она сначала на моем лице потренируется.

Она стучит в дверь школы «Христианских братьев» и спрашивает настоятеля, брата Мюррея. Тот выходит к нам, смотрит на маму, потом на меня и интересуется:

— Чего вы хотите?

— Это мой сын, Фрэнк Маккорт, — объясняет ма‑ ма. — Мистер О’Холлоран, директор школы Лими, говорит, что он подает надежды, и не могли бы вы принять его в свою школу?

— У нас нет мест, — отвечает брат Мюррей, и захлопывает дверь у нас перед носом.

Домой мы идем молча. Мама снимает пальто, заваривает чай, садится у огня.

— Послушай, — наконец произносит она. — Ну, послушай же.

— Я слушаю.

— Вот уже второй раз церковь захлопывает перед тобой дверь.

— Второй? А когда был первый?

— Когда Стивен Кэри сказал тебе и твоему отцу, что не возьмет тебя в алтарники. Помнишь?

— Да.

— А теперь брат Мюррей сделал то же самое.

— Да и ладно. Я работать хочу.

Мама поджимает губы.

— Никому и никогда не позволяй захлопывать перед тобой дверь, — сердито говорит она. — Слышишь? Никому! — Потом плачет: — Боже мой, не для того я вас рожала, чтоб вы мальчиками на побегушках стали.

Я не знаю, что еще сказать или сделать. Я лишь чувствую огромное облегчение от того, что мне не придется учиться еще целых пять или шесть лет.

Я свободен.

###### \* \* \*

Мне тринадцать, почти четырнадцать. Наступает июнь — последний день занятий, и школа для меня закончится навсегда. Мама ведет меня к священнику, доктору Копару, чтобы тот устроил меня на почту развозить телеграммы.

— На велосипеде ездить умеешь? — спрашивает меня начальница почты, миссис О’Коннелл.

Я вру, что да.

— В августе приходи, — отвечает она. — Мы берем на работу с четырнадцати лет.

Мистер О’Холлоран говорит всему классу:

— Позор, что такие ребята, как Маккорт, Кларк и Кеннеди пойдут лес валить и воду таскать. Какая же это свободная и независимая Ирландия, если англичане навязали нам классовое разделение и мы выбрасываем свои таланты на помойку жизни?

— Выбирайтесь из этой страны, ребята. Поезжай в Америку, Маккорт. Слышишь?

— Да, сэр.

###### \* \* \*

В школу приходят священники‑миссионеры: редемптористы, францисканцы, отцы Святого Духа, и уговаривают нас отправиться с ними в дальние страны, обращать язычников в истинную веру. Я на их уговоры не поддаюсь — мне нужно в Америку. Но один священник интереснее всех остальных. Он из Ордена Белых Отцов[[105]](#footnote-105), тех самых, которые обращают бедуинов‑кочевников в истинную веру и служат капелланами во Французском иностранном легионе.

Я тут же подаю прошение.

Мне нужно будет принести рекомендательное письмо от приходского священника и справку о здоровье от семейного врача. Приходской священник тут же пишет письмо — он и в прошлом году был бы рад от меня избавиться. А вот доктор удивляется:

— Это еще что такое?

— Прошение о том, чтобы меня приняли в Белые Отцы, которые обращают в католичество кочевников‑бедуинов в Сахаре и служат капелланами во Французском иностранном легионе.

— Да ну? В самом Легионе? А ты хоть знаешь, на чем по Сахаре ездят?

— На поезде?

— Нет. На верблюде. Кто такой верблюд знаешь?

— Животное такое с горбом.

— Ладно бы только с горбом. У этого зверя мерзкий и пакостный характер, а еще зеленые от гнили зубы, а уж как он кусается! А где он тебя укусит, знаешь?

— В Сахаре?

— Нет же, омадхаун ты этакий. Плечо укусит, да так, что отхватит его напрочь. И вернешься ты из Сахары покалеченный. Будешь тут кривой‑косой ходить по городу. Ни одна девушка в здравом уме даже не взглянет на бывшего Белого Отца, у которого всего одно костлявое плечико. А на глаза свои посмотри. И тут‑то они у тебя больные, а уж в Сахаре вовсе запаршивеют, сгниют и вытекут. Сколько лет‑то тебе?

— Тринадцать.

— Иди домой, к матери.

###### \* \* \*

В этом доме мы не чувствуем себя свободно, как в «Италии» или в «Ирландии» на Роден‑лейн. Когда Ламан приходит с работы, он хочет читать в постели или спать и требует тишины. Мы шатаемся по улицам дотемна, а когда заходим в дом, то делать там нечего, остается только отправляться спать, ну разве что книжку можно чуток почитать, если есть свечной огарок или керосин для лампы.

Мама велит нам ложиться, а она сейчас придет, только Ламану чай отнесет. Мы часто засыпаем до того, как она поднимется наверх, но иногда нам слышно, как она уходит к Ламану, они о чем‑то разговаривают, кряхтят, стонут. Бывает, она и вовсе не спускается к нам, и Майкл с Альфи спят одни на большой постели. Мэйлахи говорит, что мама там остается, потому что слишком тяжело вниз в потемках слезать.

Ему всего двенадцать и ничего‑то он не понимает.

Мне тринадцать, и я думаю, что они там наверху «забавляются».

###### \* \* \*

Я знаю про «забаву», и про то, что это грех, но неужели я тоже грешу, когда мне снятся американские девушки в купальных костюмах, как в кино, и я просыпаюсь от того, что куда‑то толкаюсь и у меня что‑то течет? Грешно руками делать то, о чем болтали мальчишки на школьном дворе после урока у мистера О’Ди? Он тогда кричал нам, что шестая заповедь гласит «не прелюбодействуй», то есть не думай, не говори и не делай ничего непристойного, значит, те самые «грязные делишки» и есть прелюбодейство.

Один священник‑редемпторист все время орет на нас, мол, мы шестую заповедь нарушаем, и что предаваться скверне — грех страшный, и от таких грешников сама Дева Мария отворачивается с рыданиями.

— А почему она рыдает, отроки? А из‑за вас и из‑за того, что вы делаете с ее Возлюбленным Сыном. Она рыдает, когда смотрит сквозь унылые века и в ужасе зрит: отроки лимерикские оскверняют себя, опоганивают себя, рукоблудствуют, загрязняют свои юные тела, призванные быть вместилищами Святого Духа. Матерь Божья плачет, лицезрея сии мерзости, ибо знает, что каждый раз, давая волю рукам, вы пригвождаете к кресту ее Сына Возлюбленного, еще сильнее вонзаете шипы тернового венца в чело его и растравляете его ужасные раны. Терзаемый смертельной жаждой, висит он на кресте, и что делают римляне‑мучители? Суют губку с уксусом и с желчью в его иссохшие уста, уста, которые только и делают, что молятся, молятся даже за вас, отроков, пригвождающих Его к кресту. Подумайте же о том, как страдал Господь Наш. О венце терновом подумайте. Представьте, что в голову вам втыкается кро‑о‑охотная булавка и как это больно. А теперь представьте двадцать шипов. Подумайте о том, каково это, когда гвозди, огромные гвозди, пронзают руки и ноги. Вынесли бы вы хоть толику этой муки? Теперь снова возьмите крохотную булавку и мысленно воткните ее себе в бок. А теперь представьте, что она не одна, что таких булавок сотни, что вас протыкает ужасная пика. Дьявол алчет ваших душ, отроки, стремится увлечь их к себе в ад. Знайте же, что каждый раз, когда вы рукоблудите, каждый раз, когда предаетесь тяжкому греху самоосквернения, вы не только пригвождаете Иисуса к кресту, вы и сами становитесь на шаг ближе к адским мукам. Отступите же от края пропасти, отроки. Сопротивляйтесь дьяволу и не давайте волю рукам.

Но я снова и снова даю волю рукам. Я молюсь Пресвятой Деве и прошу у нее прощения за то, что усиливаю муки ее Сына на кресте, и обещаю, что никогда больше не буду так делать, но никак не могу удержаться, и потом каждый раз клянусь, что пойду на исповедь, и уж после этого ни‑ни. Я совсем не хочу попадать в ад, где черти будут вечно гоняться за мной и тыкать в меня раскаленными вилами.

На таких, как я, у лимерикских священников не хватает терпения. Я исповедуюсь, а они цедят сквозь зубы, что я недостаточно раскаялся, иначе давно бы перестал предаваться этому гнусному пороку. Я хожу из одной церкви в другую в поисках священника, которому мне было бы полегче исповедоваться, и как‑то раз Пэдди Клоэсси сообщает мне, что в доминиканской как раз есть подходящий — ему девяносто лет, и он глух как пень. Теперь раз в несколько недель старичок‑священник выслушивает мою исповедь и бормочет, чтоб я помолился за него. Иногда он засыпает во время исповеди, а я боюсь его разбудить, и так и иду наутро к причастию недокаявшийся и с неотпущенным грехом. Но я ведь не виноват, что священник уснул при мне, наверное, то, что я пришел на исповедь, уже достаточно для состояния благодати. Потом в один из дней, за шторкой в исповедальне оказывается не мой старичок‑священник, а какой‑то молодой, и ухо у него большое, что морская раковина, а значит, он все услышит.

— Благословите меня, святой отец, ибо я согрешил. Прошло две недели с моей последней исповеди.

— И что ты натворил, дитя мое?

— Ударил брата, прогулял школу, солгал матери.

— Так, дитя мое, что еще?

— Я‑я‑я, гнусности совершал, отец.

— Так, дитя мое, сам с собою, с кем‑то или с животным каким?

С животным? Разве такое бывает? Наверное, этот священник из деревни, это что‑то уж совсем новое для меня.

###### \* \* \*

Накануне моей поездки в Киллало Ламан Гриффин заваливается домой пьяным, плюхается за стол и принимается за огромный кулек рыбы с хрустящим картофелем. Он велит маме заварить чаю, а когда она отвечает, что ни угля, ни торфа нет, орет на нее и обзывает жирной бабищей, которая живет в его доме задарма со своим вшивым выводком. Он швыряет мне деньги, чтоб я сходил в лавку за торфом и дровами, а я не хочу идти, а хочу врезать ему за то, как он обращается с мамой, но если я хоть слово ему поперек скажу, он не даст мне завтра велосипед, а я этого так ждал целых три недели.

Мама разводит огонь, кипятит воду, и я напоминаю ему про обещание насчет велосипеда.

— А горшок вылил?

— Забыл. Сейчас вылью.

— Паршивый горшок не соизволил вылить?! — орет он. — Я ему, значит, настоящий велосипед обещаю и прошу‑то всего ничего: раз в неделю сбегать для меня кой‑куда да горшок вылить, а он стоит тут передо мной, пасть раззявил и смеет мне говорить, что горшок полный стоит?

— Простите, я забыл. Сейчас вылью.

— Выльешь? Да неужто? И как ты наверх полезешь без стола? Я, по‑твоему, на чем есть должен?

— Он же в школе был весь день, — говорит мама. — А потом к доктору с глазами ходил.

— Нет уж, черта с два, забудь про велосипед. Уговор нарушен.

— Но его же весь день дома не было, — возражает мама.

Ламан велит маме не лезть не в свое дело, и она затихает у огня. Он снова принимается за еду, а я говорю:

— Но вы же обещали. Я выливал горшок и поручения исполнял три недели.

— Закрой глотку и марш спать.

— Не пойду. Вы мне не отец, и вы обещали.

— Я тебе одно обещаю — если я встану сейчас из‑за стола, то тебе останется только своему святому молиться.

— Вы обещали.

Ламан отшвыривает стул, шатаясь, подходит ко мне и тычет мне пальцем между глаз.

— Еще раз повторяю: замолчи сейчас же, глаза золотушные.

— Не замолчу.

Он больно пихает меня в плечо, но я снова повторяю, что он обещал, и он бьет меня по голове. Мама с криком вскакивает со стула, пытается оттащить Ламана. Пинками и тычками он загоняет меня в спальню, но я все повторяю, что он обещал. Он валит меня на мамину постель и бьет, а я закрываю лицо и голову руками.

— Убью, гаденыш!

Мама истошно кричит и хватает его за руки, и наконец он, пошатываясь, уходит обратно в кухню.

— Садись, садись, поешь, — просит она его. — Он еще ребенок, ничего, забудет.

Я слышу, как Ламан тяжело плюхается на стул и придвигается к столу. Потом сопит и чавкает.

— Спички дай, — велит он маме. — Ей‑богу, курнуть после такого надо.

Я слышу, как он, пыхтя, раскуривает сигарету, а мама, кажется, плачет.

— Я — спать, — наконец объявляет он, с трудом взгромождает стул на стол, залезает к себе на чердак, плюхается на скрипучую кровать, кряхтя, стаскивает с себя ботинки и швыряет их на пол.

Мама, всхлипывая, задувает огонь в керосиновой лампе, и дом погружается в темноту. После всего, что случилось, она уж, конечно, пойдет спать к себе, значит, мне нужно перебираться на маленькую кровать у стены. Но вместо этого я слышу, как стул снова ставят на стол, мама со стоном залезает на чердак и говорит Ламану:

— Он еще ребенок, и глаза у него болят.

— Гаденыш он. Пусть убирается из этого дома, — отвечает Ламан.

А мама плачет и все уговаривает его, потом я слышу шепот, кряхтенье, стоны, и наступает тишина.

Через некоторое время оба они храпят на чердаке, а рядом со мной спят мои братья. Я не могу оставаться больше в этом доме, потому что если Ламан Гриффин снова на меня накинется, я ему нож в глотку всажу. Что мне делать? Куда идти?

Я выхожу из дома и бреду по улице от Сарсфилдских казарм до самого кафе «У памятника», теша себя мыслью, что однажды отомщу Ламану. Вот уеду в Америку и там пожалуюсь самому Джо Луису[[106]](#footnote-106). Уж он‑то меня поймет — сам в бедной семье вырос. Он покажет мне, как нарастить мускулы, как руки держать и ногами работать. Еще научит меня подбородок плечом прикрывать и бить правый апперкот. Вот Ламан у меня попляшет! Я приволоку его на кладбище в Мангрете, где вся его семейка и мамины родственники похоронены, и засыплю землей до самого подбородка, так что он пошевелиться не сможет и будет меня умолять не убивать его, а я скажу:

— Все, тебе конец, Ламан. Готовься к встрече с Создателем.

Он будет умолять и умолять, а я буду сыпать и сыпать землю ему на лицо, пока оно совсем не закроется, а он будет задыхаться и просить у Бога прощения за то, что не дал мне велосипед и швырял меня из комнаты в комнату и за то, что с мамой моей «забавлялся». А я буду хохотать, на него глядючи, потому что сейчас он уж точно не в состоянии благодати, так что прямая ему дорога в ад.

На улицах темно, я иду и смотрю под ноги — может, мне повезет как тогда Мэйлахи, и какой‑нибудь пьяный солдат опять обронил рыбу с картошкой. Но на земле ничего нет. Надо найти моего дядю Эба Шихана — он тоже по пятницам ест рыбу с картошкой — может, поделится со мной. Но в кафе мне говорят, что он был, но ушел. Мне уже тринадцать, теперь я зову его не дядя Пэт, а как все — Эб или Эббот. Он уж точно даст мне ломоть хлеба или еще какой еды, а может и переночевать пустит. Я ему скажу, что через несколько недель начну телеграммы развозить, получать много чаевых и я сам буду за все платить.

Эб сидит у себя на кровати и доедает рыбу с картошкой. Потом бросает на пол газету, в которую была завернута еда, и вытирает рот и руки одеялом.

— У тебя лицо распухло, — говорит он, увидев меня. — Ты на лицо упал?

Я подтверждаю, что да, упал на лицо, ему ведь без толку объяснять — все равно не поймет.

— Ладно, спи в матушкиной постели сегодня. Нельзя по улицам с таким лицом ходить, и глаза вон красные какие у тебя.

Эб сообщает мне, что в доме нет ни крошки съестного, но когда он засыпает, я поднимаю с полу промасленную газету, и лижу первую страницу, на которой сплошь афиши фильмов и танцев. Я лижу заголовки. Новости про операции Паттона и Монтгомери во Франции, военные действия в Тихом океане, некрологи и траурные стихи, спортивные колонки, цены на яйца, масло и бекон. Я слизываю с газеты весь жир до последнего пятнышка.

Что мне делать завтра — я не знаю.

## XIV

Утром Эббот дает мне денег и отправляет в лавку Кэтлин О’Коннелл за хлебом, маргарином, чаем и молоком. Он кипятит воду на газовой плитке и говорит мне:

— Можешь чаю выпить, только с сахаром полегче, я не миллионер. Кусок хлеба возьми, но не толстый.

Сейчас июль, и школа для меня закончилась навсегда. Через несколько недель я начну развозить телеграммы, работать, как взрослый мужчина. А пока можно вставать во сколько захочу, гулять за городом, как папа, бродить в округе Лимерика. Если бы у меня были деньги, я бы пошел в «Лирик‑синема», ел конфеты и смотрел бы как Эррол Флинн всех побеждает. Еще можно читать английские и ирландские газеты, которые приносит домой Эббот, или брать в библиотеке книжки якобы для Ламана Гриффина или для мамы, пока там ни о чем не прознали.

Мама присылает ко мне Майкла с бутылкой теплого чая, несколькими ломтями хлеба, смазанными жиром, оставшимся от жарки, и запиской о том, что Ламан Гриффин больше не сердится.

— Пойдешь домой? — спрашивает Майкл.

— Нет.

— Фрэнки, ну, пожалуйста. Пойдем.

— Я теперь здесь живу, а туда не вернусь.

— Но Мэйлахи в армии, ты здесь, и дома у меня нет старшего брата. У всех мальчиков есть старшие братья, а у меня только Альфи. А ему еще четырех не исполнилось, и говорит он плохо.

— Все равно не пойду. Не вернусь я туда никогда. Лучше ты сюда приходи, когда захочешь.

Глаза Майкла блестят от слез, и у меня прямо сердце разрывается.

Я обещаю ему, что приду, а сам знаю, что даже смотреть на Ламана Гриффина не смогу, да и маме в глаза тоже. Майкл шагает по улице, шлепая оторванной подошвой. Вот начну на почте работать — обязательно куплю ему ботинки. А еще яйцо вареное дам, свожу в «Лирик‑синема» и накормлю конфетами, а потом мы пойдем в «Нотонс» и наедимся рыбы с картошкой до отвала. Когда‑нибудь я накоплю денег на дом или квартиру, где будут электричество, туалет и кровати с чистыми простынями и подушками, как у других людей. Мы станем завтракать в светлой кухне и любоваться из окна цветущим садом. На столе будут стоять изящные чашечки с блюдцами, подставочки для яиц, рюмки для яиц, яйца всмятку и в мешочек, вкуснейшее сливочное масло, чайник с грелкой, гренки с маслом и повидло — ешь не хочу. Мы будем не спеша завтракать и слушать музыку по «Би‑би‑си» или по радио для американских вооруженных сил. Я куплю всей семье хорошую одежду, и не надо будет больше стыдиться лохмотьев. При мысли о стыде на глаза наворачиваются слезы.

— Ты чего? — спрашивает Эббот. — Хлеба поел? Поел. Чаю попил? Попил. Может, тебе еще и яйцо подать?

Я молчу — разве все это объяснишь тому, кого на голову уронили и кто газетами торгует?

Дядя ворчит, что не сможет меня кормить всегда и чтобы я сам покупал себе хлеб и чай. Он не хочет, чтоб когда он приходит домой, я тут сидел и читал на кухне и свет ярко горел. Чего‑чего, а считать он умеет, и когда идет на работу, смотрит цифры на счетчике и знает, сколько электричества я нажег, так что если я не перестану включать свет, он провод из щитка выдернет и будет носить его с собой, а то и вообще снова на газ перейдет, матушке покойной хватало, а ему зачем больше? Всего‑то и надо для того, чтобы посидеть на постели, поесть рыбы с картошкой и пересчитать денежки перед сном.

Я встаю рано, как папа, и иду гулять за город. Обхожу кладбище старого аббатства в деревушке Мангрет, где похоронена мамина родня, потом по узкой дорожке поднимаюсь к нормандскому замку Кэрригоганелл, куда мы дважды ходили с папой. Я забираюсь на вершину холма и передо мной открывается вид на всю Ирландию — вон там блестит Шаннон, убегая в Атлантический океан. Папа рассказывал, что этот замок построили много сотен лет назад и если подождать, когда смолкнет пение жаворонков, то услышишь голоса нормандцев и древних ирландцев, и я правда их слышал. Честно. Иногда я забираюсь на развалины замка и слышу голоса нормандских девушек — они смеются и поют на французском. Представляя их, я чувствую искушение, забираюсь на самую вершину, где когда‑то была башенка, даю волю рукам на виду у всей Ирландии и орошаю весь Кэрригоганелл и поля внизу.

Это грех, о котором я никогда не смогу рассказать священнику. Забираться на развалины замка и давать волю рукам на виду у всей Ирландии уж, конечно, хуже, чем делать то же самое в каком‑нибудь укромном месте одному, с кем‑то или с каким‑нибудь животным. А вдруг внизу в полях или на берегу Шаннона какой‑нибудь мальчик или юная молочница случайно взглянет наверх, увидит, как я грешу, и все — я буду обречен, потому что священники всегда говорят, что тому, кто вовлекает дитя в грех, вешают жернов на шею и бросают в море.

От мысли, что меня могут увидеть, я снова распаляюсь. Только пусть не дитя, иначе точно — жернов на шею. Вот если молочница посмотрит наверх, она тоже распалится и даст волю рукам, хотя я не знаю, могут ли девушки так делать, раз у них нет того, с чем дают волю рукам. Причиндал отсутствует, как говорил Майки Моллой.

Вот бы вернулся тот глухой священник‑доминиканец, ему я бы признался в своих бедах, но он умер, так что мне придется предстать перед священником, который будет грозить жерновом и обреченностью. Обречен. Любимое слово лимерикских священников.

Возвращаюсь я по О’Коннелл‑авеню и Баллинакарре, где многим рано утром доставляют бутылки молока и хлеб прямо к крыльцу. Никто и не заметит, если я прихвачу буханку хлеба или бутылку молока, ведь я обязательно все верну, как только начну работать на почте. Я не краду, я беру в долг, а это не грех. К тому же утром на развалинах замка я согрешил куда хуже, а уж где один грех, там и два. Да хоть десять — все равно в преисподнюю попадать.

Семь бед — один ответ, как говорит мама. Я выпиваю пинту молока и оставляю пустую бутылку на крыльце, чтобы молочника не обвинили в том, что он ее не доставил. Молочники мне нравятся, один из них как‑то дал мне два разбитых яйца, которые я проглотил сырыми прямо с кусочками скорлупы. Он сказал, что я вырасту сильным, если буду с утра выпивать два яйца, разболтанные в пинте портера. От яйца — польза, а от пинты — радость.

В некоторые дома доставляют хлеб получше, чем в другие. Он и стоит дороже, его и возьму. Мне жаль богатых людей, которые не обнаружат утром хлеба на крыльце, но не умирать же мне теперь с голоду. Если я буду голодать, то у меня сил не будет работать на почте, а значит, не на что будет купить хлеб и молоко, которые я позаимствовал, и денег на Америку никогда не накоплю, а тогда уж лучше сразу в Шанноне утопиться. Ничего, через каких‑то несколько недель у меня будет первая получка на почте, а до того времени богачи точно с голоду не умрут. И вообще, кто им мешает еще раз горничную за хлебом послать? Вот и вся разница между бедными и богатыми. Бедные не могут послать никуда горничную, потому что у них нет денег, а если бы и были, так горничных нет. Из‑за них‑то я и волнуюсь. Одалживать молоко и хлеб нужно очень осторожно, а то, бывает, горничные с утра пораньше надраивают дверные ручки, молотки и почтовые ящики. Увидят меня, тут же побегут к хозяйке.

— О, мадам, мадам, тама оборванец молоко и хлеб ворует.

Тама. Горничные так говорят, потому что они из деревень, телки маллингарские — так дядя Пэдди Клоэсси их называл, а сам Пэдди добавлял, что «туши жирнявские», это у них и ссак не допросишься.

Я приношу домой хлеба, Эббот удивляется, но ни о чем не спрашивает, потому что его уронили на голову, а когда тебя роняют на голову, любопытство тоже отшибает. Он просто смотрит на меня круглыми глазами — голубыми с желтинкой по краям — и чавкая, прихлебывает чай из огромной треснутой кружки, оставшейся от бабушки.

— Это моя кружка, не пей из ей.

Из ей. Папе всегда не нравилось, как говорят в лимерикских трущобах.

— Не хочу, — говорил он, — чтобы мои сыновья выросли и говорили «из ей». Это некультурно. Надо говорить «из нее».

А мама отвечала:

— Да ну тебя с твоей культурой. Что‑то не много нам от ей пользы.

Из садов, что за Баллинакаррой, я таскаю яблоки. Но если вижу собаку, то сразу убегаю — не умею я, как Пэдди Клоэсси, зубы псам заговаривать. Фермеры пытаются меня догнать, но в резиновых сапогах больно‑то не побегаешь, и велосипед им тоже не поможет, я перемахиваю через стену — и был таков.

Эббот знает, откуда у меня яблоки. Когда живешь в трущобах, рано или поздно приходится в чей‑нибудь сад за яблоками залезть, а то слабаком задразнят.

Я всегда предлагаю Эбботу яблочко, но он не хочет — боится последние зубы потерять, у него и так их всего пять осталось. Я режу яблоко на кусочки, но он все равно отказывается, потому что яблоки так, видите ли, не едят.

— Вы же хлеб нарезанный едите, — говорю я ему, а он отвечает:

— Так то хлеб.

Ну не станешь же спорить с тем, кого на голову роняли.

Снова приходит Майкл с бутылкой теплого чая и двумя ломтями жареного хлеба. Я твержу ему, что мне ничего не надо, потому что я сам себе все добуду, и не нужны мне мамины хлеб и чай. Я даю ему яблоко и обещаю, что послезавтра еще дам.

Майкл так радуется яблоку, что даже не уговаривает меня вернуться и не плачет.

По субботам в Айриштауне бывает ярмарка. Фермеры привозят овощи, кур, яйца, масло. Я прихожу туда пораньше, помогаю разгружать тележки или машины, и мне дают несколько пенни. В конце дня мне еще отдают овощи, которые не удалось продать — слегка раздавленные, с битым бочком или с гнильцой. Одна фермерша всегда отдает мне треснувшие яйца и говорит:

— Смотри только, утром жарь, после мессы, а то если их съесть с грехом на душе, так они к кишкам пристанут, уж не сумлевайся.

Фермерши всегда так говорят.

Теперь я и сам все равно что попрошайка — стою у дверей кафе перед закрытием и жду: может, мне перепадет подгоревшей картошки или перемасленной рыбы. Если хозяева очень торопятся магазин закрыть, то дают картошки и газету, чтоб кулек сделать.

Больше всего мне нравится газета «Мировые новости». В Ирландии она запрещена, и ее тайком привозят из Англии ради срамных фотографий с девушками в малюсеньких купальных костюмах. Еще там рассказывается о людях, которые такие грехи совершают, каких в Лимерике сроду не водилось: разводятся и прелюбодействуют.

Что такое «прелюбодействовать» я пока еще до конца не выяснил, надо будет посмотреть в библиотечном словаре. Скорее всего, это еще хуже, чем подумать, сказать или сделать что‑то непристойное, как учителя говорят.

Я несу картошку домой и усаживаюсь на кровати, как Эббот. Он выпил несколько пинт, теперь ест картошку из газетного кулька и поет «Дорогою в Рашин». Я тоже ем картошку, а после вылизываю «Мировые новости». Лижу статьи о людях, которые совершали непотребства, фотографии девушек в купальниках, а когда лизать уже больше нечего, просто смотрю на девушек. Потом Эббот выключает свет, и я совершаю очередной смертный грех под одеялом.

Можно, когда захочу, сходить в библиотеку по маминому билету или по билету Гриффина, и мне ничего не будет, потому что Ламан ленивый и нипочем из постели в субботу не вылезет, а мама так стыдится своей одежды, что даже близко к библиотеке не подойдет.

— «Жития святых» ждут тебя, Фрэнк, — улыбается мисс О’Риордан. Читать — не перечитать! Батлер, О’Хэнлон[[107]](#footnote-107), Бэринг‑Гулд[[108]](#footnote-108). Я рассказала про тебя начальнице библиотеки, и уж она так довольна, что готова выдать тебе твой личный взрослый билет. Чудесно, правда?

— Спасибо, мисс О’Риордан.

###### \* \* \*

Я читаю про святую Бригитту, чей день отмечают первого февраля. Она была такой красавицей, что к ней сватались женихи со всей Ирландии, но отец хотел выдать ее за какого‑нибудь вельможу. Она же замуж совсем не желала, и попросила Бога о помощи, и Бог сделал так, что у нее вытек глаз, и женихи потеряли к ней интерес.

Следом идет святая Вильгельфортис, двенадцатое июля. У матушки ее за раз народилось девять детишек: четыре двойни и Вильгельфортис — особняком, и все они стали мучениками за веру. Вильгельфортис тоже была красавицей, и отец хотел выдать ее за короля Сицилии. Вильгельфортис в отчаянии обратилась к Богу, и тот наградил ее бородой и усами. Король Сицилии передумал на ней жениться, а ее отец впал в такую ярость, что приказал распять дочь на кресте вместе с бородой и усами.

Святой Вильгельфортис следует молиться англичанкам, у которых мужья дурные.

Священники никогда не рассказывали нам про таких дев‑мучениц, как святая Агата — пятое февраля. В феврале вообще страсть как много дев‑мучениц. Сицилийские язычники заставляли Агату отречься от веры во Христа, и как все девы‑мученицы она ответила: «Ни за что». Тогда они принялись ее пытать: тянули на дыбе, драли бока раскаленными крючьями, жгли факелами, но она лишь твердила: «Нет, не предам я Господа своего». Тогда язычники отрезали ей груди, но и этого оказалось мало, и только когда ее бросили на раскаленные угли, этой пытки она не снесла и испустила дух, славя Господа.

Девы‑мученицы не прекращали петь гимны и славить Господа, даже если при этом им львы бока отгрызали.

А вот святая Урсула и ее одиннадцать тысяч дев — двадцать первое октября. И почему только нам про нее никогда не рассказывали? Отец хотел выдать ее за короля‑язычника, но она сказала, что будет странствовать три года и думать. И вот отправилась она в странствие с тысячей своих знатных подруг и служанками их числом десять тысяч. Поплавали они по морям, поскитались по разным странам и наконец приплыли в Кельн, где на Урсуле захотел жениться вождь гуннов. Она ответила «нет», и гунны убили ее и всех дев вместе с нею. И чего было не согласиться и не сохранить одиннадцать тысяч жизней? И почему все девы‑мученицы такие упрямые?

Еще мне нравится читать про ирландского епископа — святого Молинга. Он не во дворце жил, как наш епископ в Лимерике, а на дереве, и когда другие святые приходили к нему на обед, то рассаживались на ветвях, точно птицы, и прекрасно пировали водой и сухими хлебными корками. В один из дней, когда святой Молинг шел по своим делам, его окликнул прокаженный:

— Эй, святой Молинг, куда путь держишь?

— На мессу иду, — ответил святой Молинг.

— Я тоже хочу на мессу, давай ты меня на закорках понесешь? — попросил прокаженный.

Святой Молинг выполнил просьбу, но стоило прокаженному оказаться на спине у святого, как он тут же принялся причитать:

— Сними власяницу, мне язвы больно.

Святой Молинг снял власяницу и пошагал дальше. Вскорости прокаженному понадобилось высморкаться.

— Платка у меня нет, — ответил ему святой Молинг. — В руку сморкайся.

— Ежели я буду сморкаться в руку, то держаться за тебя не смогу, — заныл прокаженный.

— Так и быть, — молвил святой Молинг. — Сморкайся мне в руку.

— Не могу, — сказал прокаженный. — Мне проказа руку почти съела, не могу я одновременно держаться за тебя и нос прочищать. Ты б как настоящий святой, повернулся бы да очистил бы нос мне устами своими.

Ох, как не хотелось святому Молингу высасывать у прокаженного сопли, но он все же исполнил его просьбу и восславил Господа за выпавшую ему честь.

Нет, я понимаю, почему папа высосал сопли у Майкла из носа — тот‑то был младенцем беспомощным, но зачем Бог захотел, чтобы святой Молинг прокаженным носы чистил? Этой его просьбы я ну никак не понимаю. Святым я бы стать хотел, ведь меня бы тогда все почитали, но сопли отсасывать у прокаженного ни за что бы не стал. Если без этого святым не станешь, нет уж, я обойдусь.

Я готов всю жизнь сидеть в библиотеке и читать про дев‑мучениц, но в один из дней мне попадает от мисс О’Риордан за оставленную кем‑то на столе книжку. Автора зовут Лин Ютань[[109]](#footnote-109). Сразу понятно, что имя китайское, а мне любопытно, про что китайцы пишут. Это сборник статей о любви и человеческом теле, но там есть слово «ригидный», и я смотрю его в словаре. В нем написано: «копулятивный орган мужской особи становится ригидным и помещается в соответствующее отверстие женской особи».

Ригидный. В словаре сказано, это значит «твердый». Я стою у словаря и чувствую, что у меня в штанах твердеет. Теперь понятно, о чем толковал Майки Моллой — мы ничем не отличаемся от собак, которые застревают друг к другу на улице, и жутко подумать, что матери и отцы вытворяют нечто подобное.

И папа столько лет врал мне про Ангела Седьмой Ступеньки!

Мисс О’Риордан интересуется, что за слово мне нужно. Каждый раз, когда я берусь за словарь, она обеспокоенно спрашивает, зачем он мне, и обычно я отвечаю, что ищу «канонизировать» или «беатификация», или еще что‑нибудь такое церковное.

— А сейчас что ты ищешь? — интересуется она. — Это ведь не «Жития святых».

Она берет Лина Ютаня, которого я оставил на столе корешком вниз.

— Матерь Божья! Это ты читал? Ты брал эту книгу, я видела.

— Ну, я… я… только хотел узнать, есть ли, есть ли у китайцев… святые.

— Вижу я, чего ты хотел. Как отвратительно! Похабщина, вот что это такое. Неудивительно, что китайцы такие. Но чего ожидать от людей с узкими глазами и желтой кожей. У тебя и у самого‑то глаза узковаты. А ну, вон из библиотеки. Сейчас же!

— Но я «Жития святых» читал.

— Вон, или я пожалуюсь начальнице, а она вызовет полицию. Вон! Бегом к священнику, в грехах каяться. Убирайся сейчас же. Нет, сначала сдай читательские билеты своей матери и мистера Гриффина. Так и написала бы обо всем бедняжке, но она не переживет такого позора. Лин Ютань, ишь ты. Вон!

Разозленным библиотекаршам ничего не докажешь. Можно битый час тут стоять и пересказывать все, что прочитал про Бригитту, Вильгельфортис, Агату, Урсулу и дев‑мучениц, но ей одно слово в Лин Ютане важнее.

Сразу за библиотекой — Народный парк. День солнечный, трава сухая, а я до смерти устал выпрашивать картошку с рыбой и спорить с библиотекаршами, которые злятся из‑за слова «ригидный». Я смотрю, как в небе над памятником проплывают облака и как был, ригидный, засыпаю, и мне снится сон про дев‑мучениц в купальных костюмах как у девиц из «Мировых новостей», девицы забрасывают китайских писателей овечьими пузырями, и я просыпаюсь от того, что из меня изливается что‑то теплое и липкое. Гуляющие в парке люди странно на меня косятся, а матери кричат своим детям:

— Отойдите от этого ненормального. В полицию его надо.

###### \* \* \*

Накануне четырнадцатилетия я рассматриваю себя в зеркале бабушкиного серванта. Ну и как я такой буду работать на почте? Одежда вся рваная: и рубашка, и свитер, и шорты, и чулки, а ботинки того и гляди на ходу развалятся. Остатки былого приличия, как сказала бы мама. И ладно бы дело только в одежде! Как ни мочи волосы под краном, они все равно торчат. Лучше всего помогает слюна, но самому себе на голову плевать затруднительно, разве что расстараться и харкнуть повыше в воздух, а потом макушкой плевок ловить. Глаза красные, из них сочится желтая жидкость, лицо усыпано желто‑красными прыщами, а передние зубы черны от гнили — не поулыбаешься.

Плеч считай, что нет, а всем так нравятся широкие плечи! Когда в Лимерике умирает мужчина, женщины всегда говорят: «Ох, до чего был плечист — в дверь бочком протискивался».

Когда умру я, скажут: «Вот бедняга безплечий». Ведь ни намека на плечи, не поверишь, что мне уже четырнадцать. У всех мальчишек в Лимерике есть плечи, кроме Финтана Слэттери — у того еще впридачу коленки скоро от молитв изотрутся. Вот уж на кого бы я не хотел походить. Если бы у меня были деньги, я бы поставил свечку святому Франциску — пусть бы он уговорил Господа чудесным образом даровать мне плечи. А если б у меня марка была, я бы написал Джо Льюису: «Дорогой Джо, будьте любезны, скажите, пожалуйста, откуда у вас такие широкие плечи? Вы же сами из бедняков?»

Нет, на работу надо идти в приличном виде. Я снимаю с себя всю одежду и, стоя голышом во дворе, тру ее карболовым мылом и полощу под краном. Потом вешаю рубашку, штаны и чулки на бабушкину бельевую веревку и молюсь Господу, чтоб не пошел дождь, и все благополучно высохло к завтрашнему утру, когда у меня начнется новая жизнь.

В чем мать родила из дому не выйдешь, так что я весь день лежу в постели, читаю старые газеты, распаляюсь, глядя на девушек в «Мировых новостях» и благодарю Бога за то, что на дворе светит солнце. Эббот приходит домой в пять и заваривает внизу чай. Я голоден, но у него лучше ничего не просить — разворчится. Он знает, что больше всего я боюсь, как бы он не нажаловался тете Эгги на то, что я живу в бабушкином доме и сплю в ее постели. Тетя Эгги сразу явится сюда и вышвырнет меня на улицу.

Хоть его и роняли на голову, хлеб он свой запрятывает так, что нипочем не отыщешь. Потом меня осеняет: раз хлеба нет в доме, значит, он его с собой таскает в кармане пальто, которое не снимает ни зимой ни летом. Как только Эббот отлучается в туалет, я бегу вниз, достаю из кармана плаща буханку хлеба, отрезаю себе здоровенный ломоть, засовываю буханку обратно в карман, мчусь наверх и ныряю в постель. Пусть попробует что‑нибудь сказать. Даже самый распоследний вор не станет красть всего один ломоть хлеба, так что Эбу никто не поверит, даже тетя Эгги.

— Нечего хлеб с собой по улицам таскать! — рявкнет она. — Кто вообще хлеб в карманах таскает?

Я жую хлеб очень медленно. Если съедать по кусочку в четверть часа, то ломтя хватит надолго. А если еще водой запить, хлеб в желудке разбухнет, и покажется, что наелся досыта.

Я смотрю в окошко, выходящее на задний двор — как там моя одежда сушится? У соседей на бельевых веревках висит яркая, цветная одежда. Она будто пританцовывает на ветру. Мои же обноски свисают с веревки, как дохлые собаки.

Солнце светит ярко, но в доме сыро и холодно, а мне даже не в чем спать. Другой одежды у меня нет, а если я хоть пальчиком трону Эбботову одежду, он точно к тете Эгги побежит. В платяном шкафу одиноко висит старое бабушкино шерстяное платье. Вообще, это как‑то нехорошо — надевать платье своей покойной бабушки, да еще если ты мальчик, но если лечь в постель под одеяла, все равно же никто не увидит. Платье пахнет старостью и смертью. А вдруг бабушка восстанет из могилы и проклянет меня перед всей семьей? Я молюсь святому Франциску, прошу его придержать бабушку там, где она лежит, обещаю, что поставлю за него свечку, как только начну работать, и вообще, ряса в каком‑то смысле тоже похожа на платье, а его за рясу никто не осуждал. Я засыпаю, представляя его лицо.

Наверное, это худшее, что может случиться: лежишь себе в платье своей покойной бабушки в ее постели, спишь и не ведаешь, что твой дядя Эббот только что неудачно приземлился на задницу около «Саутс‑паба» после очередной своей попойки, и люди, которым вечно надо сунуть нос не в свое дело, бегут за тетей Эгги, она будит дядю Па Китинга, чтоб тот помог Эбботу дойти до дома и подняться наверх, где ты спишь.

— А ты что делаешь в этом доме и в этой постели? — рявкает тетка. — А ну, вставай живо, чаю согрей своему бедному дядюшке Пэту. Он на улице расшибся.

Видя, что я не шевелюсь, она откидывает одеяла и в ужасе отшатывается, будто привидение увидела:

— Матерь Божья, ты зачем это платье надел?

И тут становится совсем худо, потому что ну как объяснишь, что готовишься к первой взрослой работе, что постирал всю одежду, она сохнет во дворе на веревке, а в доме холодно, и никакой другой одежды, кроме бабушкиного платья, не нашлось, но еще труднее объяснять это тете Эгги, притом что Эббот стонет в постели:

— Ножки мои горят, тушите мне ножки.

Дядя Па Китинг, прикрыв рукой рот, сползает по стенке и, давясь от смеха, говорит:

— А что, шикарно выглядишь, черный тебе к лицу, только подол расправь.

И совсем уж непонятно, что делать, когда тетя Эгги велит тебе:

— А ну, вылезай из постели и чаю поставь для бедного дядюшки.

И ты не знаешь: то ли тебе снять платье и завернуться в одеяло, то ли идти вниз как есть?

Она то орет на меня за то, что я платье ее покойной матушки напялил, то велит сейчас же поставить чаю. Я говорю ей, что постирал свою одежду, потому что завтра выхожу на работу.

— На какую еще работу?

— Рассыльным на почте.

Она отвечает, что если таких, как я на почту стали брать, то, наверное, дела у них совсем плохи, и чтоб я уже шел вниз и поставил на огонь несчастный чайник.

Следующая напасть — приходится идти во двор и наливать воду в чайник, а луна светит яркая, и соседка, Кэтлин Перселл, как назло высматривает через забор свою потерявшуюся кошку.

— Боже, Фрэнки Маккорт, ты чего это тут в бабкином платье делаешь?

И ты стоишь в платье с чайником в руке и объясняешь, что одежду постирал, и она вон, на веревке сушится, а сам ты замерз в постели так, что пришлось бабушкино платье надеть, а потом твой дядя Пэт Эббот расшибся на улице, и его привели домой тетя Эгги и дядя Па Китинг, и тетя отправила тебя во дворе налить воды в чайник, и что снимешь платье в ту же секунду, как одежда высохнет, потому что у тебя нет ни малейшего желания всю жизнь расхаживать в платье покойной бабушки.

Кэтлин Перселл с воплем валится со стены, забыв про кошку, и бежит к своей слепой матушке.

— Ой, мамочка, я тебе сейчас такое расскажу! Там Фрэнки Маккорт ходит по двору в бабкином платье.

Стоит Кэтлин Перселл унюхать какой‑то скандальчик, об этом еще до утра прознает вся улица — это все равно что высунуть голову из окна и всей улице сообщить, что ты в платье вырядился.

Чайник закипает, но пьяный Эббот уже спит, и тогда тетя Эгги говорит, что, пожалуй, они с дядей Па сами чайку выпьют и мне тоже можно.

— А вообще‑то, если так поглядеть, платье за рясу монаха‑доминиканца вполне сошло бы, — сообщает дядя Па Китинг. — Он плюхается на колени и заводит: — Благословите меня, отец, ибо я согрешил.

— Сейчас же вставай, дурень старый, — ругает его тетя Эгги. — Да разве ж можно над церковью смеяться!

— А что ты все‑таки тут делаешь? — спрашивает она меня.

Я не могу рассказать ей про маму и Ламана Гриффина и про то, что происходит на чердаке, вот и говорю, что решил пожить тут маленько, потому что почта уж очень далеко от дома Ламана Гриффина, но как только я встану на ноги, тут же найду приличное жилье, и мы все туда переедем — и я, и мама с братьями.

— Ну что ж, — говорит она. — Отец твой даже этого для семьи не сделал.

## XV

Очень трудно уснуть, зная, что завтра тебе стукнет четырнадцать и ты пойдешь на свою первую взрослую работу. На рассвете Эббот просыпается и стонет, что если я сделаю ему чаю, то могу отрезать себе большой кусок хлеба от половины буханки, что он припрятал в кармане от крыс, и что в футляре от граммофона, в котором бабушка хранила пластинки, есть банка варенья.

Читать и писать так он не умеет, а варенье как получше припрятать знает.

Я приношу Эбботу хлеба и чая и себе наливаю чашку. Потом надеваю влажную одежду и ложусь в постель — может, на теле быстрее досохнет? Мама всегда говорит, что мокрая одежда — прямой путь к чахотке и могиле. Дядя Эббот пьет чай и жалуется, что у него ужасно болит голова, потому что ему приснилось, что я расхаживаю в платье его бедной матушки, а она летает по дому и кричит:

— Грех, грех, это грех.

Он допивает чай и снова принимается храпеть, а я жду, когда на часах будет половина девятого, тогда я встану и пойду на почту, даже если одежда не успеет высохнуть.

Уже на улице я вижу, что к нам зачем‑то идет тетя Эгги. Наверное, хочет узнать, живой ли Эббот и не надо ли к нему врача позвать.

— Во сколько тебе на работу? — спрашивает она.

— В девять.

— Хорошо.

Она не заходит в дом, а идет вместе со мной на Генри‑стрит, где почта. Может, хочет наябедничать, что я напялил бабушкино черное платье и спал в ее постели?

— Поднимись наверх, скажи, что к тебе тетя пришла, и ты на час опоздаешь, — велит мне тетя Эгги. — Если ругаться будут, я поднимусь и сама с ними поругаюсь.

— А зачем мне опаздывать на час?

— Делай, что тебе говорят, а?

Скамья вдоль стены полна мальчишек, а за конторкой сидят две женщины: толстая и тощая.

— Чего тебе? — спрашивает тощая.

— Меня зовут Фрэнк Маккорт, я сегодня приступаю к работе.

— К какой такой работе?

— Рассыльного, мисс.

— Да боже ж мой, я думала, ты туалеты пришел чистить, — ухмыляется тощая.

— Нет, мисс. Мама приносила записку от священника, доктора Купара, для меня должна быть работа.

— А, да, была записка. А какой сегодня день, знаешь?

— Да, мисс. Мой день рождения. Мне четырнадцать.

— Да уж событие, — замечает толстуха.

— Четверг сегодня, — усмехается тощая. — С понедельника начнешь. Иди, вымойся как следует, а в понедельник приходи.

Мальчишки на скамье смеются. Не знаю почему, но у меня краснеют щеки.

— Спасибо, — говорю я теткам.

Уже выходя, я слышу, как тощая говорит толстой:

— Господи, Иисусе, Морин, откуда это чудо взялось?

И они смеются вместе с мальчишками.

— Отпустили? — спрашивает тетя Эгги.

— С понедельника сказали начинать.

Она говорит, что у меня позорная одежда, и спрашивает, чем я ее стирал.

— Мылом карболовым.

— Дохлой голубятиной воняет, семью только позоришь.

Она ведет меня в универмаг и покупает мне рубашку, свитер, штаны, две пары чулок и летние туфли по распродаже. Еще дает два шиллинга на чай с булочкой в честь дня рождения. Сама она садится на автобус до О’Коннелл‑стрит, а то она слишком толстая и ей пешком идти лень. Надо же, такая толстая, ленивая и я ей не сын, а все равно купила мне одежду на работу ходить.

Со свертком обновок подмышкой я бреду по набережной Артура, но потом мне приходится остановиться и подойти к самой реке, чтоб никто не увидел, как взрослый мужчина плачет в день своего четырнадцатилетия.

###### \* \* \*

В понедельник утром я встаю ни свет ни заря, умываюсь и приглаживаю волосы водой и слюнями.

— Господи Иисусе, — изумляется Эббот при виде меня в новой одежде. — Жениться что ли собрался? — И тут же снова засыпает.

— Тю‑тю, каким мы щеголем теперь ходим, — говорит на почте толстуха миссис О’Коннелл.

— Ты что банк в выходные ограбил? — добавляет тощая мисс Барри.

Мальчишки, сидящие на скамье, дружно смеются.

Мне велят сесть к ним и ждать своей очереди. Те мальчики, которые в униформе, приняты на постоянную работу, они сдали экзамен и теперь могут работать на почте хоть всю жизнь, если пожелают, сдать экзамен на почтальона, а после — на клерка и работать за конторкой внизу: продавать марки и телеграммные бланки. Каждому «постоянному» полагается большой дождевик и две недели отпуска в году. Все говорят, что это хорошая работа: надежная, достойная и с пенсией, с такой работой больше ни о чем волноваться в жизни не надо.

Мальчикам, принятым временно, дозволяется работать на почте только до шестнадцати лет. Униформы у них нет, отпуск не дают, платят меньше, а если проболеешь хоть день, сразу уволят. Никакие оправдания не принимаются. Дождевиков тоже нет. Свой приноси или уворачивайся от дождя, как хочешь.

###### \* \* \*

Миссис О’Коннел вызывает меня к конторке и выдает мне черный кожаный пояс и почтовую сумку.

— Велосипедов на всех не хватает, — сообщает она. — Пешком пойдешь.

Начать нужно с дальнего адреса, потом пройтись по остальным, и не дай бог весь день прокопаешься. Она уже давно на почте работает и знает, сколько времени нужно на шесть телеграмм, даже если пешком топать. В пивнушки заходить нельзя, к букмекерам тоже, даже домой чайку попить не моги, а если ослушаешься — она все равно узнает. И в часовню нельзя. Молись на ходу. Дождь рассыльным не помеха, твоя задача — телеграммы разносить и не жаловаться.

Одна из телеграмм адресована миссис Клоэсси с набережной Артура. Это же мама Пэдди!

— Фрэнки? — удивляется она. — Вырос‑то как. Ну, входи же, не стой на пороге.

На ней яркое платье с цветами и блестящие новые туфли. Двое детей на полу играют с игрушечным паровозиком. На столе чайник, чашки с блюдцами, бутылка молока, буханка хлеба, масло, варенье. У окна стоят две кровати, а раньше ни одной не было. Большая кровать в углу пуста.

— Нет‑нет, не помер он, — говорит миссис Клоэсси, будто прочитав мои мысли. — В Англию с Пэдди уехал. Да ты садись, чайку выпей с хлебом. Откормить бы тебя с Божьей помощью. Худющий, как после Великого голода. На‑ка тебе хлеба с вареньем. Пэдди всегда про тебя рассказывал, а Дэннис, бедный мой муж, что в кровати лежал, все не мог забыть тот день, когда твоя матушка пришла сюда и спела про танцы. Он там в Англии бутерброды делает в столовой. Несколько шиллингов присылает раз в две недели. Вот англичане дают, да? Приняли на работу чахоточного, да еще и бутерброды делать поставили. А Пэдди шикарно устроился — в пабе работает, в Криклвуде, это тоже в Англии. Дэннис так и сидел бы здесь, кабы Пэдди за языком не слазил.

— За языком?

— Дэннису жуть как захотелось овечьей головы с капусткой и картошечкой, вот я и пошла, значит, в лавку к Барри, мяснику, и все до последнего шиллинга потратила. Голову овечью сварила, а уж Дэннис, как ни был болен, прямо дождаться не мог, когда поест. Как одержимый, из постели все просил эту голову, а когда я ему принесла ее на тарелке, уж так радовался, так радовался, что все до последней косточки обглодал.

«Мэри, а где язык?» — спрашивает.

«Какой еще язык?»

«Ну, овечий. У каждой овцы он есть, она им блеет, а у этой его явно не хватает. Иди к Барри, стребуй язык».

Пошла я снова в лавку, а Барри мне говорит, мол, эта чертова овца так блеяла, так орала, что мы язык ей отрезали и бросили собаке, та сожрала и теперь тоже блеет без остановки, вот отрежу ей язык тоже и кошке скормлю.

Возвращаюсь я к Дэннису, а он сам не свой: подавай ему язык и все тут. В нем, мол, вся пользительность. И что ты думаешь? Сынок мой Пэдди, дружок твой, залезает к мяснику ночью, отрезает язык у овечьей головы, что на крюке там висит, и приносит своему бедному отцу. Конечно, я тут же язык варю и соли не жалею. Дэннис его съедает, тихохонько лежит с минутку, потом раз — одеяло долой и на ноги встает. Плевать, говорит, на чахотку, а помирать, лежа в постели, я не собираюсь. Раз уж все одно — конец, так пусть от немецкой бомбы сгину, но заработаю для семьи несколько фунтов. Все лучше, чем лежать тут и стонать.

Она показывает мне письмо от Пэдди. Тот работает в пабе у своего дяди Энтони по двенадцать часов в сутки. Платят двадцать пять шиллингов в неделю и бесплатно кормят супом с бутербродом. Пэдди даже радуется, когда немцы прилетают со своими бомбами — паб закрывают и можно поспать. Ночью он спит на полу в коридоре второго этажа. Ей он присылает по два фунта в месяц, а остальное откладывает, чтоб всю семью в Англию перевезти. В одной комнатушке в Криклвуде им будет лучше, чем в десяти на набережной Артура. Сама она тоже в два счета на работу устроится. Это уж совсем пропащим надо быть, чтоб не найти работу в стране, которая ведет войну и куда янки валом валят, соря деньгами направо и налево. Пэдди собирается подыскать работу в центре Лондона, где янки дают такие чаевые, что семье из шестерых на неделю хватит.

— У нас теперь и на еду, и на обувь наконец‑то деньги есть, слава Господу и Пречистой Его Матери, — говорит миссис Клоэсси. — А вот нипочем не угадаешь, кого Пэдди в Англии встретил. Брендана Кили, однокашника вашего, которого вы Вопрошайкой прозвали. Четырнадцать лет ему всего, а трудится что взрослый. Деньги копит, чтоб уехать в Канаду, поступить в конную полицию, разъезжать по всей стране и петь, как Нельсон Эдди: «Когда я зову тебя, о‑о‑о, о‑о‑о…» Да если б не Гитлер, мы бы все померли, хоть и ужасно так говорить, конечно. А как твоя бедная матушка поживает, Фрэнки?

— Прекрасно, мисс Клоэсси.

— Неправда, Фрэнки. Видела я ее в амбулатории, и выглядела она хуже, чем мой Дэннис, когда лежал тут больной весь. Береги свою бедную мамочку. Да у тебя и у самого вид не лучше, Фрэнки, вон глаза какие краснющие. Вот чаевых три пенса, купи себе конфетку.

— Спасибо, куплю, миссис Клоэсси.

— Только обязательно купи.

###### \* \* \*

В конце недели миссис О’Коннелл выдает мне первую в жизни зарплату — целый фунт. Я мчусь вниз по лестнице и бегу по О’Коннелл‑стрит, — главной улице города. Там повсюду сияют огни, мужчины несут домой недельную получку, как и я. Мне хочется, чтоб они знали, что я тоже взрослый мужчина и у меня в кармане целый заработанный фунт! Я прохаживаюсь по О’Коннелл‑стрит и все жду, что кто‑нибудь меня заметит. Но все молча проходят мимо. А мне ужас как хочется помахать перед ними банкнотой, чтобы они знали: вот идет Фрэнки Маккорт, рабочий человек, с фунтом в кармане.

Сегодня пятница, и я могу делать все, что захочу. Например, наесться рыбы с картошкой и пойти в «Лирик‑синема». Нет, хватит «Лирика». Не хочу больше сидеть на галерке, где ор стоит и свист, когда индейцы убивают генерала Кастера[[110]](#footnote-110) или aфриканцы гоняют Тарзана по джунглям.

Я же теперь могу пойти в «Савой‑синема» и спокойно отдать шесть пенсов за место среди почтенной публики! Тамошние зрители едят шоколадные конфеты и прикрывают ладонью рты, когда смеются. А после кино можно выпить чаю с булочками в ресторане наверху.

С другой стороны улицы меня зовет Майкл. Он проголодался и спрашивает, нельзя ли ему перехватить кусочек хлеба у Эббота и, может, ночевать остаться, а то к Ламану Гриффину уж больно далеко тащиться. Я обещаю ему, что хлеба будет не кусочек, а сколько угодно. Мы пойдем в кафе «Колизей», наедимся рыбы с картошкой, да всего, чего захотим, напьемся лимонада, а потом пойдем смотреть «Янки Дудл Денди»[[111]](#footnote-111) с Джеймсом Кэгни и слопаем целых две больших плитки шоколада.

После кино мы пьем чай с булочками, а всю дорогу до бабушкиного дома поем и приплясываем, как Джеймс. Майкл говорит, что, наверное, здорово жить в Америке, где люди ничего не делают, только поют и пляшут. Уже в полусне он бормочет, что когда‑нибудь и сам будет петь и плясать в Америке и, может, я помогу ему туда перебраться? Как только он засыпает, я принимаюсь думать об Америке и о том, что нужно копить деньги на билет, а не растрачивать их на рыбу с картошкой и чай с булочками. Надо будет отложить несколько шиллингов из моего фунта, а не то я застряну в Лимерике навсегда. Сейчас мне четырнадцать, и если я буду откладывать понемногу каждую неделю, то годам к двадцати смогу уехать.

Когда развозишь телеграммы по конторам, магазинам и фабрикам, на чаевые рассчитывать не приходится. Клерки даже не смотрят на тебя и не говорят спасибо. Бывают телеграммы для респектабельных горожан с Эннис‑роуд и Северной Окружной. Там тоже на чаевые можно не надеяться. Горничные, что те клерки, — тоже не поглядят и спасибо не скажут. Иногда телеграммы приходят священникам и монахиням. У тех также прислуга имеется, пусть они и говорят, что бедность — это благородно. Чаевых от священников и монахинь тоже не получишь, хоть заждись на крыльце. Бывают телеграммы в предместье, фермерам, у которых грязь во дворе и собаки, готовые тебе ноги отгрызть. А иногда телеграмму надо доставить в какой‑нибудь богатый особняк, где будка с привратником на въезде и огромные сады, окруженные высокими стенами. Привратник машет тебе, чтоб проезжал в ворота, а до самого особняка еще надо долго‑предолго ехать по дорожке мимо газонов, клумб и фонтанов. В хорошую погоду хозяева в платьях с цветами и в пиджаках с гербами и золотыми пуговицами играют в протестантскую игру крокет или прогуливаются по саду, болтая и смеясь, и даже не скажешь, что где‑то идет война. У больших парадных дверей припаркованы «Бентли» и «Роллс‑Ройсы», но горничная говорит тебе:

— Вход для прислуги — с обратной стороны, не понятно, что ли?

У богачей из особняков английский акцент, и чаевых они рассыльным не дают.

Больше всего чаевых перепадает от вдов, жен протестантских священников и вообще бедняков. Вдовы знают, когда придет денежный перевод от английского правительства, и поджидают тебя у окна. Однако, если позовут на чашку чая, надо быть начеку — один из «вре‑ менных», Скроби Льюби, рассказывал, что однажды старушка‑вдова лет тридцати пяти пригласила его на чай и едва не стянула с него штаны, но он удрал, хоть и испытал такой соблазн, что даже на исповедь пришлось идти в субботу. Очень, говорит, неудобственно на велосипед вскакивать, когда у тебя все торчит между ног, но если быстро крутить педали и думать о страданиях Пресвятой Богородицы, то вмиг отпускает.

Жены протестантских священников никогда не станут вести себя так, как та вдовушка, ну, если только они сами не вдовы. Кристи Уоллес — «постоянный» разносчик телеграмм, который вот‑вот станет почтальоном, говорит, что протестанты, даже жены священников, творят, что хотят — им так и так в ад попадать, так что от шашней с мальчиком‑рассыльным хуже не сделается. Всем ребятам на почте нравятся жены протестантских священников. Может, у них и есть горничные, но дверь они всегда открывают сами, говорят: «Подожди минутку» и вручают тебе шестипенсовик.

Меня всякий раз подмывает спросить их: каково это быть обреченным на муки вечные, да вдруг обидятся и шесть пенсов отберут?

Ирландцы, которые уехали в Англию на заработки, шлют денежные переводы в пятницу вечером и весь день в субботу — тут‑то и бывают хорошие чаевые. Только доставил пачку телеграмм, как тебя уже следующая ждет.

Самые жуткие районы — за Хай‑стрит или Мангрет‑стрит в Айриштауне. Там еще хуже, чем на Роден‑лейн или Кифиз‑лейн, да и вообще на любой другой улице в трущобах, где мне доводилось жить. Иногда сточная канава проходит прямо посреди улицы. Матери семейств стоят на пороге с кособокими ведрами и кричат «Поберегись!» перед тем, как вылить помои. Дети пускают по мутной воде кораблики из бумаги или из спичечных коробков.

Когда въезжаешь в переулок, детишки кричат: «Телеграмма! Телеграмма!» и дружно бегут к тебе, а женщины ждут у дверей.

Если вручаешь малышу телеграмму, он становится героем дня. Девочкам приходится стоять в сторонке и пропускать мальчиков вперед, но если братьев у девочки нет, то телеграмму получит она. Женщины кричат, что денег у них сейчас нет, заглядывай завтра, если будешь мимо проезжать, а так пусть Бог хранит тебя и всю твою семью.

Миссис О’Коннелл и мисс Барри каждый день твердят нам, что мы уполномочены только развозить телеграммы, а если кто будет просить в магазин за провизией съездить или еще какое поручение выполнить, это уже не наше дело. Им все равно, что где‑то человек лежит и умирает. Им наплевать на безногих, помешанных и тех, кто может только доползти до двери по полу. Наше дело — развозить телеграммы и ничего больше.

— Мне про каждый шаг ваш известно, — предупреждает мисс О’Коннелл. — От людей ничего не скроешь, и все жалобы у меня хранятся в надежном месте.

— Знаем мы, что у нее за надежное место, — бурчит себе под нос Тоби Мэки.

###### \* \* \*

Но миссис О’Коннелл и мисс Барри не знают, каково это, когда стучишься в дверь, тебе говорят: «Входите», ты заходишь, а в комнате темно, только какая‑то куча тряпья лежит на кровати в углу. Потом эта куча вдруг спрашивает: «Кто там?», и ты отвечаешь, что телеграмму привез, а тебя просят съездить в магазин, потому что человек умирает с голоду и глаза бы отдал за чашку чая. Неужели я должен сказать, мол, я занят, и умчаться на велосипеде, оставив эту «кучу тряпья» с бесполезным денежным переводом, потому что сама она ну никак не может встать с постели и получить на почте чертовы деньги.

И как тут прикажете поступать?

Тебе говорят: никогда ни за кого не получать деньги на почте, иначе вылетишь с работы. Но что остается делать, когда старик, который воевал еще в англо‑бурской войне сто лет назад, говорит, что без ног остался и по гроб жизни будет благодарен, если сходишь к Пэдди Консидайну на почту и передашь ему, что дела плохи, а уж Пэдди обязательно деньги для него получит, а два шиллинга‑то возьми себе за доброту, милок. Пэдди Консидайн на почте отвечает, что, конечно, поможет старику, только не дай бог кому проговоришься, тогда вы оба работы лишитесь.

— Сейчас‑то ты телеграммами занят, — говорит ветеран бурской войны. — Но, может, приедешь вечерком и сходишь в лавку, а то в доме ни крошки съестного, да еще холодно совсем.

Он сидит в старом кресле под кучей одеял, а рядом с ним стоит ведро, от которого невыносимо воняет, и когда смотришь на этого старичка в темном углу, хочется отмыть его горячей водой из шланга и накормить досыта яичницей с ветчиной и картофельным пюре с кучей масла, соли и лука.

Вот бы переселить этого ветерана и ту «кучу тряпья» в большой светлый дом за городом, где поют птички и журчит ручеек.

У миссис Спиллейн, которая живет на Памп‑лейн за Кэрис‑роуд, двое детишек‑калек. Это большеголовые малыши с золотистыми волосами, маленькими тельцами и культяпками вместо ног, которыми они болтают, сидя на краю стула. Они сидят весь день, уставившись в огонь, и спрашивают:

— Где папочка?

Говорят они вроде по‑английски, но между собой лопочут на каком‑то своем языке:

— Жин‑нас‑чай‑дай?

Миссис Спиллейн поясняет, что это значит «когда будет ужин». Она говорит, что редкая удача, если муж фунта четыре в месяц пришлет, а уж как она устала выслушивать оскорбления в амбулатории, мол, у нее же муж в Англии. Детям всего четыре года, и они смышленые очень, хоть и беспомощные. Кабы они ходить могли, да хотя бы чуть поздоровее были, она бы давно уехала из этой забытой Богом страны, которая так боролась за свободу, боролась, и все без толку. Пусть этот мерзавец Де Валера, что сидит в своем дворце в Дублине, и все прочие политики к чертям катятся, Господи прости. И священники вслед за ними тоже, и за эти слова она прощения у Бога просить не будет. Знай себе твердят все время, что Иисус, мол, беден был и нечего бедности стыдиться, а самим вон грузовики с ящиками и бочками пива и вина подвозят, яиц вдоволь и окорока всякие. И они еще смеют нам говорить, от какой пищи следует отказаться в пост? Да от чего отказываться‑то, коли у нас круглый год этот пост?!

###### \* \* \*

Вот бы переселить миссис Спиллэйн и ее белокурых детишек‑калек в загородный дом вместе с «кучей тряпья» и англо‑бурским ветераном, всех отмыть и посадить на солнышке, где птички поют и ручеек журчит.

Ну, не могу я просто так уйти и оставить «кучу тряпья» с бесполезным денежным переводом, потому что эта «куча» — старушка, которую зовут миссис Гертруда Дэйли. Ее скрутило всеми мыслимыми хворями: и артрит у нее, и ревматизм, и волосы выпадают, и полноздри скоро отвалится, потому что она все пальцем в носу ковыряет. Но когда старушка выбирается из‑под тряпок и садится на постели, оказывается, что зубы у нее ровные и белехонькие — так и сверкают в темноте.

— Да‑да, — подтверждает она. — Свои у меня зубки‑то. Вот сгнию я в могиле, а зубы откопают лет через сто все такими же блестящими да белехонькими и объявят меня святой.

Ей пришло три фунта от сына. Телеграмма гласит: «С днем рождения, мамочка. Твой любящий сын Тедди».

— Надо же, раскошелился, поганец, — ухмыляется мисси Дэйли. — Не все еще на потаскушек с Пиккадилли, видать, спустил. Ты уж, милок, сделай одолжение: сбегай на почту за деньгами, потом купи мне бутылочку виски «Бейби пауэрс», хлеба буханку, фунт сала, семь картофелин — по одной на каждый день недели, — отвари картошечку да растолки с кусочком сальца, хлеба ломоть отрежь и немножко водицы принеси, виски запить. А еще сходи к О’Коннору, аптекарю, за мазью для болячек, да пока совсем не ушел, мыльца принеси, отмоюсь хоть как следует. А уж я тебе как благодарна буду и помолюсь за тебя, вот тебе два шиллинга за труды.

— Не возьму я денег, мэм.

— Нет уж, бери. Это ж малость такая, а ты мне шибко помог.

— Не могу, мэм, вы в таком состоянии.

— Бери, не то скажу на почте, чтоб больше тебя ко мне с телеграммами не присылали.

— А, хорошо, хорошо, мэм. Большое спасибо.

— Спокойной ночи, сынок. Мамочку свою слушай.

— Спокойной ночи, миссис Дэйли.

###### \* \* \*

В сентябре в школе начинаются занятия, и иногда по дороге со школы Майкл заворачивает к Эбботу. Если на улице идет дождь, он спрашивает:

— Можно я тут переночую?

И вскоре совсем перебирается ко мне. Потопай‑ка две мили туда‑сюда каждый день, уставший и голодный.

Мама приходит его искать, и я не знаю, что ей сказать, даже смотреть как на нее не знаю, поэтому гляжу в сторону.

— Как дела на работе? — спрашивает она как ни в чем не бывало.

— Отлично, — отвечаю я как ни в чем не бывало.

Если дождь сильный, мама с Альфи не идет домой, а ночует в комнатушке наверху. На следующий день она уходит к Ламану, а Майкл остается, и вскоре мама тоже совсем перебирается к нам.

За жилье раз в неделю платит Эббот. Мама получает пособие и талоны на продукты в амбулатории, но потом кто‑то доносит на нее, и в пособии ей отказывают, потому что у нее сын зарабатывает фунт в неделю, а у многих и того нет, так что, мол, пусть радуется еще. Теперь мне приходится отдавать всю получку ей.

— Всего фунт? — удивляется мама. — За то, что ты по всему городу колесишь в любую погоду? Да это же четыре доллара всего, на эти деньги в Нью‑Йорке и кошку не прокормишь. Если бы ты развозил телеграммы «Вестерн Юнион» в Нью‑Йорке, то зарабатывал бы двадцать пять долларов в неделю и в роскоши жил. — Она всегда переводит ирландские деньги в американские, потому что никак про Америку забыть не может и все время всем рассказывает, что там было гораздо лучше. Иногда она оставляет мне два шиллинга, но их хватает только на кино или на подержанную книгу — так я никогда не накоплю на билет и застряну в Лимерике лет до двадцати пяти, а это уже старость.

Мэйлахи пишет из Дублина, что ему осточертел оркестр и он не хочет всю жизнь дудеть в трубу. Через неделю он возвращается домой и ворчит, что спать придется на одной постели со мной, Майклом и Альфи. В Дублине у него была своя койка с простынями, одеялом и подушкой. А теперь снова эти старые пальто и валик, который только тронь — сразу куча перьев летит.

— Ах, как мне тебя жалко, бедный ты разнесчастный, — усмехается мама.

Эббот спит в своей кровати, мама — в комнатушке наверху. Мы снова все вместе, и никакой Ламан больше над нами не издевается. Мы завариваем чай, жарим хлеб и едим, сидя на полу.

— Нельзя на полу сидеть, — говорит Эббот.

Он говорит маме, что у Фрэнка, мол, не в порядке с головой, раз он не понимает, для чего нужны стол и стулья, и мама тоже ругается, что пол холодный и мокрый и мы все застудимся до смерти. Но мы сидим на полу, поем, а мама и Эббот сидят на стульях. Она поет: «Не одиноко ли тебе сегодня вечером?»[[112]](#footnote-112), а Эббот «Дорогою в Рашин», мы так и не знаем, о чем эта песня. Мы сидим на полу, рассказываем о том, что было, чего не было и что будет, когда мы все уедем в Америку.

###### \* \* \*

Бывает, что телеграмм мало, и мы с ребятами сидим на скамье и болтаем. Тихонько разговаривать можно, смеяться — нет. Мисс Барри называет нас кучкой лентяев и оборванцев и говорит:

— Скажите спасибо, что вам платят за то, что вы тут просто так сидите. Смеются они, видите ли. Чего в этом смешного? Ежели кто хоть раз хихикнет, всех отправлю на улицу просмеяться, а не поможет — нажалуюсь, кому следует.

В ответ ребята бормочут про нее всякие гадости.

— Этой старой котомке давно мощи не мяли. Ее мамаша была девкой подзаборной, а папаша из психушки сбежал с мозолями на яйцах и бородавками на срамном месте, — шепчет Тоби Мэки.

Вся скамья смеется.

— Я вас предупреждала! — вопит мисс Барри. — Мэки, чего ты там болтаешь?

— Я только сказал, что в такую чудную погоду лучше бы нам свежим воздухом дышать да телеграммы развозить, мисс Барри.

— Так я тебе и поверила, Мэки. Рот у тебя что помойка. Слышал, что я до этого говорила?

— Слышал, мисс Барри.

— На лестнице твой гогот слыхать, Мэки.

— Да, мисс Барри.

— Заткнись, Мэки.

— Хорошо, мисс Барри.

— Больше ни слова, Мэки.

— Хорошо, мисс Барри.

— Я сказала заткнись, Мэки.

— Хорошо, мисс Барри.

— Прекрати сейчас же, Мэки. Не вынуждай меня.

— Не буду, мисс Барри.

— Матерь Божья, дай мне терпения.

— Да, мисс Барри.

— Мэки, хватит, я сказала. Хватит, хватит, хватит.

— Хорошо, мисс Барри.

Тоби Мэки, как и я, «временный». Он посмотрел кино «Первая полоса» и теперь хочет уехать в Америку, стать ушлым журналистом в шляпе и с сигаретой. В кармане у него всегда блокнотик, потому что хороший репортер должен писать обо всем, что происходит вокруг. Собирать факты. Факты. А не собирать по пабам чертовы стишки про то, как мы страдали под гнетом англичан. Факты, Фрэнки. Он записывает номера своих телеграмм и сколько миль он проезжает. Мы сидим на скамье и очень стараемся не хихикать, а он рассказывает мне, что если каждый день доставлять по сорок телеграмм, это будет две сотни в неделю, десять тысяч за год и двадцать тысяч — за два года. Если за неделю проехать сто двадцать пять миль, то за два года набежит тринадцать тысяч миль, а это полмира, Фрэнки, неудивительно, что мы задницы себе напрочь стираем.

Тоби говорит, что никто не знает Лимерика так, как рассыльный. Нам знакомы все проспекты, дороги, улицы, дома, конюшни, тупики и переулки.

— Да нам все двери в Лимерике знакомы, — говорит он. — Железные, дубовые, фанерные. Двадцать тысяч дверей, Фрэнки! Мы в них стучим, пинаем, ломимся. Звоним в колокольчики и звонки. Свистим и кричим: «Телеграмма! Телеграмма!» Бросаем телеграммы в почтовые ящики, засовываем под двери, в окна кидаем, а ежели человек встать не может, то залезаем в дом. Мы отбиваемся от собак, которые рады бы сожрать нас на ужин. К тому же никогда не знаешь, как адресат воспримет телеграмму. Кто смеется, поет и приплясывает, кто рыдает, вопит, в обморок падает, и тогда думаешь: а очухается ли вообще и даст ли чаевые? В Америке совсем не так. Помнишь, как Мики Руни[[113]](#footnote-113) телеграммы развозит в «Человеческой комедии»? Все ему радуются, из кожи вон лезут, чтоб чаевые взял, в дом зашел и чаю выпил с булочкой.

Тоби говорит, что в блокнотике у него уже куча фактов и плевать на всех с высокой горки, и я тоже хочу таким быть.

Миссис О’Коннелл знает, что мне больше всего по душе возить телеграммы за город, так что если день выдался солнечный, она дает мне сразу пачку из десяти телеграмм, чтоб уже до полудня в контору не возвращался. Погожими осенними деньками река Шаннон так и сверкает под солнцем, а зеленые поля в утренней росе отливают серебром. Над ними курится дымок, и в воздухе стоит сладковатый запах тлеющего торфа. На лугу пасутся коровы и овцы, и я все время думаю, не их ли имел в виду тот священник, говоря о животных? Я бы не удивился: быки то и дело лезут на коров, бараны на овец, жеребцы на кобыл, и у всех у них такие большие штуки, что от аж от одного вида в пот бросает и становится ужасно жалко всех‑всех женских особей в мире, которым так страдать приходится, хотя сам я не отказался бы побыть быком, потому что быки могут вытворять, что хотят — у животных это не грех. Я бы дал волю рукам, но вдруг фермер коров или овец на ярмарку или на другое пастбище погонит? Увидит меня, помашет посохом и прокричит:

— Добрый день, юноша. Отличный сегодня денек, слава Господу и его Пречистой Матери.

Такого набожного фермера может оскорбить, что кто‑то нарушает шестую заповедь прямо на его поле.

Лошади любят стоять около заборов и изгородей и смотреть, что происходит вокруг. Я подхожу и заговариваю с ними. У них длинные морды и большие умные глаза. Иногда я останавливаюсь и слушаю птичек, которые перекликаются друг с другом через поле. Если долго стоять и слушать некогда, не беда — птичек везде полно, их трели доносятся с каждого куста и дерева. Когда журчит ручеек под мостом, поют птицы, мычат коровы и блеют овцы — это получше любого оркестра. Из домов пахнет ветчиной и капустой, и от голода на меня нападает такая слабость, что я схожу с дороги и полчаса набиваю себе рот ежевикой, а потом запиваю ледяной водой из ручья, с которой никакой лимонад не сравнится.

После телеграмм у меня еще остается время, и я брожу по старому монастырскому кладбищу, где похоронена мамина родня: все Гильфойлы и Шиханы, и где мама хочет, чтоб ее похоронили. Оттуда видны развалины замка Кэрригоганелл. У меня еще уйма времени. Я еду к замку, забираюсь на самый верх, смотрю оттуда, как река Шаннон течет в Атлантический океан, который омывает Америку, и мечтаю, что в один прекрасный день я поплыву туда на корабле.

###### \* \* \*

— Везет тебе, — завидуют ребята на почте. — Кармоди телеграмму повезешь. Целый шиллинг чаевых, больше этого нигде не дают.

— А почему я? Я же самый младший, — удивляюсь я.

— Ну, иногда дверь открывает Тереза Кармоди, — поясняют они. — Она чахоточная, и все боятся от нее заразиться. Ей семнадцать, ее то и дело в санаторию увозят, и до восемнадцати она не доживет.

Еще ребята на почте говорят, что больные люди, как Тереза, знают, что жить им осталось мало, и потому ужасно охочи до страстей, любовных приключений и всего такого прочего.

— Вот чего чахотка с человеком творит, — заключают они.

Я еду по залитым ноябрьским дождем улицам, думая про целый шиллинг чаевых, но стоит мне завернуть в переулок, где живут Кармоди, как велосипед выскальзывает из‑под меня, я качусь по земле, оцарапываю лицо и в кровь обдираю руку. Дверь открывает Тереза Кармоди. Волосы у нее рыжие, а глаза зеленые, как луга за Лимериком. Сама она бледная, только на щеках горит яркий румянец.

— Весь промок и в крови, — ахает она.

— С велосипеда упал.

— Входи, раны обработаю.

Я сомневаюсь, входить или нет. Вдруг я заражусь чахоткой и поминай как звали. Мне же еще пятнадцати нет. Но чаевые хочется.

— Входи. А то замерзнешь до смерти. — Она ставит чайник на огонь.

Потом смазывает порезы йодом, и я стараюсь не хныкать — я же мужчина.

— Молодец какой! — хвалит она. — Иди вон в гостиной у огня обсушись. Да штаны‑то сними, на решетку каминную повесь.

— Не надо.

— Надо.

— Ну, хорошо.

Я вешаю штаны на решетку, сижу и смотрю, как от чайника поднимается пар, и у меня тоже все поднимается. А вдруг Тереза зайдет и увидит?

Тут она и появляется с подносом, на котором хлеб с вареньем и две чашки чая.

— Бог ты мой, сам щуплый, как цыпленок, а товарищ у тебя ничего себе.

Она ставит тарелку и чашки на стол у камина. Потом двумя пальцами берет меня за кончик «забавы» и ведет к зеленому дивану у стены, и за это время я успеваю подумать и про грех, и про йод, про чахотку, шиллинг чаевых, про зеленые глаза и Терезу на диване.

— Не останавливайся, а то я умру.

Она плачет, и я плачу, потому что не знаю, что со мной, и, может быть, я сейчас насмерть заражусь чахоткой от ее поцелуя, но я взлетаю к небесам, и падаю в пропасть, и если это грех, то мне глубочайше наплевать.

После мы лежим на диване, и она спрашивает:

— А ты уже все телеграммы развез? — Потом вскрикивает: — Ой, у меня кровь!

— Что с тобой?

— Наверное, это потому что в первый раз.

— Подожди. — Я бегу на кухню за йодом и плескаю им туда, где у нее кровь.

Она вскакивает и, исполнив что‑то вроде сумасшедшего танца, убегает на кухню ополоснуться водой.

— Боже, какой же ты глупенький. Ну кто же девушек там йодом поливает?

— Я думал, ты поранилась.

После этого я неделями вожу ей телеграммы. Иногда мы «забавляемся» на диване, но бывают дни, когда Терезу мучает кашель и одолевает слабость. Мне она никогда не признается, что у нее нет сил. И про чахотку ничего не говорит. Ребята на почте поддразнивают меня, мол, хорошо я, наверное, с Терезой Кармоди развлекаюсь, да еще и шиллинг за это получаю. Я молчу про зеленый диван. Молчу про то, как всякий раз, когда она открывает дверь, мне больно видеть ее такой слабой, и сразу хочется сделать ей чаю, и сидеть, обнявшись, на зеленом диване.

Как‑то в субботу мне велят везти телеграмму Терезиной матери в «Вулвортс», где она работает.

— Миссис Кармоди, а ведь раньше телеграммы получала ваша дочь, Тереза, правильно? — интересуюсь я как можно небрежнее.

— Да, но сейчас она в больнице.

— В санатории?

— Нет, говорю же: в больнице.

Как и все в Лимерике, Терезина мать стыдится туберкулеза, и не дает мне чаевых. Я еду в санаторий, но там мне говорят, что к больным пускают только совершеннолетних родственников. Я вру, что я — ее кузен, и мне будет пятнадцать в августе. Меня все равно прогоняют. Я еду в церковь францисканцев помолиться за Терезу.

— Святой Франциск, пожалуйста, поговори с Господом, скажи ему, что Тереза ни в чем не виновата. Это я возил ей телеграммы каждую субботу. И в том, что было на диване, тоже нет ее вины — это все из‑за чахотки. Но теперь это уже неважно, святой Франциск, потому что я люблю Терезу так же сильно, как ты любишь птиц, зверей и рыб. Пожалуйста, попроси Бога, чтобы он вылечил Терезу, а я обещаю, что даже близко к ней больше не подойду.

В следующую субботу мне опять дают телеграмму, адресованную семейству Кармоди. Не проехав и пол‑улицы, я вижу, что шторы в доме Терезы наглухо задернуты. На двери венок из черных креповых лент и белая траурная карточка с фиолетовой рамкой. Я сразу же представляю комнату с зеленым диваном, на котором мы с Терезой кувыркались голые, а теперь она в аду, и все из‑за меня.

Я подсовываю телеграмму под дверь и еду в церковь францисканцев помолиться за упокой Терезиной души. Я молюсь у каждой статуи, у каждого витража, у каждого стояния крестного пути. Я клянусь, что впредь буду образцом веры, надежды, милосердия, бедности, целомудрия и послушания.

На следующий день, в воскресенье, я иду на четыре мессы. Трижды обхожу все стояния крестного пути. Весь день читаю молитвы. Не ем и не пью, а как только оказываюсь в каком‑нибудь укромном месте, плачу и молю Бога и Деву Марию пощадить душу бедной Терезы Кармоди.

В понедельник я, на почтовом велосипеде, еду за похоронной процессией на кладбище и встаю за деревом недалеко от могилы. Миссис Кармоди рыдает. Мистер Кармоди шмыгает носом, и вид у него озадаченный. Прочитав молитвы на латыни, священник окропляет гроб святой водой.

Мне хочется подойти к священнику, к мистеру и миссис Кармоди и сказать им, что это я отправил Терезу в ад и пусть делают со мной, что хотят. Оскорбляют. Бранят на чем свет стоит. Закидают землей. Но я так и стою за деревом и смотрю, как трое скорбящих уходят, и могильщики закапывают яму.

Свежевскопанную землю уже посеребрил иней. Я думаю о Терезе, о могильном холоде, о ее рыжих волосах и зеленых глазах. Меня обуревают непонятные чувства, но одно я знаю точно — никогда прежде, даже когда умирал кто‑то в моей семье или у соседей, мне еще не было так больно, и не дай бог когда‑нибудь еще испытать такую боль.

Темнеет. Я вывожу велосипед с кладбища и еду развозить телеграммы.

## XVI

Миссис О’Коннелл вручает мне телеграммы для мистера Харрингтона — англичанина. У него умерла жена, которая родилась и всю жизнь прожила в Лимерике. Ребята на почте говорят, что телеграммы с соболезнованиями — пустая трата времени. Получающие их просто плачут, рыдают и, раз у них горе, то думают, что и чаевых платить не надо. Могут только спросить, не хочешь ли взглянуть на покойного и помолиться за его душу. И ладно, если бы при этом угостили хоть глоточком шерри или бутербродом с ветчиной. Так нет, молитву им подавай, а ты — всего лишь разносчик телеграмм, и в лучшем случае тебе перепадет сухое печенье. Мальчики постарше говорят, что главное — правильно себя вести, тогда может и дадут чаевые. Если попросят зайти и прочитать молитву, надо опуститься на колени поближе к усопшему, вздохнуть как можно глубже, осенить себя крестным знамением, уткнуться лицом в постель, и потрясти хорошенько плечами, будто содрогаешься от горестных рыданий, а потом вцепиться в постель обеими руками, будто ты не в силах покинуть усопшего, несмотря на то что еще телеграммы развозить надо. А еще обязательно щеки должны блестеть: можно поплакать, можно на руки поплевать и растереть, и если после всего этого чаевых не дадут, то в следующий раз подсовывать им телеграмму под дверь или в форточку швырять — пусть себе одни горюют.

###### \* \* \*

Телеграмму Харрингтонам я везу не в первый раз. Мистер Харрингтон всегда был в разъездах по делам страховой конторы, а миссис Харрингтон не скупилась на чаевые. Но она умерла, и дверь мне открывает мистер Харрингтон. Глаза у него красные, он шмыгает носом.

— Ты ирландец? — спрашивает он.

Ирландец ли я? Не был бы — не стоял бы у него на пороге с пачкой телеграмм в руке.

— Да, сэр.

— Проходи, — говорит он. — Сумку на вешалку повесь. — Он запирает дверь, а ключ кладет к себе в карман. «Странные эти англичане», — думаю я.

— Ты, конечно, хочешь с ней попрощаться. Посмотреть, что с ней сотворил этот ваш чертов туберкулез. Упыри вы все. За мной иди.

Сначала он идет на кухню за тарелкой с бутербродами и двумя какими‑то бутылками, потом поднимается наверх по лестнице. Миссис Харрингтон выглядит вполне мило: белокурая, розовощекая, умиротворенная.

— Вот моя жена. Пусть она ирландка, но по виду этого, слава Богу, не скажешь. Ирландка. Как ты. Пить ты, конечно, будешь. Вы, ирландцы, завсегда выпивке рады. Только от титьки материнской отнимут, а вы уж за виски или за пивом тянетесь. Тебе чего налить? Шерри? Виски?

— Мне бы лимонаду.

— У меня тут по жене поминки, а не лимонадная вечеринка. Шерри налью. Подарочек из чертовой Испании, ну и пойло эти католики и фашисты делают.

Я выпиваю шерри. Он наливает мне еще, а себе хочет налить виски.

— Черт, все вышло. Стой тут, я в паб схожу. И чтоб с места не сходил, пока не вернусь. Понял?

Я ничего не понимаю, а от шерри кружится голова. Как следует себя вести с англичанином в трауре? Миссис Харрингтон смотрится очень мило, но она протестантка, а значит — обречена на вечные муки, как Тереза. Священник говорил: «И нет спасения тому, кто пребывает вне стен Церкви». Погодите‑ка, я спасу ее душу. Окрещу ее. Искуплю свою вину перед Терезой. Надо воды. О, Боже мой, дверь заперта. Почему? Может, вы не умерли, миссис Харрингтон? И видите меня? Вы правда умерли, миссис Харрингтон? Я не буду бояться. Ой, какое у вас лицо холодное. Да, умерли, точно. Ладно, окрещу вас шерри из чертовой Испании. «Крещаю тебя во имя Отца, и Сына, и Святого…»

— Ты что это творишь? А ну руки прочь от моей жены, папист поганый. Это что еще за деревенский ритуал? Ты зачем к ней прикасался? Я тебя спрашиваю! Да я твою тощую шею сверну.

— Я… Я…

— Чего якаешь? По‑английски говорить разучился, гаденыш?

— Я просто шерри на нее капнул, чтоб душа ее попала в рай.

— В рай? У нас и так был рай: Энн, наша дочь Эмили и я. Нечего таращиться на нее своими поросячьими глазками. О, Господи, я этого не вынесу. Вот тебе еще шерри.

— Нет, спасибо.

— Нет, спасибо! Хорош тут мне выть своим ирландским голоском. Когда это ирландцы от выпивки отказывались? Вы от нее лучше спину гнете и громче воете. Да и от жратвы ты уж точно не откажешься. Вон, тощий какой, ирландец‑голодранец. На. Ветчину. Жри.

— Ой, нет, спасибо.

— Еще раз услышу твое «ой, нет, спасибо», и я эту ветчину тебе в задницу засуну. — Он размахивает передо мной бутербродом, пихает мне его в рот, потом устало падает в кресло. — Господи, Боже мой! Что же мне делать? Надо отдохнуть немного.

В животе у меня все переворачивается. Я бегу к окну, высовываю голову и меня тошнит.

Мистер Харрингтон вскакивает с кресла.

— Ты, ты, да чтоб тебе в аду гнить, на розы моей жены наблевал! — Он кидается на меня, промахивается, падает на пол.

Я выбираюсь за окно, повисаю на подоконнике. Он пытается втащить меня обратно. Я отпускаю руки и падаю прямо в розовый куст, куда меня только что вытошнило. Я весь в царапинах от шипов, и подвернул ногу.

— А ну вернись! — рявкает мистер Харрингтон из окна. — Кому говорю, вернись, заморыш ирландский. Вот я на почту пожалуюсь. — Он кидает мне в спину бутылкой виски, попадает и умоляюще кричит: — Ну хоть часочек посиди со мной!

Вслед мне летят стаканы из‑под шерри, рюмки из‑под виски, бутерброды с ветчиной, безделушки с туалетного столика, баночки с пудрой, кремом, щетки.

Я вскакиваю на велосипед и, вихляя, еду по улице — голова у меня кружится от шерри и боли.

— Семь телеграмм тебе дали, одну только свез, а ведь целый день где‑то шатался!

— Но я, я…

— Знаю я, что ты делал, пьянствовал. Вон как разит от тебя. Нам уже все известно. Мистер Харрингтон нам позвонил, приятный английский джентльмен, голос как у Джеймса Мэйсона[[114]](#footnote-114).

Впустил тебя за бедную его жену помолиться, а ты из окна удрал, прихватив шерри и окорок. Бедная твоя мать. Знала бы, кого она на свет родила.

— Он заставил меня есть ветчину и пить шерри.

— Заставил? Да ну? Прям‑таки заставил? Да мистер Харрингтон — настоящий джентльмен, не станет он лгать! А таким, кто лапы свои загребущие подальше от окорока и шерри держать не может, у нас на почте не место. Сдай сумку и велосипед, ты здесь больше не работаешь.

— Но мне нужна работа. Я коплю на билет в Америку.

— В Америке горько пожалеют, если пустят к себе такого, как ты.

Я ковыляю по улице и думаю, что вот здорово было бы кирпичом зашвырнуть в окно мистеру Харрингтону. Нет, нельзя. Из уважения к усопшим нельзя. Перейду по Сарсфилдскому мосту на другой берег и залягу где‑нибудь в кустах. Не представляю, что я скажу маме. Я потерял работу. Нет, надо идти домой, надо сказать. Нельзя всю ночь на берегу сидеть. Она же с ума сойдет.

Мама идет на почту и умоляет принять меня обратно. Ей отказывают, мол, слыхано ли, чтоб рассыльный труп осквернял, а потом сбегал с места преступления, прихватив шерри и окорок. Нет уж, ноги его не будет на пороге почты. Никогда.

Мама идет к приходскому священнику. Тот пишет записку: «Примите юношу обратно». «Конечно‑конечно, святой отец, — отвечают на почте. — Пусть доработает до шестнадцатилетия, но ни минутой дольше».

— К тому же, — говорит миссис О’Коннелл. — Если вспомнить, как англичане над нами восемьсот лет измывались, так и подумаешь, что не убудет от этого джентльмена от глотка шерри и ветчины кусочка. Это ничто по сравнению с Великим Голодом. Если б мой супруг жив был, он бы сказал, мол, ну и правильно ты сделал, Фрэнк Маккорт, правильно.

###### \* \* \*

Каждое субботнее утро я клянусь себе, что пойду на исповедь и расскажу священнику о гнусных поступках, что совершаю дома, во время одиноких прогулок за городом да еще на виду у коров и овец, и на развалинах Кэрригоганелла, где меня вообще любой может увидеть.

Я расскажу ему про Терезу Кармоди и про то, как я отправил ее в ад, и все, мне конец — меня отлучат от церкви.

Мысли о Терезе не дают мне покоя. Везу ли я телеграмму ее соседям, прохожу ли мимо кладбища, я чувствую, как внутри у меня гнойником разрастается грех, и если я в ближайшее время не схожу на исповедь, то превращусь в один сплошной чирей на велосипеде. Все будут показывать на меня пальцем и говорить: «Глядите, это тот самый Фрэнк Маккорт, поганец, который Терезу Кармоди в ад отправил».

Я смотрю, как другие идут по воскресеньям причащаться в церкви — все такие в состоянии благодати. Они возвращаются на скамьи с Телом Бога во рту, умиротворенные, спокойные, готовые в любой момент умереть и отправиться в рай или просто пойти домой и беззаботно вкушать яичницу с ветчиной.

Как же я устал быть величайшим грешником в Лимерике! Как хочу избавиться от этого греха и тоже спокойно есть яичницу с ветчиной! Быть, как все.

Священники все время твердят нам, что милость Божья безгранична, но какой священник возьмется отпустить грехи тому, кто вместо того, чтобы развозить телеграммы, оказывается на зеленом диване с девушкой, умирающей от скоротечной чахотки.

Проезжая по Лимерику с телеграммами, я останавливаюсь у каждой церкви. Проезжаю от церкви редемптористов до церкви августинцев, от доминиканцев к францисканцам. Я стою на коленях перед статуей Франциска Асссизского и молю его о помощи, но ему наверняка слишком противно меня слушать. Я преклоняю колени перед исповедальней, но когда до меня доходит очередь, мне становится трудно дышать, сердце колотится, лоб покрывается липкой испариной и я выбегаю из церкви.

Я клянусь себе, что схожу на исповедь в Рождество, но не иду. На Пасху. Тоже не иду. Проходят недели, месяцы, и вот уже скоро год, как умерла Тереза. В годовщину схожу обязательно, но не могу. Мне уже пятнадцать, и я проезжаю мимо церквей, не останавливаясь. Схожу в Америке — там священники похожи на Бинга Кросби в «Моем пути»[[115]](#footnote-115), они‑то не вышвырнут меня из исповедальни, а в Лимерике — запросто.

«Чирей» так и сидит внутри меня, и остается только надеяться, что он убьет меня не раньше, чем я доберусь до американского священника.

###### \* \* \*

Мне поручают отвезти телеграмму одной старухе, миссис Бриджит Финукейн.

— Тебе, малец, сколько лет? — спрашивает она.

— Пятнадцать с половиной, миссис Финукейн.

— Дурости, значит, еще хватает, но и смекнуть кой‑чего уже можешь. Смышленый сам‑то? Учился чему?

— Я умею читать и писать, миссис Финукейн.

— Ха, в психушке тоже многие читать и писать умеют. А письмо написать можешь?

— Могу.

Она просит меня написать письма ее клиентам. Те, кому нужны костюм или платьице для ребенка, идут к ней, и она выдает им талон в магазин, где продают одежду. Ей там будет скидка, а с тебя она возьмет всю цену да еще проценты. Долг выплачиваешь по частям, раз в неделю. Если клиент не платит вовремя, надо написать ему такое письмо, чтоб он испугался и заплатил.

— Три пенса за письмо и еще три — если долг вернут. Хочешь работать — приходи по вечерам в четверг и пятницу с бумагой и конвертами.

Мне ужасно нужна эта работа. Я хочу в Америку. Но у меня нет денег на бумагу и конверты. На следующий день я везу телеграмму в «Вулвортс», а там — целый отдел бумаги и конвертов. Денег у меня нет, так что придется что‑то придумать. Но что? Меня выручают две собаки, застрявшие друг в друге у двери магазина. Они бегают кругами и скулят. Покупатели и продавцы хихикают и притворяются, что не смотрят, и пока все увлечены происходящим, я засовываю несколько листков бумаги и конвертов себе под свитер, выбегаю из лавки, вскакиваю на велосипед и мчусь подальше от бедных собак.

Миссис Финукейн с подозрением косится на бумагу и конверты.

— Уж больно хорошие. Материны что ли? Но ты ведь все вернешь, когда деньги получишь, да, малец?

— Конечно.

Она велит мне в следующий раз сворачивать в переулочек за домом и заходить с черного хода, а то вдруг у парадного увидит кто‑нибудь. Потом открывает большую амбарную книгу и диктует мне имена и адреса шести должников.

— Пригрози им, малец. Напугай до полусмерти.

Я пишу первое письмо:

*«Дражайшая миссис О’Брайен,Поелику Вы не дали себе труда уплатить причитающуюся с вас сумму, я буду вынуждена прибегнуть к помощи закона. Пока ваш сын, Майкл, разгуливает повсюду в новом костюмчике, за который заплачено мною, сама я страдаю, перебиваясь с хлеба на воду. Уверена, что Вам не захочется зачахнуть в казематах лимерикской тюрьмы, вдали от друзей и семьи.*

*Засим прощаюсь и с нетерпением жду судебной тяжбы,Ваша миссис Бриджит Финукейн».*

— Вот это письмо так письмо, малец, — восхищается миссис Финукейн. — Такого даже в «Лимерик лидере» не прочтешь. А это слово, «поелику», ну, просто ужасть. Что хоть оно означает‑то?

— По‑моему, «ваш последний шанс».

Я пишу еще пять писем, и миссис Финукейн дает мне денег на марки. По пути на почту меня осеняет: зачем выбрасывать деньги на марки, если я могу разнести письма сам попозже вечером? Письмо такое грозное, что как его ни доставь — бедняк все равно испугается.

Я пробегаю по улицам и подсовываю письма под двери, молясь о том, чтоб меня никто не увидел.

На следующей неделе миссис Финукейн вопит от радости:

— Четверо заплатили. Ну‑ка садись и напиши еще, малец. Да страху нагони побольше.

От раза к разу мои письма звучат все суровее и суровее. Я вворачиваю в них такие словечки, смысл которых едва ли понимаю.

*«Дражайшая миссис О’Брайен,Поелику Вас, судя по всему, не пугает неминуемое начало судебных разбирательств, о коих мы предуведомили Вас в предыдущем послании, считаем необходимым сообщить Вам, что мы обратились за консультацией к адвокату в Дублине».*

На следующей же неделе миссис О’Брайен возвращает долг.

— Ведь пришла, вся дрожа, и слезно уверяла, что в следующий раз нипочем оплату не задержит.

По пятницам миссис Финукейн отправляет меня в паб за бутылочкой шерри.

— Ты до шерри не дорос еще. Вон, чаю себе сделай из утренней заварки. Нет‑нет, хлеб не трожь, ох и подорожал он нынче! Ишь, хлеба ему, а потом что, яйцо запросишь?

Она сидит в кресле‑качалке у очага, потягивает шерри, пересчитывает деньги в кошеле, что лежит у нее на коленях, записывает что‑то в амбарную книгу, а потом запирает все в сундук под кроватью.

— Как же славно‑то, когда деньжата водятся, и можно завещать их Церкви, чтоб она за упокой души твоей помолилась, — сообщает мне старуха после нескольких рюмочек шерри.

Уж очень ей приятно от мысли, что святые отцы будут молиться за ее душу долгие годы.

Иногда, заснув, она роняет кошель на пол, и я беру себе несколько шиллингов за то, что просидел у нее дольше положенного и написал столько новых длинных слов. Ну да, священникам чуть меньше денег достанется, но зачем одной душе столько молитв? И уж, конечно, мне причитается несколько фунтов от церкви после того, как она столько раз захлопывала передо мной дверь. Алтарником мне стать не дали, продолжать учебу не взяли, в миссионеры к Белым Отцам не пустили. Ну и наплевать. У меня есть счет на почте, и если я буду писать достаточно грозные письма, время от времени брать по нескольку шиллингов из кошеля и оставлять деньги на марки себе, то накоплю денег на Америку и до времени я нипочем свои сбережения не трону, даже если вся семья моя свалится от голода.

Иногда мне приходится писать письма нашим соседям и маминым подругам, и я опасаюсь, что меня разоблачат.

— Ну и письмо мне старая стерва Финукейн из Айриштауна прислала, — жалуются они маме. — И что за черт в нее вселился? Такие записульки сочинять принялась, что я ничего в них не разберу, потому что слов‑то таких отродясь не слыхала. Тот, кто эти письма пишет, хуже Иуды и всех доносчиков, что англичанам нас выдавали.

Мама говорит, что писаку этого надо в кипящий котел с маслом бросить и чтоб ему ногти слепцы повырывали.

Мне всех жаль, но другого способа накопить денег на Америку нет. Когда‑нибудь я стану богатым янки, буду отправлять домой пачки долларов и моей семье больше не надо будет бояться грозных писем.

###### \* \* \*

В августе «временные» рассыльные сдают экзамен для того, чтобы стать «постоянными».

— Обязательно иди на экзамен, Фрэнк Маккорт, — говорит мне миссис О’Коннелл. — Мозги у тебя на месте, так что сдашь запросто и разом станешь почтальоном — вот уж подспорье было бы для твоей бедной матери.

Мама тоже говорит, что, конечно, надо сдавать, мол, станешь почтальоном, накопишь денег, уедешь в Америку и там тоже почтальоном можно сделаться, вот уж славно было бы.

В субботу я везу телеграмму в «Саутс‑паб», а там сидит Па Китинг, как обычно, весь чернющий.

— Садись, Фрэнки, выпей со мной лимонаду, а может, и пинту, раз тебе уже почти шестнадцать?

— Спасибо, дядя Па, лучше лимонаду.

— Пинту‑то будешь пить, когда шестнадцать стукнет?

— Хотел бы, но папы здесь нет, не с кем.

— Вот уж не волнуйся. Да, понятно, без отца не то, но я тебе первую взрослую пинту поставлю. Я б для сына так сделал. Придешь вечером, накануне шестнадцатилетия?

— Приду, дядя Па.

— Я слыхал, ты экзамен собираешься держать на почтальона?

— Собираюсь.

— И зачем он тебе сдался?

— Работа хорошая, почтальоном сразу стать можно, и пенсия будет.

— Какая еще к черту пенсия? Ему шестнадцати нет, а он уж о пенсии заботится. Фрэнки, слышь, не дури ты меня. Какая к черту пенсия? Ну сдашь ты экзамен, ну просидишь на почте всю жизнь. Женишься на какой‑нибудь Бриджит, родятся у вас пять маленьких католиков и будете выращивать розы в саду. Да у тебя мозги тогда спекутся к тридцати годам, а яйца и того раньше усохнут. Своей башкой думай, черт побери. К чертям трусов и скупердяев. Слышишь, что я говорю, Фрэнки Маккорт?

— Да, дядя Па. Мистер О’Холлоран нам то же самое говорил.

— Что именно?

— Своей головой думать.

— Прав ваш О’Холлоран. Это твоя жизнь, так что принимай решения сам и к черту скупердяев, Фрэнки. Один черт ведь в Америку намылился, так?

— Да, дядя Па.

В день экзамена мне разрешают не приходить на работу. В окне одной из контор на О’Коннелл‑стрит я замечаю объявление: «Требуется смышленый юноша с аккуратным почерком и хорошим знанием арифметики. Обращаться к мистеру Маккефри, управляющему „Исонз Лимитед“».

Я стою перед зданием городской Ассоциации молодых протестантов, где будет проходить экзамен. Наверх по ступенькам крыльца спешат ребята со всего Лимерика. Привратник раздает листки бумаги с карандашами и рявкает:

— Поживей поднимаемся, поживей!

Я смотрю на привратника, вспоминаю слова Па Китинга, думаю об объявлении на двери «Исонз Лимитед». Не хочу я входить в эту дверь и держать экзамен. Ведь если я его сдам, то стану рассыльным в униформе, потом почтальоном, потом служащим, который продает марки, и это уже на всю жизнь. Я застряну в Лимерике навсегда, и буду выращивать розы, мои мозги спекутся, а яйца усохнут.

Привратник говорит:

— Ты идешь или так и будешь стоять тут, как дурачок?

Так и хочется сказать ему: «Да ну вас в задницу», но мне осталось доработать на почте несколько недель — вдруг нажалуется? Я мотаю головой и иду вверх по улице, туда, где ищут смышленого юношу.

###### \* \* \*

— Нужно взглянуть на твой почерк, — говорит управляющий, мистер Маккефри. — Садись‑ка вон туда за стол, напиши свое имя, адрес и кратенько изложи, почему ты сюда пришел и каких высот намерен достичь в «Исон энд Сан», призвав на помощь всю свою настойчивость и усердие, поскольку наша компания предоставляет неограниченные возможности юношам, которые помнят о том, что когда морем плывешь — надо вперед смотреть и не поддаваться зову сирен, которые так и норовят заманить их в свои греховные сети.

Я пишу:

*Фрэнк Маккорт,*

*Улица Баррингтон, дом 4,город Лимерик,графство Лимерик,Ирландия.*

*Я хочу получить эту работу и достичь высот в «Исонз Лимитед», призвав на помощь всю свою настойчивость и усердие, помня, что когда морем плывешь — надо вперед смотреть и не поддаваться зову сирен, которые так и норовят заманить меня в свои греховные сети, и постараться стать гордостью «Исонз Лимитед» и Ирландии в целом.*

— Так‑так, — говорит мистер Маккефри. — Приукрашиваем действительность?

— Не понимаю, мистер Маккефери.

— Улица Баррингтон. А меж тем, это ведь не улица, а переулок.

— Мы называем ее улицей, мистер Маккефри.

— Не надо из штанов выпрыгивать, юноша.

— Не буду, мистер Маккефри.

— Ты живешь в трущобах, а значит, у тебя есть только один путь — наверх, согласен, Маккорт?

— Согласен, мистер Маккефри.

— Сразу же понятно, что ты из трущоб. Вид твой тебя выдает с головы до пят. Не надо людей за дураков считать, Маккорт. Меня не проведешь, я тертый калач.

— Понятно, мистер Маккефри.

— А еще глаза. Глаза очень уж больные. Видишь хорошо?

— Да, мистер Маккефри.

— Ладно, читать и писать ты умеешь, а складывать и вычитать?

— Да, мистер Маккефри.

— Что ж, ладно, не знаю, что по поводу глаз начальство скажет. Надо будет в Дублин звонить и узнавать. А почерк у тебя хороший, Маккорт. Что ж, пока возьмем, а там посмотрим, что начальство решит. Жду в понедельник. В полседьмого на вокзале.

— Утра?

— Ну разумеется! Не ночью же чертовы утренние газеты продавать!

— Ясно, мистер Маккефри.

— И вот что еще. Мы продаем «Айриш‑таймс». Газета протестантская, а издают ее масоны в Дублине. Груз получаем на вокзале, пересчитываем количество экземпляров. Передаем разносчикам газет и в газетные киоски. Но сами не читаем. И ты тоже не смей читать, а то так недалеко и от истинной веры отбиться, а с твоими глазами еще и зрение потерять. Понял, Маккорт?

— Понял, мистер Маккефри.

— Итак, никакой «Айриш‑таймс», а придешь в понедельник, расскажу еще про английскую похабщину, которую читать в этой конторе не следует. Понял?

— Да, мистер Маккефри.

###### \* \* \*

Миссис О’Коннел сидит, поджав губы, и даже не смотрит на меня.

— Слыхала я, что тут один выскочка из трущоб почтальоном становиться не захотел, — обращается она к мисс Барри. — Слишком хорош для такой работы, похоже.

— Правда ваша, — отвечает мисс Барри.

— Слишком хорош для нас, я полагаю.

— Ваша правда.

— Как думаете, снизойдет он до объяснений?

— О, возможно, — отвечает мисс Барри. — Если мы на коленях его о том умолять будем.

— Я просто хочу уехать в Америку, миссис О’Коннелл, — говорю я.

— Вы слышали, мисс Барри?

— Слышала, миссис О’Коннелл.

— Он с нами заговорил.

— О да, миссис О’Коннелл.

— Он еще локти кусать будет, мисс Барри.

— Непременно будет, миссис О’Коннелл.

— Фрэнки Маккорт считает, что работать почтальоном — ниже его достоинства, — обращается миссис О’Коннел к рассыльным, ожидающим телеграмм.

— Вовсе не считаю, миссис О’Коннелл.

— А кто вам разрешал пасть свою открывать, ваше высочество? Не желает он с нами якшаться, да, мальчики?

— Да, миссис О’Коннелл.

— И это после всего, что мы для него сделали: телеграммы ему с хорошими чаевыми оставляли, за город в погожие дни отправляли. Даже обратно приняли после выходки с мистером Харрингтоном, англичанином, где он над телом бедной миссис Харрингтон надругался, бутербродами с ветчиной объелся, шерри надрался, из окна выпрыгнул, все кусты розовые поломал и сюда заявился мертвецки пьяный. И кто знает, что еще он натворил за два года работы на почте… Кто знает… Хотя мы‑то все знаем, правда, мисс Барри?

— Правда, миссис О’Коннелл, только о том вслух говорить неприлично. — Она шепчет что‑то мисс Барри и обе они глядят на меня и качают головами.

— Всю Ирландию позорит и мать свою бедную. Надеюсь, она никогда не узнает. Хотя чего ожидать от того, кто родился в Америке и у кого папаша с Севера. А ведь мы не посмотрели на все это и приняли его обратно.

Она снова обращается к ребятам на скамейке:

— В «Исонз» он идет работать, на масонов и протестантов дублинских. Для почты, видите ли, слишком хорош, а пошлые английские журнальчики таскать по всему Лимерику так ему не зазорно. Да каждый журнал там — грех смертный. Но нет, он от нас уходит. Какой разнесчастный день сегодня для его матери, которая молилась о том, чтобы сын получил пенсию, позаботился о матери в старости. Забирай получку свою и уйди с глаз долой.

— Вот негодник какой, да, мальчики? — обращается мисс Барри к ребятам.

— Да, мисс Барри.

Я не знаю, что сказать. Не понимаю, что плохого я сделал. Что мне сделать? Извиниться? Попрощаться?

Я кладу пояс и сумку на стол миссис О’Коннелл.

— Иди‑иди, — гневно зыркает она на меня. — Работай в «Исонз». Уходи от нас. Следующий, подходи за телеграммами.

Все возвращаются к работе, а я спускаюсь по лестнице и иду в новую жизнь.

## XVII

И зачем это миссис О’Коннелл понадобилось стыдить меня перед всеми? Вовсе я не считаю, что работать на почте или где бы то ни было еще — ниже моего достоинства. У меня волосы торчком, лицо в прыщах, из красных глаз сочится желтая жидкость, зубы крошатся и гниют, плеч нет, задница вся стерта после того, как я намотал тринадцать тысяч миль на велосипеде, доставив двадцать тысяч телеграмм в каждый дом Лимерика и за его пределами.

Когда‑то давно миссис О’Коннелл сказала, что ей известно все про каждого рассыльного. Наверное, она прознала, что я давал волю рукам на верхушке Кэрригоганелла, где меня могли увидеть и молочницы, и маленькие дети.

Наверное, она знает про Терезу Кармоди и зеленый диван, и про то, как я ввел Терезу в грех и отправил ее прямиком в ад — а это самый мой тяжкий грех, в тысячу раз хуже Кэрригоганелла. И, наверное, ей известно, что я ни разу не исповедовался после смерти Терезы, а значит, и сам обречен на вечные муки.

Такому грешнику не место на почте, да и вообще нигде.

Бармен «Саутс‑паба» помнит меня еще с тех времен, когда я сиживал в пабе с мистером Хэнноном, Биллом Гэлвином, дядей Па Китингом, и они были как две глыбы угля и снежный ком. Он помнит моего отца и то, как тот пропивал всю получку и пособие, а потом распевал патриотические песни и произносил речи, словно приговоренный к казни бунтарь.

— Чем могу служить? — спрашивает бармен.

— Я встречаюсь тут с Па Китингом, и он угостит меня первой взрослой пинтой.

— Вот как? Надо же. Он вот‑вот придет, так что налью‑ка я пока пинту ему, да и тебе тоже налью, хорошо?

— Да, сэр.

Приходит дядя Па и приглашает меня сесть с ним у стены. Бармен приносит наши пинты, дядя Па расплачивается, и, подняв кружку, сообщает присутствующим:

— Это мой племянник, Фрэнки Маккорт, сын Анджелы Шихан, сестры моей жены. Это его первая пинта. Твое здоровье, Фрэнки, живи долго и радуйся пиву, но не слишком часто.

Присутствующие кивают, поднимают кружки и пьют; на губах и усах у них остаются белые полосы пены. Я отпиваю большой глоток из кружки, но дядя Па меня останавливает.

— Притормози, ради Бога, сразу‑то все не выпивай, там, откуда это пиво взяли, его еще полно осталось — дай бог здоровья и процветания семейству Гиннесс.

Я говорю ему, что хочу и его тоже пинтой угостить с последней получки на почте, но он отказывается.

— Нет, неси деньги матери, угостишь, когда приедешь в гости из Америки — опьяненный успехом и с горячей блондиночкой под руку.

Мужчины в пабе сокрушаются, куда же мир катится, и удивляются, что Герману Герингу удалось избежать виселицы, отравившись за час до казни. Янки в Нюрнберге заявляют, что не знали, где этот нацистский ублюдок прятал капсулу с ядом. В ухе? В носу? В заднице? Ведь вдоль и поперек каждого нациста янки обыскали, и все равно Геринг их обдурил. Атлантику переплыли, в Нормандии высадились, Германию к черту разбомбили, и после всего этого не смогли найти какую‑то капсулу в жирной Геринговой заднице.

Дядя Па берет мне еще пинту. Вторую пить труднее — во мне уже столько пива, что пузо скоро лопнет. Мужчины говорят о концентрационных лагерях и о несчастных евреях, которые ни одной живой душе ничего плохого не сделали, а попали в душегубку — мужчины, женщины, дети. Дети, Господи, они‑то что плохого сделали? Ботиночки детские повсюду валяются, народу битком. Паб будто в тумане, голоса звучат то тише, то громче.

— Ты как? — спрашивает дядя Па. — Побелел чтой‑то весь. — Он ведет меня в туалет, и мы облегчаемся возле стены, которая качается взад и вперед.

В паб ноги уже не идут: сигаретный дым, кислое пиво, жирная задница Геринга, разбросанные повсюду детские ботиночки — нет, я домой пойду, спокойной ночи, дядя Па, спасибо.

Он велит мне идти прямиком домой к маме, ох, не знает он ни про чердак, ни про зеленый диван, ни про то, что я обречен, так обречен, что умри прямо сейчас — в мгновение ока в ад бы попал.

Дядя Па возвращается к своей пинте, а я выхожу на О’Коннелл‑стрит. Да тут же церковь иезуитов в двух шагах. Почему бы не пойти и не покаяться в грехах накануне шестнадцатилетия? Я звоню в дверь священнику. Мне открывает рослый мужчина.

— Да?

— Я хочу исповедаться, святой отец.

— Я не святой отец, а монах, то есть брат, — отвечает он.

— Хорошо, брат. Позвольте мне исповедаться, а то мне завтра шестнадцать исполняется. Чтоб в состоянии благодати быть в день рождения.

— Пошел прочь, — говорит он. — Ты пьян. Ребенок еще, а пьян как сапожник, да еще в дверь священника ломишься в такой‑то час. Уходи или полицию вызову.

— Ну, пожалуйста, прошу вас. Мне только исповедаться. Я обречен.

— Пьян ты, а не обречен, и не раскаялся, как следует. — Он захлопывает передо мной дверь.

Ну, вот, опять. Но завтра мне шестнадцать, и я звоню снова. Брат открывает дверь, разворачивает меня, дает пинка под зад, и я лечу по ступенькам вниз.

— Еще раз позвонишь, руку сломаю, — грозит он.

Монахи‑иезуиты не должны так говорить. Они должны быть похожими на Господа нашего и не грозить, что руки переломают.

Меня мутит. Надо идти домой, спать. Я плетусь по Баррингтон‑стрит, держась за ограду, а в переулке — за стену. Мама сидит у огня, курит «Вудбайн», братья спят наверху.

— Вот, значит, в каком состоянии ты теперь домой приходишь, — говорит она.

Слова выговариваются с трудом, но я объясняю ей, что выпил первую пинту с дядей Па, папы же нет, чтоб меня угостить.

— Надеюсь, дядя Па знал, что делал.

Я, шатаясь, подхожу к стулу.

— Совсем как отец, — говорит мама.

— Уж лучше как отец, — выговариваю я заплетающимся языком. — Чем как Ламан Гриффин.

Мама отворачивается и смотрит на золу в камине, но я не хочу молчать, потому что выпил пинту, нет, две пинты, завтра мне шестнадцать, я мужчина.

— Слышала? Лучше буду как отец, чем как Ламан Гриффин.

Мама встает и смотрит на меня.

— Думай, что говоришь.

— Сама лучше б подумала.

— Не смей так разговаривать с матерью.

— Как хочу, так и буду разговаривать.

— Ты выражаешься, как мальчик на побегушках.

— Да? Неужто? Лучше быть мальчиком на побегушках, чем таким, как старый пьяница Гриффин с его вечными соплями, чердаком и теми, кто к нему туда лазил.

Она уходит от меня, но я нагоняю ее наверху в маленькой комнате.

— Уйди, оставь меня в покое.

— Ламан Гриффин, Ламан Гриффин! — не унимаюсь я.

— Уйди отсюда! — Она толкает меня к выходу, а я даю ей пощечину; ее глаза тут же наполняются слезами.

— Никогда больше не смей так делать, — всхлипывает она.

Я пячусь к двери — мой и без того длинный список прегрешений пополнился еще одним проступком, мне стыдно.

Я падаю на кровать прямо в одежде, просыпаюсь посреди ночи, блюю на подушку, братья ноют, что от меня воняет, и велят мне помыться, потому что это позор какой‑то. Мама наверху плачет, мне хочется пойти к ней и попросить прощения, но с какой стати мне просить прощения после того, как она себя вела с Ламаном Гриффином?

Утром братья уходят в школу, а Мэйлахи — на поиски работы. Мама пьет чай у огня. Я кладу получку на стол рядом с ее рукой и поворачиваюсь, чтоб уйти.

— Чаю выпьешь? — спрашивает она.

— Нет.

— Твой день рождения ведь.

— Мне плевать.

— Поешь, чтоб желудок не пустой был, — кричит она мне вслед с порога, но я не оборачиваюсь.

Мне по‑прежнему хочется попросить у нее прощения, но тогда я не удержусь и скажу, что это она во всем виновата, что не надо было лазить на чердак в ту ночь и вообще мне глубочайше наплевать, потому что я пишу грозные письма от имени миссис Финукейн и коплю деньги на Америку.

К миссис Финукейн мне идти только вечером, так что я весь день свободен. Я бреду по Генри‑стрит, но потом начинается дождь и я захожу в церковь францисканцев, где стоит статуя святого Франциска с птичками и овечками. И зачем только я молился ему? Нет, даже не молился, а умолял. Умолял вступиться за Терезу Кармоди, но он и пальцем не пошевелил, так и стоял на своем постаменте, усмехаясь, с птичками и овечками и наплевать ему было оттуда и на меня, и на Терезу.

Все, святой Франциск. Не буду я тебе больше молиться. Толку‑то было меня в твою честь называть. Лучше бы Мэйлахи назвали, как короля и святого. Почему ты Терезу не вылечил? Как же ты допустил, что она попала в ад, что мама лазила на чердак, что я обрек себя на муки вечные? Маленькие ботиночки, разбросанные по концентрационным лагерям, как допустил? Я снова чувствую, как у меня внутри разрастается «чирей», и еще я хочу есть.

Святой Франциск мне ничем не поможет. Слезы сами катятся из глаз, я рыдаю, стоя на коленях и положив голову на скамью. Я так ослаб от голода и слез, что вот‑вот упаду на пол.

— Господи Боже или святой Франциск, ну помогите же кто‑нибудь! Мне сегодня шестнадцать, а я ударил мать и отправил Терезу в ад, и шатался по всему Лимерику и по окрестностям, и я так боюсь жернова на шее.

Кто‑то трогает меня за плечо. Бурая ряса, черные четки — священник‑францисканец.

— Дитя мое, дитя мое, дитя мое.

Да я, дитя, я прижимаюсь к нему — маленький Фрэнки у отца на коленях просит рассказать ему сказку про Кухулина, мою сказку, которую нельзя Мэйлахи и Фредди Лейбовицу на качелях.

— Дитя мое, сядь вот здесь, рядом со мной. Поведай мне, что случилось. Но только если сам того желаешь. Я — отец Грегори.

— Мне сегодня исполнилось шестнадцать, святой отец.

— О, это же прекрасно, прекрасно! Отчего же ты плачешь?

— Я выпил свою первую пинту вчера вечером.

— И?

— Я ударил мать.

— Господи помоги нам! Но Он простит тебя, дитя мое. Что‑нибудь еще?

— Не могу сказать, святой отец.

— Хочешь исповедаться?

— Не могу, святой отец. Я ужасных дел натворил.

— Бог прощает тех, кто раскаялся. Он послал своего единственного Возлюбленного Сына на смерть ради нас.

— Не могу сказать, святой отец. Не могу.

— Но святому Франциску ты ведь смог рассказать?

— Он отвернулся от меня.

— Но ты любишь его, ведь так?

— Да, меня Фрэнсис зовут, в честь него.

— Тогда ему поведай. Мы посидим с тобой тут, а ты расскажешь ему, что тебя гнетет. А я просто буду ушами святого Франциска и Господа нашего. Так лучше?

Я говорю со святым Франциском и рассказываю ему про Маргарет, Оливера, Юджина, про то, как отец пел «Родди Маккорли» и заваливался домой пьяный без гроша в кармане и из Англии ничего не присылал, про Терезу и зеленый диван, про мои ужасные грехи в Кэрригоганелле. Спрашиваю, почему Германа Геринга не повесили за то, что он сделал с маленькими детьми, чьи ботиночки были разбросаны по концентрационным лагерям. Я говорю ему, что христианский брат захлопнул передо мной дверь, и что меня не взяли в алтарники, и что мой братишка Майкл шел по улице в хлюпающем ботинке, и что глаза у меня больные, и я их стыжусь, и про брата‑иезуита, который тоже захлопнул передо мной дверь, и что я дал маме пощечину, и что она плакала.

— А теперь посиди тихонько и помолись, — говорит отец Грегори.

Я все так же прижимаюсь щекой к его шершавой рясе, от него пахнет мылом. Он смотрит на святого Франциска, на дарохранительницу, кивает, наверное, обращается к Богу. Потом велит мне опуститься на колени, дарует мне прощение грехов, велит трижды прочесть «Богородице Дево, радуйся», трижды «Отче наш» и трижды «Ко Пресвятой Троице». Потом говорит, что Бог прощает меня, и мне следует простить самого себя, и что Бог меня любит, и я должен любить себя, ибо только тот, кто любит Бога и самого себя, способен полюбить и другие Божьи создания.

— А Тереза Кармоди, правда, в аду, святой отец?

— Нет, сын мой. Она в раю. Она страдала так, как страдали мученики в стародавние времена, и тем самым искупила свои грехи. Не сомневайся, сестры в больнице не позволили ей отойти в мир иной без священника.

— Вы уверены, святой отец?

— Да, сын мой.

Он снова осеняет меня крестом, просит помолиться за него, и я, счастливый, иду по залитым дождем улицам, зная, что Тереза в раю и больше не кашляет.

###### \* \* \*

Наступает утро понедельника, я прихожу на вокзал с рассветом. На перроне свалены тюки с газетами и журналами. Мистер Маккефри еще с одним парнем, Вилли Харольдом, разрезают бечевку, пересчитывают количество экземпляров, записывают его в амбарную книгу. Сначала следует доставить английские газеты и «Айриш‑таймс», потом — журналы. Мы пересчитываем газеты и наклеиваем на них ярлыки, чтоб развести по магазинам и лавкам города.

Мистер Маккефри возит нас на фургоне и ждет, пока мы с Вилли бегаем туда‑сюда с пачками газет, принимаем заказы на завтра, отмечаем приход и расход в амбарной книге. Но вот все газеты доставлены, мы разгружаем журналы в конторе, и на пятьдесят минут расходимся по домам завтракать.

Когда я возвращаюсь в контору, два парня, Имон и Питер, уже сортируют журналы, считают и раскладывают их по ящикам. Мелкие заказы доставляет Джерри Халви на велосипеде, а большие — развозят на фургоне. Мистер Маккефри велит мне сидеть сегодня в конторе, учиться считать журналы и записывать их количество в амбарную книгу. Как только он уходит, Имон с Питером выдвигают ящик стола, где у них припрятаны окурки. Оба страшно удивляются, что я не курю, и спрашивают, что со мной не так — глаза больные или может, у меня чахотка? Как же с девушками гулять, если не куришь?

— Болваном же полным будешь выглядеть, если пойдешь гулять с девушкой, она у тебя закурить попросит, а ты скажешь, что не куришь, — удивляется Питер. — А в поле ты как ее уговоришь пойти потискаться, а?

Имон говорит, что его отец то же самое рассказывает про мужчин, которые не пьют, мол, таким доверять нельзя. Питер добавляет, что если мужчина не пьет и не курит, значит, его не девушки интересуют, и тогда уж смотри, тыл прикрывай получше.

Они хохочут и закашливаются, а чем больше смеются, тем больше кашляют, хватаются друг за друга и хлопают по спине, утирая слезы. Когда приступ смеха у них проходит, мы выискиваем английские и американские журналы и принимаемся разглядывать в них рекламу нижнего белья, где женщины сняты в лифчиках, панталонах и длинных нейлоновых чулках. Имон находит в американском журнале под названием «Смотри» фотографии японок, которые не дают солдатам затосковать вдали от родины, и тут же говорит, что ему надо в туалет.

— Знаешь, да, зачем он туда пошел? — подмигивает мне Питер.

Мистер Маккефри, бывает, ужасно сердится, когда парни долго торчат в туалете и теряют драгоценное время, за которое «Исонз» им платит, и что хуже всего — подвергают опасности свои бессмертные души. Он не может сказать им напрямую: «А ну, хорош там рукоблудить», потому что нельзя обвинять кого‑то в смертном грехе без доказательств. Иногда он заходит в туалет после кого‑нибудь, потом выходит с грозным видом и говорит:

— Вам запрещено смотреть эти грязные журналишки иностранные. Ваше дело их пересчитывать да по ящикам раскладывать.

Имон возвращается из туалета, и туда сразу же спешит Питер с американским журналом «Кольерс», в котором напечатаны фотографии девушек с конкурса красоты.

— Ведь пять раз на дню туда шастает, ты только подумай, а? — говорит Имон. — С каждым новым журналом, в котором женское исподнее есть. Все никак не угомонится. Домой журналы таскает без ведома мистера Маккефри, и бог знает, что он там всю ночь с собой и с журналами творит. Если окочурится от этого, то прямиком в ад угодит.

Мне тоже хочется пойти в туалет после Питера, но тогда парни скажут:

— Ничего себе новенький, первый день всего работает, а туда же. Курить так не курит, а как рукоблудить — так сразу готов.

Мистер Маккефри возвращается на фургоне и требует ответа, почему еще не все журналы пересчитаны, перевязаны и подготовлены к отправке.

— Не успели мы, новичка обучали, Маккорта, — говорит Питер. — Он сперва тупил, с такими глазами, попробуй‑ка, освойся сразу, но мы его все учили и учили, и теперь он намного быстрей управляется.

Джерри Халви, посыльного, не будет на работе неделю — у него отпуск и его невеста Роузи приезжает из Англии. Я новичок, и пока Джерри не будет, мне придется ездить по Лимерику на его велосипеде с большой металлической корзиной спереди. Джерри показывает мне, как ездить с полной корзиной газет и журналов, чтобы велосипед не опрокинулся, а не то, мол, я свалюсь на дороге, меня переедет грузовик и я буду похож на отбивную из лосося. При нем один раз военный грузовик переехал солдата, и тот был похож на отбивную.

В субботу днем Джерри нужно доставить последнюю партию газет и журналов в киоск «Исонз», и это кстати — я приду к нему туда, заберу велосипед, а он встретит Роузи с поезда. Мы стоим у ворот и ждем, и он рассказывает мне, что не видел Роузи целый год. Она работает в пабе в Бристоле. Ему это, конечно, совсем не нравится, потому что англичане все время ирландских девушек норовят полапать, под юбку им лезут или что похуже себе позволяют, а ирландские девушки боятся что‑нибудь поперек сказать, а то их выгонят с работы. Все знают, что ирландские девушки хранят себя в чистоте, особенно лимерикские девушки, которых дома ждут такие женихи, как Джерри Халви. Он по походке сразу поймет, хранила Роузи ему верность или нет. Если у девушки меняется походка после года разлуки, то сразу ясно, что она занималась чем‑то нехорошим с этими грязными английскими ублюдками.

Поезд прибывает на станцию. Джерри машет Роузи, которая идет к нам от самого дальнего вагона. Роузи улыбается, и зубы у нее белые, и она такая милая в зеленом платье. Джерри перестает махать и бормочет:

— Ты только глянь, как вышагивает, вот стерва, шлюха, уличная девка, шваль подзаборная. — И убегает.

Роузи подходит ко мне.

— Ты ведь тут с Джерри Халви стоял?

— Да.

— А где он?

— Ушел.

— Знаю, что ушел. Но куда?

— Не знаю. Он не сказал ничего, просто убежал.

— Ничего не сказал?

— Ну, я не слышал.

— Ты с ним работаешь?

— Да. Он мне велосипед для работы отдал.

— Какой еще велосипед?

— Ну, посыльного.

— Он что на велосипеде ездит посыльным?

— Да.

— А мне говорил, что в конторе сидит, клерком.

Я отчаянно соображаю, что сказать. Не хочется делать лгуна из Джерри Халви и ссорить его с прекрасной Роузи.

— А мы по очереди ездим. Час в конторе — час на велосипеде. Управляющий говорит, свежий воздух полезен.

— Ну ладно, я только дома чемодан оставлю, а потом к нему пойду. Я думала, он мне чемодан донесет.

— У меня велосипед, можно чемодан в корзину положить, и я тебя провожу.

Мы идем к ее дому на Кэрис‑роуд, и она рассказывает, как счастлива вернуться к Джерри. Она весь год откладывала деньги с зарплаты, и теперь хочет быть с ним вместе, выйти за него замуж, хоть ему и всего девятнадцать, а ей — семнадцать, но какая разница — ведь они так любят друг друга! В Англии она жила как монашка, каждую ночь мечтала о нем, и очень мне благодарна за то, что я ей чемодан довез.

Я вскакиваю на велосипед, потому что меня уже давно ждут в «Исонз», но тут сзади ко мне подскакивает Джерри. Лицо у него красное от злости и он сопит как бык.

— Ты чего с моей девушкой делал, а, мелкий ты кусок дерьма? Узнаю, что приставал — убью.

— Да не приставал я к ней. Просто чемодан довез.

— Даже не смотри в ее сторону, не то ты покойник.

— Не буду, Джерри. Не хочу на нее смотреть.

— Это почему еще? Она что, уродина?

— Нет‑нет, Джерри, она же твоя и любит тебя.

— Откуда знаешь?

— Она сама сказала.

— Так и сказала?

— Богом клянусь.

— Слава тебе, Господи.

— Роуз, Роуз! Ты дома? — барабанит он в ее дверь.

— Конечно, дома. — Роузи тут же выходит к нему.

А я уезжаю поскорее на велосипеде с эмблемой «Исонз» на корзине и думаю: целуются сейчас, наверное, а какие ведь ужасные слова он про нее говорил на вокзале, и как мог Питер в конторе так набрехать мистеру Маккефри про меня и мои глаза? Сами‑то они с Имоном все девиц разглядывали и в туалет шастали.

Мистер Маккефри рвет и мечет.

— Где тебя носило? Целый день с вокзала едешь, Господи прости. У нас тут дело чрезвычайной важности. Халви бы надо, но он в свой чертов отпуск ушел, Господи прости. Придется тебе крутить педали так быстро, как только можешь. Хорошо, что ты раньше телеграммы развозил и каждый закоулок в Лимерике знаешь. Заезжай в каждый чертов киоск, куда мы прессу доставляем, и если видишь еженедельник «Джон О’Ландон Уикли»[[116]](#footnote-116), выдирай шестнадцатую страницу. Если станут возмущаться, говори, что действуешь по распоряжению властей, и что дело не терпит отлагательства, а если хоть пальцем тебя тронут, то сразу — тюрьма и штраф. Давай, поезжай скорей, ради бога, и привези сюда все шестнадцатые страницы, мы их тут в печке сожжем.

— В каждый магазин заезжать, мистер Маккефри?

— Я по большим магазинам поеду, а ты все лавчонки объезжай отсюда до Баллинакарры, Эннис‑роуд и дальше. Езжай, езжай.

Я вскакиваю на велосипед. Имон сбегает по ступенькам вслед за мной.

— Эй, Маккорт, послушай‑ка. Не отдавай ему все шестнадцатые страницы

— Почему?

— Мы их продадим.

— Зачем?

— Там про средства противозачаточные, а они запрещены в Ирландии.

— Какие еще средства?

— Да, Боже мой, ты что, совсем ничего не знаешь? Ну, презервативы, кондомы, резинки и все такое прочее, чтобы девчонки не залетали.

— Не залетали?

— Ну, не беременели. Что ж ты такой дремучий в шестнадцать‑то лет! Давай быстрее, тащи сюда листы, пока народ в киоски не побежал за журналом.

Я уже собираюсь отъезжать, но тут на улицу выбегает мистер Маккефри.

— Постой, Маккорт, поедем в фургоне. Имон, ты с нами.

— А Питер?

— Да ну его. Все равно с каким‑нибудь журналом в туалете засядет.

В фургоне мистер Маккефри бормочет себе под нос, что вот ведь, черт подери, им‑то хорошо звонить из Дублина в субботу, а мы бегай тут по Лимерику и дери листы из английского журнала вместо того, чтобы дома сидеть с чашечкой чая и булочкой и читать «Айриш‑пресс», положив ноги на ящик под образком Святейшего Сердца.

Мистер Маккефри кидается в каждый магазин, и мы — за ним. Он хватает журналы, дает по пачке каждому из нас и велит вырывать страницы.

— Да что вы творите? — орут ему владельцы магазинов. — Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, совсем вы спятили, что ли? Верните журналы, не то полицию вызовем.

— Указ властей, мэм, — отвечает мистер Маккефри. — В еженедельнике «Джон О’Ландон Уикли» на этой неделе изволили напечатать похабщину, не предназначенную для глаз ирландцев, вот мы тут богоугодное дело и совершаем.

— Какую еще похабщину? Какую? Покажите мне, прежде чем журналы терзать. Я за них «Исонз» платить не буду, так и знайте.

— Мэм, мы в «Исонз» лучше убытки громадные понесем, чем допустим, чтобы эта похабщина развращала жителей Лимерика и всей Ирландии.

— Да что за похабщина‑то?

— Не велено говорить. Пойдемте, ребята.

Мы бросаем вырванные листы на пол фургона, а пока мистер Маккефри ругается с хозяйками, запихиваем листы себе за пазуху. В фургоне валяется полно старых журналов, так что мы разрываем их и швыряем на пол, чтобы мистер Маккефри думал, что это все шестнадцатые страницы из «Джон О’Ландон Уикли».

Мистер Хатчинсон, который получает самое большое количество этих журналов, велит мистеру Маккефри убираться к чертям, и грозит размозжить ему голову, если он тотчас не отойдет от журналов. Мистер Маккефри не слушает и продолжает вырывать страницы, и мистер Хатчинсон вышвыривает его на улицу, а мистер Маккефри кричит ему, что Ирландия — страна католическая, и если Хатчисон — протестант, это еще не дает ему права продавать похабщину в самом святом городе Ирландии.

— Поцелуй меня в зад, — кричит в ответ мистер Хатчинсон.

— Видите, мальчики? — говорит нам мистер Маккефри. — Видите, что бывает, если в истинной церкви не состоишь?

В некоторых магазинах говорят, что уже продали все журналы сегодня.

— Матерь Божья! — сокрушается мистер Маккефри. — Что же с нами со всеми станет? Кому вы их продали?

Он требует назвать все имена и адреса покупателей, ибо над ними нависла опасность утратить бессмертие души из‑за того, что они прочитают статьи о противозачаточных средствах. Он поедет к ним домой и вырвет эту похабную страничку, но хозяева магазинов отвечают:

— Сейчас вечер субботы, мистер Маккефри, темнеет, так что убирайтесь‑ка вы восвояси.

На обратном пути Имон шепчет мне на заднем сиденье фургона:

— У меня двадцать одна страница, а у тебя сколько?

— Четырнадцать, — шепчу я ему в ответ. На самом деле у меня больше сорока, но я ему не скажу — никогда нельзя откровенничать с людьми, которые врут всем, что у тебя глаза больные.

Мистер Маккефри велит нам принести все вырванные страницы из фургона. Мы собираем все, что валяется на полу в одну кучу, и он счастлив — сидит за своим столом на другом конце конторы, и, глядя на горящие в печи страницы, не имеющие никакого отношения к «Джон О’Ландон Уикли», названивает в Дублин и докладывает начальству, как он ураганом пронесся по всем магазинам Лимерика, словно божий мститель, и спас город от ужасов противозачаточных средств.

Наутро в понедельник я еду развозить журналы. Люди видят эмблему «Исонз» на велосипеде, останавливают меня и спрашивают, нельзя ли как‑нибудь разжиться копией «Джон О’Ландон Уикли». Все они с виду — богачи, некоторые за рулем машин, мужчины в шляпах, с воротничками, галстуками и двумя авторучками в карманах, женщины — в шляпках и меховых накидках. Это те люди, которые пьют чай в «Савое» и «Стелле». Надо же, оттопыривают мизинчики, мол, вот какие мы все из себя благовоспитанные, а сами хотят прочесть ту статью о противозачаточных средствах.

Имон уже предупредил меня сегодня:

— Меньше, чем за пять шиллингов чертову страницу не продавай.

— Ты что, серьезно? — спросил я.

Он ответил, что да.

В Лимерике только и разговоров, что про эту страницу, всем до смерти хочется ее заполучить.

— Пять шиллингов и никак не меньше, Фрэнки. Если богатые, еще больше бери, но я столько же просить буду, так что не думай, что раз ты на велосипеде разъезжаешь, то можешь перебивать мне цену. Еще Питеру надо что‑то дать, а то побежит к мистеру Маккефри и нас заложит.

Некоторые не против заплатить и семь шиллингов шесть пенсов, так что через два дня я становлюсь богачом — у меня в карманах десять фунтов, если считать фунт, который я отдам Питеру, чтобы не заложил нас мистеру Маккефри. Я кладу восемь фунтов на свой счет на почте, вечером у нас дома пир — ветчина, помидоры, хлеб, масло, джем.

— На скачках что ли выиграл? — спрашивает мама.

Я отвечаю, что это чаевые.

Ее совсем не радует, что я — мальчик на побегушках, потому что ниже этого уже некуда пасть в Лимерике, но если благодаря этому мы едим ветчину, то, пожалуй, свечку за это надо поставить. Она не знает, что на счету у меня копятся деньги на билет в Америку, и умерла бы, если б узнала, что я зарабатываю тем, что пишу грозные письма.

Мэйлахи устроился на работу в автомастерскую — выдает механикам запчасти со склада, а мама ухаживает за старичком, мистером Слайни с Южной Окружной, пока две его дочери на работе. Она говорит мне, чтоб я заезжал на чай с бутербродом, если повезу газеты на Южную Окружную. Дочери старика об этом не узнают, а сам он возражать не будет, все равно почти все время спит — подорвал здоровье, когда служил с англичанами в Индии, а теперь и годы берут свое.

Мама в безукоризненно белом фартуке выглядит такой умиротворенной. Кухня сверкает чистотой, в саду за окном ветерок колышет цветы на клумбах, поют птички, а в доме из радиоприемника играет музыка. Мама сидит за накрытым столом. На нем чайник, чашечки, блюдца, много хлеба, масла и разные виды холодного мяса. Можно сделать бутерброд с каким хочешь, но я знаю только ветчину и студень. Студня тут нет, потому что такое едят в трущобах, а не в доме на Южной Окружной. Мама говорит, богатые есть студень не станут, потому что его варят из того, что соберут на полу и прилавках на мясном заводе, и никогда не знаешь, из чего он на самом деле сделан. Богачи очень разборчивы, и абы что на хлеб класть не будут. В Америке студень называются зельц, а почему, она не знает.

Мама дает мне бутерброд с ветчиной и двумя сочными ломтиками помидора и чай в чашечке, на которой ангелочки в одеяниях розового цвета пускают стрелы в ангелочков в голубых одеждах, и я все думаю: почему нельзя делать чашки и ночные горшки без всяких ангелочков и пляшущих на лугу девиц. Мама говорит, что такие уж у богачей вкусы, любят они излишества всякие, и нам бы тоже такое понравилось, если б у нас деньги водились. Да она бы глаза отдала за такой домик с цветочками и птичками в саду и с радиоприемником, по которому передают «Варшавский концерт»[[117]](#footnote-117) или «Грезы Ольвен»[[118]](#footnote-118), и чтобы было много чашечек с блюдцами, на которых одни ангелочки пускают стрелы в других.

Она говорит, что надо бы пойти на мистера Слайни взглянуть — он такой старенький и слабый, иной раз даже горшок забывает попросить.

— Ты что, горшок за ним выносишь?

— Ну да, конечно.

На кухне повисает тишина, потому что мы оба вспоминаем причину всех наших бед — ночной горшок Ламана Гриффина. Но это было давно, тут горшок мистера Слайни, и в этом нет ничего плохого — маме платят за эту работу, а мистер Слайни и мухи не обидит. Вернувшись, мама сообщает, что мистер Слайни хотел бы со мной поговорить, и надо зайти к нему, пока он опять не уснул.

Мистер Слайни лежит в постели в гостиной. Там совсем темно, потому что окна плотно закрыты ставнями.

— Приподнимите меня чуток, миссус, — просит он маму, — и приоткройте ставни, чтоб мне хоть мальчика было видно.

У него длинные седые волосы до плеч.

— Никому остричь себя не дает, — шепчет мне мама.

— А зубы у меня свои, сынок, — хвалится мистер Слайни. — Представляешь? У тебя свои зубы?

— Свои, мистер Слайни.

— А, ты же знаешь, что я был в Индии. Мы с Тимони вместе служили, он в доме вверх по улице жил. Два ирландца из Лимерика и в Индии. Надо же. Знаешь Тимони, сынок?

— Знал, мистер Слайни.

— Умер он, как тебе известно. Ослеп бедняга. А я вот вижу пока. И при зубах. Ты зубы‑то береги, сынок.

— Хорошо, мистер Слайни.

— Устал я, сынок, но я тебе кое‑что сказать хочу. Слушаешь меня?

— Да, мистер Слайни.

— Он меня слушает, миссус?

— О, разумеется, мистер Слайни.

— Хорошо. Наклонись поближе, я тебе на ухо скажу. Так вот, слушай: никогда не кури чужую трубку.

###### \* \* \*

Халви уезжает в Англию с Роузи, так что на велосипеде мне приходится колесить всю зиму. Зима выдалась суровая, кругом лед, велосипед так и норовит выскользнуть из‑под меня, и я все время рискую свалиться на дорогу или тротуар и рассыпать журналы и газеты. Хозяева магазинов жалуются мистеру Маккефри, что получают «Айриш‑таймс», «украшенную» льдинками и собачьим дерьмом, а он бормочет, что так и надо этой протестантской газетенке.

Каждый день после работы я беру «Айриш‑таймс» домой и читаю, чтоб понять, где именно в ней заключена опасность. Мама говорит, хорошо, что отца тут нет, он бы сказал, что разве за то боролись и умирали сыны Ирландии, чтоб мой собственный сын сидел на кухне и читал масонскую газету?

В редакцию пишут со всей Ирландии, выясняют, кто первый услышал в этом году кукушку, и тем самым обвиняют друг друга во лжи. В газете много фотографий с протестантских свадеб, и женщины у них выглядят красивее, чем наши из трущоб. Протестантки все белозубые, хотя у Роуз — невесты Халви — зубы тоже красивые и белые.

Я все читаю «Айриш‑таймс» и думаю, что если это и грех, то мне все равно. Тереза Кармоди в раю и не кашляет, так что я больше не хожу на исповедь. Я читаю «Айриш‑таймс» и лондонскую «Таймс», потому что там каждый день пишут, чем занят король Англии, и как поживают принцессы Элизабет и Маргарет.

Я читаю кулинарные статьи в женских журналах и ответы редакции на письма читательниц. Питер и Имон иногда цитируют отрывки из таких писем, подражая английскому акценту.

— Дорогая мисс Хоуп, — начинает Питер. — Я гуляю с парнем из Ирландии. Его фамилия Маккафри, и он все время меня лапает, а его штука упирается мне в пупок, и я уже с ума схожу и не знаю, что делать. С нетерпением жду ответа, ваша мисс Лулу Смит из Йоркшира.

— Дорогая Лулу, — отвечает Имон. — Если ваш Маккафри настолько высокий, что его штука тычется вам в пупок, предлагаю найти мужчину пониже, чья штука будет попадать вам аккурат между ног. Не сомневаюсь, что в Йоркшире вы без труда найдете себе добропорядочного коротышку.

— Дорогая мисс Хоуп, мне тринадцать лет и у меня черные волосы. Со мной происходит что‑то ужасное, я никому об этом рассказать не могу, даже родной матери. Раз в несколько недель у меня течет кровь, ну там, вы понимаете…, и я боюсь, что кто‑нибудь об этом узнает. Мисс Агнес Триппл, из Биддл‑Твиддла в Девоне.

— Дорогая Агнес, поздравляем вас! Вы теперь женщина и можете делать перманент, потому что у вас наступили месячные. Не бойтесь их, они бывают у всех английских женщин. Это дар Божий, призванный очистить нас для того, чтобы мы рожали крепких и здоровых сынов империи, солдат, которые укажут ирландцам их место. В некоторых частях света женщину во время месячных считают нечистой, но мы, британцы, дорожим нашими женщинами с месячными и даже, можно сказать, почитаем.

Весной к нам поступает новый посыльный, и я возвращаюсь в контору. Питер и Имон отчаливают в Англию. Перед отъездом Питер говорит, что ему до смерти надоел Лимерик — девчонок хорошеньких нет, ничего не остается, кроме как дрочить, и именно этим мы все в Лимерике и занимаемся. К нам приходят новенькие ребята. Я теперь старший, управляюсь я с работой быстро, поэтому пока мистер Маккефри разъезжает где‑то на своем фургоне, я сижу и читаю английские, ирландские и американские журналы и газеты. Днем и ночью я грежу об Америке.

Мэйлахи уезжает работать в Англию в католический пансион для богатеньких мальчиков и ходит там довольный и радостный, будто он ровня воспитанникам пансиона, а всем известно, что если работаешь в английском пансионе для богатых, надо ходить, опустив голову, и шаркать — ты же ирландская прислуга. Мэйлахи увольняют за неподобающее поведение, и он говорит всем: «Поцелуйте меня в мой королевский ирландский зад», а ему отвечают, что ничего другого и не ожидали от столь скверно воспитанного юноши. Он устраивается на газовый завод в Ковентри, кидает уголь в топку, как дядя Па Китинг, и ждет того дня, когда сможет перебраться в Америку вслед за мной.

## XVIII

Мне семнадцать, восемнадцать, почти девятнадцать. Я все так же работаю в «Исонз» и пишу грозные письма за миссис Финукейн. Она говорит, что ей уже недолго осталось жить на этом свете, так что, чем больше месс отслужат за ее душу, тем спокойнее ей будет. Она раскладывает деньги по конвертам и велит мне ходить по церквям города, стучаться в дома священников и вручать им конверты с просьбой молиться за нее. Она хочет, чтобы за нее молились все святые отцы в городе, кроме иезуитов.

— От них толку не будет, — поясняет она. — Ума много, а сердца нет — так бы и написали у себя на двери по‑латински. Ни пенса они от меня не получат, иезуиту только дай денег, мигом винца или книженцию какую прикупит.

Она отправляет священникам деньги, надеется, что за нее неустанно молятся, но не знает наверняка, а раз так, то и незачем отдавать все священникам, мне тоже нужны деньги на билет в Америку, так что если иногда оставлять себе фунт‑другой и класть их на счет, никто и не заметит. Ведь Бог и меня услышит, пусть я и грешник и давно на исповеди не был.

Через месяц мне исполнится девятнадцать. Осталось подкопить всего несколько фунтов на билет и на первое время в Америке.

В пятницу вечером, накануне моего девятнадцатилетия, миссис Финукейн отправляет меня за шерри. Вернувшись, я нахожу ее мертвой на кресле; глаза у нее широко открыты, кошель вместе с выпавшими из него деньгами валяется на полу. Стараясь не глядеть на покойную, я поднимаю с пола пачку банкнот. Семнадцать фунтов. Я беру ключ от сундука и иду наверх. Там я забираю сорок фунтов из ста и амбарную книгу. Теперь мне хватит денег, чтобы уехать в Америку. Бутылку шерри я забираю с собой — не пропадать же добру.

Я сижу на берегу реки Шаннон, у сухих доков, и потягиваю шерри. Тетя Эгги тоже есть в списке должников. Наверное, на эти девять фунтов она когда‑то давно купила мне одежду. Я бросаю амбарную книгу в реку, и все — долга нет. Жаль, тетя Эгги никогда не узнает, что я сэкономил ей девять фунтов. Еще жаль, что я писал грозные письма беднякам, своим же соседям по трущобам, но амбарной книги больше нет, про долги никто не узнает и никому не придется платить по счетам. И ведь никому не скажешь: «Я ваш Робин Гуд».

Еще глоток шерри. Фунт или два отдам на мессу за упокой души миссис Финукейн. Ее амбарная книга уплывает по реке Шаннон к океану, и однажды, совсем скоро, я тоже отправлюсь в плавание.

###### \* \* \*

Служащий в бюро путешествий О’Риордана говорит, что улететь в Америку на самолете можно только из Лондона, и такая поездочка обойдется в целое состояние. Но я могу сесть на корабль под названием «Айриш Оук», который отплывает из Корка через несколько недель.

— Девять дней в море, сентябрь и октябрь — лучшее время для морских путешествий, — сообщает он. — Собственная каюта, всего тринадцать пассажиров, прекрасное питание — чем не отпуск? И все это обойдется вам в пятьдесят пять фунтов. Есть у вас столько?

— Да.

###### \* \* \*

Я сообщаю маме, что уезжаю через несколько недель, и она плачет.

— А мы потом тоже все поедем? — спрашивает ее Майкл.

— Когда‑нибудь да.

— Пришлешь мне ковбойскую шляпу и штуку такую — ее бросаешь, а она возвращается? — интересуется Альфи.

Майкл объясняет ему, что это бумеранг, а за ним надо в Австралию ехать, в Америке их не бывает.

— А вот и бывают, — настаивает Майкл.

Они принимаются спорить про Америку, Австралию и бумеранги.

— Да перестаньте вы, ради бога. Брат ваш уезжает, а вы тут из‑за бумерангов ссоритесь, — ругает их мама.

Она говорит, что надо устроить прощальный ужин накануне отъезда. Когда во времена ее молодости кто‑нибудь уезжал в Америку, то ему устраивали «американские поминки», потому что не надеялись когда‑нибудь увидеться с ним снова. Какая жалость, что Мэйлахи в Англии и не сможет меня проводить, но когда‑нибудь мы все воссоединимся в Америке с Божьей помощью.

###### \* \* \*

В свободные от работы дни я гуляю по улочкам, где мы когда‑то жили: Уиндмилл‑стрит, Хартстондж‑стрит, Роден‑лейн, Росбрайен‑роуд, Баррингтон‑стрит, которая на самом деле переулок. Стою у дома Терезы Кармоди так долго, что ко мне выходит ее мать и спрашивает:

— Тебе чего?

Я сижу у могил Оливера и Юджина на старом кладбище Святого Патрика, потом иду на кладбище Святого Лоуренса через дорогу — там похоронена Тереза. Мне везде слышатся голоса умерших, и я все думаю: последуют ли они за мной через Атлантический океан?

Мне хочется получше запомнить все‑все в Лимерике, ведь я не знаю, приеду ли я когда‑нибудь снова. Я сижу в церкви Святого Иосифа и в церкви редемптористов и твержу себе: «Смотри хорошенько», потому что, может быть, уже никогда всего этого не увижу. Потом я спускаюсь по Генри‑стрит и иду попрощаться со святым Франциском, но с ним‑то я уж точно и в Америке смогу поговорить.

Бывают дни, когда мне не хочется уезжать в Америку, а хочется пойти в бюро путешествий О’Риордана и забрать свои пятьдесят пять фунтов. Может, подождать, пока мне исполнится двадцать один год и взять с собой Мэйлахи? Тогда у меня будет хотя бы одна родная душа в Нью‑Йорке. Временами меня мучает какое‑то странное чувство. Когда мы все вместе сидим у огня: мама, я и братья, у меня к глазам подступают слезы, и мне становится стыдно за эту слабость. Сначала мама шутит, что мне, наверное, слезы девать некуда. Потом Майкл говорит:

— Мы все уедем в Америку. И папа там будет, и Мэйлахи, и мы снова соберемся все вместе.

Тогда у мамы у самой на глазах появляются слезы, и мы вчетвером сидим и плачем, как дурачки.

Мама говорит, что у нас впервые будет праздничный ужин, вот только повод собраться нерадостный, потому что дети один за другим разъезжаются: Мэйлахи в Англию, Фрэнк — в Америку. Она берет несколько шиллингов из тех денег, что получила у мистера Слайни, и покупает хлеб, ветчину, студень, сыр, лимонад и стаут. Дядя Па Китинг тоже приносит пиво, а еще виски и немного шерри для тети Эгги, потому что у нее желудок слабый. Тетя Эгги ставит на стол кекс со смородиной и изюмом, который испекла сама. Эббот приходит с шестью бутылками стаута и говорит:

— Я себе только одну‑две бутылочки оставлю, чтоб песню как следует спеть, а остальное тебе, Фрэнки.

Взяв в руку бутылку, он запевает «Дорогою в Рашин», но получается какой‑то жалобный вой. Слова — очередная бессмыслица, но почему тогда у него из‑под закрытых век катятся слезы?

— Почему он плачет из‑за песни, в которой нет смысла? — шепчет мне Альфи.

— Не знаю.

Эббот допевает песню, и, утерев слезы, сообщает, что то была печальная песнь об ирландском пареньке, который уехал в Америку и погиб от рук гангстеров до приезда священника, и просит меня не попадаться гангстерам, если поблизости нет священника.

— Печальнее песни не слышал, — говорит дядя Па Китинг. — А теперь давайте чего‑нибудь веселого, а? — Он просит маму спеть, но та отмахивается:

— Нет, Па, дыхания не хватит.

— Да ладно тебе, Анджела, давай. Ты куплет хотя бы спой, а дальше мы поможем.

— Ну, хорошо. Попробую.

Припев мы поем все вместе:

Матери любовь благословенна,

Бережно хранит она тебя в пути.

Береги и ты сей дар бесценный,

Ведь придет ей время навсегда уйти.

Дядя Па говорит, что эта песня еще хуже, и у нас ведь проводы, а не поминки, и не разбавит ли кто‑нибудь обстановку? Иначе он напьется с горя‑тоски.

— О, совсем забыла, — спохватывается тетя Эгги. — Сегодня же лунное затмение.

Мы стоим на улице и смотрим, как луна скрывается за круглой черной тенью.

— О, какой хороший знак тебе на дорожку, Фрэнки, — говорит Па Китинг.

— Ничего подобного, — возражает тетя Эгги. — Плохой это знак. Я в газете читала, что луна так к концу света готовится.

— Да какой, в задницу, конец света, — смеется дядя Па. — У Фрэнки наоборот новая жизнь начинается. Вот приедет через несколько лет весь такой в новом костюме, упитанный, как все янки, и с белозубой красоткой под ручку.

— Нет, нет, Па, не надо так говорить, — расстраивается мама. Ее заводят в дом и успокаивают глоточком испанского шерри.

###### \* \* \*

«Айриш Оук» отплывает из Корка ближе к вечеру. Мы минуем Кинсейл, мыс Клир и вот, блеснув напоследок огоньками на мысе Мизен‑Хед, Ирландия скрывается в темноте, и одному только Богу известно, когда я увижу ее вновь.

И чего я не остался? Сдал бы экзамен, в люди выбился. Денег бы хватало, чтобы Майкл и Альфи ходили в школу в нормальных ботинках и сытые. Мы бы переехали из трущоб на приличную улицу, где дома с садами. Если бы я сдал этот экзамен, маме больше никогда бы не пришлось выносить горшок за мистером Слайни или еще кем‑нибудь.

Поздно сожалеть. Я на корабле, Ирландия растворяется в ночи, а я как дурак стою и думаю: как там мои родные в Лимерике, как Мэйлахи и папа в Англии, и что еще глупее — мне почему‑то вспоминается, как папа горланил «Родди Маккорли идет умирать», как мама, задыхаясь, пела «Где те танцы под луною», а бедный мистер Клоэсси корчился на постели в приступе кашля. Мне отчаянно хочется обратно в Ирландию — там хотя бы у меня мама, братья, тетя Эгги, пусть даже злая, и дядя Па, который угостил меня первой пинтой. К глазам снова подступают слезы — «вода дырочку ищет», — но рядом на палубе стоит священник и с любопытством на меня поглядывает.

Он родом из Лимерика, но давно живет в Лос‑Анджелесе, поэтому говорит с американским акцентом. Да, он хорошо понимает, каково это — покидать Ирландию, он сам через это прошел и так до конца и не оправился. Можно жить в солнечном Лос‑Анджелесе, где повсюду пальмы, и все равно молить Бога о том, чтоб хотя бы на один дождливый денек снова оказаться в Лимерике.

Мы со священником сидим за столиком старпома, и тот сообщает, что нам предписано изменить первоначальный маршрут, и вместо Нью‑Йорка мы поплывем в Монреаль.

Проходит три дня, и маршрут снова меняется. Мы все‑таки направляемся в Нью‑Йорк.

— Чертовы ирландцы, — злятся трое американских пассажиров. — Решили бы уже, что ли, куда плывут?

Однако за день до прибытия в Нью‑Йорк поступает новое распоряжение. Мы пройдем чуть дальше вверх по Гудзону и причалим у городка под названием Олбани.

— Олбани? — возмущаются американцы. — Теперь чертов Олбани? И дернуло же нас сесть в это чертово ирландское корыто. Черт подери!

Священник говорит, чтобы я не обращал внимания. Не все американцы такие.

На рассвете мы заходим в гавань Нью‑Йорка. Я стою на палубе, и мне кажется, что я смотрю кино в «Лирик‑синема», оно вот‑вот закончится и включат свет. Священник хочет показать мне, где тут что, но я и так знаю: вот статуя Свободы, вот остров Эллис, Эмпайр‑стейт‑билдинг, Крайслер‑билдинг и Бруклинский мост. По дорогам мчатся тысячи автомобилей, в солнечном свете все отливает золотом. Богатые американцы в цилиндрах, белых галстуках и фраках, должно быть, возвращаются домой к прекрасным белозубым дамам. А остальные едут на работу в теплые и уютные конторы, и все живут припеваючи.

Американцы спорят с капитаном и служащим береговой охраны, который поднялся к нам на борт с буксирного катера.

— Почему нельзя сойти тут? Зачем плыть в чертов Олбани?

— Потому что вы — пассажиры, а на судне главный — капитан, и у нас имеются четкие предписания относительно того, где высадить вас на берег, — отвечает служащий.

— Да что вы говорите? Мы американские граждане и находимся в свободной стране.

— Нет, сейчас вы находитесь на ирландском судне под командованием ирландского капитана и сделаете так, как он велит, черт подери, или добирайтесь до берега вплавь. — Служащий спускается по трапу, катер с пыхтеньем отходит от нас, а мы следуем дальше, вверх по Гудзону, минуя Манхэттен. Проходим под мостом Джорджа Вашингтона, затем мимо сотен грузовых пароходов «Либерти», которые совершили немало славных рейдов во время войны, а теперь стоят у причала и гниют.

Капитан сообщает, что из‑за отлива нам придется встать на якорь у местечка под названием Поукипзи — священник произносит его мне по буквам и объясняет, что слово это индейское.

— Теперь еще чертов Поукипзи, — ругаются американцы.

С наступлением темноты к кораблю подплывает моторная шлюпка, и какой‑то человек кричит с ирландским акцентом:

— Эй, наверху! Да неужели ж я ирландский флаг вижу. Глазам не верится!

Человек из шлюпки приглашает старпома сойти на берег и выпить за встречу, и говорит, чтоб он взял с собой друга, и святой отец пусть тоже кого‑нибудь пригласит.

Священник приглашает меня, и мы вместе со старпомом и радистом спускаемся в шлюпку. Наш новый приятель называется Тимом Бойлом, сообщает, что он родом из графства Мейо, и нас сюда занесло как раз вовремя, потому что у них вечеринка, и мы все на нее приглашены.

Он ведет нас к дому, где на лужайке с фонтаном стоят, поджав одну ногу, три розовые птицы. В зале, который зовется «салон», нас встречают пять женщин. У них прически, из которых не выбивается ни волоска, и платья будто с иголочки. В руках дамы держат бокалы и приветливо нам улыбаются, обнажая белоснежные зубы.

— Входите, — приглашает одна. — У нас тут как раз пра‑а‑здник.

Пра‑а‑здник. Вот поживу несколько лет в Америке и, наверное, тоже так стану говорить.

Тим Бойл говорит нам, что девушки решили немного развеяться, пока их мужья охотятся на оленей.

— Ага, — подтверждает одна из дам по имени Бетти. — Воевали вместе муженьки наши. Пять лет уже почти как война закончилась, а они все в себя прийти не могут, вот и уезжают каждые выходные зверей пострелять да пива «Рейнгольд» нахлестаться до бесчувствия. А все эта война проклятущая, простите святой отец, что выражаюсь.

— Это дурные женщины, — шепчет мне священник. — Мы тут не останемся.

— Что будете пить? — спрашивает дурная женщина. — У нас тут чего только нет. Как тебя зовут, милый?

— Фрэнк Маккорт.

— Красивое имя. Выпей немножко. Ирландцы любят выпить. Пива?

— Да, спасибо.

— О, какие мы вежливые. Люблю ирландцев. Бабуля моя была наполовину ирландка, так что и я тоже получается ирландка, на четверть, что ли? Меня Фрида зовут. Вот твое пиво, милый.

Священник садится на краешек дивана, который тут называют «софой», и две дамы тут же заводят с ним беседу. Бетти спрашивает старпома, не хочет ли тот осмотреть дом:

— О, с удовольствием! — отвечает тот. — У нас в Ирландии таких домов нету.

Другая дама говорит радисту, что ему непременно стоит взглянуть на сад, там такие цветы! Фрида спрашивает меня, все ли у меня хорошо, и я отвечаю, что да, но не может ли она подсказать мне, где тут уборная?

— Где что?

— Туалет.

— А, туалет. Сюда, милый, прямо по коридору.

— Спасибо.

Она открывает дверь туалета, включает свет, целует меня в щеку и шепчет, что будет тут рядышком, за дверью, если мне что‑нибудь понадобится.

Я встаю к унитазу, приступаю к делу и думаю: что мне может понадобиться от нее в туалете? Может, у них в Америке так принято, чтобы женщина ждала за дверью, пока ты тут облегчаешься?

Я заканчиваю, смываю за собой и выхожу. Она берет меня за руку и ведет в спальню, ставит бокал на стол, запирает дверь, толкает меня на кровать. Возится с застежкой на брюках. «Чертовы пуговицы. У вас в Ирландии, что, „молний“ нет?» Она достает мою «забаву», садится на меня, и начинает двигаться вверх‑вниз, вверх‑вниз, и я улетаю к небесам, но тут в дверь стучат.

— Фрэнк, ты здесь? — спрашивает священник.

Фрида прикладывает палец к губам и закатывает глаза.

«Фрэнк, ты здесь?» Делать ему нечего, кроме как искать меня. О, Боже мой! О, Тереза! Как давно! А вдруг ты видишь, что происходит? Да мне глубоко наплевать, пусть даже сам папа римский стучится в дверь, и вся священная коллегия пялится в окна. Боже мой, я весь там, внутри. Фрида падает на меня без сил, шепчет, что это было потрясающе и не хочу ли я поселиться в Поукипзи?

В салоне Фрида говорит священнику, что мне стало нехорошо после того, как я сходил в туалет, а такое бывает с дороги, да еще если выпить чего‑то непривычного — в Ирландии же, наверное, нет «Рейнгольда»? По лицу священника понятно, что он ей не верит, и от этого я заливаюсь краской. Он уже записал имя и адрес моей мамы, вдруг теперь напишет ей, мол, «ваш сыночек в первую же ночь на американской земле кувыркался с американкой, у которой муж отправился на охоту, дабы отвлечься от воспоминаний о войне, и вот какую награду он получил за то, что сполна отдал долг своей стране?»

Старпом и радист, вернувшиеся из своих «экскурсий» по дому и саду, не смотрят на священника. Дамы ахают, что, наверное, мы умираем с голоду и удаляются на кухню. Мы молча сидим в салоне и слушаем, как дамы шепчутся и смеются на кухне.

— Дурные женщины, дурные, грех это все, — снова шепчет мне священник, а я не знаю, что ему ответить.

Дурные женщины приносят нам бутерброды и наливают еще пива, а когда мы доедаем, спрашивают, не хотим ли мы потанцевать. Никто не хочет, потому что нельзя танцевать с дурными женщинами в присутствии священника. Женщины танцуют друг с дружкой и смеются, будто бы у них есть какой‑то маленький секрет. Тим Бойл, напившийся виски, спит в уголке. Фрида будит его и просит отвезти нас обратно на корабль. Когда мы уходим, она наклоняется ко мне, будто бы хочет поцеловать в щеку, но священник очень резким тоном говорит: «Доброй ночи», и никто не жмет друг другу руки. Мы идем по улице к реке, и вдогонку нам летит звонкий женский смех.

Мы поднимаемся по трапу на корабль, Тим кричит нам из шлюпки:

— Смотрите, поднимайтесь осторожно! Ну что, ребятки, славный был вечер? Доброй ночи, ребятки, доброй ночи, святой отец.

Мы смотрим, как маленькая шлюпка исчезает в темноте у берега Поукипзи. Священник желает всем доброй ночи и уходит к себе в каюту на нижней палубе, старпом тоже уходит.

Радист и я стоим на палубе и смотрим на огни Америки.

— Господи, Фрэнк, какой чудесный вечер! И страна вообще шикарная, правда?

## XIX

Вот так.

1. Праздник Обрезания Господня — в католицизме отмечается 1 января. [↑](#footnote-ref-1)
2. Благословение или бенедикция (*лат*. Benediction) — обряд католической церкви, посредством которого призывается благословение Божие или на людей в особых обстоятельствах жизни, или с целью освящения мест и предметов. — *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Девятина или новенна — традиционная католическая молитвенная практика, заключающаяся в чтении определенных молитв в течение девяти дней подряд. [↑](#footnote-ref-3)
4. ИРА — Ирландская республиканская партия — военизированная группировка, целью которой было достижение полной самостоятельности Ирландии от Великобритании. [↑](#footnote-ref-4)
5. Андерсонтаун — пригород Белфаста. [↑](#footnote-ref-5)
6. Популярная ирландская песня, написанная Джорджем Л. Гифером в 1898 году. [↑](#footnote-ref-6)
7. Герард Майелла (1729–1755) — итальянский монах из Ордена редемптористов. [↑](#footnote-ref-7)
8. «За дружбу старую» (*англ* . Should auld acquaintance be forgot) — шотландская песня на стихи Роберта Бернса, которая чаще всего поется в Новый год, сразу после полуночи. [↑](#footnote-ref-8)
9. От названия католической молитвы «Angelus Domini», которая читается три раза в день: утром, в обед и вечером. В католических церквях звонили Анжелюса, призывая верующих помолиться. [↑](#footnote-ref-9)
10. Строки из ирландской песни Томаса П. Кинана «Матери любовь благословенна». [↑](#footnote-ref-10)
11. Святой Викентий де Поль (1581–1660) — католический святой (27 сентября), основатель конгрегации лазаристов и общины дочерей милосердия. Покровитель госпиталей, заключенных, благотворительных организаций. [↑](#footnote-ref-11)
12. Пресвитерианство — одно из направлений протестантизма. [↑](#footnote-ref-12)
13. Мэйл (*англ* . male) — особь мужского пола. [↑](#footnote-ref-13)
14. Баптизм — одно из направлений протестантизма. Практикует крещение в сознательном возрасте через полное погружение в воду. [↑](#footnote-ref-14)
15. Кухулин — главный герой ирландского эпоса. Получил свое имя — «пес Кулана» — после того, как убил собаку могучего чародея‑кузнеца Кулана и согласился исполнять у него обязанности собаки в течение семи лет, пока не подрастет замена погибшему существу. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ольстер — одна из четырех исторических провинций Ирландии. [↑](#footnote-ref-16)
17. Строки из песни «Луиза», которую исполнял знаменитый французский шансонье и актер Морис Шевалье (1888–1972). [↑](#footnote-ref-17)
18. «Две возлюбленных» (*англ.* Two sweethearts) — ирландская народная версия песни «Две любви» (*англ.* Two loves), которую в 1900‑х годах исполняла американская группа «Семья Картеров». [↑](#footnote-ref-18)
19. Руди Валле (1901–1986) — американский певец, саксофонист. [↑](#footnote-ref-19)
20. «Брат, подай хотя бы грош» (*англ* . «Brother, Can You Spare a Dime?») — одна из самых популярных песен времен Великой депрессии в США, которую в начале 1930‑х годов исполнял американский певец и актер Бинг Кросби. [↑](#footnote-ref-20)
21. Родди Маккорли (казнен 28 февраля 1800 года) — ирландский революционер, член общества «Объединенные ирландцы», участник восстания 1798 года. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ирландская народная песня «Старая добрая Ирландия» (известная также под названием «Ура, ирландские парни!») на слова политика и журналиста Тимоти Дэниела Салливана. Впервые опубликована в 1861 г.. [↑](#footnote-ref-22)
23. «Красная ветвь» — орден, основанный в Ольстере до нашей эры. [↑](#footnote-ref-23)
24. Фении — ирландские мелкобуржуазные революционеры‑республиканцы второй половины XIX — начала XX вв. [↑](#footnote-ref-24)
25. Кевин Барри (1902–1920) — 18‑летний член ИРА, повешенный 1 ноября 1920 года за участие в вооруженном нападении и убийство в Дублине троих британских солдат. [↑](#footnote-ref-25)
26. Строки из баллады, написанной поэтессой и собирательницей фольклора Этной Карбери в 1890‑х годах. Позже баллада была положена на музыку Пэтом Клэнси. [↑](#footnote-ref-26)
27. Строки из песни, написанной ирландским историком, писателем и собирателем фольклора Патриком Уэстоном Джойсом (1873). [↑](#footnote-ref-27)
28. «Когда ирландские глаза улыбаются» — популярная песня, созданная в 1912 году американским композитором Эрнестом Боллом на слова Джорджа Граффа‑младшего и Чонси Олкотта. [↑](#footnote-ref-28)
29. Широко известная песня ирландских повстанцев, написанная вскоре после казни Кевина Барри в 1920 году. Автор слов неизвестен. [↑](#footnote-ref-29)
30. Общество Святого Викентия де Поля — благотворительное католическое общество, основанное в Париже в 1833 году. [↑](#footnote-ref-30)
31. В 1922 году произошло разделение острова Ирландия на две территории: Северную Ирландию и Ирландское Свободное государство. [↑](#footnote-ref-31)
32. Летучий отряд — организация, созданная ИРА для борьбы с полицией (1919–1921). [↑](#footnote-ref-32)
33. В период Пасхального восстания (Красной Пасхи) 1916 года в здании главпочтамта располагалась штаб‑квартира повстанцев. [↑](#footnote-ref-33)
34. Айриштаун («Ирландский город») — квартал в Лимерике. [↑](#footnote-ref-34)
35. «Вексфордские парни» — баллада о восстании 1798 года ирландского врача и поэта Р. Дуайера Джонсона (1830–1883). [↑](#footnote-ref-35)
36. Ширли Темпл (1928–2014) — американская актриса, наиболее известная по своим детским ролям в 1930‑х годах. [↑](#footnote-ref-36)
37. Квакеры — протестантское движение, возникшее в XVII веке в Англии. [↑](#footnote-ref-37)
38. Легион Марии — католическая благотворительная организация, которая возникла в 1921 году в Ирландии. [↑](#footnote-ref-38)
39. Лурд — город во Франции, один из наиболее важных в Европе центров паломничества. [↑](#footnote-ref-39)
40. «Да будет нация опять» — название патриотической песни на слова Томаса О. Дэвиса (1814–1845), крупного лидера ирландского национального движения. [↑](#footnote-ref-40)
41. Апостольский Символ веры — краткий свод главных догматов христианского вероучения; читается как молитва или исполняется хором во время литургии. [↑](#footnote-ref-41)
42. Имон де Валера (1882–1975) — ирландский политический и государственный деятель. В 1919–1922 годах президент и глава правительства независимой Ирландии. [↑](#footnote-ref-42)
43. Майкл Коллинз (1890–1922) — ирландский революционер, политический и военный деятель. [↑](#footnote-ref-43)
44. Редемптористы (другое название — Конгрегация Святейшего Искупителя) — католическая монашеская организация, основанная святым Альфонсом Лигуори в 1732 году и ставящая себе целью проповедовать Евангелие самым бедным и отверженным людям. [↑](#footnote-ref-44)
45. Здание Общества, названное так по имени основателя Общества Святого Викентия де Поля — Фредерика Озанама. [↑](#footnote-ref-45)
46. Джеймс Кэгни (1899–1986) — один из самых востребованных актеров классического Голливуда. [↑](#footnote-ref-46)
47. Строки из песни «Храбрые фении» (*англ* . Bold Fenian Men) — гимна ирландских повстанцев, написанного Пэдаром Кирни, членом ИРА и автором многочисленных повстанческих песен. [↑](#footnote-ref-47)
48. Гостия — круглый пресный хлебец, который едят на причастии в знак принятия тела Христа. [↑](#footnote-ref-48)
49. Конфи`теор (*лат* . «исповедуюсь») — начало католической покаянной молитвы. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Молитва* о Прощении — это молитва, читаемая кающимися католиками во время таинства исповеди. [↑](#footnote-ref-50)
51. Литания Пресвятой Деве Марии — католическая молитва к Богородице. [↑](#footnote-ref-51)
52. Освящающая Благодать — в р*имско‑католической теологии —*  термин для обозначения *благодати* , получаемой через таинства. [↑](#footnote-ref-52)
53. Омадхаун — (*ирл* . omadhaun) болван, дурачок. [↑](#footnote-ref-53)
54. Святая Тереза из Лизьё, монахиня‑кармелитка, известная как Маленький Цветок Иисуса. [↑](#footnote-ref-54)
55. Речь идет о финальной сцене из голливудского фильма «Враг общества» (1931). [↑](#footnote-ref-55)
56. Стихотворение Томаса Дарси Макги (1825–1868) — ирландско‑канадского политика, националиста. [↑](#footnote-ref-56)
57. Джинджер Роджерс (1911–1995) и Фред Астер (1899–1987) — звезды Голливуда и легендарная танцевальная пара, блиставшая в 1930‑х годах. [↑](#footnote-ref-57)
58. «Всадники полынных прерий» (*англ* . Riders of the Purple Sage) — голливудский вестерн 1925 года. [↑](#footnote-ref-58)
59. «Осада Энниса» и «Стены Лимерика» — одни из самых простых с точки зрения исполнения ирландских танцев. [↑](#footnote-ref-59)
60. Джордж Рафт (1901–1980) — американский киноактер и танцор, известный в первую очередь ролями гангстеров в криминальных фильмах об организованной преступности 1930‑х и 1940‑х годов. [↑](#footnote-ref-60)
61. Джордж О’Брайен (1899–1985) — американский киноактер, снискавший известность в эпоху немного кино и в самом начале 1930‑х годов. [↑](#footnote-ref-61)
62. Строка из песни Indian Love Call, которую исполняла знаменитая «поющая пара Голливуда» — Нельсон Эдди и Джанет Макдональд в 1930–1940‑х годах. [↑](#footnote-ref-62)
63. Святитель Финбар (ирл. «белая голова») — святой родившийся в провинции Коннахт в середине VI века. Считается покровителем иммигрантов. [↑](#footnote-ref-63)
64. И подойду к жертвеннику Божию (*лат* .) [↑](#footnote-ref-64)
65. К Богу, веселящему юность мою (*лат* .) [↑](#footnote-ref-65)
66. Пресуществление — в таинстве Евхаристии превращение хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса Христа. [↑](#footnote-ref-66)
67. От *англ* . «dot» — точка. [↑](#footnote-ref-67)
68. Мессершмитт — истребитель и бомбардировщик военно‑воздушных сил нацистской Германии. [↑](#footnote-ref-68)
69. Спитфайр (*англ* . Supermarine Spitfire — букв. перевод «злюка») — британский истребитель времен Второй мировой войны. [↑](#footnote-ref-69)
70. «Бино», «Денди» — детские журналы комиксов, издававшиеся в Великобритании. [↑](#footnote-ref-70)
71. Баллинакарра (*англ* . Ballinacurra) — район в Лимерике. [↑](#footnote-ref-71)
72. Маллингар — город в графстве Уэтсмит (Ирландия), известный крупной породой коров. [↑](#footnote-ref-72)
73. Песня «Танец Керри» Дж. Л. Моллоя. [↑](#footnote-ref-73)
74. «О’Доннелл Абу» — ирландская песня, написанная Майклом Макканом в 1843 году и повествующая о борьбе клана О’Доннелл против английского господства. [↑](#footnote-ref-74)
75. Патрик Пирс (1879–1916) — ирландский поэт, писатель, учитель, адвокат, политик и революционер. [↑](#footnote-ref-75)
76. «Тупик» — (*англ* . Dead End’s Kids) — название фильма и игравшей в нем группы молодых голливудских актеров, существовавшей с 1934 по 1937 год. [↑](#footnote-ref-76)
77. «Вернись в Сорренто» (Torna a Surriento) — неаполитанская песня, написанная в 1902 году Эрнесто де Куртисом (музыка) и Джамбаттистой де Куртисом (слова), братом композитора. Анджела иронизирует, играя с названием песни и прозванием комнаты на втором этаже — Италия. — *Примеч. ред.* [↑](#footnote-ref-77)
78. Рональд Колмэн (1891–1958) — английский актер. [↑](#footnote-ref-78)
79. Эррол Флинн (1909–1959) — голливудский актер австралийского происхождения, кинозвезда и секс‑символ 1930‑х и 1940‑х годов. [↑](#footnote-ref-79)
80. «Зеленые долины Антрима» — ирландская народная песня. [↑](#footnote-ref-80)
81. Слова из пьесы Уильяма Шекспира «Генрих VIII» (пер. В. Томашевского). [↑](#footnote-ref-81)
82. Стихотворение Эдварда Лира «Филин и кошка». [↑](#footnote-ref-82)
83. Строки из баллады «Разбойник» английского поэта и писателя Альфреда Нойеса (1880–1958). [↑](#footnote-ref-83)
84. Эдвард Филлипс Оппенгейм (1866–1946) — популярный английский писатель, работавший в различных жанрах художественной литературы. [↑](#footnote-ref-84)
85. «Школьные годы Тома Брауна» (*англ* . Tom Brown’s School‑days) — повесть английского писателя Томаса Хьюза, написанная в 1854 году. [↑](#footnote-ref-85)
86. От *англ* . «to hop» — скакать, прыгать на одной ноге, хромать. [↑](#footnote-ref-86)
87. Стихотворение Шеймуса О’Шила (1886–1954) — американского поэта ирландского происхождения. [↑](#footnote-ref-87)
88. Стэн Лорел (1890–1965) и Оливер Харди (1892–1957) — американские киноактеры, комики, одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино. [↑](#footnote-ref-88)
89. «Бойз‑таун» (*англ* . «город мальчиков») — христианская благотворительная организация, основанная в 1917 году священником отцом Фланаганом для осиротевших и беспризорных сирот. В 1936 году на экраны вышел одноименный фильм с актером Спенсером Трейси в роли Эдварда Фланагана. [↑](#footnote-ref-89)
90. «Христианские братья» — *организация* католиков‑мирян, содержавшая сеть дешевых школ для малоимущих классов. [↑](#footnote-ref-90)
91. Глин — деревня в графстве Лимерик. [↑](#footnote-ref-91)
92. Джесси Джеймс (1847–1882) — американский преступник, лидер банды грабителей. После смерти стал легендарной фигурой Дикого Запада. [↑](#footnote-ref-92)
93. Имеется в виду *Вифлеемская Звезда* , указавшая путь древним халдейским мудрецам и астрологам — волхвам к месту рождения Богомладенца Иисуса Христа. [↑](#footnote-ref-93)
94. Пепельная среда (*англ* . Ash Wednesday) — в Римско‑католической церкви, первый день Великого поста. [↑](#footnote-ref-94)
95. Эрвин Роммель (1891–1944) — генерал‑фельдмаршал Вермахта. [↑](#footnote-ref-95)
96. Бернард Лоу Монтгомери Аламейнский (1887–1976) — *британский фельдмаршал* . [↑](#footnote-ref-96)
97. Борис Карлофф — британский актер театра и кино, звезда своего времени. Создатель классических образов в фильмах ужасов. [↑](#footnote-ref-97)
98. «Садись в поезд А» — песня Дюка Эллингтона и его оркестра, их визитная карточка с 1941 года. [↑](#footnote-ref-98)
99. Эл Джолсон (1886–1950) — американский эстрадный певец и актер. Одна из самых известных его песен — «Свани» (название реки в Южной Каролине), написанная в 1919 году. [↑](#footnote-ref-99)
100. Рокуэлл‑колледж (*англ. Rockwell College)*  — частная дневная школа и школа‑пансион, расположенная в городе Кашел, Ирландия. Она основана в 1864 году как католическая школа и состоит из средней и старшей ступеней. [↑](#footnote-ref-100)
101. Эта английская марка стала первым в мире массовым производителем прозрачного (точнее, полупрозрачного) мыла. Названа по фамилии основателя, Эдварда Пирса. [↑](#footnote-ref-101)
102. М*азь Слоуна —*  Эрл Слоун (1848–1913) — американский врач. Изобрел мазь, с помощью которой лечили хромоту у лошадей. [↑](#footnote-ref-102)
103. Эоин О’Даффи (1892–1944) — ирландский политический активист и комиссар полиции. [↑](#footnote-ref-103)
104. В июле 1933 года стал лидером ACA — организации, созданной бывшими офицерами ирландской армии и напоминавшей европейские профашистские движения. [↑](#footnote-ref-104)
105. Белые отцы — мессионеры Африки, католическое миссионерское общество, основанное в 1868 году. [↑](#footnote-ref-105)
106. Джозеф Луис Бэрроу — американский боксер‑профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе. [↑](#footnote-ref-106)
107. Джон О’Хэнлон (1821–1905) — ирландский священник и историк Церкви, автор многотомных «Житий ирландских святых». [↑](#footnote-ref-107)
108. Сабин *Бэринг* ‑Гулд (1834–1924) — англиканский священник и проповедник, писатель, исследователь и собиратель фольклора. [↑](#footnote-ref-108)
109. Лин Ютань (1895–1976) — китайский философ, писатель, ученый. [↑](#footnote-ref-109)
110. Джордж Армстронг Кастер (1836–1876) — американский офицер, участвовавший почти во всех кампаниях Гражданской войны в США. [↑](#footnote-ref-110)
111. «Янки Дудл Денди» — биографический мюзикл, повествующий о жизни бродвейского актера, режиссера, танцора, певца и продюсера Джорджа Майкла Кохана. [↑](#footnote-ref-111)
112. «Не одиноко ли тебе сегодня вечером?» — американская эстрадная песня, написанная Роем Терком и Лу Хэндманом в 1926 году. [↑](#footnote-ref-112)
113. Мики Руни (1920–2014) — американский актер, который до Второй мировой войны успешно разрабатывал типаж бойкого, находчивого подростка. [↑](#footnote-ref-113)
114. Джеймс Мэйсон (1909–1984) — английский *актер* , сценарист и продюсер. [↑](#footnote-ref-114)
115. «Мой путь» (*англ* . My Way) — фильм 1944 года с Бингом Кросби в роли О’Мэлли — нью‑йоркского священника ирландского происхождения. [↑](#footnote-ref-115)
116. Еженедельник «Джон О’Ландон Уикли» — английский литературный альманах, издававшийся компанией «Джордж Ньюнес Лимитед» с 1919 по 1954 год. [↑](#footnote-ref-116)
117. «Варшавский концерт» — концерт для фортепиано с оркестром английского композитора Ричарда Аддинсела (1904–1977). [↑](#footnote-ref-117)
118. «Грезы Ольвен» — музыкальная тема Чарльза Уильямса из британского кинофильма «Пока я живу» 1947 года. [↑](#footnote-ref-118)